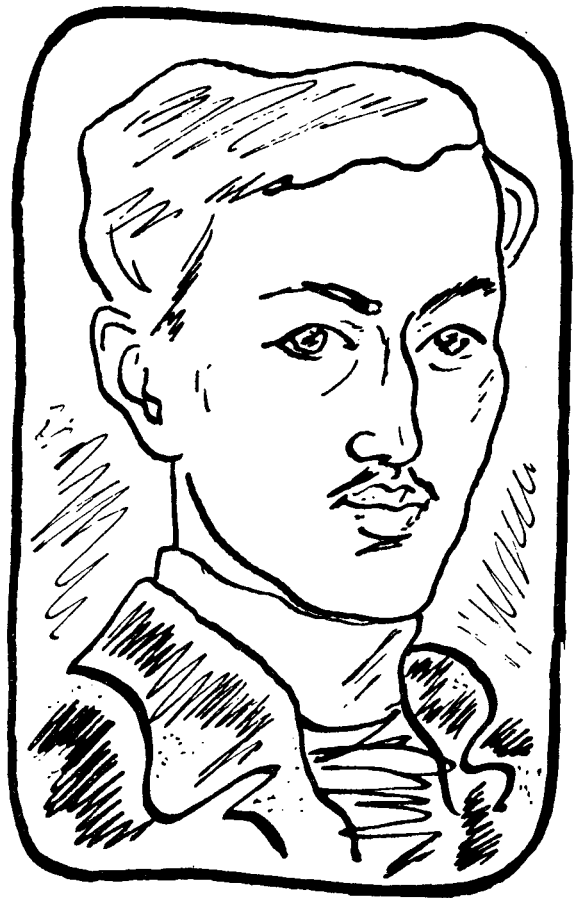




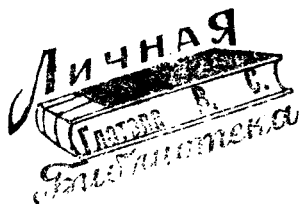


ХОСЕ РИСАЛЬ

НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ

Р О М А Н

Перевод с испанского
М. БЫЛИНКИНОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1963

Вступительная статья

А. ГУБЕРА

Комментарии

Ю. ЛЕВТОНОВОЙ

Перевод под редакцией

Е. ЛЫСЕНКО

Художник

В. ЮРЛОВ

Книжка
Хосе Рисаль
Гослитиздат
2. Маркесова
28 / V - 63 год.
Левинсон

ХОСЕ РИСАЛЬ И ЕГО РОМАН «НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ»

Советскому читателю, несомненно, будет интересно познакомиться с романом крупнейшего филиппинского писателя, ученого и патриота Хосе Рисаля. Имя его уже известно советским людям. Еще в 1937 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышел очерк его жизни и творчества¹. Был, к сожалению в сокращенном виде, издан второй роман Рисаля — «Флибустьеры»², являющийся как бы продолжением предлагаемого ныне читателям «Не прикасайся ко мне».

В 1961 году передовая общественность многих стран отмечала столетие со дня рождения и шестьдесят пять лет со дня казни славного сына филиппинского народа. В связи с этим издательство Восточной литературы выпустило том избранных публицистических произведений и писем Рисаля³, раскрывающих яркий, но вместе с тем сложный и противоречивый путь развития его мировоззрения.

Мы отсылаем читателя, желающего более подробно ознакомиться с жизнью и деятельностью национального героя Филиппин, к этим работам и ограничимся лишь самыми краткими сведениями.

¹ А. Губер и О. Рыковская, Хосе Рисаль, Жургиз, М. 1937.

² Хосе Рисаль, Флибустьеры, Гослитиздат, Л. 1937.

³ Хосе Рисаль, Избранное. Под редакцией Г. И. Левинсона, изд-во Восточной литературы, М. 1961.

Хосе Рисаль родился в богатой и культурной провинциальной семье в маленьком городке Каламба. Он был необычайно одаренным человеком, обладал прекрасной памятью. С детства Рисаль обнаружил поэтический дар и способности к изобразительным искусствам. Закончив иезуитскую коллегию в Маниле, Рисаль поступил в Университет св. Фомы. Уже в студенческие годы он своими патриотическими стихами привлек симпатии прогрессивной молодежи и вызвал первые подозрения властей и монахов, преследовавших малейшее проявление национальных чувств. Двадцати одного года он вынужден был покинуть родину, где ему угрожал арест, и бежать за границу.

Блестяще окончив медицинский и философский факультеты в Мадриде, Рисаль совершенствует свои таланты окулиста в клиниках многих европейских стран. С необычайной легкостью он попутно изучает языки их народов. Не теряя связи с родиной, он активно участвует в кампании за проведение реформ на Филиппинах, которую развернули с помощью испанских либералов филиппинские эмигранты в Испании.

Еще студентом, в Мадриде, Рисаль задумал свой первый роман, призванный показать всему миру и прежде всего Испании язву колониальной действительности и тем ускорить проведение реформ, в возможность осуществления которых он долгое время верил. Жизнь Рисаля проходила в значительной мере за пределами родины. После бегства с Филиппин в 1882 году он рискнул снова появиться там на короткий срок в 1887 году. Окончательно Рисаль вернулся на родину в 1892 году человеком, хорошо известным в прогрессивных кругах европейских ученых своими научными, ярко антирасистскими работами, своими исследованиями о прошлом Филиппин, литературными и политическими произведениями. Рисаль отдавал себе ясный отчет в той опасности, которая ждала его на Филиппинах, он знал, как ненавидели его колониальные власти, каким гонениям и преследованиям подвергали родных. И несмотря на это, Рисаль не раздумывая порывает с привычной и обеспеченной жизнью, которую ему давала врачебная практика, и возвращается на родину. Иначе он поступить не мог.

Изжив свои прежние иллюзии о возможности получить реформы из рук Испании мирным путем, Рисаль осознает необходимость объединения филиппинцев, сплочения национальных сил. Он создаст первую национальную политическую организацию — «Лигу Филиппин», но подвергается аресту и ссылке на далекий остров Минданао. Рисаль оказывается оторванным от развивающегося революционно-освободительного движения.

Когда в 1896 году на Филиппинах вспыхнуло восстание, колониальные власти поспешили казнить Рисаля.

Филиппинский народ свято хранит память о Хосе Рисале, собирает и изучает его литературное наследие, ярко отражающее не только идейное развитие самого Рисаля, но и эпоху пробуждения и утверждения национального самосознания филиппинского народа.

* * *

Предлагаемый советскому читателю первый роман Рисаля «Не прикасайся ко мне» («Noli me tangere») переведен на многие языки мира. «Noli me tangere» как название романа было выбрано автором не случайно. Этими словами из Евангелия Хосе Рисаль хотел подчеркнуть, что он собирается коснуться именно тех язв филиппинского общества, которые всячески пытались скрыть колониальные властители Филиппин. У нас роман «Не прикасайся ко мне» издается впервые, хотя он не только занимает весьма значительное место в истории филиппинской литературы и истории развития общественной мысли, но и, несомненно, вошел в золотой фонд гуманистической культуры.

Роман «Не прикасайся ко мне», подобно «Хижине дяди Тома» Гичер-Стоу или «Максу Хавелару» Мультатули, пронизан высокими идеями гуманизма, идеями борьбы против расового и колониального угнетения. Вот почему эти произведения не утратили своего значения и по сей день. Их место в мировой литературе определяется остротой и злободневностью тематики. Романы апеллировали не к угнетенным народам, судьбе которых искренне и горячо сочувствовали их авторы, а к общественному мнению угнетающей нации. Бесправное положение рабов-негров в США, жестокость и произвол алчной Компании голландских купцов и их агентуры в Индонезии, чудовищная картина колониального режима на Филиппинах были призваны воздействовать на господствующие классы, искоренить вопиющее зло.

Популярность, которую немедленно по опубликованию получили названные выше произведения, объяснялась не только тем, что они отвечали лучшим чаяниям и стремлениям демократических слоев народа. Они отражали назревшие потребности ломки существовавших общественных отношений, превратившихся в тормоз развития производительных сил США, метрополии Индонезии — Нидерландов, хозяина Филиппин — Испании.

В литературных произведениях находили отклик и политическая борьба, и растущие противоречия внутри господствующих классов, отражавшие объективную потребность в изменении методов эксплуатации негров США, колониальных народов Индонезии и Филиппин. В них проявлялось острое столкновение классовых интересов, о чем можно судить по публицистике и парламентским дебатам той поры.

Но произведение Рисаля отличается от «Хижина дяди Тома» или «Макса Хавелара» прежде всего тем, что оно написано сыном того народа, бедствия которого он раскрывает и за улучшение судеб которого он борется.

При всей искренности сентиментального сочувствия к неграм («Хижина дяди Тома»), при всей искренности возмущения политикой голландских эксплуататоров («Макс Хавелар»), пи квакерша Бичер-Стоу, ни бывший колониальный чиновник Мультатули не могли подняться до подлинного пафоса утверждения национального самосознания, который характеризует филиппинца Рисаля.

Да это и понятно. «Хижина дяди Тома» стоит особняком среди произведений Бичер-Стоу, и из многочисленных произведений Мультатули лишь «Макс Хавелар» пережил испытание временем.

Что же касается произведений Рисаля, то они составляют неразрывное целое, по ним можно проследить эволюцию идейных и политических взглядов писателя-патриота. Более того, его произведения отражают целый этап в развитии национальных идей Филиппин, характерный для пробуждающегося национального самосознания и возникающего буржуазно-национального движения всех колониальных и зависимых народов в период до Великой Октябрьской социалистической революции и общего кризиса капитализма.

На примере Филиппин можно проследить неизбежность краха тех буржуазно-реформистских иллюзий и надежд на получение необходимых реформ из рук метрополии при сохранении ее господства, которые пережило в свой начальный период национальное движение колоний — Индии, Индонезии и многих полуколониальных стран.

Внимательное изучение этого романа и других произведений Рисаля, а также работ основателей Индийского национального конгресса и даже ранних работ Сун Ят-сена помогает понять закономерность буржуазно-националистических иллюзий в определенный исторический период.

Эти иллюзии вытекали не из неспособности молодой, лишь складывавшейся, национальной буржуазии подняться до понимания необходимости и неизбежности революционной борьбы. Как показала дальнейшая история национально-освободительного движения, национальная буржуазия колониальных стран, при всей своей классовой ограниченности и страхе перед массовой борьбой трудящихся классов, оказалась способной не только участвовать, но и в ряде случаев руководить завоеванием независимости. Закономерности раннего этапа в национальном движении определялись, несомненно, — во-первых, слабостью самой буржуазии, еще не верившей ни в свои возможности, ни в силы народа, и во-вторых — что, быть может, особенно важно — представлением, будто в борьбе с капиталистическими пережитками и в экономике, и в политике, и в культуре интересы буржуазии метрополии совпадают с ее собственными интересами. Воспитанная на либеральных идеях капитализма той поры, когда его развитие шло по восходящей, на идеях борьбы против феодализма, клерикального засилья, борьбы за буржуазные свободы, буржуазная интеллигенция далеко не сразу смогла понять, что сохранение всех этих докапиталистических отношений в колониях — есть непременное условие их эксплуатации, извлечения колониальных сверхприбылей, наконец, сохранения их в качестве аграрно-сырьевых придатков метрополии. И до тех пор, пока эти иллюзии не были на горьком опыте утрачены, представители национально-буржуазного движения в колонии видели в либеральной буржуазии метрополии своего естественного союзника и в борьбе с феодальными пережитками, и с монашескими орденами.

Роман «Не прикасайся ко мне» — этап эволюции представлений Рисаля о задачах и возможностях национального развития.

Советский читатель с интересом прочтет этот роман Рисаля и потому, что это правдивая и подлинно реалистическая картина филиппинской действительности в последние десятилетия испанского господства. Сложны и нарочиты отношения всех его героев, судьбы которых, и даже их предков, Рисаль связывает в драматический узел. В этом, несомненно, сказалось влияние таких авторов, как Эжен Сю и Александр Дюма-отец. Со слов самого Рисаля мы знаем, что он зачитывался их романами. Однако каждый эпизод, каждый характер, взятый в отдельности, — обобщение бесчисленных и типичных для Филиппин того времени явлений.

Работу над романом Рисаль завершил в Берлине и там же издал его на испанском языке в 1887 году. Хотя роман был напи-

сан вдали от Филиппин, в нем ощущается и горячая любовь к родине, и неразрывная с ней связь.

Рисаль тщательно следил за всем, что происходило на Филиппинах. Он общался с либеральными кругами филиппинской эмиграции, сотрудничал в журнале, издававшемся в Мадриде Испано-Филиппинской ассоциацией.

Но главное, что делает таким убедительным и безупречно правдивым его повествование, это навсегда запечатлевшиеся в душе и памяти большого наблюдательного художника мельчайшие подробности природы и быта его родины, непосредственно им и его семьей пережитые столкновения с колониальными сатрапами и всевластными на Филиппинах монашескими орденами.

В романе Рисаля «Не прикасайся ко мне» имеют место автобиографические моменты, художественно претворенные и обобщенные. Но в действительности их гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд, ибо зачастую исследователи усматривают сходство многих событий, описанных в романе, с событиями, происшедшими в жизни автора много позднее, чем был написан роман, и потому звучащими скорее пророчески.

Судьба отца героя романа, Ибарры, во многом напоминает судьбу отца самого Рисаля.

Богатый и уважаемый житель маленького городка Каламба, так напоминающего Сан-Диего в романе, отец Рисаля пользовался благосклонностью и вниманием местных властей и священника-монаха, но по какому-то пустячному поводу навлек на себя их немилость и был подвергнут преследованиям. На семью обрушились первые невзгоды. Мать Рисаля, образованная и умная женщина, которую боготворил Хосе и которой он многим был обязан в своем эстетическом воспитании, была брошена в тюрьму по нелепому, вымышленному обвинению. Несколько лет ей пришлось испытывать на себе издевательства и жестокость колониального правосудия. Лишь счастливый случай — не менее яркий пример колониальных правоп! — вывел ее из узилища. Правда, когда роман писался, семья Рисаля еще не испытала всех несчастий, постигших ее впоследствии. Родители Рисаля тогда были еще живы, но позже и ему придется стать свидетелем кощунственного глумления монахов над телом его умершего родственника, которому было отказано в «христианском» погребении. Когда это произошло, Рисаль писал своему другу: «Разве не предсказал я это в моем романе «Не прикасайся ко мне»¹.

¹ Хосе Рисаль, Избранное, изд-во Восточной литературы, М. 1961, стр. 212.

Однако этот эпизод, описанный в романе,— не пророческое предвидение, а характеристика повседневной практики приходских священников-монахов, широко использовавших для вымогательства и мести религиозные предрассудки, прививавшиеся народу веками.

В трагической судьбе трогательной любви Марии-Клары и Крисостомо Ибарры много сходства с жизнью самого Рисаля. Обрученные в детстве, Крисостомо и Мария верны своим чистым чувствам, но их разлучает коварство монахов и страх раболепствующего перед колониальными властями отца Марии. Такая же любовь с юных лет связала и самого Рисаля с подругой его детства кузиной Леонорой. Они были обручены перед его отъездом за границу. Но хитрость и бездушная жестокость родных заставили Леонору нарушить обещание и выйти замуж за инженера-иностранца. Однако это произошло почти через десять лет после написания «Не прикасайся ко мне».

Многие исследователи склонны видеть в самом авторе прототип Ибарры, действительно наделенного многими его чертами и не случайно появляющегося на родине после длительной поездки по тем странам Европы, где побывал Рисаль. Возможно, это обусловлено постоянными мыслями Рисаля о возвращении на родину и надеждами на то, что его там ждут.

Однако в образе Ибарры, в его чувствах и мировоззрении раскрывается не только Рисаль, в нем воплощены черты представителей филиппинской, метисской интеллигенции, выражавшей пробуждавшееся национальное самосознание. Патриотизм и стремление к прогрессу своей родины, трезвое понимание отсталости страны и бедствий своего народа сочетались у зародившейся буржуазной интеллигенции с твердой верой в возможность получения реформ из рук испанских либералов, с надеждами на процветание Филиппин как равноправной части Испании, как ее «любимой дочери». Филиппинская интеллигенция в этот период видела панацею от всех зол в распространении на колонии казавшихся ей заманчивыми, а на деле крайне умеренных «свобод» испанской монархии и в ограничении всевластия монашеских орденов.

Роман «Не прикасайся ко мне» очень важен не только как яркое доказательство либерально-реформаторских взглядов первых представителей национально-буржуазного движения, их страха перед революционными выступлениями народа, но и для уяснения мировоззрения писателя. Здесь его отрицание самой идеи отделения Филиппин от Испании и народной революционной борьбы, вера в силу просвещения и образования, как пред-

варительной предпосылки политического и морального прогресса Филиппин, выступают еще вполне отчетливо. И эту ограниченность представлений о путях освобождения своей страны, которого Рисаль искренне желал и для которого он готов был отдать и не колеблясь отдал свою жизнь, он преодолевал медленно, мучительно и противоречиво.

Большой и наблюдательный художник, Рисаль видел, как гнев и бедствия народных масс прорываются в стихийных выступлениях. И хотя он не мог принять вооруженной борьбы и не верил в возможность победы, осуждать борьбу он тоже не мог. Для Рисаля мятежник-флибустьер — это выразитель справедливого гнева угнетенных и обездоленных, принципиально отличный от разбойников-тулисанов, но и многие из тулисанов — порождение колониального гнета. Элиасу, которого трагическая судьба толкнула на путь борьбы с представителями несправедливого режима угнетения, часто противопоставляется образ Ибарры с его верой в возможность получения реформ из рук Испании. В этом смысле любопытен разговор Ибарры и Элиаса (см. гл. «Семья Элиаса»).

На слова Элиаса: «Одни мы действительно ничего не знаем, но вступитесь за народ, примкните к народу, внемлите его гласу, подайте пример остальным, покажите на деле, что такое родина», — Ибарра отвечает: «То, о чем просит народ, невыполнимо, надо подождать...» и далее: «...Я никогда не буду тем человеком, который поведет за собой толпу, чтобы силой добиваться реформ, неуместных по мнению правительства. Нет! И если когда-нибудь я увидел бы вооруженных мятежников, я встал бы на сторону правительства против них, ибо бунтующая толпа — для меня еще не вся родина. Я желаю добра народу и поэтому строю школу, я хочу повести его по пути образования и прогресса; без света нельзя идти вперед».

«Но без борьбы не обрести свободы!» — отвечает Элиас.

Казалось бы, здесь либералу-реформисту Ибарре противопоставлен революционный борец, готовый опереться на народ, хотя, собственно, и не представляющий, как и до каких пределов (о ликвидации иностранного господства Элиас не упоминает) эта борьба должна вестись. Однако достаточно обратиться к последней беседе Ибарры и Элиаса, чтобы это надуманное противопоставление рассыпалось, как картонный домик, и в устах того же Элиаса зазвучала все та же вера Рисаля в реформы и страх перед возможностью и последствиями революции. Здесь Ибарра и Элиас как бы меняются ролями.

Доведенный до отчаяния коварством своих врагов, их отвратительной провокацией, потерей любимой невесты, Ибарра заявляет Элиасу: «...Они сами открыли мне глаза, обнажили передо мной свои язвы и заставили стать преступником! И раз они этого хотят, я буду флибустьером, но флибустьером настоящим; я созову всех обездоленных, всех, у кого в груди бьется смелое сердце... Нет, я не буду преступником, никогда им не будет тот, кто борется за свою родину!»

Теперь Элиас пытается разубедить Ибарру, раскрывая при этом те цели, которые он, оказывается, имел в виду во время их первого разговора: «...хорошенько подумайте, прежде чем действовать, ведь может разгореться настоящая война, ибо у вас есть деньги, голова, и к вам потянется множество рук: у нас, к несчастью, слишком много недовольных. Но в той борьбе, которую вы хотите начать, больше всех пострадают беззащитные и невинные. Те же самые чувства, которые месяц назад заставили меня обратиться к вам и просить реформ, движут мною сейчас, когда я прошу вас подумать. Наша страна не замышляет отделиться от матери-родины; она просит лишь немного свободы, справедливости и любви. Вас поддержат недовольные, преступники, отчаявшиеся люди, но народ не пойдет за вами. Вы ошибаетесь, если, видя только темные стороны нашей действительности, полагаете, что страна лишилась всякой надежды. Да, родина страдает, но она надеется, верит и восстанет только тогда, когда окончательно потеряет терпение, то есть когда ее толкнут на это наши правители, а до этого еще далеко. Я сам не пошел бы с вами; я никогда не прибегну к таким крайним средствам, пока не увижу, что у людей погасла надежда».

В этих словах Элиаса с гораздо большей полнотой, чем в его собственных высказываниях, раскрывается кредо самого Рисаля, которое ему полностью никогда не удалось изменить. И через семь лет после выхода романа Рисаль будет писать одному из деятелей национального движения Дель Пилару: «Мы революционеры. Нам не нужна кровь, у нас нет условности, и мы прибегнем к силе лишь тогда, когда все уже будет исчерпано, когда нас вынудят либо бороться, либо умереть». Однако в эти годы ему все чаще приходит мысль, что борьба эта неизбежна, что ни на какое правительство Испании надеяться нельзя.

Во втором своем романе «Флибустьеры» автор показывает как Ибарра осуществляет свои планы борьбы и мести. Но, пожалуй, именно в этом романе, где мирный реформатор «Не прикасайся ко мне» становится мятежным борцом, особенно

ощутимо неприятие Рисалем насильственной борьбы. Этот роман позволяет нам проследить дальнейшую эволюцию отношения Рисаля к возможности добиться реформ мирным путем. Мы ощущаем внутренний разлад Рисаля, определявшийся постепенной утратой надежд на мирные уступки со стороны Испании и вместе с тем невозможностью принять и осмыслить революционный путь.

Сами формы борьбы, к которым прибегает Ибарра,— провокации народного недовольства, заговоры, направленные на уничтожение верхушки испанских колонизаторов,— обрекают все его планы на неудачу. Более того, они способны лишь скомпрометировать самую идею насильственной борьбы. В романе «Флибустьеры» еще резче, нежели в «Не прикасайся ко мне», проявляется противоречие мирных и насильственных путей спасения Филиппин от жестокой действительности. В страстных диалогах мятежника Ибарры, пытающегося под видом богатого ювелира Симона осуществить свои планы, и сторонника мирных реформ интеллигента Базилио как бы отражается внутренний разлад самого Рисаля. Устами Симона он произносит горячие слова в защиту патриотизма, филиппинского национализма, насильственного пути освобождения как единственно правильного. И тут же опровергает их аргументами Базилио. Рисаль заставляет Базилио горячо проповедовать путь реформ и развития образования и разрушает его аргументацию едкими сарказмами Симона.

Эта идейная борьба все же завершается не только неизбежным крахом планов мятежников, но и разочарованием в них самого Ибарры. Потерпевший поражение раненый Ибарра-Симон добивается до уединенной хижины священника-филиппинца. В беседах Ибарры со священником как бы подводятся итоги идейной разобщенности и героев романа, и той двойственности, которую испытывал сам Рисаль. И этим итогом все еще не является неизбежность революционной борьбы за освобождение Филиппин.

Но почему же тогда и роман «Не прикасайся ко мне» и «Флибустьеры» воспринимаются филиппинскими читателями и их колониальными повелителями в мундирах и рясах как опасные революционные произведения? Почему же первый роман действительно сыграл громадную объективно революционную роль не только в формировании национального самосознания, но и в вызревании стремления к полному освобождению Филиппин от испанского господства? Это объясняется прежде всего страстностью обличения колониального режима и направленностью глав-

ных ударов именно на те его проявления, которые были особенно ощутимы для всех слоев филиппинского народа и особенно ненавистны ему.

Острые убежденной и непримиримой атаки Рисаль направлено в первую очередь против монашеских орденов и сонма их алчных и коварных представителей. И средствами художественного повествования, и насыщенными дидактическими тирадами Рисаль обрушивается на самых мрачных представителей колонизаторов. И его слова падают на благодатную почву, ибо монашеские корпорации в итоге трехвекового испанского господства превратились в наиболее ненавистных носителей всех форм экономической, политической и идеологической эксплуатации. Сосредоточив в своих руках громадные земельные угодья, ордена и церковь выступали в качестве самых жестоких и ненасытных помещиков. Десятки тысяч арендаторов монашеских земель повседневно и ежечасно испытывали на себе их феодальные методы эксплуатации, помноженные на неограниченные возможности использования в этих целях оружия религии.

Обращение подавляющего большинства филиппинского населения в католичество и беззащитное использование отсталости и суеверий народных масс, отданных на откуп монашескому «просвещению», открывали путь для чудовищных вымогательств.

Не допуская филиппинцев в состав монашеских орденов и отстраняв филиппинских священников-немонахов от всех богатых и многочисленных приходов, «духовные» корпорации превратили и религиозные функции в монополию «чистокровных» испанцев.

Основной принцип национальной политики колонизаторов — воспитание в филиппинцах признания превосходства белых, преклонения перед величием Испании — сочетается с постоянным унижением национального достоинства. И в этом наиболее изобретательными оказывались монахи. Ограниченность и невежество большинства монахов, их разврат и стяжательство мастерски разоблачены Рисалем. Их роль жестоких цензоров и гонителей просвещения и прогресса, их борьба против проникновения на архипелаг даже невинных либеральных произведений из Манилы превращались в непреодолимое препятствие на пути филиппинского народа к знаниям.

В своем боевом антиклерикализме, в саркастическом высмеивании религиозных предрассудков и эрудированном опровержении вымыслов церковников Рисаль, до конца жизни оставав-

шийся верующим, подымался помимо своей воли до подлинного атеизма.

В этом отношении интересны острые аптиклерикальные памфлеты, в которых Рисаль развивает многие из его мыслей, изложенных и в данном романе, и в «Флибустьерах».

Срывая маску со священнослужителей и ниспровергая авторитет монашеских орденов, Рисаль помогал самым широким массам осознать важность борьбы против этой главной опоры колониального режима Испании, осознать то, к чему филиппинцев стихийно толкала и сама жизнь.

Показом зависти и раздоров между монашескими орденами, соперничества и борьбы за приходы и доходы, Рисаль помог филиппинцам понять солидарность орденов в утверждении власти религии и сохранении колониального режима.

Не менее ярко изображены в романе и светские власти, все мелкие тираны, тесно связанные с испанским режимом, от каприза и произвола которых зависела судьба и жизнь каждого филиппинца. И если в первом романе под влиянием неизжитых еще надежд на реформы Рисаль противопоставляет относительное великодушие и либерализм генерал-губернатора монашеским мракобесам-насильникам, то в «Флибустьерах» он уже не жалеет красок для изображения жестокого и тупого повелителя колонии.

Наконец, свидетельством глубокого патриотизма является разоблачение Рисалем той узкой прослойки метисов и филиппинцев, все благополучие которой зиждилось на пресмыкательстве перед колонизаторами, облегчавшими им возможность наживы и эксплуатации народных масс.

Величайшее значение уже первого романа Рисаля заключалось в пронизывавшей все его произведение идее общности интересов самых широких слоев филиппинского населения в борьбе за свои права и за прогресс своей родины. Судьба всех его героев убедительно показывает, что и богатый филиппинец, и представитель народной интеллигенции, и простой крестьянин — все страдают от существующего режима. Каждый из них в любой момент может стать жертвой произвола, лишиться своего имущества, чести, жизни.

Роман, как и все другие произведения Рисаля, звал к единению национальных сил, утверждал любовь к родине и жертвенность во имя ее будущего. Но помимо воли писателя, его произведения звали и на борьбу за эти идеалы, на ту революционную вооруженную борьбу, которая его страшила.

Не удивительно, что именно появление романа Рисаля сделало его имя таким популярным не только в кругах националистической интеллигенции, но и в народе, который тайком читал эту запрещенную властями «крамольную» книгу. И очень характерно, что разоблаченные враги филиппинского народа и сам народ воспринимали Рисаля именно как революционера. Для филиппинских патриотов он становится знаменем грядущей вооруженной борьбы за независимость. Но примечательно, что по мере того как среди передовых элементов трудящихся и среди мелкобуржуазной разночинной интеллигенции росли революционные настроения, многие из соратников по борьбе за реформы и единомышленников Рисаля в начальный период его деятельности расходились с ним. Вернее, они еще оставались на тех же позициях вымалывания реформ у Испании, когда Рисаль уже убедился в бесплодности подобных попыток, осознал, что, лишь организовав национальные силы филиппинцев, можно добиться прогресса и склонить Испанию к уступкам.

Возвращение Рисаля на родину в 1892 году и создание им первой на архипелаге политической организации «Филиппинской Лиги» стало крупной исторической вехой в развитии национально-освободительной борьбы филиппинского народа. И хотя «Лига Филиппин» в соответствии с идеями Рисаля ставила перед собой цель добиваться реформ и прогресса мирным путем, она явилась первой организацией, где наряду с буржуазно-помещичьей интеллигенцией были и выходцы из народа. Цели Лиги и многие ее организационные принципы позднее были восприняты создателями подлинно революционной народной организации Катипунана во главе с «великим плебеем» Андреасом Бонифасио.

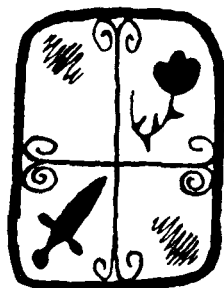
Даже находясь в ссылке, Рисаль продолжал оставаться знаменем революционной организации, все более решительно вступавшей на путь подготовки вооруженного восстания. Накануне восстания посланцы Катипунана тайно прибыли к Рисалю и предложили ему возглавить борьбу. Рисаль отказался, он не верил в возможность победы, его страшили жертвы и гибель сотен и тысяч людей в неравной борьбе. Хотя он к этому времени уже изверился в возможностях мирным путем при сохранении испанского господства добиться свободы и прогресса, он считал восстание еще преждевременным.

В августе 1896 года разразилась национально-освободительная революция, возглавленная Катипунаном. Не связанный с ней непосредственно, Рисаль был предан суду и казнен на Багум-

баянском поле, обогренном кровью многих филиппинских патриотов. Жестокая расправа над любимым поэтом и писателем, ученым и просветителем вызвала еще больший подъем освободительной борьбы и народного гнева.

Филиппинский народ чтит память национального героя и патриота. Его романы и публицистические произведения переиздаются, они и сейчас не потеряли своего значения в борьбе против колониализма, против мрачных сил католической реакции, пытающихся в иных формах, иными средствами укрепить обреченный мир угнетения и эксплуатации.

А. Г у б е р



**НЕ ПРИКАСАЙСЯ
КО МНЕ**

«Разве на сцене у вас появиться
не может ни Цезарь,
Ни Андромаха? Орест иль отважный
Ахилл?»

«Что ты! Герои у нас коммерц—
советник или пастор,
Прапорщик иль секретарь, иль сам
гусарский майор».

«Но я спрошу тебя, друг, что может
случаться с такою
Мелочью? Сам посуди, прок от нее
нам какой?»¹

МОЕЙ РОДИНЕ

Среди человеческих недугов встречаются формы рака столь злокачественного, что даже легкое прикосновение к опухолям обостряет болезнь и причиняет жесточайшую боль. Так вот, всякий раз, когда я, живя в странах современной цивилизации, вспоминал о тебе, родина, — чтобы ощущать твою близость или чтобы сравнивать тебя с другими странами, — ты всегда являлась мне, пораженная таким социальным раком.

Желая тебе здоровья, ибо от него зависит и здоровье твоих сынов, и изыскивая лучший метод лечения, я постою по примеру наших предков, которые выносили больных к церкви, чтобы каждый шедший вознести молитву господу мог предложить свое целительное средство.

Для этого я постараюсь верно и без прикрас изобразить твоё состояние; приподниму завесу, скрывающую недуг, принесю в жертву правде все, даже своё самолюбие, ибо, будучи сыном твоим, я страдаю твоими же болезнями и слабостями.

Европа, 1886.

Автор

¹ Ф. Шиллер. Собрание сочинений, т. I, Стихотворения. Драммы в прозе, М. Гослитиздат, 1955, «Тень Шекспира», перевод Вс. Рождественского.



I

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

В конце октября дон Сантьяго де лос Сантос,— или «капитан Тьяго» *, как его обычно называли,— устраивал прием. Приглашения, вопреки обычаю хозяина, были разосланы лишь после полудня того же дня, однако и в Бинондо, и в других предместьях, и даже в самом городе только и говорили о предстоящем приеме. Капитан Тьяго слыл человеком гостеприимным, и было известно, что двери его дома,— как и его страны,— открыты для всех и вся, если, конечно, речь идет не о торговле и не о какой-нибудь новой и смелой идее.

С быстротой молнии распространилась эта новость в мирке прихлебателей, выскочек и всякой шуперы, которую господь бог сотворил в превеликой своей благодати и с такою заботой размножил в Маниле. Кто принялся начищать ботинки, кто — искать запонки и галстуки, но всех заботила одна мысль: как бы пофамильярнее поздороваться с хозяином дома — чтобы прослыть за его давнего приятеля, — или, коль к слову придется, учтиво извиниться за то, что не удалось приехать пораньше.

Званный ужин состоялся в одном из домов на улице Анлоаге, и хотя мы уже не помним номера, постараемся так описать этот дом, чтобы его можно было узнать, если он еще не уничтожен землетрясениями. Мы не думаем, чтобы хозяин сам приказал его разрушить, ибо такую работу обычно берут на себя в этих краях творец или природа, снимающие многие заботы с плеч нашего правительства.

Дом капитана Тьяго — довольно большое здание обычного для здешних мест вида; он расположен неподалеку от одного из рукавов Пасига *, который иные жители Бипондо называют рекой. Этот рукав, как и все речки Манилы, выполняет многообразную роль: это и баня, и сточная канава, и прачечная, и рыболовная тоня, и средство сообщения, и даже, если так заблагорассудится водопосукитайцу, источник питьевой воды. Заметим, что на этой крупнейшей водной артерии пригорода, на которой царит особенно бурное и беспорядочное движение, имеется (на протяжении более километра) всего лишь один деревянный мост, но шесть месяцев в году он бывает разрушен с одного конца, а в остальное время — затоплен с другого. В жаркую пору лошади пользуются этим постоянным «статус кво», чтобы прыгать с моста прямо в воду к великому изумлению рассеянных седоков, дремлющих в экипаже или философствующих о прогрессе нынешнего века.

Описываемый нами дом немного приземист и чуть кривобок: виною ли тому плохое зрение архитектора или же землетрясения и ураганы — сказать трудно. Широкая, усталая коврами лестница с зелеными перилами ведет из выложенного изразцами вестибюля в первый этаж, а вдоль всей лестницы, на массивных тумбах из пестрых, с фантастическими узорами китайских плиток расставлены вазы с цветами.

Поскольку здесь нет ни привратников, ни слуг, которые попросили или потребовали бы приглашительный билет, поднимемся по лестнице с тобой, о читатель, будь ты друг или враг! Надеюсь, тебя привлекут звуки оркестра, яркий свет, многозначительное позвякивание столовой посуды и приборов, и ты захочешь узнать, каковы бывают приемы в этой Жемчужине Востока*. Я охотно избавил бы тебя от труда читать описание дома, но это невозможно, ибо мы, смертные, в чем-то подобны черепахам: нас оцекивают и классифицируют по нашим панцирям — домам; этой особенностью, а также некоторыми другими похожи на черепах и жители Филиппин.

Поднявшись по лестнице, мы сразу оказываемся в просторном зале, который нынешним вечером служит одновременно столовой и музыкальным салоном. Посередине его стоит стол, уставленный роскошными и обильными яствами; он будто зазывно подмигивает лизоблюду и грозит робкой девушке, простой «далаге», двумя часами, которые надо отсидеть в обществе чужих людей, чьи разговоры ей страшны и непонятны. Контрастом к сим греховным приготовлениям служат развешанные по стенам яркие картины на религиозные темы, например: «Чистилище», «Ад», «Судный день», «Смерть праведника», «Смерть грешника». На заднем плане, в великолепной изящной раме эпохи Возрождения красуется весьма примечательный холст огромных размеров, на котором изображены две старухи... Подпись гласит: «Пресвятая дева, Умиротворительница и Покровительница путников*, чтимая в Антиполо, посещает в облике нищенки занемогшую капитаншу Инес, известную своим благочестием». Композиция эта не пленяет ни вкусом, ни мастерством, зато натуральности в ней хоть отбавляй: больная скорее похожа на разлагающийся труп, ибо лицо ее написано в голубых и желтых тонах, а пузырьки с лекарствами и прочие эксцессы затаянных болезней, выписаны так тщательно, что можно определить, чем они наполнены. Созерцая подобные весьма способствующие пищеварению картины, можно подумать, что лукавый хозяин дома, зная нравы своих гостей и желая отвлечь их мысли от еды, нарочно развесил на потолке забавные китайские фонарики, птичьи клетки, цветные стеклянные шары — красные, зеленые и голубые, — сухие вяющиеся растения, надутые воздухом чучела рыб, называемые «ботете» и т. п.

А с той стороны зала, что обращена к реке, сооружены причудливые деревянные арки, не то в китайском, не то в европейском вкусе, через которые видна терраса с зелеными беседками и навесами, тускло освещенная бумажными фонариками всех цветов.

В зале, среди огромных зеркал, под сверкающими люстрами, собрались приглашенные к ужину; там, на сосновых подмостках, стоит великолепный рояль, купленный за умопомрачительную цену, а нынешним вечером ему и вовсе цены нет, так как на нем никто не играет. Там висит большой, написанный маслом портрет приятного на вид человека во фраке, подтянутого, сухопарого, прямого, как тот жезл с кистями, который он держит в своих негнущихся, униженных перстнях пальцах. Портрет словно говорит: «Хм, поглядите-ка, какой я нарядный и важный!»

Мебель красива, но не слишком удобна и даже небезопасна для здоровья в этих широтах; хозяин, видимо, больше печется о великолепии дома, чем о приглашенных. «Может, вы и подхватите какую-нибудь заразу, но вы сидите в европейских креслах, а это не часто случается!» — словно говорит он им.

Зал уже почти полон. Мужчины группируются отдельно от женщин, как в церквях или синагогах. Женщины — несколько молодых испанок и филиппинок — судорожно кривят губы, с трудом подавляя зевоту, и быстро прикрывают рты веерами. Они словно нехотя перебрасываются отдельными словами: любой разговор тут же распадается на междометия и затухает, как те шорохи, что слышатся по ночам в домах, где водятся ящерицы и мыши. Не изображения ли мадонн, развешанные по стенам, заставляют их хранить молчание и проявлять благочестивую сдержанность или, может быть, здешние женщины — исключение из правила?

Дам в качестве хозяйки принимает кузина капитана Тьяго, кроткая старушка, довольно плохо говорящая по-испански. Вся ее светскость и заботы о гостях сводятся к тому, чтобы предлагать испанкам коробки с сигарами и буйо, а филиппинкам протягивать для поцелуя руку, точь-в-точь как делают монахи. Бедной старушке все это в конце концов наскучило и, воспользовавшись тем, что кто-то из слуг разбил блюдо, она, пробормотав: «Господи Иисусе! Погодите же, негодники!» — поспешно удалилась.

Что касается мужчин, то они ведут себя более шумно. В одном углу несколько молодых военных негромко, но оживленно беседуют между собой, то и дело поглядывая на кого-нибудь в зале, и довольно открыто пересмеиваются. В отличие от них два иностранца в белых костюмах прогуливаются молча, заложив руки за спину, из одного конца зала в другой, будто скучающие пассажиры на палубе корабля. Наибольшее оживление царит в кружке, состоящем из двух священнослужителей, двух штатских и одного военного: все они собрались у столика, где расставлены бутылки с вином и сапдвичи.

Военный — высокий старик в чине лейтенанта, со строгим лицом — похож на герцога Альбу *, облаченного в жандармский мундир. Он говорит мало, отрывисто и веско.

Один из священнослужителей — молодой доминиканец *, такой же красивый, изящный и заметный, как его очки в золотой оправе, — не по летам серьезен. Это отец Сибила, священник прихода Бинондо, бывший до того проповедником в Сан Хуан де Летран *. Он пользуется славой искусного полемиста. Когда в былые времена сыновья Гусмана * еще отваживались состязаться в хитроумных диспутах с церковниками, сам знаменитый спорщик Б. де Луна никогда не мог ни сбить его, ни запутать и оказывался беспильным перед его аргументами, как рыбак, который хочет поймать угря на аркан. Отец Сибила говорит мало, тщательно взвешивая слова.

Другой, священник-францисканец отец Дамасо, напротив, говорит много, а жестикулирует еще больше. Несмотря на то что волосы у него уже начали седеть, его массивная фигура не утратила юношеской подвижности. Правильные черты лица, пронзительный взгляд, крепкие челюсти и богатырское телосложение придают ему вид переодетого римского патриция. Невольно вспоминается один из трех монахов, описанных Гейне в повелле «Боги в изгнании». Переплывая в полночь во время осеннего равноденствия озеро в Тироле, они всякий раз опускали в руку бедного лодочника серебряную, холодную, как лед, монету, наполнявшую его душу ужасом. Однако отец Дамасо вовсе не такое загадочное существо, как монахи Генриха Гейне, он очень жизнерадостен. Правда, говорит он резко, тоном человека, не желающего прикусывать себе язык и уверенного в том, что его слова — святая и цезыб-

лемая истина. Впрочем, веселая, открытая улыбка сглаживает первое неприятное впечатление. Кое-кто из гостей даже готов был простить ему появление в зале без носков и не замечать его волосатых ног, которые принесли бы немалый доход Мендиете на празднике в Киапо *.

Один из штатских — маленький человечек с черной бородой и весьма примечательным носом, который, судя по размерам, должен был украшать какое-нибудь другое лицо. Второй — светловолосый юноша, наверное, недавно прибывший на Филиппины; с этим последним францисканец о чем-то горячо спорит.

— Вы еще увидите, — говорит монах, — поживете здесь месяца два, и убедитесь в моей правоте: одно дело писать указы там, в Мадриде, другое — сидеть на Филиппинах!

— Однако...

— Я, например, — продолжает отец Дамасо, возвышая голос, чтобы не дать собеседнику вставить слово, — я кручусь и верчусь здесь уже двадцать три года и знаю, что говорю. Меня не собьете никакими теориями и рассуждениями, я хорошо разбираюсь в индейцах *. Едва успел я приехать в эту страну, меня назначили в один маленький городок. Я тогда еще плохо говорил по-тагальски *, но уже исповедовал женщин, и мы прекрасно понимали друг друга. Они меня так полюбили, что когда через три года меня перевели в другой городок покрупнее, где умер священник-тагал, все женщины ревели, осыпали меня подарками, провожали с музыкой...

— Но это как раз и показывает...

— Постойте, постойте! Не спешите! Мой преемник пробыл там меньше, чем я, а когда уезжал, его провожали еще лучше, плакали еще больше и музыка играла громче, а ведь он бил их сильнее и увеличил плату за требы почти в два раза.

— Однако, позвольте мне...

— Более того, в городке Сан-Диего я пробыл двадцать лет и только несколько месяцев назад я его... оставил (тут отец Дамасо заметно помрачнел). Двадцати лет вполне достаточно, — против этого никто не станет возражать, — вполне достаточно, чтобы узнать народ. В Сан-Диего шесть тысяч душ, и я знал каждого жителя так, словно сам родил его и выходил: знал на какую ногу хро-

мает этот, на какую мозоль жалуется тот, с кем путается та или иная девка, кто настоящий отец ребенка и так далее, ибо я исповедовал там каждую тварь и они не смели увильнуть от исполнения своего святого долга. Пусть Саптьяго, хозяин дома, скажет, правду я говорю или нет; у него там много земель, как раз в этом городишке мы с ним и подружились. Так вот, поглядите, каков здешний индеец: когда я уходил оттуда, меня провожали всего несколько старух и кое-кто из братьев-терциариев *, и это после двадцати-то лет!

— Но я не понимаю, какое это имеет отношение к отмене табачной монополии! — вставил светловолосый, воспользовавшись паузой, пока францисканец опрокидывал в горло рюмку хереса.

Отец Дамасо от неожиданности едва не выронил рюмку из рук. Секунду он молча взирал на юношу.

— Как же так? Как же так? — наконец воскликнул он с изумлением. — Да неужто вы не видите того, что ясно как божий день? Все это неоспоримо доказывает, сколь неразумны реформы наших министров!

На этот раз был поражен светловолосый; лейтенант нахмурил брови, маленький человечек покачал головою, не то одобряя слова отца Дамасо, не то опровергая их. Доминиканец же только повернулся спиной ко всем.

— Вы полагаете?... — весьма серьезно промолвил молодой человек, глядя с любопытством на монаха.

— Полагаю ли? Да, верю, как в Евангелие! Индейцы необычайно ленивы.

— Извините, что я вас прерываю, — сказал юноша, понижая голос и придвигая ближе свой стул. — Вы произнесли одно слово, которое меня заинтересовало. Действительно ли существует врожденная лень индейцев или происходит то, о чем говорит один путешественник-иностранец: этой их ленью мы якобы оправдываем свою собственную перадивость, свою отсталость, свою колониальную систему? Он, правда, говорил о других колониях, населенных людьми той же расы...

— Ха! Завистники! Спросите-ка у сеньора Ларухи, он тоже знает страну, спросите-ка у него — есть ли на свете более невежественный и ленивый народ, чем эти индейцы!

— В самом деле, — ответил маленький человечек, оказавшийся тем, на кого сослался монах. — Нигде на земле

вы не встретите большого ленивца, чем здешний индеец, нигде!

— Ни большого нечестивца, ни большого наглеца!

— Ни большого невежды!

Светловолосый юноша с беспокойством оглянулся.

— Сеньоры,— сказал он тихо,— мне кажется, мы находимся в доме индейца. Эти сеньориты...

— Ну, не будьте слишком щенетильны! Сантьяго не считает себя индейцем, к тому же его здесь нет, впрочем... хотя бы и был. Это у вас обычные страхи всех вновь прибывших. Погодите, пройдет несколько месяцев, и вы измените свое мнение, когда побываете на здешних праздниках и байлуханах, поспите на циновках и поедите тинолы.

— Тинола — это, наверное, какой-нибудь фрукт, вроде лотоса? Он что... тоже как бы... отшибает память у людей?

— Это ни лотос, ни лотó, — рассмеялся отец Дамасо. — Вы, любезный, пальцем в небо попали. Тинола — это хлебка из курицы с тыквой. Сколько времени вы уже здесь?

— Четыре дня, — ответил юноша несколько обиженно.

— Приехали сюда служить?

— Нет, сеньор; я приехал по своей воле, чтобы познакомиться со страной.

— Ну и чудак! — воскликнул отец Дамасо, глядя на него с любопытством. — Приехал по своей воле ради такой чепухи! Дивное диво! Когда есть столько книг!.. Только имей голову на плечах... Этого вполне достаточно, чтоб вот такие толстые книги писать! Только голову на плечах имей...

— Вы сказали, ваше преподобие, — вмешался вдруг доминиканец, — что вы двадцать лет пробыли в городке Сан-Диего и покинули его... Вашему преподобию, верно, не понравился город?

Услышав вопрос, заданный самым естественным, почти небрежным тоном, отец Дамасо вдруг утратил веселое расположение духа и перестал улыбаться.

— Нет! — буркнул он и резко откинулся на спинку кресла.

Доминиканец продолжал с еще более безразличным видом:

— Должно быть, тяжело оставлять город, в котором пробыл двадцать лет и который знаешь вдоль и поперек,

как собственную рысу. Мне, например, жаль было покидать Камилинг, хоть я прожил там всего несколько месяцев, однако высшие власти распорядились так во благо ордена... и для меня вышло тоже к лучшему.

Впервые за весь вечер лицо отца Дамасо стало очень серьезным. Он вдруг ударил кулаком по спинке кресла и, шумно вздохнув, воскликнул:

— Либо есть церковь, либо ее нет! Вот что. Либо священники свободны, либо нет! Страна погибает, она уже погибла! — И он еще раз стукнул по креслу кулаком.

Все гости обернулись в изумлении; доминиканец откинул голову назад и взглянул на него из-под очков. Оба иностранца, гулявшие по залу, на миг остановились, переглянувшись с легкой усмешкой.

— Он расстроился потому, что вы не назвали его «ваше преподобие»! — прошептал на ухо светловолосому юноне сеньор Ларуха.

— Что вы хотите сказать, ваше преподобие? Что с вами? — спросили доминиканец и лейтенант одновременно, однако различным тоном.

— Потому-то и обрушиваются на нас громы небесные! Правители наши поддерживают еретиков против служителей господ бога! — продолжал францисканец, потрясая своими огромными кулаками.

— Что вы хотите сказать? — снова спросил, нахмурив брови и приподнявшись со стула, лейтенант.

— Что я хочу сказать? — повторил отец Дамасо, повышая голос и глядя лейтенанту прямо в глаза. — Я говорю то, что хочу сказать! Я... я хочу сказать, что если священник выбрасывает с кладбища труп еретика, никто, даже сам король, не имеет права вмешиваться. А этот генералишка, этот генералишка!.. Наказание божие!..

— Падре, его превосходительство — королевский наместник! — вскричал военный и вскочил на ноги.

— Не знаю ни превосходительства никакого, ни наместника королевского! — ответил францисканец, тоже вставая с кресла. — В другие времена этого наместника спустили бы с лестницы, как это однажды сделали наши братья с печестивым губернатором Бустаменте*. Да, то были времена истинной веры!

— Предупреждаю вас, что я не позволю... Его превосходительство представляет здесь его величество короля!

— Ни короля, ни ладью! Для нас не существует иного короля, кроме законного... *

— Стой! — угрожающе закричал лейтенант, словно отдавая команду солдатам. — Либо вы возьмете свои слова назад, либо завтра же утром я доложу обо всем его превосходительству!

— Идите сейчас, идите, докладывайте! — саркастически ответил отец Дамасо, приближаясь к лейтенанту со сжатыми кулаками. — Вы думаете, если на мне ряса, то я с вами не справлюсь?.. Поезжайте, я дам вам свою коляску!

Дело начало принимать комический оборот, но тут, к счастью, вмешался доминиканец.

— Сеньоры, — сказал он властно и тем гнусавым голосом, который обычно отличает монахов. — Не следует смешивать разные вещи и выискивать оскорбления там, где их нет. Мы должны делать различие между словами отца Дамасо-человека и отца Дамасо-священника. Слова священнослужителя, как таковые, *per se*¹, никогда не могут оскорбить, ибо они зиждятся на абсолютной истине. Слова же человека следует подразделять на те, что произносятся *ab ipso*², те, что произносятся *ex ore*³, но не *in corde*⁴, и те, что произносятся *in corde*. Лишь эти последние могут обидеть, и только тогда, если уже *in mente*⁵ они были предопределены какой-то побудительной причиной или сорвались *per accidens*⁶ в пылу полемики, если есть...

— Я-то знаю *per accidens* и *per mi*⁷, каковы тут побудительные причины, отец Сибила! — прервал военный, чувствуя, что запутывается в тонкостях схоластики, и боясь, как бы в конце концов самому не оказаться виновным. — Я знаю побудительные причины, и вы, ваше преподобие, правильно их оцените. Во время отлучки отца Дамасо из Сан-Диего викарий похоронил одного весьма достойного человека... да, весьма достойного, я не раз имел с ним дело и был принят в его доме. Он, говорят, никогда не исповедовался... Ну, и что? Я тоже никогда не испо-

¹ Сами по себе (лат.).

² В гневе (лат.).

³ Устами, вслух (лат.).

⁴ В сердце (лат.).

⁵ В уме (лат.).

⁶ Случайно (лат.).

⁷ Для себя (искаж. лат.)

ведуюсь... Однако то, что он кончил жизнь самоубийством, ложь, клевета. Такой человек, как он, имеющий сына, которому он отдал всю свою любовь, на которого возложил все свои надежды, человек, верующий в бога, исполняющий свой долг по отношению к обществу, человек честный и справедливый, — не может быть самоубийцей. Так мне кажется, а об остальном я умалчиваю, и будьте мне за то благодарны, ваше преподобие.

Повернувшись спиной к францисканцу, он продолжал:

— Так вот, этот священник по возвращении в город взгрел бедного викария, заставил разрыть могилу, вынести тело с кладбища и закопать его бог знает где. Жители Сан-Диего оказались настолько трусливыми, что не протестовали. Правда, немногие знали о происшедшем — у покойного не было там ни одного родственника, его единственный сын находится в Европе. Но его превосходительство узнал об этом; будучи человеком, не терпящим несправедливости, он потребовал наказания... и отца Дамасо перевели в другой городок. Вот и все. А теперь, ваше преподобие, можете вдаваться во все ваши тонкости.

Промолвив это, он отошел в сторону.

— Весьма сожалею, что, не зная этой истории, затронул такой деликатный предмет, — сказал с огорчением отец Сибила. — Но в конце концов, перемена места принесла вам только пользу...

— Какую там пользу! А сколько теряешь при переселениях... и бумаги... и... и вообще все идет прахом! — злобно буркнул отец Дамасо.

Позже беседа приняла более спокойный характер.

Между тем появились новые гости и среди них — пожилой, хромой испанец с добрым и кротким лицом, он вошел, опираясь на руку немолодой, одетой по-европейски филиппинки с размалеванными щеками и фальшивыми буклями.

Уже знакомые нам обитатели гостинной радушно приветствовали чету и усадили доктора де Эспаданья и его супругу донью Викторину рядом с собой. В этой пестрой компании можно было заметить также нескольких журналистов и купцов, которые здоровались со всеми и со скужающим видом слонялись из угла в угол.

— Не могли бы вы мне сказать, сеньор Ларуха, что за человек наш хозяин? — спросил белокурый юноша. — Я ему еще не представлен.

— Говорят, он куда-то уехал, я тоже его не видел.
— Нет тут никакой надобности в представлениях! — вмешался отец Дамасо. — Сантьяго — человек простедкий.
— Да, пороха он не изобретет, — добавил Ларуха.
— Вы уж скажете, сеньор Ларуха! — нежно упрекнула его донья Викторина, обмахиваясь веером. — Как же может бедняга изобрести порох, если его, говорят, уже давным-давно изобрели китайцы?

— Китайцы! Вы что — спятили? — воскликнул отец Дамасо. — Чепуха! Его изобрел францисканец из нашего ордена, брат... как его там... Савальс *, в... седьмом веке!

— Францисканец? Ну, и что же; он, наверное, был миссионером в Китае, этот самый отец Савальс, — сказала докторша, которую не так-то легко было переубедить.

— Шварц, хотите вы сказать, сеньора, — заметил отец Сибила, не глядя на нее.

— Не знаю, отец Дамасо сказал «Савальс»; я только повторяю!

— Ну и прекрасно! Савальс или Чевас, не все ли равно? Одна буква не сделает его китайцем! — раздраженно возразил францисканец.

— И не в седьмом, а в четырнадцатом веке, — прибавил доминиканец поучающим тоном, словно желая уязвить самолюбие собеседника.

— Пускай, веком больше, веком меньше, — от этого он не станет доминиканцем!

— О, не сердитесь, ваше преподобие! — сказал отец Сибила, улыбаясь. — Тем лучше, что порох уже изобретен Шварцем: ваши братья избавлены от этого труда.

— Вы говорите, отец Сибила, — в четырнадцатом веке? — вдруг оживилась донья Викторина. — А когда это было: до или после рождества Христова?

К счастью для доминиканца, появление двух новых лиц прервало разговор.

II

КРИСОСТОМО ИБАРРА

Вновь вошедшие не были прекрасными девушками в нарядных одеждах, но взоры всех, даже отца Сибила, устремились к ним; не были они похожи и на его превосходительство генерал-губернатора с адъютантом, тем не менее лейтенант очнулся от своих мыслей и шагнул им

навстречу, а отец Дамасо почему-то вдруг словно окаменел: в зал вошел всего-навсего оригинал портрета мужчины во фраке, и вел он под руку юношу, одетого в траур.

— Добрый вечер, сеньоры! Добрый вечер, падре! — сказал капитан Тьяго, целуя руки священнослужителей, которые даже забыли дать ему благословение.

Доминиканец спял очки, чтобы лучше разглядеть вошедшего юношу, а отец Дамасо сидел с бледным лицом и широко раскрытыми глазами.

— Имею честь представить вам дону Крисостомо Ибарру, сына моего покойного друга! — продолжал капитан Тьяго. — Этот сеньор только что вернулся из Европы, и я отлучался, чтобы встретить его.

Когда капитан Тьяго произнес имя гостя, раздались возгласы изумления; лейтенант, забыв поздороваться с хозяином дома, приблизился к юноше и оглядел его с головы до ног. Последний обменялся обычными словами приветствия с каждым из присутствующих. В его внешности также не было ничего необычного, кроме черного костюма, выделявшегося на фоне светлых одежд. Однако от его стройной фигуры и его лица словно веяло ароматом молодости и здоровья — телесного и душевного. По лицу юноши, открытому и радужному, можно было догадаться о его испанском происхождении: смуглая кожа отливала легким румянцем на щеках, что, впрочем, могло быть и следствием долгого пребывания Ибарры в северных странах.

— Вот так сюрприз! — воскликнул юноша с радостным удивлением. — Священник из нашего города! Отец Дамасо, близкий друг моего отца!

Взгляды всех устремились на францисканца: тот не двигался с места.

— Извините, я, кажется, ошибся! — смутился Ибарра.

— Ты не ошибся! — ответил наконец отец Дамасо глухим голосом. — Но твой отец никогда не был моим близким другом.

Ибарра, ошеломленно взглянув на монаха, медленно опустил протянутую было руку, затем повернулся и увидел перед собой сурового лейтенанта, пристально смотревшего на юношу.

— Молодой человек, вы — сын дона Рафаэля Ибарры?

Юноша поклонился.

Отец Дамасо слегка приподнялся в кресле и в упор взглянул на лейтенанта.

— Добро пожаловать на родину, и да принесет она вам больше счастья, чем вашему отцу! — воскликнул военный с дрожью в голосе. — Я знал его, часто виделся с ним, и могу сказать, что отец ваш был одним из самых достойных и порядочных людей на Филиппинах.

— Сеньор, — взволнованно ответил Ибарра, — ваши похвалы моему отцу рассеивают мои сомнения по поводу его смерти, ибо мне, его сыну, еще неизвестны ее причины.

Глаза старика наполнились слезами, он отвернулся и поспешно вышел из зала.

Юноша остался в одиночестве посредине зала: хозяин дома куда-то исчез, и поблизости не было никого, кто мог бы представить его сеньоритам, а те с интересом посматривали на него. После минутного колебания он с изящной непринужденностью сам обратился к ним.

— Разрешите мне, — сказал он, — нарушить правила строжайшего этикета. Семь лет я не был на родине и, возвратившись, не могу не засвидетельствовать свое уважение ее самому дивному украшению — ее женщинам.

Однако ни одна из них не отважилась ответить на его приветствие, и юноша был вынужден отойти. Он направился к группе каких-то кабальеро, которые, заметив его приближение, встали полукругом.

— Сеньоры, — сказал Ибарра. — В Германии есть такой обычай: если в обществе появляется незнакомый человек и рядом нет никого, кто бы его представил, то он сам называет себя и представляется, на что другие отвечают подобным же образом. Разрешите мне воспользоваться этим правилом — не потому, что я хочу вводить тут иностранные обычаи, ибо наши обычаи также превосходны, а потому, что я просто вынужден прибегнуть к нему. Я уже приветствовал небо и женщин моей страны, теперь я хочу приветствовать ее граждан, моих соотечественников. Сеньоры, меня зовут Хуан-Крисостомо Ибарра-и-Магсалин!

Те, к кому он обратился, пазвали свои имена, более или менее значительные, более или менее известные.

— Мое имя А.! — сухо вымолвил один молодой человек, едва поклонившись.

— Не имею ли я чести говорить с поэтом, чьи произведения всегда заставляли меня с волнением думать о родине? Мне сказали, что вы уже больше не пишете, но не смогли объяснить почему...

— Почему? Потому что вдохновение не призывают для того, чтобы лгать и пресмыкаться. Кое-кто уже заплатился, и только за то, что в своих стихах отразил прописную истину. Меня называли поэтом, но никогда не назовут безумцем.

— А нельзя ли узнать, что же это за истина?

— Тот неудачник сказал, что сын льва тоже лев; его едва не отправили в изгнание.

И странный молодой человек удалился.

В зал быстрыми шагами вошел мужчина с приятным лицом, одетый так, как одеваются местные жители, с брильянтовыми пуговками на манишке. Он приблизился к Ибарре и протянул руку:

— Сеньор Ибарра, я очень хотел познакомиться с вами; капитан Тьяго — мой большой друг, а вашего достопочтенного отца я тоже знал... меня зовут капитан Тинонг, живу я в Тондо, неподалеку от вашего дома; надеюсь, что вы удостоите меня своим визитом; приходите завтра к нам обедать!

Ибарра был в восторге от такой любезности; капитан Тинонг улыбался и потирал руки.

— Благодарю, — ответил юноша с горячностью, — но завтра я уезжаю в Сан-Диего.

— Как жаль! Что ж, приходите, когда вернетесь!

— Кушать подано! — провозгласил лакей из кафе «Колокол».

Публика зашевелилась и тронулась с места, хотя женщины, особенно филиппинок, пришлось просить к столу довольно долго.

III

УЖИН

*Jele Jele bago quiere*¹.

Отец Сибила в прекрасном расположении духа спокойно шел к столу; его поджатые тонкие губы уже не кривились в пренебрежительной усмешке; он даже удостоил вниманием доктора де Эспаданья, который отвечал ему

¹ Он говорит, что не хочет как раз того, чего ему на самом деле хочется (*тагальск.*).

мужем поженились, мы тотчас телеграфировали в Испанию.

— Сеньора, эти последние годы я был на севере Европы: в Германии и русской Польше.

Доктор де Эспаданья, до сих пор не решавшийся вымолвить слово, счел уместным вмешаться.

— Я з...знал в Испании одного поляка из Ва...Варшавы по имени Стадницкий, если не ошибаюсь; вы его с...случайно не встречали? — спросил он робко, краснея от смущения.

— Очень возможно, что встречал, — вежливо ответил Ибарра, — но сейчас не припомню.

— Вы его, однако не м...могли ни с кем другим с...спутать! — прибавил доктор, набравшись храбрости. — Волосы у него как золото, и он очень плохо говорит по-испански.

— Приметы запоминающиеся, но я, к сожалению, ни слова не говорил там по-испански, разве что в некоторых консульствах.

— И как же вы обходились без языка? — спросила пораженная дочь Викторина.

— Я объяснялся на языке той страны, где жил, сеньора.

— Вы и по-английски говорите? — спросил доминиканец, который жил в Гонконге и бегло говорил на пиджин-инглиш *, этом исковерканном сынами Небесной империи * языке Шекспира.

— Я пробыл год в Англии среди людей, говорящих только по-английски.

— Какая же страна в Европе больше всего вам нравится? — спросил светловолосый юноша.

— После Испании, моей второй родины, — любая свободная страна Европы.

— Вот вы много путешествовали... что же показалось вам наиболее примечательным? — спросил Ларуха.

Ибарра, казалось, призадумался.

— Примечательным? В какой же области?

— Например... в жизни этих народов... в социальной, политической и религиозной жизни — в частности или в целом...

Ибарра довольно долго собирался с мыслями.

— Откровенно говоря, меня там ничто не поразило, кроме их национального тщеславия... Перед тем как посе-

тить страну, я усердно изучал ее историю, так сказать, ее «Исход» *, и потому мне все казалось там вполне естественным. Я всякий раз убеждался в том, что процветание или нищета народов прямо связаны с имеющимися у него свободами и его устремлениями, и следовательно, с жертвами, принесенными его предками, или с их эгоизмом.

— И это все, что ты там разглядел? — спросил, насмешливо осклабясь, францисканец, который с самого начала ужина не проронил ни слова, — возможно, из-за того, что был слишком занят едой. — Нечего было швырять на ветер деньги, чтобы узнать такую ерунду! Любой школяр это знает!

Ибарра не нашелся сразу что ответить; остальные, удивленно переглядываясь, ждали скапдала. «Ужин идет к концу, и его преподобие, видно, хлебнул лишнего», — едва не сорвалось у юпоши с языка, но он сдержался и сказал лишь следующее:

— Сеньоры, пусть вас не удивляет фамильярность, с какой обратился ко мне наш прежний священник: так он разговаривал со мной, когда я был ребенком; видно, годы проходят бесследно для его преподобия. Но я за это ему лишь благодарен, потому что мне живо вспоминаются те дни, когда его преподобие частенько бывал в нашем доме и не брезговал столом моего отца.

Доминиканец украдкой взглянул на францисканца, затрясшегося от гнева. Ибарра продолжал:

— Разрешите мне покинуть вас, так как я только что прибыл и завтра утром должен уже уехать отсюда, а у меня еще много дел. Ужин, можно сказать, окончен, а вина я почти не пью, тем более ликеров. Сеньоры, за Испанию и Филиппины!

И он выпил рюмку, к которой до сих пор не при­­тра­­ги­­вал­­ся. Старый лейтенант молча последовал его примеру.

— Не уходите! — шепнул ему капитан Тьяго. — Сейчас придет Мария-Клара: Исабель пошла за нею. Должен явиться и новый священник нашего городка, он — просто святой.

— Я зайду завтра перед отъездом! Сегодня мне необходимо нанести один очень важный визит.

И он удалился. Францисканец меж тем кипел от ярости.

— Вы видели? — говорил он белокурому молодому человеку, размахивая десертным ножом. — Вот она, гордыня! Не могут стерпеть, когда их бранит священник! Уже мнят себя важными птицами! Бед не оберешься от этой скверной затеи — посылать мальчишек в Европу! Правительство должно положить этому конец.

— А лейтенант-то каков? — проговорила донья Викторина, поддакивая францисканцу. — Весь вечер просидел с кислой физиономией. Хорошо, что наконец ушел. Старик, а всего лишь лейтенант!

Сеньора не могла простить ему оттоптаных оборок своих юбок и намека на фальшивые кудряшки.

Тем же вечером белокурый молодой человек записал в своих «Колониальных очерках», кроме всего прочего, название следующей главы: «Как куриная шейка и крылышко в тарелке монаха могут омрачить веселье праздничного вечера». Среди его записей были такие: «На Филиппинах самым нелюбимым лицом на праздниках и вечерах считается тот, кто их устраивает: хозяина дома можно выставить на улицу, и гости от этого ничего не потеряют»; «При нынешнем положении вещей следовало бы, по-видимому, запретить филиппинцам — для их же блага — выезжать из своей страны и обучаться грамоте».

IV

ЕРЕТИК И ФЛИБУСТЬЕР

Ибарра минуту стоял в нерешительности. Однако вечерний ветерок, который в это время года бывает в Маниле довольно свеж, казалось, развеял облако, нависшее над ним; юноша снял шляпу и вздохнул.

Мимо него мчались экипажи, тащились, словно катафалки, наемные кареты, спешили прохожие разных национальностей. То ускоряя шаг, то останавливаясь, — так ходят люди, погруженные в свои мысли, или бездельники, — Ибарра держал путь к площади Бинондо, он то и дело оглядывался по сторонам, как бы что-то разыскивая. Те же улицы с теми же домами, выкрашенными белой и голубой краской, с побеленными или скверно разрисованными под гранит оградами, на колокольне красуется все тот же освещенный изнутри циферблат; ничуть не изме-

нились и лавочки китайцев с их грязными занавесками и железными решетками, одну из которых он сам погнул как-то вечером, подражая озорникам из Манилы: решетку так никто и не исправил.

— Как медленно все движется! — прошептал он и свернул на улицу Сакристия.

Продавцы шербета все так же кричали: «Шербе-е-ет!» Все так же факелы «уэпес» освещали ларьки китайцев и торговков фруктами и съестным.

— Это просто чудо! — вдруг воскликнул он. — Тот же самый китаец, что стоял тут семь лет назад, и старуха... все та же! Можно подумать, что семь лет, проведенные в Европе, были просто сном!.. Господи боже! Этот вывороченный камень так и лежит здесь, как прежде!

В самом деле, камень на углу улиц Сан-Хасинто и Сакристия так и не был вделан в тротуар.

В то время как Ибарра созерцал эти чудеса устойчивости в стране, где все так неустойчиво, чья-то рука мягко легла на его плечо. Он поднял голову и увидел старого лейтенанта, который наблюдал за ним, едва заметно улыбаясь: на лице военного уже не было прежнего сурового выражения, а складка между густыми бровями разгладилась.

— Молодой человек, будьте осторожны! Помните о судьбе вашего отца, — сказал старик.

— Простите, но мне кажется, вы очень уважали моего отца... Не могли бы вы рассказать мне, как он умер? — спросил Ибарра, глядя ему в глаза.

— Разве вам неизвестно? — спросил военный.

— Я спрашивал дона Сантьяго, но он обещал мне сообщить обо всем только завтра. Не знаете ли вы случайно?

— Еще бы, ведь об этом все знают! Он умер в тюрьме!

Юноша отступил на шаг и уставился на лейтенанта.

— В тюрьме? Кто умер в тюрьме? — спросил он.

— Да отец ваш; он был арестован! — ответил, слегка смутившись, военный.

— Мой отец... в тюрьме, арестованный? Что вы говорите? Вы знаете, кто был мой отец? Вы с ума...? — вскричал юноша, схватив военного за руку.

— Мне кажется, я не ошибся; я имею в виду дона Рафаэля Ибарру.

— Да, дон Рафаэль Ибарра! — повторил юноша еле слышно.

— Но я думал, что вам все известно! — пробормотал военный с состраданием в голосе, поняв, что происходит в душе Ибарры. — Я полагал, что вы... однако мужайтесь! Здесь нельзя быть честным человеком и не попасть в тюрьму!

— Надо думать, что вы не шутите со мною, — ответил юноша тихо, после нескольких секунд молчания. — Не скажете ли вы, за что же он попал в тюрьму?

Старик, казалось, обдумывал ответ.

— Меня очень удивляет, что вам ничего не сообщили о делах вашей семьи.

— В своем последнем прошлогоднем письме отец писал мне, чтобы я не беспокоился, если не буду получать от него известий, ибо он очень занят; советовал мне продолжать учение... благословлял меня!

— Значит, письмо это он написал вам перед смертью: скоро исполнится год, как мы похоронили его недалеко от родного города.

— За что же был арестован мой отец?

— За весьма доброе намерение. Однако мне надо спешить в казармы; следуйте за мной, я по дороге расскажу вам все, что знаю. Обопритесь о мою руку.

Некоторое время они шли молча; старик сосредоточенно пощипывал бородку, словно собираясь с силами.

— Как вы сами хорошо помните, — начал он, — ваш отец был самым богатым человеком в провинции, и, хотя многие любили и почитали его, были у него недруги и завистники. Мы, испанцы, приезжающие на Филиппины, к несчастью, не таковы, какими должны быть. Мои слова относятся и к одному из ваших же предков, и к врагам вашего отца. Всеми виной постоянные перемены, разложение высших кругов, фаворитизм, сокращение морского пути и удешевление проезда: сюда приезжают из Испании отбросы общества, а если и попадается порядочный человек, то здесь он быстро портится. Так вот, у вашего отца было много врагов среди священников и испанцев.

Здесь лейтенант сделал короткую паузу.

— Несколько месяцев спустя после вашего отъезда у него начались нелады и с отцом Дамасо, но истинная причина ссоры мне неизвестна. Священник обвинял его в том, что он не исповедуется. Однако отец ваш и прежде

никогда не исповедовался, и тем не менее они оставались друзьями, как вы помните. Кроме того, покойный дон Рафаэль был честнее и справедливее многих из тех, кто только и делает, что ходит на исповедь. Он держался весьма строгих нравственных принципов и, упоминая об этой размолвке, обычно говорил мне: «Сеньор Гевара, неужели вы думаете, что бог простит преступление, например убийство, только потому, что вы расскажете об этом священнику, —



тоже, в конце концов, человеку, долг которого хранить тайну? Неужели бог простит вас только потому, что вы устраситесь адского пламени во искупление греха и трусливо пойдете на подлую сделку? У меня другое представление о боге, — говорил он. — Я думаю, что одно зло нельзя исправить другим; нельзя простить злодея после того, как он похнычет или поднесет церкви дары». И отец ваш привел мне такой пример: «Если я убил главу семьи, если сделал его жену несчастной вдовой, а беспечных детишек — беззащитными сиротами, могу ли я удовлетворить извечную Справедливость тем, что дам себя повесить; или поверю тайну кому-то, кто ее сохранит; или оделю щедрым подаянием священников, которые менее всего в нем нуждаются; или куплю индульгенцию; или буду денно и нощно лить слезы? А вдова и сироты? Моя совесть говорит мне, что я обязан заменить им, чем только могу, того, кого я убил, посвятить всю свою жизнь семье, которой принес несчастье. Но даже все это не способно заменить любовь супруга и отца». Так рассуждал ваш отец, всегда поступаая сообразно своей строгой морали, и можно сказать, что он никогда никого не обидел; напротив, он старался хотя бы

частично загладить добрыми делами несправедливость, которую, по его словам, совершили его предки. Но вернемся к разногласиям дона Рафаэля с отцом Дамасо, — они все более и более обострялись. Отец Дамасо поносил его с кафедры, правда не называя имени, что было просто чудом, ибо от этого священника можно всего ожидать. Я предвидел, что рано или поздно случится беда.

Старый лейтенант снова замолчал, но ненадолго.

— В ту пору по провинции разъезжал один бывший артиллерист, которого уволили из армии за невежество и грубость. Так как ему надо было иметь кусок хлеба, а заниматься физическим трудом ему было запрещено, дабы не подрывать наш престиж, престиж испанцев, то он выхлопотал себе, не знаю с чьей помощью, должность сборщика налогов на средства передвижения. У бедняги не было никакого образования, и тагалы быстро его раскусили; испанец, не умеющий ни читать, ни писать, казался им каким-то диковинным зверем. Все потешались над несчастным, который расплачивался унижением за собираемые налоги; он понимал, что служит предметом насмешек, и это еще больше ожесточало его душу, и без того грубую и злобную. Ему подавали расписку, нарочно перевернув ее вверх ногами; он притворялся, что читает, и там, где видел пустое место, чертил каракули, которые выдавали его с головой. Тагалы платили, но потешались; он скрипел зубами, но собирал налоги; озлобленный до крайности, он никого не уважал; с вашим отцом он тоже как-то повздорил, и весьма крупно.

И вот однажды, когда этот человек вертел в руках поданную ему в какой-то лавке бумагу, стараясь понять, где начало и где конец, один школьник стал подталкивать своих приятелей, смеяться и указывать на него пальцем. Сборщик налогов услышал смех и увидел, как серьезные лица присутствующих расплываются в насмешливой улыбке. Он вскинул гневом, быстро обернулся и погнался за мальчишками, которые кинулись врассыпную, крича: «Ба, бе, би, бо, бу...» * Не в силах догнать их, он, разъярившись, швырнул свою палку и попал одному из шалунов в голову, сбив его с ног. Тогда этот изверг подскочил к мальчику и стал топтать его ногами; никто из присутствующих, потешавшихся над ним, не нашел в себе мужества вступить за ребенка. К несчастью, мимо проходил ваш отец. Полный негодования, он подбежал к

сборщику палогов, схватил его за руку и сурово отчитал. У того, верно, потемнело в глазах, он поднял было руку, но ваш отец опередил его и со страшной силой, присущей потомку басков... по словам одних, ударил бывшего артиллериста, по словам других — только оттолкнул его; как бы то ни было, тот покачнулся и, отлетев на несколько шагов, упал и стукнулся головой о камень. Дон Рафаэль спокойно поднял несчастного мальчика на руки и понес его в трибунал. У артиллериста хлынула кровь из горла, и, не придя в себя, он умер через несколько минут. Как и следовало ожидать, вмешалось правосудие, вашего отца арестовали, и все его скрытые враги тотчас сбросили маски. Поились потоки клеветы, его стали обвинять в том, что он еретик и флибустьер *. Слыть еретиком — всегда большое несчастье, но особенно страшно это было в ту пору, когда пост алькальда * провинции занимал человек, который кичился своей набожностью, читал вместе со своими слугами в церкви молитвы громким голосом, наверное, для того, чтобы все его слышали и молились вместе с ним. Однако слыть флибустьером — это еще хуже, чем быть еретиком и прикончить сразу трех сборщиков податей, умеющих читать, писать и разбираться в тонкостях схоластики. Все отшатнулись от вашего отца; его книги и бумаги были изъяты. Ему вменили в вину то, что он подписывался на «Эль Коррео де Ультрамар» * и на мадридские газеты, что он послал вас в немецкую область Швейцарии, что он хранил письма и портрет одного казенного священнослужителя и еще бог знает что сделал! Его обвиняли во всем, даже в том, что он носил тагальскую рубашку, будучи потомком испанцев. Если бы ваш отец был другим, он быстро вышел бы на свободу, ибо нашелся один врач, который объяснял смерть несчастного сборщика кровоизлиянием. Однако вашего отца погубили его богатство, его вера в правосудие и его нелюбовь ко всякого рода беззаконию и несправедливости. Я сам, хоть и считаю отвратительным пользоваться чьей-либо протекцией, явился к генерал-губернатору, предшественнику нынешнего; я обратил его внимание на то, что не может быть флибустьером тот, кто принимает у себя любого испанца, бедняка или эмигранта, предлагая ему кров и стол, и в жилах которого еще кипит благородная испанская кровь. Напрасно я давал голову на отсечение, клялся своей бедностью и офицерской честью, — я добился лишь

того, что меня плохо приняли, еще хуже проводили и наградили кличкой «Помешанный»!

Старик остановился, чтобы перевести дыхание, и, не дождавшись ответа от своего спутника, который слушал его, глядя куда-то в сторону, продолжал:

— По поручению отца вашего я принялся искать защитника. Вначале обратился к известному филиппинскому адвокату, молодому А., но он отказался вести дело. «Я его проиграю,— сказал он мне.— Моя защита может стать поводом для нового обвинения, которое выдвинут против него и, возможно, против меня самого. Обратитесь к сеньору М. Он — оратор страстный, красноречивый, к тому же испанец и пользуется большим авторитетом». Я так и поступил; знаменитый адвокат взял на себя защиту, которую провел блестяще. Но врагов было много, и среди них немало тайных. Лжесвидетели шли толпами, и их клеветнические заявления, которые в любой другой стране рассеялись бы как дым от одного иронического или язвительного замечания защитника, здесь обретали вес и значение. Если адвокату удавалось отвести некоторые обвинения, доказав их противоречивость и несостоятельность, то тотчас же всплывали новые. Отца вашего обвиняли в незаконном присвоении многих земель, у него требовали возмещения убытков; утверждали, что он поддерживает связь с тулисанами * для того, чтобы те не трогали его посевы и стада. Дело наконец так осложнилось и запуталось, что через год никто уже не мог в нем разобраться. В это время алькальд был смещен; пришел другой, который имел репутацию человека справедливого, но, к несчастью, он продержался всего лишь несколько месяцев, а его преемник слишком увлекался чистокровными лошадьми.

Страдания, тревоги, ужасные условия тюремной жизни, а может быть, и душевная боль, испытанная им при виде человеческой неблагодарности, подорвали железное здоровье вашего отца и наградили его недугом, который исцеляется только могилой. И когда все уже должно было завершиться, когда с него должны были снять обвинения в измене родине и убийстве сборщика, он умер в тюрьме в полном одиночестве. Я застал его уже на смертном одре.

Старик умолк. Ибарра не вымолвил ни слова. Меж тем они подошли к воротам казармы. Офицер остановился и, протягивая юноше руку, сказал:

— Подробности, молодой человек, узнаете у капитана Тьяго. А сейчас — спокойной ночи! Мне надо посмотреть — не случилось ли тут чего.

Ибарра с чувством пожал костлявую руку лейтенанта и молча проводил его глазами до дверей. Затем медленно обернулся и, увидев пустую пролетку, махнул кучеру рукой.

— Гостиница «Лала»! — проговорил он едва слышно.

«Наверно, только что из тюрьмы», — подумал про себя кучер, хлестнув лошадей.

V

ЗВЕЗДА ВО МГЛЕ НОЧНОЙ

Ибарра поднялся в свою комнату, выходящую окнами на реку, упал в кресло и устремил взор на просторы, которые открывались перед ним.

Дом напротив, на том берегу реки, был ярко освещен, и до слуха юноши долетали веселые звуки музыкальных инструментов, главным образом струнных. Будь он менее занят своими мыслями и более любопытен, он, возможно, захотел бы посмотреть в бинокль на то, что происходило в залитом светом доме. И тогда он замер бы от восхищения перед одним из тех фантастических видений, тех волшебных зрелищ, которыми порой можно любоваться в больших театрах Европы. Под звуки тихой музыки в зареве света, в каскаде брильянтов и золота, на фоне восточных декораций, в облаке тончайшего газа появляется божество, сильфида, которая движется, почти не касаясь пола, окруженная лучезарным нимбом. В ее присутствии распускаются цветы, танцы пронизываются огнем, громче звучит музыка, а нимфы, черти, сатиры, духи, пастушки кружатся в хороводах, бьют в бубен, извиваются, пляшут, и каждый кладет к ногам богини свое подношение. Ибарра мог бы увидеть прекраснейшую девушку, стройную, одетую в живописный наряд дочери Филиппин, стоявшую в центре полукруга, образованного разными людьми, которые толпились и оживленно жестикулировали подле нее; среди них были китайцы, испанцы, филиппинцы, военные, служители церкви, старухи, молодые и т. д. Отец Дамасо не отходил ни на шаг от красавицы, отец Дамасо

улыбался, как блаженный; отец Сибила, сам отец Сибила обращал к ней свое слово, а донья Викторина поправляла на роскошных волосах девушки диадему из жемчугов и брильянтов, которые сверкали всеми цветами радуги. Кожа у красавицы была светлая, может быть, даже слишком светлая; в глазах, почти всегда потупленных, светилась, когда она их поднимала, чистейшая душа; а когда она улыбалась, обнажая свои белые маленькие зубы, вы понимали, что роза — всего лишь скромный цветок, а слоновая кость — только клык животного. Вокруг ее белой лебединой шеи, ниспадая на легкую одежду из пиньи, «подмаргивало», как говорят тагалы, своими веселыми брильянтовыми глазками ожерелье. Только один человек, казалось, не поддавался ее светлому обаянию, если можно так выразиться: это был молодой худощавый человек с осунувшимся бледным лицом в рясе францисканца; он издали созерцал девушку, застыв на месте словно статуя, почти не дыша.

Но Ибарра ничего этого не замечал: его глаза видели другое.

Четыре голых и грязных стены ограждают маленькую каморку; на одной стене, вверху — решетка; на омерзительно грязном полу — рогожа, а на рогоже — умирающий старик, который дышит с трудом, переводя взор с одной стены на другую и повторяя в слезах одно и то же имя. Старик совсем один. Порой доносится лишь звон цепей да чье-то рыдание из-за стены... а где-то за тридевять земель отсюда в это время в разгаре веселая пирушка; какой-то юноша хохочет, кричит, под аплодисменты и пьяный смех остальных поливает вином цветы. А у старика — лицо его, Ибарры, отца, юноша же похож на самого Ибарру, и имя, произносимое умирающим сквозь слезы, — его, Ибарры, имя!

Такая картина была сейчас перед глазами несчастного Ибарры.

Погасли огни в доме напротив, смолкли музыка и шум, но в ушах Ибарры все еще звучали стоны отца, призывавшего сына в свой последний час.

Тишина уже овееяла своим беззвучным дыханием Манилу, и все, казалось, уснуло в объятиях небытия; слышалось только пенье петухов вперемежку с боем часов на башнях и протяжными окриками скучающих стражников; выглянул осколок луны; все, казалось, предалось

отдыху, — даже сам Ибарра уснул, утомленный, наверное, своими печальными думами или путешествием.

Но молодой францисканец, которого мы недавно видели в зале молчаливым и неподвижным среди всеобщего веселья, не спал; он бодрствовал. В своей келье, облокотившись на подоконник и подперев ладонью бледное изможденное лицо, он в молчанье глядел на далекую звезду, блиставшую на темном небе. Вот звезда побледнела и исчезла, погас слабый свет месяца на ущербе, однако монах не двинулся с места: он устремил теперь взгляд к далекому горизонту, терявшемуся в утреннем тумане, к полям Багумбаяна *, к морю, которое еще спало.

VI

КАПИТАН ТЬЯГО

Да будет воля твоя яко на небесах
и на земли!

Пока наши герои спят или завтракают, обратимся к капитану Тьяго. Мы никогда не были в числе его гостей, и потому у нас нет ни права, ни обязанности презирать или обходить его, повествуя даже о незначительных событиях.

Невысокого роста, светлокожий, с округлым лицом и брюшком, появившимся благодаря избытку жира, — который, по словам его почитателей, дарован ему небом, а по словам врагов, образовался из пота и крови бедняков, — капитан Тьяго выглядел моложе своих лет; ему можно было дать лет тридцать — тридцать пять. В ту пору, к какой относится наш рассказ, лицо его неизменно сияло радостью и довольством. Его круглый, маленький череп, поросший черными как смоль волосами, длинными спереди и очень короткими сзади, вмещал, как говорили, много всякой всячины. Небольшие, но не раскосые глазки никогда не меняли выражения; нос был тонким и не приплюснутым, и если бы рот не кривился от постоянного употребления буйо, комья которого, скапливаясь за щекой, нарушали симметрию лица, то мы сказали бы, что он ничуть не ошибается, веря в свою мужскую привлекательность и открыто ею похваляясь. Несмотря на страсть к

табаку, он сохранил белизну зубов,— и собственных и тех двух, которыми его наделил дантист по двенадцати дуру за штуку.

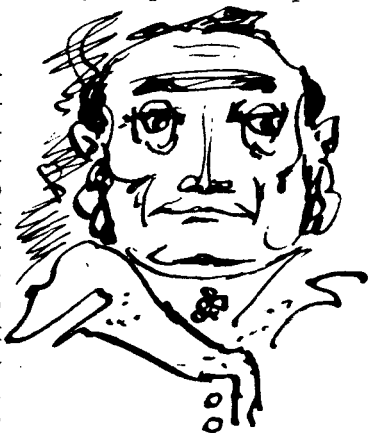
Его считали одним из самых видных людей в Бинондо и одним из самых богатых землевладельцев — он имел земли и в Пампанге и в Лагуне-де-Бай *, но больше всего — в городке Сан-Диего, где арендная плата за землю с каждым годом росла. Сан-Диего был его излюбленным городом из-за удобных купален, знаменитых петушинных боев и дорогих его сердцу воспоминаний; он проводил там по меньшей мере два месяца в году.

Капитан Тьяго владел многими земельными участками в Санто-Кристо, на улице Анлоаге и на улице Росарио. Контракт на поставку опиума он заключил вместе с одним китайцем, — нечего и говорить, что компаньоны получали огромные доходы. Он поставлял провиант узникам Билибида и зелень многим лучшим домам Манилы, — по договору, разумеется. Отлично лада со всеми властями, расторопный, ловкий и даже смелый там, где речь шла о возможности нажиться на чьих-либо нуждах, он был единственным и самым опасным соперником некоего Переса при получении подрядов и разных постов и должностей, которые правители Филиппин всегда раздают частным лицам. Таким образом, в ту пору, о которой идет речь, капитан Тьяго был счастливым человеком, насколько может быть счастлив в тех краях человек с маленьким черепом: он был богат, жил в мире с богом, с правительством и с людьми.

То, что капитан Тьяго жил в ладу с богом, — истина несомненная, почти святая: нет причин быть в разладе со всемогущим господом богом, если вам хорошо живется на земле, если вы с ним никогда не общаетесь и никогда не даете ему денег в долг. Капитан Тьяго сам никогда, даже в самые трудные минуты не обращался к богу в своих молитвах, он был богат, и его золото молилось за него. Для месс и других богослужений бог сотворил себе могущественных и высокомерных служителей; для молитв бог в бесконечной своей благодати создал бедняков на пользу богачам, бедняков, которые за одно песо готовы прочесть все богослужебные книги, а за соответственную мзду — даже Библию по-еврейски. Коль скоро капитан Тьяго, оказавшись вдруг в затруднительном положении, ощущал нужду в поддержке неба и не находил

под рукой даже красной китайской свечки, он обращался к святым, суля им золотые горы, дабы вынудить их заступиться за него и убедить их в своей благонамеренности. Больше всего он обещал — и всегда выполнял свои обещания — пресвятой деве Антипольской, Умиротворительнице и Покровительнице путников, а со святыми помельче был не слишком добросовестен и щепетилен: добившись желаемого, он, случалось, более и не вспоминал о них. Правда, капитан обычно и не тревожил их более: он знал, что в святцах значится множество святых без определенных занятий, которым, наверное, скучно там, на небе. Святой деве де Антиполо он приписывал, кроме того, наибольшую чудодейственную силу по сравнению со всеми прочими ее изображениями, держат ли они в руках серебряные посохи или младенца Иисуса, ладанки, четки или шнурок. В силу эту капитан Тьяго, возможно, верил потому, что сия сеньора слывет очень суровой, очень добродетельной, ненавидит фотографирование, как говорит отец эконо́м из Антиполо, и в гневе становится черной, как уголь; и еще потому, что другие мадонны более мягкосердечны, более терпимы. Как известно, многие люди больше любят абсолютных монархов, чем конституционных, — свидетельство тому Людовик XIV и Людовик XVI, Филипп II и Амадей I*. Пожалуй, поэтому в святом храме антипольской приснодевы можно увидеть неверных китайцев и даже испанцев, преклоняющих колена. Только одно остается непонятным, — почему некоторые священики, прихватив деньги, бегут прочь от грозной владычицы, переселяются в Америку и даже женятся?

Из зала, где пировали гости, дверь, скрытая шелковыми портьерами, ведет в маленькую часовенку или молельню, которая непременно есть в каждом филиппинском доме: там пахотятся боги домашнего очага капитана Тьяго. Мы говорим «боги», ибо сей сеньор более привержен к политеизму, чем к монотеизму, которого он никогда не понимал. Там можно



Увидеть изваяний святого семейства с торсами и конечностями из слоновой кости, с очами из стекла, длинными ресницами и рыжими кудряшками, — шедевры скульпторов из Санта-Крус. Написанные маслом картины художников из Пако и Эрмиты * изображают муки святых, чудеса пресвятой девы, святую Люсию, вперившую очи в небо и несущую на блюде два чьих-то глаза с ресницами и бровями, подобные «всевидающему оку» на изображениях троицы или на египетских саркофагах. Здесь и святой Паскуаль Байлон, а вот и святой Антоний Падуанский * в холщовой рясе, со слезами взирающий на младенца Иисуса, который одет, как генерал-губернатор — в треуголке, в ботфортах, при сабле, будто явился с детского бала в Мадриде. Капитан Тьяго понимал это так: если даже господь присоединит к своей власти еще и власть генерал-губернатора на Филиппинах, францисканцы все равно будут играть с богом, как с куклой. Святой Антоний Аббат был изображен вместе со свиньей *, которая досточтимому капитану Тьяго казалась столь же чудотворной, сколь и сам святой, а посему он не решался называть ее «свиньей» и говорил «тварь сеньора святого Антония». Святой Франциск Ассизский * с семью крылами и в рясе кофейного цвета стоял на образе святого Винчен-та *, у которого имелось только два крыла, но зато еще и рожок. Святой Петр Мученик * был изображен лежащим: череп его раскрыт талибоном злодея, а сам этот неверный стоит рядом на коленях. На другой иконе апостол Петр отрубает ухо какому-то мавру, видимо, Малху *, закусившему губы и корчащемуся от боли, в то время как петух сасабунгин кричит и бьет крыльями на дорической колонне. Глядя на эти картины, капитан Тьяго делал следующий вывод: чтобы стать святым, не обязательно быть зарубленным, можно и самому рубить.

Кто опишет скопище образов и фигур этой сокровищницы и перечислит их качества и совершенства? Нам не хватило бы для этого целой главы! Однако мы не можем обойти молчанием великоленного, почти в метр высотой, святого Михаила из позолоченного и раскрашенного дерева. Нижняя губа архангела прикушена, глаза горят, лоб нахмурен, щеки алеют. В левой руке он держит греческий щит, в правой — меч, готовясь поразить (судя по его жесту и взгляду) скорее богомольца или всякого, кто к нему приблизится, чем хвостатого и рогатого дьявола,

вонзающего клыкки в его женственную ногу. Капитан Тьяго никогда не подходил близко к святому Михаилу, опасаясь чуда. Разве не оживали столько раз святые фигуры, сделанные гораздо хуже этой, топорные изделия плотничьих мастерских Паете *, разве не оживали они для того, чтобы смутить и наказать грешников и вероотступников?! Всем известно, что в Испании статуя Христа, призванная в свидетели любовного обета, подтвердила его перед судьей кивком головы, а другой Христос снял правую руку с креста, чтобы поддержать святую Лутгарду. А разве сам капитан Тьяго не читал недавно опубликованную книжонку о немой проповеди, произнесенной изображением святого Доминика в Сориано? Святой не проронил ни слова, но из его жестов можно было заключить — или это заключил автор книжки, — что он предвещал скорый конец света ¹. А разве не ходили слухи, что у пресвятой девы де Лута из городка Липа одна щека более припухлая, чем другая, а полы одежды испачканы грязью? Не доказывают ли это с математической точностью, что священные фигуры тоже гуляют, забывая приподнять подол, и даже страдают от зубной боли, быть может, из-за нас? Разве капитан Тьяго не видел собственными глазами, как все изображения Христовы при чтении Семи Слов * трижды кивнули головами, что вызвало рыдания и вопли женщин, а также всех людей с чувствительной душой, достойных райской обители? Вам мало этого? Мы сами видели проповедника, который во время церемонии снятия с креста показывал публике платок, испачканный кровью, и мы уже готовы были благочестиво прослезиться, когда на погибель нашей души один пономарь стал уверять нас, что это шутка, что это, мол, кровь курицы, зажаренной и съеденной только что, в святой четверг!.. А пономарь-то действительно не отличался худобой. Поэтому капитан Тьяго, хоть был он человеком разумным и набожным, избегал приближаться к мечу святого архангела Михаила.

«Лучше поостеречься! — говорил он себе. — Я знаю, что он — архангел, но все же не ручаюсь за него, не ручаюсь!»

Каждый год капитан Тьяго посещал со своим оркестром пышное празднество паломников в Антиполо: там он

¹ Дай бог, чтобы пророчество исполнилось поскорее для автора этой книжонки и всех тех, кто ему верит. (Прим. автора.)

заказывал две торжественные мессы из тех, что служат во время трех «девятин» * и в другие дни празднества, и совершал затем омовение в знаменитом источнике, где, говорят, омывалась сама священная статуя приснодевы. Богомольцы до сих пор различают на прибрежном камне следы ног девы и бороздки, оставленные ее волосами в ту пору, когда она мыла их,— как будто волосы девы стальные или алмазные, а сама она весит тысячу тонн. Нам хотелось бы, чтобы сей грозный образ полоснул хоть раз своей чудодейственной певелюрой по глазам этих ханжей и паступил своей ногой им на язык или на голову.

Там, у этого же источника, капитан Тьяго непременно должен был съесть жареного поросенка, синиганг из рыбы с листьями алибамбанга и другие более или менее апетитные блюда. Две мессы обходились ему в четыреста песо с небольшим, но это не так уж дорого, если вспомнить, что стоят другие почести, воздающиеся богоматери — все эти фейерверки, петарды, ракетницы, плошки, и если подсчитать те огромные прибыли, какие, благодаря этим мессам, он кладет в карман круглый год.

Однако Антиполо не был для капитана Тьяго единственным местом проявления его рьяной пажожности. Когда в Биноцдо, Пампанге и в городке Сан-Диего он участвовал в петушинных боях, делая крупные ставки, он всегда посылал местному священнику несколько золотых на мессы, для ублаговторения небес, и подобно римлянам, которые перед сражением советовались со своими авгурами, кормя священных цыплят, капитан Тьяго советовался со своими, применяясь к требованиям иной эпохи и к новым истинам. Он пристально разглядывал пламя свечи, дымок ладана, вслушивался в голос священника и пытался по этим приметам познать будущее. Общее мнение было таково, что капитан Тьяго редко проигрывает, и если это случается, то лишь оттого, что священник, служа мессу, внезапно охрипнет, или мало зажгут свечей и лампадок, или оттого, что в свечах окажется слишком много сала, а среди монет попадется одна фальшивая и т. д. и т. п. Настоятель одного братства уверял его, что подобные неудачи — лишь испытания, посылаемые ему небесами, дабы убедиться еще раз в его вере и благочестии. Любимый священниками, уважаемый причетниками, почитаемый китайцами — продавцами свеч и пиротехниками (или «кастильерос»), этот человек процветал в лоне церкви на

земле, а многие почтенные набожные особы приписывали ему также большое влияние и на суд небесный.

То, что он жил в мире с правительством, не поддежит сомнению, хотя это весьма трудное дело. Чуждаясь всех новых идей, довольный своим *modus vivendi*¹, он всегда готов был повиноваться даже самому мелкому чиновнику любого учреждения, преподносить власть имущим окорока, каплунов, индюков, китайские фрукты во всякое время года. Если он слышал, что кто-то плохо отзывается об аборигенах, то, не считая себя одним из них, поддакивал и отзывался о них еще хуже. Если ругали китайских или испанских метисов, он и тут не отставал, возможно потому, что полагал себя уже чистым иберийцем. Капитан Тьяго первым приветствовал введение новых налогов или податей, особенно если это обещало ему выгодный контракт или аренду. Под рукой у него всегда был оркестр, чтобы с музыкой принести поздравления или отдать дань уважения губернаторам, алькальдам, прокурорам и т. д. и т. п. в день именин или рождения, при появлении на свет или смерти их родственника и вообще при любом мало-мальски выдающемся событии. Для этого он заказывал хвалебные стихи и гимны, которые славили «добросердного и гуманного губернатора», «храброго и бесстрашного алькальда, да будет путь сего праведника на небо усыпан розами...» (или розами!) и тому подобные сочинения.

Капитан Тьяго прошел в префекты * от богатой метисской корпорации, несмотря на протесты многих, не считавших его метисом. За два года своего правления он износил десять фраков и столько же цилиндров и сломал полдюжины жезлов. Он надевал фрак и цилиндр — в муниципалитет, в Малаканьянг * и в казармы; цилиндр и фрак — на петушиные бои, на рынок, на торжественные процессии и в китайские лавки. Неизменные цилиндр и фрак капитана Тьяго! Весь в поту от фехтовальных упражнений, размахивая своим жезлом с кисточками, он отдает распоряжения, все устраивает и расстраивает с поразительной энергией и еще более поразительной серьезностью. Власти видели в нем доброго малого, вполне благонамеренного, миролюбивого, покорного, услужливого, гостеприимного, который не читает ни книг, ни газет из

¹ Образ жизни (лат.).

Испаниц, хотя хорошо говорит по-испански. На капитана Тьяго смотрели так, как бедный студент смотрит на стоптанный каблук своего старого башмака, скривившийся из-за его, студента, походки. К капитану Тьяго равно могут быть отнесены обе поговорки — христианская и мирская: «*Beati pauperes spiriti*»¹ и «*Beati possidentes*»². К нему прекрасно может быть применена и другая фраза, неправильно, как утверждают, переведенная с греческого: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человецех благоволение», ибо, как мы увидим дальше, людям мало одного благоволения, чтобы жить в мире. Нечестивцы считали его дураком, бедняки — бессердечным и жестоким вымогателем, а его подчиненные — деспотом и тираном. Ну, а женщины? Ах да, — женщины! Клеветнические слухи ползли из одной жалкой хижины в другую, и некоторые даже поговаривали, что там можно услышать жалобы и рыдания, иной раз прерываемые пiskом ребенка. С издевкой указывали люди пальцами на девушек с потухшим взором и иссохшей грудью. Но подобные вещи не лишали капитана Тьяго сна, ни одна молодая женщина не смутила его покоя; капитана заставляла страдать старуха, старуха, которая состязалась с ним в набожности и удостаивалась от многих духовных лиц более восторженных похвал и славословий, чем капитан в свои самые лучшие времена. Между капитаном Тьяго и этой вдовой, наследницей своих братьев и племянников, существовало священное соперничество, которое оборачивалось на пользу церкви, как соперничество пароходов в Пампанге оборачивалось тогда на пользу публике. Если капитан Тьяго преподнесет серебряный жезл с изумрудами и топазами какой-нибудь мадонне, то донья Патросинио тут же закажет ювелиру Гаудинесу другой — золотой с бриллиантами. Если для процессии в честь Покровительницы мореплавателей * капитан Тьяго соорудил арку с двумя фасадами, обтянутую тисненой материей, украшенную зеркалами, стеклянными шарами, фонарями и кистями, то донья Патросинио сделала другую — с четырьмя фасадами, на два метра выше и еще богаче изукрашенную. Тогда он обратился к той области, в которой не знал себе равных, — к мессам с фей-

¹ Блаженны нищие духом (лат.) (одна из «Заповедей блаженства»).

² Блаженны имущие (лат.) (авторская пародия на «Заповеди блаженства»).

ерверками и петардами, и донья Патросинио должна была прикусить себе губу беззубой десной, ибо, будучи нервной сверх меры, она терпеть не могла перезвона колоколов, а тем паче грохота взрывов. В то время как он потирал руки от удовольствия, она обдумывала реванш и оплачивала чужими деньгами лучших проповедников пяти орденов Манилы, самых известных каноников собора и даже паулистов *, чтобы те в своих проповедях в торжественные дни, рассуждая на глубокомысленные теологические темы, порицали грешников, которым ведом только язык лавочников. Сторонники капитана Тьяго как-то заметили, что сама она спит на проповеди, но ее приверженцы возразили, заявив: «Проповедь уже оплачена, оплачена ею, а деньги в любом случае — первое дело». Она, однако, окончательно сразила капитана тем, что подарила церкви трое носилок из серебра с позолотой, причем каждые обошлись ей более чем в три тысячи песо. Капитан Тьяго все ожидал, что в один прекрасный день старуха испустит дух или, проиграв пять-шесть тяжб, пострижется в монахини. К несчастью, интересы донья Патросинио защищали лучшие адвокаты королевского суда, а что до здоровья, то недугу просто было не подступиться к ней: она, казалось, была свита из стальной проволоки, — бесспорно, в назидание благочестивым душам, — и цеплялась за сию юдолю слез с упорством лишая. Ее почитатели незыблемо верили в то, что после смерти она будет приобщена к лику святых и тогда самому капитану Тьяго придется чтить ее память у алтарей; он на все соглашался и все обещал, лишь бы она поскорее умерла.

Таков был капитан Тьяго во времена нашего рассказа. Что же касается его прошлого...

Он был единственным сыном торговца сахаром из Малабона, довольно зажиточного, но ужасного скряги, не желавшего истратить ни одного куарто на обучение сына. Поэтому маленького Сантьягильо воспитывал один добрый доминиканец, человек весьма достойный, старавшийся научить мальчика всему, что знал и умел сам. Когда Сантьяго готовился услышать от своих знакомых лестное прозвище «логик», то есть, когда он приступил к изучению логики, смерть его учителя, за которой последовала кончина отца, прервала занятия, и он должен был посвятить себя коммерции. Женился капитан Тьяго на красивой девушке из Санта-Крус, которая помогла ему увели-

чить богатство и занять положение в обществе. Донья Пия-Альба не пожелала довольствоваться торговлей сахаром, кофе и индиго: ей хотелось сеять и пожинать плоды, и молодая пара купила земли в Сан-Диего. С тех пор и завязалась их дружба с отцом Дамасо и доном Рафаэлем Ибаррой — самым богатым человеком в городе.

Отсутствие наследника в первые шесть лет брачной жизни превратило стремление молодой женщины к накоплению в почти достойную порицания страсть, по тем не менее, донья Пия оставалась все такой же статной, стройной и дебелой. Напрасно справляла она «девятины», посещала по совету богомолки из Сан-Диего пресвятую деву де Кайсай в Таале, раздавала милостыню, танцевала в процессии под майским солнцем перед пресвятой девой де Турумба в Пакиле. Все было напрасно, пока отец Дамасо не посоветовал ей отправиться в Обандо поплясать и там на празднике святого Паскуалья Байлона и испросить сына. Известно ведь, что в Обандо находится святая троица, сужающая родителей по их выбору сыновьями или дочерьми: пресвятая дева де Саламбай, святая Клара и святой Паскуаль. Последовав этому мудрому совету, донья Пия почувствовала наконец, что станет матерью...

Увы! Как тот рыбак, о котором пишет Шекспир в «Макбете», что перестал петь, едва нашел сокровище, она утратила вдруг душевный покой, сделалась очень печальной, и никто больше не видел улыбки на ее лице. «Глупые капризы!» — говорили все, даже капитан Тьяго. Послеродовая горячка положила конец ее печали, оставив сиротой прелестную девочку, которую нес к купели сам отец Дамасо; и так как святой Паскуаль не послал сына, которого у него просили, девочке дали имя Мария-Клара в честь пресвятой девы де Саламбай и святой Клары, предав забвению почтенного Паскуалья Байлона.

Малютка была поручена заботам тетюшки Исабель, той доброй, по-монашески учтивой старушки, с которой читатель уже знаком. Большую часть года Мария-Клара жила в Сан-Диего из-за тамошнего здорового климата, и отец Дамасо очень баловал ее.

Мария-Клара не унаследовала маленьких отцовских глаз: глаза у нее были, как у матери, — большие, черные, оттененные длинными ресницами, живые и лукавые, когда она резвилась, грустные, глубокие и задумчивые, когда она становилась серьезной. В детстве ее вьющиеся волосы

были почти совсем светлыми; точеный носик не был ни острым, ни приплюснутым; рот маленький и изящный, точь-в-точь как у матери, щеки украшали веселые ямочки; кожа была тонка, как луковичная кожура, и бела, как хлопок. Млевшие от восторга родственники находили в Марии-Кларе сходство с отцом, капитаном Тьяго, в маленьких и красивых ушках.

Тетушка Исабель говорила, что почти европейские черты ее лица можно объяснить прихотями доньи Пии; старушка припоминала, что донья Пия в первые месяцы беременности часто плакала перед святым Антонием. Другая кузина капитана Тьяго в общем соглашалась с тетушкой, но расходилась в определении святого: по ее мнению, в этом приняли участие либо сама пресвятая дева, либо святой Михаил-архангел. Знаменитый философ, родственник капитана Тинонга, знавший наизусть «Амат» *, искал объяснение во влиянии звезд.

Мария-Клара росла, окруженная любовью и заботой. Даже монахи ласково заговаривали с нею, когда она участвовала в церковных процессиях, одетая в белое, с лилиями и жасминами в густых вьющихся волосах, с двумя крылышками из золота и серебра, прикрепленными сзади к платью, и двумя белыми голубками в руках, связанными голубой лентой. К тому же она была такой веселой, щебетала с такой милой наивностью, что капитан Тьяго, бывший от нее без ума, только и знал, что благословлял святых в Обандо и советовал всем приобретать их чудотворные изображения.

В южных странах девочка тринадцати—четырнадцати лет становится женщиной: ночью — еще бутон, на следующее утро она вдруг превращается в цветок. В этом-то переходном возрасте, полном тайны и поэзии, она была отдана, по совету священника из Бинондо, в женскую монашескую обитель святой Екатерины, дабы сестры-монахини воспитали ее в суровом религиозном духе. Со слезами на глазах прощалась она с отцом Дамасо и со своим единственным другом детства Крисостомо Ибаррой, вскоре уехавшим в Европу. В монастыре, обитательницы которого сообщались с миром через двойную решетку да еще под присмотром матери-«подслушницы», она пробыла семь лет.

Дон Рафаэль и капитан Тьяго, имея на то каждый особые причины и видя взаимную склонность молодых

людей, договорились о помолвке своих детей и создании общей торговой фирмы. Это событие, происшедшее несколько лет спустя после отъезда молодого Ибарры, было встречено с одинаковым ликованием в разных концах света и в весьма несходной обстановке обоими влюбленными.

VII

ИДИЛЛИЯ НА ТЕРРАСЕ

Рано отправились в то утро к мессе тетушка Исабель и Мария-Клара. Девушка была изящно одета, на ее руке, словно браслет, висели четки с голубыми бусинками. Старушка не забыла надеть очки, чтобы читать во время богослужения свой «Якорь спасения» *.

Едва священник покинул алтарь, как молодая девушка заявила о желании вернуться домой—к великому удивлению и неудовольствию доброй тетушки, считавшей, что племянница ее набожна и богомольна, как монахиня. Ворча и сотворяя крестные знамения, направилась старушка к выходу. «Господь меня простит, он лучше знает сердца девушек, чем вы, тетя Исабель»,—могла бы сказать ей Мария-Клара, дабы пресечь ее суровые, но чисто материнские правоучения.

Теперь они уже позавтракали, и Мария-Клара, стараясь унять свое нетерпение, вяжет из шелка кошелек, а тетушка, орудуя метелкой из перьев, пытается стереть следы вчерашнего пиршества. Капитан Тьяго сидит за столом и просматривает какие-то бумаги.

Малейший шум на улице, грохот каждого проезжающего экипажа отдаются в сердце девушки, заставляют ее вздрагивать. Ах, вот бы сейчас снова очутиться в тихой монашеской обители, среди подруг! Там она могла бы встретить его без трепета, не смущаясь! Но разве он не был твоим другом детства? Разве вы не играли вместе во всякие глупые игры и даже не ссорились порою? Объяснять все это я не стану; если ты, мой читатель, когда-нибудь любил, ты поймешь, а если нет, то напрасно с тобой толковать: непосвященным не понять этой тайны.

— Я думаю, Мария, доктор прав,—сказал капитан Тьяго. — Тебе надо ехать в провинцию, на свежий воз-

дух, — ты очень бледна. Как тебе нравится Малабон?.. Или, может быть, Сан-Диего?

При упоминании о Сан-Диего Мария-Клара зарделась, как маков цвет, и не смогла ничего ответить.

— Ты поедешь с Исабель в монастырь, чтобы забрать свои вещи и проститься с подругами, — продолжал капитан Тьяго, не поднимая головы. — Ты уже не вернешься туда.

Душу Марии-Клары охватила смутная печаль, какую мы испытываем, расставаясь навеки с местом, где когда-то были счастливы, однако другая мысль умерила ее печаль.

— А через четыре-пять дней, когда у тебя будут новые платья, мы отправимся в Малабон... Твоего крестного уже нет в Сан-Диего; священник, которого ты видела здесь вчера, тот молодой падре, — новый тамошний священник, он — просто святой.

— Сан-Диего ей больше подходит, братец! — заметила тетушка Исабель. — Кроме того, тот наш дом гораздо лучше, а ведь близится праздник.

Мария-Клара уже готова была расцеловать тетушку, но вдруг услышала, что у дверей остановился экипаж, и побледнела.

— А, это верно! — ответил капитан Тьяго и, изменив тон, прибавил: — Доц Крисостомо!

Мария-Клара выронила из рук вязанье, хотела встать, но не смогла: нервная дрожь сотрясала ее тело. На лестнице послышались шаги, а затем и голос — молодой, мужественный. Этот голос словно обладал какой-то могущественной силой: девушка очнулась от оцепенения и бросилась в молельню, чтобы там пайти защиту у святых.

Капитан Тьяго и тетушка Исабель рассмеялись, а Ибарра услышал стук захлопнувшейся двери.

Бледная, задыхающаяся, девушка прижала руки к трепещущей груди и прислушалась. До нее донесся голос, любимый голос, который постоянно слышался ей во сне: Ибарра спрашивал о ней. Вне себя от радости, она поцеловала ближайшую статую святого Антония Аббата. Везет же святому старцу! И при жизни, и после смерти — всегда с ним рядом прелестные искусительницы! Затем она прильнула к замочной скважине, чтобы хорошенько разглядеть «его»: она смотрела и улыбалась. Когда

тетушка, ничего не подозревая, внезапно прервала это наблюдение, Мария-Клара повисла на шее у старухи и покрыла ее лицо поцелуями.

— Что с тобой, глупая? — смогла наконец выговорить тетушка Исабель, вытирая слезы, увлажнившие ее морщинистые веки.

Мария-Клара застыдилась и прикрыла глаза точеной рукой.

— Ну-ну, иди, приведи себя в порядок! — заключила старушка ласково. — Пока он говорит с твоим отцом о тебе... иди же, не заставляй себя ждать.

Девушка дала увести себя, как ребенка, и они обе заперлись в ее комнате.

Капитан Тьяго и Ибарра оживленно беседовали, когда появилась тетушка Исабель, чуть не силой таща племянницу, которая старалась смотреть по сторонам — только бы не встретиться глазами с гостем...

О чем говорили две души, что поведали они друг другу очами, на языке более совершенном, нежели язык уст, и дарованном сердцам, дабы звук голоса не вспугнул восторженного чувства? В те мгновения, когда мысли двух счастливых существ передаются друг другу в блеске зрачков, слова кажутся громоздкими, невыразительными — как грубый и резкий раскат грома после ослепительно яркой и быстрой молнии. Словами ведь можно выразить чувство уже известное, мысль, уже уловленную, и произносятся они лишь потому, что влечение сердца, охватывая все существо и наполняя его счастьем, требует, чтобы все духовные и физические возможности человека соединились в исполнении той поэмы восторга и ликования, что звучит в душе. На вопрос «любишь ли?», заданный сверкающим или затуманенным взором, язык не может дать ответа: отвечает улыбка, поцелуй или вздох.

А потом влюбленные, спасаясь от поднимавшей пыль метелки тетушки Исабели, убежали на террасу, чтобы поговорить наедине в зеленой беседке. О чем же они так страстно там шептались, что даже красные «ангельские головки» вздрагивали? Расскажите нам об этом благоуханные, стыдливо алеющие цветы, или ты, зефир, постигший дивную гармонию, скрытую в темной ночи, в затаенности наших девственных лесов; расскажите об этом, солнечные лучи, вы, сверкающее проявление Вечного на земле, единственное нематериальное в мире материи, расскажите

нам, ибо я умею повествовать лишь о прозаических нелепостях!

Но если вы не хотите этого делать, придется попробовать мне самому.

Небо было синее; свежий ветерок, отнюдь не пахший розами, колыхал листья и цветы на террасе, — поэтому-то и вздрагивали «ангельские головки» и раскачивались вьющиеся лозы, чучела рыб и китайские фонарики. Слышался шум сагуана, волновавшего мутные воды реки, скрип экипажей и повозок на мосту Бинондо — все это заглушало голос тетушки, которая бормотала:

— Так-то лучше, там за ними смогут приглядывать все соседи.

Вначале они говорили друг другу всякий вздор, тот милый вздор, который очень похож на хвастливые речи европейцев: они услаждают слух сограждан, но у иностранцев вызывают смех или возмущение.

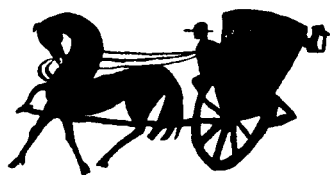
Мария-Клара, как истая сестра Каина, очень ревнива и поэтому забрасывает жениха вопросами:

— Ты всегда думал обо мне? Ты меня не забыл в далеких путешествиях? Ты ведь видел столько больших городов и столько красивых женщин...

Он тоже, как брат Каина, умеет уклониться от ответа, и слова его не совсем правдивы.

— Мог ли я забыть тебя? — говорит он, глядя восхищенно в ее черные глаза. — Мог ли я нарушить клятву, священную клятву? Помнишь ты ночь, ту страшную ночь, когда, увидев меня плачущего у тела моей покойной матери, ты подошла ко мне, положила на плечо руку, свою руку, которой ты уже давно не разрешаешь мне коснуться, и сказала: «Ты потерял мать, а у меня ее никогда не было...» — и заплакала вместе со мною? Ты любила ее, и она любила тебя, как свою дочь. Лил дождь и сверкала молния, но мне казалось, что я слышу музыку, вижу, как улыбается бледное лицо покойницы... О, если бы мои родители были живы и могли тебя видеть! Я взял тогда твою руку и руку матери и поклялся любить тебя, сделать тебя счастливой, какую бы судьбу ни уготовило мне небо; об этой клятве я не пожалел ни разу, я повторяю ее тебе и сейчас. Мог ли я забыть тебя? Воспоминание о тебе никогда не покидало меня, ограждало от опасностей в пути, служило утешением моей одинокой душе в чужих странах; воспоминание о тебе рассеивало чары Европы,

этого лотоса, который заставляет многих моих соотечественников забывать о надеждах и бедах родины! Во сне я видел тебя на берегу залива, окутанную мягким светом зари, глядящую на далекий горизонт, мне слышалось тихое заунывное пение, которое будило во мне задремавшие чувства и воскрешало в памяти моего сердца ранние годы детства, наши проказы, наши игры, все то счастливое прошлое, которое ты наполняла радостью, пока жила в нашем городе. Мне чудилось, что ты фея, дух, поэтическое воплощение моей родины, прелестная, простая, милая, чистая дочь Филиппин, этой дивной страны, которая к великим добродетелям матери Испании присоединяет прекрасные качества юного народа, равно как в тебе соединяется все прекрасное и чудесное, что украшает обе расы; поэтому-то моя любовь к тебе и к родине сливаются воедино... Мог ли я забыть тебя? Сколько раз казалось мне, что я слышу аккорды твоего рояля и звуки твоего голоса. В Германии, бродя вечерами по лесам, воспетым поэтами и овеянным таинственными легендами предков, я повторял твое имя, и мне казалось, что я вижу тебя в тумане, поднимающемся из долин, слышу твой голос в шелесте листвы. А когда крестьяне, возвращаясь с полей, пели вдали свои песни, мне чудилось, будто эти песни сливаются с моим внутренним голосом, певшим для тебя, и воплощают в действительность мои надежды и мечты. Порою я долго блуждал по горным тропинкам, отыскивая путь среди сосен, буков и дубов, и ночь, спускающаяся там на землю тихо и медленно, застигала меня в лесу. И если лунный свет проникал сквозь густую листву, мне представлялось, что я вижу тебя в лесной чаще, — легкую зачарованную тень, трепещущую в полумраке; если раздавались трели соловья, мне казалось, что он поет для тебя, что это ты его вдохновила. Думал ли я о тебе! Жар любви не только рассеивал окутывавший меня туман и окрашивал снег в яркие краски! Прекрасное небо Италии своей чистотой и глубиной напоминало твои глаза, ее веселый пейзаж говорил мне о твоей улыбке, а благоуханные равнины Андалузии, напоенные поэзией и красками, говорили мне о твоей любви! В ночи, залитые лунным светом, светом дремлющей луны, плывя в лодке по Рейну, я спрашивал себя — не обманывает ли меня моя фантазия, тебя ли я вижу среди прибрежных тополей, на скале



Лорелей или среди волн, поющую в тиши ночной подобно юной фее-утешительнице, призванной развеять одиночество и печаль старинных замков.

— Я не путешествовала так много, как ты, и знаю только твой город, Манилу и Антиполо,— отвечала она, улыбаясь, ибо верила всему, что он говорил,— но с тех пор, как я с тобой простилась и уехала в монастырь, я всегда помнила о тебе и никогда не забывала, хотя этого требовал мой духовник и налагал на меня епитимьи. Я вспоминала наши игры, наши детские ссоры. Ты всегда выбирал самые красивые ракушки, чтобы играть в силкот; отыскивал в реке самые круглые и забавные пестрые камешки; в этих играх ты был очень неловок и обычно проигрывал, а я в наказание плепала тебя ладошкой, но не сильно — мне было тебя жаль. Только в игре чонка тебе удавалось меня перехитрить, и дело кончалось потасовкой. Помнишь, как я взаправду на тебя обиделась? Мне было очень грустно, но потом, когда я вспоминала об этом в монастыре, я улыбалась и скучала по тебе, и даже согласна была еще раз поссориться... чтобы тут же помириться... Мы были тогда совсем детьми. Помнишь, как однажды мы пошли с твоей мамой купаться в ручье, что протекает среди зарослей бамбука. По берегам росли разные цветы и растения, их названия ты произносил по-латыни и по-испански, потому что уже учился в Атенео *. Я не слушала тебя; меня больше занимали бабочки и стрекозы, похожие на брошь, сверкающую всеми цветами радуги и блестящую, как перламутр. Как они порхали и гонялись друг за другом среди зелени! А еще мне хотелось поймать руками рыбок, которые пныряли между водорослями и камешками у самого берега. Вдруг ты исчез, а затем появился с венком из листьев и апельсиновых цветов и, называя меня Хлосей, надел его мне на голову. Для себя ты сделал другой, из орхидей, но твоя мама взяла мой венок, истолкла его камнем и смешала с гого, чтобы этим снадобьем вымыть нам голову. У тебя на глазах выступили слезы, и ты сказал, что она не знает мифологии. «Глупенький,— отвечала мама, — увидишь, как хорошо будут пахнуть ваши волосы». Я засмеялась, ты обиделся, не хотел со мной разговаривать и весь день потом ходил такой хмурый, что мне тоже хотелось плакать. Когда мы возвращались в город, солнце палило по-прежнему, и я нарвала листьев шалфея, росшего у дороги,

и положила тебе в шляпу, чтобы у тебя не болела голова. Ты улыбнулся, я взяла тебя за руку, и мы помирились.

Ибарра засмеялся от счастья, раскрыл бумажник и вынул пакетик, в котором оказались почерневшие листочки, сухие и ароматные.

— Твои листья шалфея! — ответил он на ее немой вопрос.

Тогда она тоже быстро вынула из лифа белый атласный мешочек.

— Тс! — сказала она, шлепнув его по руке. — Нельзя трогать, это прощальное письмо.

— То, которое я послал тебе перед отъездом?

— А разве вы мне посылали еще какое-нибудь, мой сеньор?

— Ну, и что же я тебе тогда писал?

— Всекие выдумки, отговорки хитрого должника! — ответила она с улыбкой, давая понять, сколь приятны ей были эти выдумки. — Успокойся, я сейчас прочту, но чтобы не мучить тебя, пропущу все твои любезности.

Развернув густо исписанный листок бумаги, она так держала его перед собой, чтобы он не мог увидеть ее лица. Помедлив минуту, она начала:

— «Моя...» — тут я пропускаю, все это один обман! — И она пробежала несколько строк глазами. — «...Отец, не взирая на мои просьбы, хочет, чтобы я уехал. «Ты — мужчина, — сказал он, — и должен подумать о своем будущем и о своих обязанностях. Ты должен постичь науку жизни, — а твоя родина не может тебе дать этого, — чтобы в будущем принести ей пользу. Если ты останешься подле меня, в моей тени, в этой привычной обстановке, ты не научишься видеть далеко; в дни испытаний ты будешь подобен растению, о котором говорит наш поэт Бальтасар: * «Оно выросло на почве влажной, и когда его полить забыли — тотчас сморщило листочки, а в жару засохло навсегда». Видишь? Ты уже юноша, а до сих пор плачешь!» Этот упрек ранил мою душу, и я признался, что люблю тебя. Мой отец замолчал, подумал и, положив руку мне на плечо, сказал дрогнувшим голосом: «Ты полагаешь, что только ты один умеешь любить, что твой отец не любит тебя и не страдает при мысли о разлуке с тобой? Мы недавно потеряли твою мать; я приближаюсь

уже к старости, к тому возрасту, когда ищешь поддержку и утешение у юности, и тем не менее я мирюсь со своим одиночеством, не зная, увижу ли тебя когда-нибудь. Но я обязан думать о других вещах, более важных... Тебе будущее только открывается, для меня же оно почти закрыто; твои привязанности рождаются, мои — гаснут; огонь пылает в твоей крови, в мою проникает холод, а ты еще плачешь и не хочешь пожертвовать сегодняшним днем во имя дня завтрашнего, необходимого тебе и твоей стране». Глаза отца моего наполнились слезами, я пал пред ним на колени, попросил у него прощения и сказал, что готов ехать...»

Волнение Ибарры заставило Марию-Клару прервать чтение: юноша был бледен и быстро ходил по террасе из угла в угол.

— Что такое? Что с тобой? — спросила она.

— Я забыл с тобой о своем долге, о том, что мне сейчас же надо ехать в город! Завтра — день поминовения усопших.

Мария-Клара смолкла, устремив на него большие задумчивые глаза, затем сорвала несколько цветов и сказала тихо:

— Нет, я не удерживаю тебя более; через несколько дней мы снова увидимся! Положи эти цветы на могилу твоих родителей!

Через несколько минут юноша уже спускался вниз по лестнице в сопровождении капитана Тьяго и тетюшки Исабели; Мария-Клара заперлась в молельне.

— Передайте, пожалуйста, Анденг, чтобы она подготовила дом к приезду Марии и Исабель! Доброго вам пути! — сказал капитан Тьяго, когда Ибарра сел в экипаж, который направился затем к площади Сан-Габриель.

Обращаясь к Марии-Кларе, плакавшей у образа пречистой девы, капитан Тьяго, чтобы утешить ее, сказал:

— Пойди-ка поставь две свечи по два реала: одну святому Роху*, другую — святому Рафаэлю, покровителю странников! Зажги лампадку у образа пресвятой девы Умиротворительницы и Покровительницы путников, а то ведь сейчас много тулисанов. Лучше заранее истратить четыре реала на воск и шесть куарто на масло, чем платить потом большой выкуп!

VIII

ВОСПОМИНАНИЯ

Экипаж Ибарры проезжал по наиболее оживленному пригороду Манилы; то, что предыдущим вечером на него навало тоску, при свете дня вызывало невольную улыбку.

Жизнь бурлила повсюду; во весь опор неслись экипажи, двуколки, шарабаны; по улицам спешили европейцы, китайцы, филиппинцы в национальных одеждах, торговцы фруктами, посыльные, полуобнаженные грузчики; открывались двери ларьков со съестным, кабачков, ресторанов, лавок; невозмутимый, погруженный в свои думы, сонный карабао, словно играючи, тащил повозку с кладью; все это — шум, грохот, даже само солнце, особые запахи, пестрые краски — всколыхнуло в памяти юноши мир уснувших воспоминаний.

В те далекие времена улицы еще не были вымощены брусчаткой. Если два дня подряд светило солнце, то все покрывалось пылью, заставлявшей прохожих без конца кашлять и протирать глаза; если же один день шел дождь, то к вечеру дорога превращалась в болото; в нем отражались фонари проезжающих экипажей, которые с пятиметрового расстояния окатывали грязью пешеходов на узких тротуарах. Сколько женщин оставило в этой трясине свои расшитые бисером туфельки! Трамбовать улицы приводили тогда вереницу бритоголовых каторжников в рубашках с короткими рукавами и в штанах до колен; на одежде каждого из них красовались выведенные синей краской номер и инициалы. Ноги этих бедняг были закованы в кандалы, которые они обертывали грязными тряпками, чтобы уберечься от ссадин или, быть может, от прикосновения холодного железа. Связанные попарно, каторжники плелись, обожженные солнцем, сморенные жарой и усталостью, а надзиратель, тоже из каторжников, нещадно избивал их дубинкой, видимо, утешаясь тем, что он тоже может над кем-то измываться. Лица дюжих арестантов были всегда мрачны. Ибарра не видел, чтобы они когда-нибудь озарялись улыбкой. Глаза этих людей, однако, сверкали, когда палка со свистом опускалась на их плечи или когда прохожий швырял им замусоленный окурок сигары: тот, кто шел с края, подхватывал окурок и прятал в свой салакот; остальные испод-

лобья смотрели на прохожих. Ибарре казалось, что он все еще слышит стук молотков, дробящих камни, и веселый перезвон тяжелых кандалов на опухших щиколотках каторжников.

Юноша с содроганием вспомнил одну сцену, которая поразила некогда его детское воображение. Был час сиесты, и нестерпимо жаркое солнце стояло прямо над головой. В тени деревянной повозки лежал бездыханный, с закатившимися глазами каторжник. Двое других молча мастерили носилки из бамбука, не выказывая ни гнева, ни скорби, ни поспешности — таков уж характер местных жителей. «Сегодня ты, завтра — мы», — всем своим видом, казалось, говорили они. Народ торопливо проходил мимо, не обращая на них никакого внимания. Женщины на мгновение задерживались и снова продолжали свой путь. Картина была привычной — сердца зачерствели. Только его одного, одиннадцатилетнего мальчика, недавно приехавшего из деревни, тронуло это зрелище, только его одного мучили ночью кошмары.

Ибарра уже не обнаружил добротного старинного Пуэнте де Баркас, истинно филиппинского моста, который из всех сил старался быть полезным, несмотря на природные свои недостатки, который вздымался или оседал по прихоти Пасига, и не раз бывал жестоко потрепан и даже разбит этой рекой.

Чахлые мицдальные деревья на площади Сан-Габриель ничуть не подросли. Эскольта* показала юноше менее великолепной, хотя на месте древних ниш со статуями святых красовалось большое здание с кариатидами. Новый мост — «Испанский» — привлек его внимание; дома на правом берегу реки среди камышей и деревьев, там, где кончается Эскольта и начинается остров Ромеро, напомнили ему о часах утренней свежести, когда он проезжал мимо этих домов на плотах, направляясь к купальням Ули-Ули.

Ибарре встречалось этим утром множество экипажей, запряженных низкорослыми лошадами в нарядной упряжи: в экипажах сидели направлявшиеся на службу сонные чиновники, военные, китайцы в смешных напыщенных позах, строгие монахи, каноники и так далее. Ибарре показалось, что в одной элегантной «виктории» он заметил отца Дамасо, который был хмур и мрачен. Но лицо священника лишь на мгновение мелькнуло перед глазами Ибарры, и теперь юношу радушно приветствовал

из своей коляски капитан Тинонг, ехавший с супругой и двумя дочерьми.

При спуске с моста лошади перешли на рысь, направляясь к бульвару Сабана. Слева, с табачной фабрики Арросерос, доносился шум — это работницы кропили листья табака. Ибарра не мог сдержать улыбку, припомнив тот крепкий запах, что в пять часов вечера распространялся с моста Пуэнте де Баркас, и его замутило, как в детстве. Вспоминая веселую болтовню и шутки здешних рабочих, он перенесся мысленно в Лавапьес, мадридский квартал, известный бунтами табачниц, которые не раз обращали в бегство обозленных полицейских.

Вид ботанического сада развеял его игривые воспоминания: демон сравнения привел ему на память ботанические сады в европейских странах, где надо затрачивать много сил и много денег, чтобы появился лишний листик или распустился лишний бутон, и роскошные, ухоженные сады в колониях, всегда открытые для публики. Ибарра взглянул затем направо, и его взору открылась старая Манила, еще окруженная стенами и рвами, словно анемичная девица, укутанная в одежды времен молодости ее бабушки. А вот и море, сливающееся с горизонтом!..

«На том его берегу — Европа! — подумал юноша. — Европа, где гордые нации постоянно волнуются, ищут счастье, упиваются мечтами по утрам и разочаровываются с заходом солнца... и счастливы, несмотря на свои поражения. Да, на том берегу бескрайнего моря обитают нации, живущие полной духовной жизнью, но не пренебрегающие и материальным миром; они гораздо богаче духовно, чем те нации, что кичатся почитанием всего духовного!..»

Но мысли его меняют направление при виде небольшого холма неподалеку от Багумбаяна. Эта уединенная горка у бульвара Лупета привлекла теперь его внимание, и он задумался.

Он стал вспоминать о человеке, который просветил его разум, научил видеть доброе и справедливое. Не так уж много идей внушил ему наставник, но они глубоко запали ему в душу, мудрые изречения эти не изгладись из его памяти за семь лет пребывания в Европе. Сей человек был старый священник, и прощальные слова старца еще звучали в ушах Ибарры. «Не забывай одного: знание — это достояние рода человеческого, но наследуют его лишь те, у кого есть сердце, — сказал наставник. —

Я старался передать тебе все, что получил от своих учителей; это богатство я приумножил, как мог, и вручаю его следующему поколению; ты же передашь его тем, кто сменит тебя, и можешь утроить его, ибо едешь в очень богатые страны». И старик добавил, улыбаясь: «Они приезжают сюда за золотом, а вы тоже поезжайте в их страны за другого рода золотом, в котором мы нуждаемся! Помни, однако,— не все то золото, что блестит». Этот человек умер там, на холме. Как бы в ответ на воспоминания, юноша тихо прошептал:

— Нет, несмотря ни на что — родина превыше всего, Филиппины — дочь Испании! Несчастливая судьба Испании не омрачит ее славы, нет!

Он оставил без внимания Эрмиту, бело-голубые домики которой с красными крышами выглядывают из зарослей ницы, как феникс, возрождающийся из пепла. Его взор не задержался ни на Малате, ни на кавалерийских казармах, окруженных деревьями, ни на людях, ни на хижилах из ницы с пирамидальными кровлями, прятавшихся среди платанов и пальм и построенных, как строятся гнезда, — отцом семьи.

Экипаж катился дальше по широкой и пыльной дороге, залитой ярким тропическим солнцем, навстречу ему двигались двуколки, запряженные одной или двумя лошадьми, сбруя которых из абака свидетельствовала о том, что их владелец — деревенский житель; возчик молча оглядывал седока богатого экипажа и продолжал свой путь. Время от времени экипаж обгонял ленивого и понурого караба, тащившего неуклюжий фургон.

К унылому, монотонному пению погонщика, сидевшего верхом на буйволе, присоединялся громкий скрип раскохшихся колес на огромной оси тяжелой повозки; порой слышалось шуршанье стершихся полозьев парагос — своеобразных филиппинских саней, которые волочат по дорожной пыли и грязи. На полях и обширных лугах пасся скот, белые цапли спокойно восседали на хребтах быков, закрыв глаза, те с аппетитом жевали сочную траву. Вдали скакали и резвились кобылы, преследуемые буйным жеребцом с длинным хвостом и пышной гривой: жеребец оглашал воздух ржанием, а из-под его могучих копыт летели комья земли.

Но наш путешественник погружен в размышления, а временами дремлет: меланхолическая или радостная поэ-

зия полей не вдохновляет его. Даже солнце, которое зали-
вает ярким светом кроны деревьев и гонит домой крестьян,
обжигающих пятки о раскаленную землю, хоть подошвы
у них дубленые, солнце, от которого крестьянка прячется
в тени миндалевого дерева или бамбуковых зарослей и
погружается в смутные, непонятные мечты,— даже это
солнце не может привлечь внимания нашего героя.

Вернемся же в Манилу, пока экипаж, словно пьяный,
раскачивается на дорожных ухабах, подпрыгивает на бам-
буковых мостиках, поднимается вверх по склонам или
быстро катится под гору.

IX

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Ибарра не ошибся: в «виктории» действительно ехал
отец Дамасо, и направлялся он в тот самый дом, откуда
юноша недавно вышел.

— Куда это вы собрались? — спросил монах Марию-
Клару и тетюшку Исабель, которые садились в экипаж,
украшенный серебряными бляхами, и с озабоченным ви-
дом потрепал девушку по щеке.

— В монастырь за вещами, — ответила она.

— А, да-да! Еще посмотрим, кто сильнее, еще посмот-
рим... — рассеянно пробормотал отец Дамасо; обе женщи-
ны с удивлением взглянули на него. Опустив голову, он
медленно пошел к лестнице и стал подниматься наверх.

— Наверное, готовится к проповеди, учит ее на-
изусть! — сказала тетюшка Исабель. — Садись, Мария,
иначе мы опоздаем.

Готовился ли отец Дамасо к проповеди или нет, мы
не знаем, но, видимо, мысли его были заняты чем-то очень
важным, ибо он даже не протянул руки капитану Тьяго,
и тому пришлось согнуться в три погибели, чтобы поце-
ловать ее.

— Сантьяго! — было первое, что вымолвил монах. —
Мы должны поговорить о делах весьма важных, пойдем в
твой кабинет.

Капитан Тьяго, встревожившись, не нашелся, что от-
ветить, но повиновался и последовал за дюжим священ-
ником, который сам запер дверь.

Пока они ведут тайные переговоры, посмотрим, что
делает отец Сибила.

Ученый доминиканец не остался в церкви: отслужив раннюю мессу, он отправился в монастырь своего ордена, находившийся у ворот, которые носили имя Изабеллы Второй или Магеллана, в зависимости от того, какая королевская фамилия правит в Мадриде.

Не обращая внимания на дивный аромат какао, на стук шкатулок и звон монет, доносившиеся из монастырской кладовой, и едва ответив на почтительный поклон брата эконома, отец Сибила поднялся наверх, пересек несколько коридоров и постучал костяшками пальцев в дверь.

— Войдите,— еле слышно ответили ему.

— Да ниспошлет господь здоровья вашему преподобию! — сказал, входя, молодой доминиканец.

В большом кресле сидел старый священнослужитель, с изможденным восковым лицом, похожий на святых кисти Риберы *. Глаза ввалились в темные глазницы, и под густыми, всегда нахмуренными бровями блестели особенно ярко; то были глаза умирающего.

Отец Сибила наблюдал за ним некоторое время, скрестив руки на груди под чудотворной ладанкой с мощами святого Доминика. Потом молча и выжидательно склонил голову.

— Ох! — вздохнул больной. — Мне советуют делать операцию, Эрнандо, операцию в моем возрасте! О, эта страна, эта ужасная страна! Не повторяй моих ошибок, Эрнандо!

Отец Сибила медленно поднял глаза и вперил их в лицо больного.

— Что же вы решили, ваше преосвященство? — спросил он.

— Умереть! Увы, ничего другого мне не остается. Я очень страдаю, но... и я заставлял страдать многих... Счеты сводятся! А ты как? С чем пожаловал?

— Я пришел рассказать вам о том, что вас интересовало.

— А! Ну и как?

— Э! — ответил с досадой молодой монах, садясь и презрительно морщась. — Нам рассказывали сказки; молодой Ибарра — разумный юноша, вовсе не глупец, и, кажется мне, славный малый.

— Ты так думаешь?

— Вчера вечером произошло столкновение!

— Уже? Каким образом?



Отец Сибила вкратце сообщил о том, что произошло между отцом Дамасо и Крисостомо Ибаррой.

— Кроме того, — добавил он в заключение, — юпоша женится на дочери капитана Тьяго, воспитанной в обители наших сестер; он богат и не захочет стать нашим врагом, потому что не захочет лишиться счастья и богатства.

Больной кивнул головой в знак согласия.

— Да, ты прав... С такой женой и таким тестем он будет принадлежать нам душой и телом. А если нет — тем лучше, пусть открыто объявит себя нашим врагом!

Отец Сибила удивленно взглянул на старика.

— Лучше для нашего святого ордена, хочу я сказать, — добавил тот, тяжело дыша. — Я предпочитаю нападки врагов похвалам глупцов и лести друзей... которым за это платят.

— Вы так полагаете, ваше преподобие?

Больной грустно взглянул на него и ответил, с трудом переводя дыхание:

— Запомни! Власть наша будет жить, пока в нее верят. Если на нас нападают, правительство говорит: на них нападают, ибо видят в них помеху своему вольнодумству, значит, надо оберегать их.

— А если наговорам поверят? Правительство иногда...

— Не поверят!

— И все же, если кто-нибудь, движимый корыстью, захочет присвоить себе наши доходы... если явится такой дерзкий смельчак...

— Тогда горе ему!

Оба умолкли.

— Кроме того, — продолжал больной, — нам полезно, чтобы на нас нападали, чтобы нас тревожили: это выявляет наши слабости, а значит, помогает укрепиться. Чрезмерные восхваления усыпляют нас, вводят в заблуждение, мы становимся смешными, и в тот день, когда над нами станут смеяться, наша власть падет здесь, как пала в Европе. Деньги больше не потекут в наши церкви, никто не станет покупать ни ладанок, ни четок, ничего; когда же мы лишимся богатства, мы утратим и влияние на народ.

— Э! У нас останутся еще наши поместья, наши угодья...

— Все будет потеряно, как в Европе! И хуже всего то, что мы сами роим себе яму. Возьмем, к примеру, это неумное стремление ежегодно повышать — по собственному произволу — арендную плату на наши земли, это стремление, которое я тщетно старался пресечь во всех капитулах и которое нас губит! Индеец вынужден покупать землю у других собственников, чьи участки оказываются не хуже или даже лучше наших. Боюсь, что наш закат начался: *Quos vult perdere Jupiter dementat prius*¹. Не следует увеличивать бремя, народ и так ропщет. Ты правильно решил: пусть другие сами сводят свои счета, а мы постараемся сохранить наш престиж и, коль скоро все равно предстанем пред господом богом, не будем пачкать руки... Да простит нам милосердный бог наши прегрешения!

— Значит, вы, ваше преподобие, полагаете, что налоги или подати...

— Не будем больше говорить о деньгах! — прервал его больной с некоторым неудовольствием. — Ты сказал, что лейтенант угрожал отцу Дамасо?..

— Да, падре! — ответил отец Сибила, криво усмехаясь. — Но сегодня утром я его видел, и он сказал мне, что сожалеет о вчерашнем разговоре, ему, мол, в голову ударил херес; — и теперь он считает, что отец Дамасо был так же невменяем, как и он сам. «Ну, а как же ваша угроза?» — спросил я шутливо. «Святой отец, — ответил он мне, — я всегда держу слово, только не в ущерб своей чести: я не доносчик и никогда им не был, потому-то и имею всего две звездочки».

¹ Кого Юпитер хочет погубить, того он прежде лишает разума (лат.).

Поговорив затем о кое-каких незначительных делах, отец Сибила откланялся.

Лейтенант действительно не ходил в Малаканьян, однако генерал-губернатор узнал о случившемся.

Во время беседы об уловках манильских газет, которые, описывая движение комет и других небесных тел, позволяли себе делать разные намеки генерал-губернатору, один из адъютантов рассказал ему историю с отцом Дамасо, несколько сгустив краски, хотя и не преступив границ деликатности.

— От кого вы узнали? — спросил, улыбаясь, его превосходительство.

— От Ларухи, который болтал об этом сегодня утром в редакции.

Генерал-губернатор снова улыбнулся и прибавил:

— Монахи и женщины не могут оскорбить! Я надеюсь спокойно дожить в этой стране положенный срок и не хочу иметь неприятности с мужчинами, носящими юбки. Более того, я знаю также, что духовные власти провинции надсмелись над моим распоряжением; я просил наказать этого монаха, а они перевели его в другой, гораздо лучший городок: «монашья штучки», как говорят у нас в Испании!

Однако когда его превосходительство остался один, улыбка сбежала с его лица.

— Эх, если бы здешний народ не был так глуп, я бы показал им, этим преподобиям! — вздохнул он. — Но каждый народ достоин своей судьбы, будем поступать, как все.

Капитан Тьяго меж тем закончил свои переговоры с отцом Дамасо, или, вернее сказать, отец Дамасо закончил переговоры с ним.

— Итак, ты предупрежден! — сказал монах, прощаясь. — Всего этого можно было бы избежать, если бы ты посоветовался со мной раньше, если бы не лгал, когда я тебя спрашивал. Постарайся больше не делать глупостей! И впредь доверяй крестному отцу!

Капитан Тьяго два-три раза прошелся по залу, вздыхая и размышляя; вдруг, словно осененный блестящей мыслью, он бросился со всех ног в молельню и потушил свечи и лампадку, которые велел зажечь во спасение Ибарры от дорожных злоключений.

— Время еще есть, путь-то не близок! — пробормотал он.

Х ГОРОДОК

Городок Сан-Диего¹ раскинулся почти у самого озера, среди лугов и рисовых полей. Его жители вывозят сахар, рис, кофе и фрукты или продают все это на месте китайцам, которые умело используют наивность и пороки крестьян.

Когда в ясный день мальчишки взбираются на самый верх церковной башенки, украшенной мхом и вьющимися растениями, они не могут удержаться от восторженных воплей при виде прекрасной панорамы. Среди нагромождения крыш из нишпы, черепицы, цинка и пальмовых листьев, разделенных садами и огородами, каждый малыш находит свой домик, свое гнездышко. Примет много: деревья — тамариндовое ли с ажурной листвой или кокосовая пальма, отягощенная орехами, как богиня плодородия Астарта или Диана Эфесская — грудями; заросли гибкого бамбука, лодка или крест. А вон и река, огромная хрустальная змея, уснувшая на зеленом ковре; кое-где вода бурлит у каменных глыб, врывшихся в песчаное ложе; сверху видно, как русло сужается вдаль, зажатое между крутыми берегами, за которые, извиваясь, цепляются корнями деревья; а ближе к городу берега более отлоги, и река разливается вширь, утихомиривается. Вдаль, у самого обрыва, на высоких тонких сваях, прилепился домик, бросая вызов высоте, пропасти и ветрам; он похож на диковинную голенастую птицу, которая подстерегает добычу. Стволы пальм или других деревьев, с еще не ободранной корой, гибкие и шаткие, соединяют оба берега; как мост они не слишком удобны, зато это отличные гимнастические снаряды для упражнений в равновесии, чем вовсе не следует пренебрегать; мальчишки, купаясь в реке, от души потешаются над женщиной, балансирующей с корзиной на голове, или над стариком, дрожащим от страха и роняющим в воду палку.

Но особое внимание привлекает то, что мы называли бы лесным полуостровом среди моря возделанных полей. В этом лесу есть столетние деревья с полыми стволами, умирающие только тогда, когда молния ударит в гордую крону и подожжет исполина; говорят, что в

¹ Нам не удалось отыскать города с таким названием, но мы знаем немало ему подобных. (Прим. автора.)

этом случае огонь не перекидывается дальше и умирает вместе с деревом; там высятся огромные скалы, которые время и природа одевают в бархат из мха; в их расщелинах слой за слоем накапливается пыль, дождь уплотняет ее, а птицы бросают туда семена.

Буйно разрастается здесь тропическая зелень; дикие заросли, непроходимые кустарники, лианы, которые тянутся от дерева к дереву, создавая своеобразный полог, свисают с ветвей, ползут по корням, по земле и, повинаясь владычице Флоре, крепко обвивают друг друга; лишайники и грибы селятся в дуплах, а орхидеи — грациозные воздушные гости — тонут в объятиях листвы гостеприимных деревьев.

Ходить в этот лес побаиваются: про него рассказывают странные легенды; самая правдоподобная из них — а потому наименее известная и популярная — следующая.

В те времена, когда городок был еще скопищем жалких хижин и на так называемых улицах всюду росла трава, в те времена, когда по ночам сюда забредали олени и кабаны, приехал однажды старый испанец с черными ввалившимися глазами, довольно хорошо говоривший по-тагальски. Объездив и тщательно осмотрев окрестности, он спросил, кто владеет этим лесом, где бьют теплые ключи. Тут же объявились люди, выдавшие себя за владельцев, и старик приобрел лес в обмен на одежду, безделушки и деньги. А потом — никто и не заметил, как это случилось, — испанец исчез. Его уже сочли было за нечистую силу, когда тлетворный запах, исходивший из соседнего леса, привлек внимание пастухов; пошарив в кустах, они обнаружили там полусгнивший труп старика, висевшего на ветви балити. Он и при жизни внушал страх своим глухим голосом, ввалившимися глазами и беззвучным смехом, а теперь самоубийца стал являться женщинам в страшных сповидениях. Иные даже побросали в реку полученные от него безделушки и сожгли одежду, и с той поры, как труп похоронили у подножья этого же балити, никто не отваживался наведываться в те места. Пастух, собиравший неподалеку стадо, рассказывал, будто видел там огоньки, а какие-то юноши утверждали, что даже слышали стенания. Один несчастный влюбленный, желая завоевать благосклонность своей дамы сердца, поклялся провести ночь у дерева и в подтверждение этого привязать к стволу тростинку, — и умер

от лихорадки, внезапно скрутившей его на следующий день после исполнения обета. Об этом лесе существует много и других легенд.

Рассказывают, что спустя несколько месяцев в селение приехал юноша, по виду — испанский метис, который назвался сыном покойного и, обосновавшись в этом захолустье, занялся земледелием, главным образом он разводил индиго. Дон Сатурнино — так звали юношу — оказался человеком замкнутым, суровым, а порой и жестоким, но очень энергичным и трудолюбивым. Он обнес оградой могилу отца и изредка посещал ее. Будучи уже в летах, он женился на девушке из Манилы, от которой у него родился сын, дон Рафаэль — отец Крисостомо.

Дон Рафаэль с самого детства был любим крестьянами. Земледелие, которое развил и поощрял в этих краях его отец, стало процветать. Сюда начал стекаться народ, наехало много китайцев, деревушка быстро разрослась в селение и уже имела своего местного священника из индейцев. Затем селение превратилось в городок, старый священник умер, и его сменил отец Дамасо. Однако могила и ее окрестности все еще считались страшным местом. Лишь мальчишки, вооруженные палками и камнями, отваживались иногда прибегать туда за гуайявой, папайей, лоибой. Но случалось, в самый разгар веселого сбора плодов или в то время, как они молча наблюдали за качавшейся на ветви веревкой, вдруг неизвестно откуда падал камень, затем другой... И тогда с криком: «Старик! Старик!» — побросав фрукты и палки, они прыгали с деревьев, без оглядки проносились по скалам, продирались сквозь кусты и, бледные, выбегали из лесу; одни — задыхаясь, другие — плача, и лишь немногие из них — умирая со смеху.

XI

ПОВЕЛИТЕЛИ

«Разделяйтесь и властвуйте» *.

Новый Макиавелли

Кто же были хозяева городка?

К их числу не относился дон Рафаэль, хотя он и был самым крупным землевладельцем и почти всем оказывал покровительство. Из скромности он всегда стремился преуменьшить значение своих добрых дел, в городке у

него не было своей партии, и мы уже видели, как все накинудись на него, когда его положение пошатнулось.

Может быть, капитан Тьяго?

Когда он приезжал, должники действительно встречали его с оркестром, устраивали в его честь ужин и осыпали подарками. Лучшие фрукты украшали его стол; если кто-нибудь убивал на охоте оленя или кабана, четвертая часть шла ему; если он хвалил лошадь должника, через полчаса она уже стояла в его конюшне. Это все так, но исподтишка над ним потешались и за спиной называли «пономарь Тьяго».

Уж не префект ли стоял во главе городка?

Увы, этот бедняга не повелевал, а подчинялся; он никого не бранил — бранили его; он не распоряжался — распоряжались им; он еще должен был держать ответ перед старшим алькальдом за все, что ему поручали и приказывали, делая вид, будто эти распоряжения исходят от него самого. Но, да будет сказано к его чести, должность свою он не украл и не узурпировал: она обошлась ему в пять тысяч песо, не считая многих унижений, и цена эта в сравнении с доходом, который он получал, казалась ему очень небольшой.

Ну, тогда, наверно, бог владычествовал там?

Но преблагой господь ничем не смущал ни совести, ни покоя местных жителей: во всяком случае, они несколько его не боялись, и когда священник говорил о нем в своих проповедях, то горожане, наверно, думали, вздыхая: «Кабы был только один бог...» Да, ему уделялось не так уж много внимания: вполне хватало хлопот с разными статуями мадонн и со святыми угодниками. Бог в глазах этих людей походил на одного из тех жалких государей, которые окружают себя фаворитами и фаворитками; народ только и знает что ублажать этих последних.

Сан-Диего был своего рода Римом, но не тем Римом, где плут Ромул бороздил сохой землю на месте будущих стен, и не тем, более поздним Римом, который, купаясь в собственной и чужой крови, диктовал миру законы. Нет, он был подобен Риму современному, с той лишь разницей, что вместо мраморных памятников и Колизея его украшали памятники из савали и арена для петушинных боев из пипы. Священник был что папа в Ватикане; жандармский альферес * — что итальянский король в Квиричале *, но, разумеется, в масштабах памятников из са-

вали и арены из нипы. Здесь, как и там, не проходило дня без столкновений, ибо каждый из двух правителей хотел быть первым и находил излишним присутствие другого. Выразим нашу мысль яснее и опишем характеры обоих.

Отец Бернардо Сальви был тот молодой, молчаливый францисканец, о котором мы уже говорили раньше. Привычками и манерами он сильно отличался от своих братьев по ордену, а тем более от своего неотесанного предшественника, отца Дамасо. Он был худощав, тщедушен, почти всегда задумчив, строго соблюдал религиозные обеты и весьма дорожил своим добрым именем. Месяц спустя после его прибытия почти все горожане вступили в орден терциариев, к великой досаде соперничавшего с ним братства «Сантисимо Росарио» *. Просто душа радовалась при виде четырех-пяти ладанок на шее каждого и веревки с узлами на поясе. А какие процессии там устраивались со скелетами и чудищами в рясах из гингона! Отец эконоом сколотил себе капиталец, продавая или раздавая как милостыню — именно так надо говорить — предметы, необходимые для спасения души и изгнания дьявола. Известно, что печистый дух, который некогда, усомнясь в слове божьем, дерзнул противоречить самому господу, как говорится в святой книге Иова, дух, который пронес по воздуху Иисуса Христа точно так, как позже, в средние века носил колдуний и еще носит, как говорят, филиппинских асуанг, — этот самый нечистый дух ныне стал таким боязливым, что не может вынести вида холста, где нарисованы две руки, и пугается узлов на монашеском поясе. Однако это лишь доказывает, что в данной области тоже намечается прогресс и что дьявол — ретроград или по меньшей мере консерватор, как всякий, кто живет в потемках, — иначе его можно было бы упрекнуть в слабостях пятнадцатилетней барышни.

Как мы уже сказали, отец Сальви выполнял свои обязанности весьма ревностно, а по мнению альфереса — слишком ревностно. Во время проповеди — а ему очень нравилось читать проповеди — церковные двери запирались; в этом он походил на Нерона, который никого не выпускал из театра, пока пел, — правда, священник спасал людские души, а Нерон их губил. За греховные поступки он обычно карал своих прихожан наложением пени

и лишь в редких случаях давал волю рукам, — чем тоже весьма отличался от отца Дамасо, который наводил порядок кулаками и палкой, хотя и действовал с самыми лучшими намерениями. Не будем, впрочем, осуждать отца Дамасо: он был убежден, что с индейцем можно разговаривать лишь при помощи палки; так утверждал один ученый монах, который умел писать книги, и отец Дамасо верил ему, ибо никогда не спорил с печатным словом (на такое легкоеверие могут, однако, пожаловаться многие).

Отец Сальви брался за палку редко, но, как заметил один старый философ из этого городка, малое количество восполнялось добрым качеством, но его нельзя порицать за это. Посты и воздержание будоражили его нервы, и, как говорили в народе, порою кровь ударяла ему в голову. Таким образом, для спин прихожан не было большой разницы в том, любят ли их священник плотно покушать или предпочитает поститься.

Единственным врагом сей духовной власти со светскими замашками был, как мы упоминали, альферес. Единственным, так как, по рассказам женщин, дьявол старался не вставать на пути его преподобия, ибо, попытавшись однажды искусить отца Сальви, он был схвачен, привязан к ножке кровати, избит веревкой и отпущен на свободу только через девять дней.

Как и следовало ожидать, человек, который после всего этого еще осмеливался быть врагом святого отца, пользовался худшей славой, чем сам неосмотрительный бедняга черт, и альферес вполне ее заслуживал. Его супруга, пожилая филиппинка, набеленная и нарумяненная, звалась донья Консоласьон;¹ муж и все окружающие называли ее иначе. Альферес вымещал неудачи семейной жизни или на себе самом — он пил запоем, — или на своих солдатах, которых он заставлял маршировать на жаре в то время, как сам сидел в тени. Однако чаще всего жертвой его гнева оказывалась супруга — он щедро награждал ее тумаками. Эта сеньора, однако, вовсе не была агнцем божьим, предназначенным для заклания во спасение его души; напротив, она уготовлиwała ему такие муки, что чистилище показалось бы ему сущим пустяком, если бы он туда попал, в чем сильно сомневались верующие. Суп-

¹ «Консоласьон» по-испански означает «утешение».

руги, словно потешаясь, дубасили друг друга, устраивая бесплатное представление для соседей; концерты вокальные и инструментальные, в четыре руки, на полном forte.

Всякий раз, когда шум этих потасовок доходил до ушей отца Сальви, он улыбался, осенял себя крестным знамением и читал «Отче наш»; если его ругали карлистом *, ханжой, скупцом, отец Сальви тоже улыбался и молился еще усерднее. Альферес всегда рассказывал тем немногим испанцам, что его посещали, следующий анекдот:

— Вы идете в монастырь к этому святому пройдохе? Так вот, если он предложит вам шоколад, — в чем я сомневаюсь! — будьте начеку. Он окликнет слугу и скажет: «Постой, налей-ка чашечку шоколада!» В этом случае вы оставайтесь без всяких опасений. Но если он скажет: «Налей-ка чашечку шоколада, живо!» — хватайте шляпу и бегите вон.

— Что вы, — спрашивал испуганный собеседник, — неужто он отравить может? Черт возьми!

— Нет, на такое он не решится!

— Тогда, что же это значит?

— «Постой» — значит, шоколад густой, а скажет — «живо», значит, жидкий.

Но мы полагаем, что альферес клеветает на отца Сальви, ибо тот же самый анекдот рассказывают про многих других священников. А может быть, это относится и ко всем членам его ордена...

Чтобы насолить святому отцу, альферес, по наущению супруги, запретил горожанам появляться на улице позже девяти часов вечера. После этого донья Консоласьон заявила, что видела, как священник, переодетый в рубаху из пиньи и салакот, разгуливал по городу поздней ночью. Отец Сальви отомстил самым святейшим образом: когда альферес входил в церковь, он подавал знак причетнику, чтобы тот закрыл все двери, затем поднимался на кафедру и читал проповедь до тех пор, пока у святых не слипались глаза, а деревянный голубь над его головой — изображение Святого духа — не шептал ему «смилуйся!». Альферес, как все закоснелые грешники, от этого вовсе не исправлялся: он выходил из церкви, расточая проклятия, а когда представлялся случай уличить в чем-нибудь причетника или служку, схватывал его, бил, застав-

лял мыть полы в казармах или в своем собственном доме, который принимал после этого пристойный вид. Причетник, уплачивая мзду, наложенную на него священником за отлучку, пытался оправдаться. Отец Сальви выслушивал его молча, брал деньги, а затем выпускал на волю своих коз и баранов, чтобы они могли попасть в сад альфереса, пока сам он подыскивал новую тему для следующей проповеди, еще более длинной и поучительной. Но все это не мешало им при встрече протягивать друг другу руку и вежливо беседовать.

Когда муж отсыпался после попойки или храпел во время сиесты и дочь Консоласьон не могла с ним бороться, она становилась в своей голубой фланелевой рубашке у окна и дымилась сигарой. Супруга альфереса терпеть не могла молодежь, и, сверля своими змеиными глазками проходивших мимо девушек, всячески поносила их. Бедняжки эти, трепетавшие перед нею, робко семенили дальше, не поднимая глаз, едва дыша. У дочери Консоласьон была только одна великая добродетель: она, видимо, никогда не смотрелась в зеркало.

Таковы были повелители городка Сан-Диего.

ХП

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

Единственное бесспорное отличие человека от животного, вероятно, состоит в том, что люди воздают почести умершим. И — как это ни странно — такой обычай наиболее прочно укоренился в наименее цивилизованных народах.

По свидетельству историков, древние обитатели Филиппин почитали и обожествляли своих предков; в нынешнее время наблюдается обратное: мертвым приходится искать признания у живых. Рассказывают также, что жители Новой Гвинеи хранят в ящиках кости покойников и беседуют с ними; большинство народов Азии, Африки и Америки готовят для умерших самые изысканные блюда или особенно любимые ими при жизни, и устраивают пиры, где, как они полагают, присутствуют души усопших. Египтяне возводят для них дворцы, мусульмане — часовни, и так далее, но самым генкальным

народом в этой области, лучше всех познавшим человеческое сердце, являются дагомейцы. Эти негры знают, что человек мстителен; поэтому, говорят они, самое лучшее средство успокоить умершего, это принести ему в жертву всех его врагов; и так как человек по природе своей любопытен, а развлечений в мире ином, видимо, не так уж много, то усопшему ежегодно присылают вестника в виде обезглавленного раба.

Мы отличаемся от всех прочих народов. Несмотря на надгробные надписи, почти никто из нас не верит в то, что мертвецы там «почивают», и к тому же — «в мире». Самый большой оптимист представляет себе своих предков жарящимися на адском огне и надеется, что если сам он избежит ада, то составит им компанию на многие лета. Тот, кому захочется нам возразить, пусть побывает в церквах и на кладбищах нашей страны в Дель всех святых, понаблюдает за тем, что там происходит, и во всем убедится сам. Раз уж мы находимся в городке Сан-Диего, посетим его кладбище.

К западу, среди рисовых полей, лежит если не целый город, то квартал усопших; к нему ведет узкая тропа, пыльная в жаркие дни и топкая после дождя. Деревянная калитка и ограда, сделанная наполовину из камня, наполовину из бамбука и деревянных кольев, кое-как отделяют его от жителей городка, но не от коз священника и соседских свиней, которые заходят сюда, чтобы порыться в могилах или оживить своим присутствием уединенное место.

Посреди этого просторного участка возвышается большой деревянный крест на каменном постаменте. Буря погнула жестяную табличку с надписью INRI*, а дождь смыл буквы. У подножья креста, словно у настоящей Голгофы, громоздится куча костей и черепов, которые равнодушный могильщик выбрасывал из могил, от поры до времени опорожняя их... Там эти брешные останки и ожидают, наверное, не воскресения из мертвых, а прихода животных, которые согреют и омоют их холодную наготу. Кругом виднеются следы недавних раскопок: здесь ямка, там бугорок. Пышно разрослись тарамбуло и пандакаки: первый — чтобы ранить своими колючими плодами ноги посетителей, а второй — чтобы услаждать их обоняние своим ароматом, если кладбищенский дух для них недостаточно силен. Однако на земле пестрят

также и другие цветочки, безымянные, как те черепа, что знакомы только царю небесному: бледна улыбка их лепестков, тошнотворен их запах. Травы и вьюнки, заполонившие все закоулки, забираются на степы и в ниши, скрадывая и приукрашивая их безобразие; кое-где зелень пробивается из трещин, оставшихся после землетрясений, скрывая от людского глаза таинственные недра склепов.

В тот час, когда мы сюда пришли, животных нет — их спугнули люди; только одна свинья — животное, трудно поддающееся убеждению и перевоспитанию, — просунула голову в отверстие в ограде, подняла вверх рыло и, моргая крохотными глазками, словно говорит женщине, склонившейся в молитве: «Эй ты, не съешь все, оставь мне немножко!»

Двое мужчин роют могилу неподалеку от стены, грозящей рухнуть; один из них, могильщик, делает свое дело спокойно: отшвыривает прочь позвонки и кости, как садовник — камни и сухие ветки, у другого озабоченный вид, он потеет, курит и каждую минуту сплевывает.

— Послушай! — говорит по-тагальски тот, что курит. — Не лучше ли нам рыть в другом месте? Эта могила слишком свежая.

— Поди разберись, какая тут не свежая.

— Я больше не могу! Та кость, что ты выбросил, еще покрыта мясом. Фу! А вот и волосы!

— Скажи какой неженка! — заметил насмешливо другой. — И не подумай, что судейский писарь! Вот если бы тебе пришлось выкапывать, как мне, труп двадцатидневной давности, да еще ночью, в темноте, под дождем... фонарь-то у меня погас...

Его товарищ вздрогнул.

— Гроб раскрылся, мертвец наполовину вылез, и вошло от него... Вот бы тебе такое потаскать... А дождь лил всюю, мы оба вымокли и...

— Брр!.. Зачем же тебе понадобилось его выкапывать?

Могильщик взглянул на него с удивлением.

— Зачем? А мне откуда знать? Так приказали!

— Кто приказал?

Могильщик отступил на шаг и оглядел своего товарища с ног до головы.

— Уж не испанец ли ты? Такие же вопросы мне зада-

вал потом один испанец, тайком. Но я тебе отвечу, как ответил испанцу: мне приказал большой священник.

— А! Ну, и что ты потом сделал с этим трупом? — продолжал расспросы «неженка».

— Черт побери! Если бы я тебя не знал и не считал своим человеком, то подумал бы, что ты и вправду испанец из жандармов: спрашиваешь, как тот самый. Ну... большой священник велел мне зарыть его на китайском кладбище. А гроб был такой тяжелый, китайское кладбище далеко...

— Нет, нет! Я больше не стану рыть! — с ужасом прервал его другой, бросая заступ и выпрыгивая из ямы. — Я раскроил череп у трупа, и, боюсь, мне теперь ночью не уснуть.

Могильщик захохотал, глядя, как тот, крестясь, удаляется.

Кладбище между тем наполнялось мужчинами и женщинами, одетыми в траур. Одни искали могилы, спорили между собой, но, не придя к согласию, расходились, и каждый преклонял колена там, где ему больше нравилось; другие, те, что соорудили ниши для своих родных, зажигали свечи и принимались самозабвенно молиться. Повсюду слышались вздохи и рыдания, преувеличенно громкие или с трудом подавляемые, и монотонное бормотанье читавших зауспокойные молитвы.

Обнажив голову, на кладбище вошел какой-то старичок с блестящими, живыми глазами. Увидев его, кое-кто рассмеялся, а находившиеся поблизости женщины насупились. Старик, не обращая ни на кого внимания, направился к груде черепов, опустился на колени и некоторое время внимательно разглядывал кости. Затем он стал перебирать черепа по одному и, видимо, не найдя того, что искал, нахмурил брови, покачал головой, оглянулся и наконец, встав на ноги, направился к могильщику.

— Послушай! — окликнул он могильщика.

Тот поднял голову.

— Не знаешь ли ты, куда запропастился красивый череп, белый, как кокосовое молоко, со всеми зубами; он лежал там, у подножья креста, под листьями?

Могильщик пожал плечами.

— Погляди! — прибавил старик, показывая ему серебряную монету. — У меня сейчас больше нет денег, но я отдам тебе это, если ты найдешь его.



При виде блестящей монеты могильщик в раздумье посмотрел на грудку костей и вымолвил:

— А там его нет? Нету? Тогда я не знаю.

— Послушай. Когда мне отдадут долги, я дам тебе больше, — продолжал старик. — Это череп моей жены; если ты мне его найдешь...

— А там его нет? Тогда я не знаю! Но если хотите, я могу дать вам другой!

— Ты как могила, которую роешь! — с горечью упрекнул его старик. — Не ведаешь цены того, что теряешь. Для кого эта яма?

— Откуда мне знать? Для мертвеца! — хмуро ответил тот.

— Как могила, как могила! — повторил, сухо усмехаясь, старик. — Не знаешь, что выбрасываешь и что глотаешь! Колай, колай!

И он направился к калитке.

Могильщик между тем кончил свое дело; два холмика свежей, красноватой земли возвышались по краям рва. Он вытащил из своего салакота буйо и начал жевать, тупо взирая на то, что происходило вокруг.

ХІІІ

ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ

В ту минуту, когда старик покидал кладбище, у поворота на тропинке остановился экипаж, очевидно проделавший долгий путь: он был весь в пыли, а лошади в пене.

Из экипажа вышел Ибарра в сопровождении старого слуги. Он жестом отпустил возницу и направился к кладбищу, сумрачный и молчаливый.

— Я был очень болен, много работал и поэтому не смог здесь побывать! — робко говорил старый слуга. — Капитан Тьяго обещал позаботиться о сооружении ниши, но я посадил цветы и поставил крест, который сделал своими руками.

Ибарра не отвечал.

— Там, за тем большим крестом, сеньор! — отворяя калитку, продолжал слуга и показал куда-то вдаль.

Ибарра так углубился в свои мысли, что не заметил,

с каким изумлением переглянулись люди, узнав его, — некоторые перестали молиться и провожали его любопытными взглядами.

Юноша шел осторожно, стараясь не наступать на могилы, которые можно было различить по небольшим углублениям в земле. Раньше, бывало, он не замечал их, а теперь обходил с уважением: в одной из них покоился его отец. Зайдя за большой крест, он остановился и поглядел вокруг. Слуга смущенно озирался, пытаясь найти какие-нибудь следы на земле, ибо креста там не оказалось.

— Здесь... — бормотал он. — Нет, там, но земля вся перерыта.

Ибарра с тревогой наблюдал за ним.

— Да, — продолжал старик, — я помню, что рядом был камень; могилу вырыли короче, чем надо; могильщик лежал больной, и ее копал помощник; но мы его спросим, куда делся крест.

Они направились к могильщику; тот глядел на них издали с любопытством и снял салакот при их приближении.

— Не скажешь ли нам, на которой из тех могил стоял крест? — спросил слуга.

Могильщик посмотрел в указанном направлении и задумался.

— Большой крест?

— Да, большой, — подтвердил живо старик, выразительно взглянув на Ибарру, лицо которого просветлело.

— Резной крест, связанный лианами? — переспросил могильщик.

— Вот-вот, он самый; вот такой! — И слуга начертил на земле византийский крест.

— А на могиле были цветы посажены?

— Олеандры, жасмин и анютины глазки! Да, да! — радостно подтвердил слуга и предложил ему табак.

— Так скажи же нам, где эта могила и куда делся крест?

Могильщик почесал за ухом.

— Крест-то... да я его сжег! — ответил он, зевая.

— Сжег! Почему же ты его сжег?

— Потому, что так велел большой священник.

— А кто это большой священник? — спросил Ибарра.



— Кто? Да тот, который дерется: отец «Палка». Ибарра потер лоб рукою.

— Но ты можешь, по крайней мере, сказать нам, где находится могила? Ты должен это помнить.

Могильщик ухмыльнулся.

— Покойника-то там уже нет! — ответил он спокойно.

— Что ты говоришь?

— Был да сплыл, — шутливо добавил могильщик. — Вместо него я закопал там одну женщину на прошлой неделе.

— Или ты свихнулся? — спросил его слуга. — Ведь еще и года нет, как мы его похоронили.

— Вот именно! Я его уже давным-давно выкопал. Большой священник приказал перетащить его на китайское кладбище. Но он был такой тяжелый, да еще дождь лил в ту ночь, так что...

Договорить ему не удалось; он в ужасе отшатнулся, увидев лицо Крисостомо, который бросился к нему, схватил за плечи и стал трясти.

— И ты это сделал? — воскликнул юноша в неописуемом волнении.

— Не сердитесь, сеньор, — ответил тот, бледнея и дрожа, — я не положил его среди китайцев! Лучше утонуть, чем быть среди китайцев, сказал я себе, и бросил покойника в воду!

Ибарра сжал руками его плечи и долго смотрел ему в глаза с таким выражением, которое невозможно передать словами.



— Несчастный! — проговорил юноша и поспешно направился к выходу, попирая ногами кости и могилы, натываясь на кресты, словно помешанный.

Могильщик потер себе плечо и пробормотал:

— Сколько хлопот с этими мертвецами! Большой священник отлупил меня за то, что я дал похоронить его, когда был болен, а этот сейчас чуть не сломал мне руки за то, что я выкопал его. Вот они каковы, исландцы! Так и место свое потерять недолго.

Ибарра быстро шагал, устремив взор вдаль; старый слуга, плача, следовал за ним.

Солнце уже клонилось к горизонту; свинцовые тучи затягивали небо на востоке; резкий ветер раскачивал верхушки деревьев, бамбуковые заросли стонали.

Ибарра шел с обнаженной головой, ни одна слеза не выкатилась из его глаз, ни один вздох не вырвался из груди. Он спешил, словно бежал от кого-то, — быть может, от тени отца или от надвигавшейся грозы. Юноша пересек город, направляясь к окраине, туда, где стоял старый дом, порог которого он не переступал столько лет. Окруженный оградой, внутри которой росли кактусы, этот дом, казалось, приветствовал его: все окна были открыты, весело шевелились усыпанные цветами ветви иланг-иланга, голуби кружили над остроконечной крышей голубятни, стоявшей посреди сада.

Однако Ибарра не обращал внимания на эти милые приметы родного очага; его глаза впились в фигуру духовного лица, шедшего навстречу. То был священник городка

Сан-Диего, тот самый задумчивый францисканец, которого мы уже знаем, враг альфереса. Ветер пригибал широкие поля его шляпы, ряса из гингона обвивалась вокруг тела и тонких, немного кривых ног. В правой руке он держал посох из паласана с набалдашником слоновой кости. Ибарра и он впервые столкнулись лицом к лицу.

Юноша при встрече на секунду остановился и пристально взглянул на священника; отец Сальви отвел глаза, будто не замечая его.

Но замешательство длилось лишь мгновение: Ибарра шагнул к священнику и остановил его, с силой схватив за плечо.

— Что ты сделал с моим отцом? — сдавленным голосом сказал юноша.

Отец Сальви вздрогнул и побледнел, поняв по лицу молодого человека, какие чувства того обуревают, но не смог ничего ответить: он словно оцепенел.

— Что ты сделал с моим отцом? — снова спросил его Ибарра глухим голосом.

Рука юноши, все крепче сжимая плечо священника, пригибала его к земле.

— Вы ошибаетесь, я ничего не делал вашему отцу! — с трудом проговорил тот.

— Не делал? — продолжал юноша, нажимая ему на плечо с такой силой, что отец Сальви вынужден был опуститься на колени.

— Нет, уверяю вас! Это был мой предшественник, это был отец Дамасо...

— А! — воскликнул юноша, отпуская его и хлопая себя по лбу. Бросив бедного отца Сальви, он поспешно направился к своему дому.

В это время к месту происшествия подоспел слуга и помог монаху подняться.

XIV

ТАСИО, ЧУДАК ИЛИ ФИЛОСОФ

Странный старик брел с рассеянным видом по улицам. Он был когда-то студентом факультета философии и оставил это поприще, подчинившись желанию своей старой матери; произошло это, однако, не из-за недостатка средств или отсутствия способностей, но именно потому,

что мать его была богата, а его все считали талантливым. Добрая женщина, опасаясь, что сын ее станет ученым и забудет о боге, предоставила ему выбирать: быть ли ему священником или оставить колледж Сан-Хосе. Он был в ту пору влюблен, а поэтому выбрал второе и женился. Овдовев и осиротев менее чем за один год, он стал искать утешение в книгах, чтобы спастись от тоски, от петушиных боев и безделья. Но он так пристрастился к науке и книгам, что совершенно забросил хозяйство и в конце концов разорился.

Хорошо воспитанные люди называли его «дон Анастасио» или «философ Тасио», а дурно воспитанные, которых было большинство, — «чудак Тасио», за его удивительные суждения и странное отношение к людям.

Как мы уже сказали, под вечер собиралась гроза; редкие молнии озаряли свинцовое небо бледным светом; воздух был тяжелый и душный.

Философ Тасио, казалось, уже забыл о дорогом ему черепе; он улыбался, глядя на темные тучи.

Неподалеку от церкви ему повстречался человек в куртке из альпака, державший в руках связку свечей и жезл с кистями — знак власти префекта.

— Вы, кажется, чему-то радуетесь? — спросил он старца по-тагальски.

— Вы угадали, сеньор капитан; я радуюсь, ибо влею надежду.

— А! Надежду на что?

— На бурю!

— На бурю? Вам, наверное, захотелось искупаться? — спросил насмешливо префект, взглянув на скромный костюм старика.

— Искупаться... это неплохо, особенно если придется иметь дело с грязью! — ответил Тасио невозмутимым, хотя и несколько презрительным тоном, глядя собеседнику в лицо. — Но я жду кое-чего получше.

— Чего же?

— Таких молний, которые поразили бы людей и сожгли бы дома! — серьезно ответил философ.

— Накличьте, кстати, и потоп на нашу голову!

— Мы все его заслуживаем, и вы и я! Вы, сеньор префект, несете связку свечей, купленных у китайца, а я уже более десяти лет предлагаю каждому новому капитану купить громоотвод. Все только смеются надо

мной и покупают петарды и ракетницы да платят деньги за то, чтобы звонили в колокола. Более того, вы сами на следующий же день после моего предложения заказали литейщикам-китайцам колокол для святой Варвары, хотя наука доказала, сколь опасно звонить в колокола во время грозы. Скажите-ка мне, почему в семидесятом году, когда молния ударила в Биньян, она попала как раз в башенку и разбила часы и алтарь? Где же был тогда колокол святой Варвары? *

В этот момент сверкнула молния.

— Иисус, Мария, святой Иосиф! Молись за нас, великомученица Варвара! — забормотал префект, бледнея и крестясь.

Тасио разразился хохотом.

— Вы достойны имени вашей святой покровительницы! — буркнул он по-испански, повернулся к нему спиной и зашагал к церкви.

Там причетники сооружали катафалк, окруженный свечами в деревянных канделябрах. Два стола были поставлены один на другой и накрыты черным холстом с белыми полосами, разрисованным черепами.

— Ради спасения душ или сожжения свечей все это делается? — спросил Тасио. Заметив двух мальчиков — лет десяти и семи, — старик подошел к ним, не дожидаясь ответа причетников.

— Идемте со мной, мальчики, — сказал он. — Ваша мать приготовила вам такой ужин, что пальчики оближете.

— Отец эконом не отпускает нас до восьми часов, сеньор! — ответил один из них. — Я жду, пока дадут жалованье, чтобы отнести его матери.

— Так. А куда вы сейчас идете?

— На башню, сеньор, звонить в колокола.

— Вы идете на башню? Берегитесь, не подходите к колоколам во время грозы.

И старик направился к выходу, бросив полный тревоги взгляд на двух мальчиков, которые поднимались по лестнице на хоры.

Тасио потер себе глаза, взглянул еще раз на небо и прошептал:

— Сейчас бы я не хотел, чтобы ударила молния.

Опустив голову, он поплелся в раздумье к окраине городка.

— Не зайдете ли к нам? — вдруг окликнул его по-испански чей-то голос из окошка.

Философ поднял голову и увидел улыбавшегося ему человека лет тридцати—тридцати пяти.

— Что вы там читаете? — спросил Тасио, указывая на книгу, которую тот держал.

— Весьма злободневное произведение: «Муки, претерпеваемые неприкаянными душами в чистилище»! — ответил тот с улыбкой.

— Ах, ах, ах! — воскликнул старец, меняя тон. — Автор, верно, порядочный плут, — добавил он, входя в дом.

На лестнице он был радушно встречен хозяином дома и его молодой супругой. Хозяина звали дон Филипо Лино, а хозяйку — донья Теодора Винья. Дон Филипо имел чин лейтенант-майора и был главой партии, почти либеральной, если ее можно так назвать и если в филиппинских городах вообще существуют партии.

— Не встретили ли вы на кладбище сына покойного дона Рафаэля, недавно вернувшегося из Европы?

— Да, я видел, как он выходил из экипажа.

— Говорят, он пошел искать могилу своего отца... Наверное, это был для него страшный удар.

Философ пожал плечами.

— Вас не трогает чужое горе? — спросила молодая сеньора.

— Вы ведь знаете, я был одним из тех шести, кто провожал покойника в последний путь; это я отправился к генерал-губернатору, когда увидел, что все горожане и даже власти молчали, глядя на подобное надругательство, — я делал все, что мог, хотя всегда предпочитаю чтить хорошего человека при жизни, а не после смерти.

— Но тогда...

— Видите ли, сеньора, я не сторонник наследственной монархии. Мне досталось от матери несколько капель китайской крови, и потому я мыслю отчасти как китаец; я уважаю отца за его сына, а не сына за отца. Пусть каждый получает награду или наказание за свои дела, а не за дела других.

— Вы заказали заупокойную мессу по вашей супруге, как я вам вчера советовала? — спросила женщина, меняя тему разговора.

— Нет! — ответил старец, улыбаясь.

— Какая жалость! — воскликнула она, искренне опечалившись. — Говорят, что до завтра, до десяти часов утра, души свободно летают, ожидая помощи от живых; одна месса в эти дни стоит пяти в другие дни года или даже шести, как сказал священник сегодня утром.

— Ого! Иначе говоря, нам даруется некоторая отсрочка, которой надо воспользоваться.

— Послушай, Дорай! — вмешался дон Филипо. — Ты же знаешь, что дон Анастасио не верит в чистилище.

— Как так не верю в чистилище? — запротестовал старик, приподнимаясь с места. — Я даже знаю кое-что из его истории!

— Из истории чистилища! — воскликнули в один голос изумленные супруги. — О, расскажите нам!

— А вы ничего о нем не знаете и еще заказываете мессы и говорите о его ужасах? Ну ладно. Раз уж пошел дождь, да, кажется, зарядил надолго, у нас есть время поразвлечься, — ответил Тасио и на минуту задумался.

Дон Филипо закрыл книгу, которую держал в руках, а Дорай села рядом с мужем, приготовившись не верить ничему из того, что расскажет старый Тасио. Философ начал следующим образом:

— Чистилище существовало задолго до того, как сошел на землю наш господь Иисус Христос, и, по-видимому, находилось или в центре земли, как утверждает отец Астете, или неподалеку от Ключни, как говорит монах, о котором нам поведал отец Хирард. Но дело не в его местонахождении. Так вот, — кто же были те, что горели в его огне, пылавшем с начала мироздания? Древность чистилища подтверждает христианская философия, согласно которой бог не создал ничего нового после шести дней творенья.

— Но чистилище могло существовать *in potentia*¹, а не *in actu*²! — заметил лейтенант-майор.

— Прекрасно! Я, однако, отвечу вам, что некоторые знали о нем и как о существующем *in actu*, и одним из таких был Заратустра, или Зороастро, который написал часть «Авесты»* и основал религию, кое в чем близкую нашей; а Заратустра, по уверениям ученых, жил по

¹ В потенции (лат.).

² В действительности (лат.).

меньшей мере в восьмом веке до рождества Христова. Я говорю «по меньшей мере», ибо Гаффарель, изучив свидетельства Платона, Ксанфа из Лидии, Плиния, Гермифоса и Эвдокса, полагает, что он жил за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Как бы то ни было, несомненно, что Заратуштра уже упоминал о своего рода чистилище и предлагал средства, избавляющие от него. Живые могут спасти души умерших во грехе, читая выдержки из «Авесты» и творя добрые дела, но при условии, что за грешника молится его родственник не далее четвертого поколения. На это отводилось особое время в году, длившееся пять дней. Позднее, когда это верование утвердилось в народе, священнослужители поняли, что оно может принести им выгоду, и стали извлекать доходы из этих «темных, мрачных тюрем, где царят угрызения совести», как писал Заратуштра. Установили, что за один дирхем — монету, как говорят, довольно мелкую, — можно избавить душу от мук на целый год. Но так как по канонам той религии за некоторые грехи, как, например, ложь, оскорбление, нарушение клятвы и так далее, полагалось мучиться от трехсот до тысячи лет, то пройдохи клали себе в карман миллионы дирхемов. Здесь вы видите нечто весьма схожее с нашим чистилищем, хотя и с некоторыми различиями, которые обусловлены различием религий.

Молния, сопровождавшаяся оглушительными раскатами грома, заставила Дорай вскочить; она воскликнула, осеня себя крестным знамением:

— Иисус, Мария и старец Иосиф! Я оставляю вас; пойду спать освященный пальмовый лист и зажгу свечи во спасение души.

Дождь хлынул как из ведра. Философ Тасио продолжал, глядя вслед молодой женщине:

— Теперь, когда ее нет, мы можем поговорить об этом более серьезно. Дорай, хотя и несколько суеверна, — добрая католичка, а мне не доставляет никакого удовольствия вырывать веру из чьего-либо сердца. Чистая и простая вера отличается от фанатизма, как пламя от чада, как музыка от какофонии: глупцы и глухие этого не различают. Между нами говоря, идея чистилища сама по себе хороша, свята и разумна; она как бы соединяет тех, кого уже нет, с живыми, и побуждает быть чище и лучше. Вся беда в том, что эту идею употребляют во зло.

Посмотрим же, как могла проникнуть в католицизм идея чистилища, неизвестная Библии и святым Евангелиям. Ни Моисей, ни Иисус Христос даже мимоходом не упоминают о нем, а единственное место, которое приводится из книги Маккавейской *, неубедительно, тем паче что книга эта была объявлена Лаодикийским собором неканонической и святая католическая церковь признала ее значительно позже. Языческая религия тоже не ведала чистилища. Столь известные строки из Виргилия: «*Aliae panduntur inanes...*»¹, давшие повод Григорию Великому говорить о погруженных в воду душах и побудившие Данте описать чистилище в своей «Божественной комедии», не могут быть источником этого верования. Ни брамны, ни буддисты, ни египтяне, у которых Греция и Рим заимствовали Харона и озеро Аверно *, тоже не знали ничего, подобного чистилищу. Я уже не говорю о религиях североευропейских народов; это — религии воинов, бардов и охотников, но не философов. И хотя эти народы сохраняют еще свои верования и даже обряды, правда приспособленные к христианству, их вера не распространилась с ордами варваров, грабивших Рим, не смогла осесть в Капитолии; северные туманы рассеялись под южным солнцем.

Первые христиане тоже не верили в чистилище; они умирали с радостной надеждой, что скоро предстанут пред господом. Из отцов церкви первыми как будто упоминают о чистилище святой Клементий Александрийский, Ориген и святой Ириней; возможно, под влиянием зороастризма, который тогда еще процветал и был очень распространен на Востоке, — ведь Оригена весьма часто упрекают в приверженности к Востоку. Святой Ириней доказывал существование чистилища тем, что Иисус Христос пребывал три дня в глубинах земной, то есть в чистилище, и заключил отсюда, что каждая душа должна пребывать там до воскресения плоти, хотя «*Hodie mesum eris in Paradiso*»² как будто противоречит этому.

Святой Августин * тоже говорит о чистилище; не утверждая прямо, что оно существует, он, однако, не отвер-

¹ «Ипые простираются там пустыни» (Виргилий, «Энеида», VI) (лат.).

² «Ныне же будешь со мною в раю» (Евангелие от Луки, XXIII, стр. 43) (лат.).

гает этой идеи, полагая, что в ином мире можно продлить наказание, которое мы терпим за наши грехи на земле.

— Черт бы побрал святого Августина! — воскликнул дон Филиппо. — Мало ему, что нам приходится здесь страдать; ему нужно еще и продолжение!

— Вот так и пошло: одни верили, а другие — нет. Однако с тех пор, как святой Григорий допустил существование чистилища в своем «*de quibusdam levibus culpis esse ante iudicium purgatorius ignis credendus est*»¹, ничего определенного об этом не говорилось до тысяча четырехста тридцать девятого года; лишь тогда, через восемь веков после святого Григория, Флорентийский собор признал, что должен существовать очистительный огонь для душ тех, кто скончался в мире с господом, но еще не исполнил всех велений божественного правосудия. Наконец, Тридентский собор, созванный Пием Четвертым в тысяча шестьсот пятьдесят третьем году, издал на своем пятнадцатом заседании декрет о чистилище, пачинавшийся словами «*cum catholica ecclesia, Spirito Santo edocta*»² и гласивший, что старания живых, молитвы, пожертвования и другие богоугодные дела — наиболее действенные средства для спасения душ, особенно если к этому еще заказать мессу. Однако протестанты не верят в чистилище, и греческие священники тоже, ибо не находят подтверждения в Евангелии; они говорят, что наша ответственность за поступки кончается со смертью и что «*Quodcumque ligaberis in terra*» вовсе не означает «*usque ad purgatorium*»³. На это можно ответить следующее: если чистилище находится в центре земли, то оно, разумеется, оказывается во власти святого Петра... Я, паверное, пикогда бы не кончил, если бы стал пересказывать все, что по этому поводу говорили. Если вы когда-нибудь захотите еще побеседовать со мной об этом предмете, приходите ко мне домой, там мы раскроем книги и поболтаем на досуге.

А теперь мне надо идти. Не понимаю, почему в такую ночь христианское благочестие допускает кражи —

¹ «Следует полагать, что за некоторые легкие провинности душам назначен огонь чистилища, прежде чем они предстанут перед Судом» (лат.).

² «Совместно с католической церковью, святым духом наставленной» (лат.).

³ «И что свяжешь на земле» (Евангелие от Матфея, XVI, стр. 19) (лат.).

это вы, власти, попустительствуете, — и я боюсь за свои книги. Если бы их украли у меня, чтобы прочесть, я бы не огорчился, но я знаю, что многие хотят попросту сжечь их, дабы оказать мне благодеяние, а таких благодетелей, подобных халифу Омару *, следует опасаться. Кое-кто считает, что за мою страсть к книгам я уже проклят богом...

— Но я думаю, в проклятие-то вы верите? — спросила, улыбаясь, Дорай; она появилась, неся маленькую жаровню с сухими пальмовыми листьями, от которых шел густой ароматный дым.

— Не знаю, сеньора, как будет угодно господу поступить со мною! — ответил задумчиво старый Тасио. — На смертном одре я вверюсь ему без страха, пусть делает со мной что пожелает. Но мне в голову приходит одна мысль...

— Какая же?

— Если спастись могут только католики, да и то не более пяти из ста, как уверяют многие священники, и если католики составляют лишь одну двенадцатую часть населения земного шара, судя по статистике, то выходит, что после того, как были прокляты тысячи тысяч людей во все века, предшествовавшие явлению спасителя на землю, и после того, как сын божий принял смерть за нас, теперь удастся спастись только пятерым из тысячи двухсот человек? О, так не может быть! Я предпочитаю говорить и думать, как Иов: «Не сорванный ли листок ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь?» Нет, такая жестокость немыслима, верить в нее — значит богохульствовать; нет и нет.

— Чего же вы хотите? Божественное правосудие и святость...

— О! По божественное правосудие и святость предвидели будущее еще до сотворения мира! — ответил старец, вставая. — Человек — это явление случайное и не обязательное; бог не должен был создавать его, нет, не должен был, если для того, чтобы сделать счастливым одного, ему надо осуждать на вечные муки сотни людей. И за что? За грехи предков или случайные проступки! Нет, это невероятно! А если бы это было так, лучше заранее удушите своего мирно спящего сына; если бы это верование не было кощунством против самого бога, которому надлежит быть олицетворением добра, тогда сам Молох финикийский, который питался человеческим мясом и кровью невинных и во чреве которого сгорали

дети, оторванные от материнской груди, тогда это кровава-
жадное, страшное божество выглядело бы рядом с милосердным христианским богом хрупкой девицей, другом нашим, матерью человечества!

И, объятый ужасом, чужак — или философ — покинул дом и выбежал на улицу, невзирая на дождь и тьму.

Ослепительная молния, сопровождаемая страшным ударом грома, рассыпала в воздухе смертоносные искры и осветила старца, который, воздев руки к небу, кричал:

— Ты протестуешь! Я знаю, что ты не жесток, я знаю, что должен называть тебя добрым!

Молнии то и дело сверкали, гроза свирепела...

XV

ПРИЧЕТНИКИ

Раскаты грома следовали один за другим, сливаясь в едином грохоте, и перед каждым раскатом небо рассекал чудовищный зигзаг молнии; словно бог хотел начертать пламенем свое имя, а небосвод содрогался от страха. Дождь лил потоками, которые металась то вправо, то влево, гонимые порывами злоеде завывавшего ветра. Колокола робкими голосами возносили к небу свою меланхоличную жалобу и в короткие промежутки тишины, когда смолкал рев разбушевавшейся стихии, их печальный перезвон казался мольбою, стоном и плачем.

На второй площадке колокольни сидели два мальчика, которые недавно разговаривали с философом. Младший, с большими черными глазами и пугливым выражением личика, старался покрепче прижаться к брату, очень похожему на него лицом, но глядевшему более осмысленно и решительно. На обоих была пополненная одежда, вся в заплатках. Они сидели на чурбане, и каждый держал в руке веревку, верхний конец которой терялся где-то высоко, в темноте третьей площадки. Дождь, подгоняемый ветром, добирался до них и гасил огарок свечи, стоявший на большом камне, который катают на хорах, воспроизводя гром в святую пятницу.

— Тяни веревку, Криспин! — сказал старший своему братишке.

Тот повис на канате, и наверху послышалось слабое стенание, но его тотчас заглушил удар грома, многократно повторенный эхом.

— Ох, если бы мы сейчас были дома, с мамой! — вздохнул младший, глядя на брата. — Там не страшно.

Старший не ответил; он смотрел, как оплывает воск, и был, казалось, чем-то встревожен.

— Там никто не сказал бы мне, что я ворую! — прибавил Криспин. — Мама не позволила бы! А если бы она знала, что меня бьют...

Старший отвел глаза от пламени и поднял голову. Схватив толстую веревку, он сильно ее рванул: сверху донеслось звучное гудение.

— Мы всегда так будем жить, брат? — продолжал Криспин. — Хоть бы заболеть завтра и остаться дома, сильно-сильно заболеть, чтобы мама за мной ухаживала и не пускала в монастырь! Меня бы не называли вором, не били бы! И ты тоже заболей со мной вместе.

— Нет! — ответил старший брат. — Тогда мы все умрем: мать от горя, а мы с голоду.

Криспин молчал.

— Ты сколько заработал в этом месяце? — спросил он наконец.

— Два песо: на меня наложили три пени.

— Заплати за меня, за то, что я украл, как они говорят; пусть не называют нас ворами. Заплати!

— Ты с ума сошел, Криспин! Маме есть будет нечего; отец эконом говорит, что ты украл две унции, а две унции — это тридцать два песо.

Малыш стал считать на пальцах, пока не насчитал тридцать два.

— Шесть рук и два пальца! И каждый палец — это песо, — прошептал он задумчиво. — А каждый песо... Сколько в нем куарто?

— Сто шестьдесят.

— Сто шестьдесят куарто? Сто шестьдесят раз по одному куарто? Ой, мама! А сколько это — сто шестьдесят?

— Тридцать две руки, — ответил старший.

Криспин на секунду замер, разглядывая свои ручки.

— Тридцать две руки! — повторял он. — Шесть рук и два пальца, а каждый палец — тридцать две руки... и каждый палец — один куарто... Ох, мамочка, сколько же куарто! Не сосчитаешь и за три дня... Можно купить и

туфли, и шляпу от солнца, и большой зонтик от дождя, и еду, и одежду тебе, маме и...

Криспин задумался.

— А жаль, что я вправду не украл!

— Криспин! — упрекнул его брат.

— Не сердись! Священник сказал, что забьет меня до смерти, если деньги не сыщутся; если бы я украл, я смог бы их отыскать. А если бы умер, то у тебя и у мамы осталась бы одежда. Уж лучше бы я украл!

Старший молча раскачивал веревку. Потом сказал, вздохнув:

— Боюсь, что мать будет тебя бранить, если узнает!

— Почему ты так думаешь? — удивленно спросил малыш. — Ты ей скажешь, что меня уже сильно побили, я покажу ей свои синяки и дырявый карман; у меня и был-то всего один куарто, который мне дали на насху, а священник вчера отнял и его. Я никогда не видел такого красивого куарто. Мама не поверит этому, не поверит!

— Если священник ей скажет...

Криспин заплакал, бормоча сквозь слезы:

— Тогда пди ты один, я не пойду; скажи маме, что я заболел; я не хочу идти домой.

— Не плачь, Криспин! — сказал старший. — Мать не поверит паговорам, не плачь; сказал же старый Тасно, что нас ждет вкусный ужин...

Криспин поднял голову и посмотрел на брата.

— Вкусный ужин! Я еще и не обедал: они не дают мне есть, пока не найдутся две



унии. А если мама поверит? Ты ей скажешь, что отец эконо́м врет и священник, который ему верит, — тоже; все они врут, говорят, что мы воры, потому что отец у нас непутевый...

Но тут снизу, оттуда, куда уходила лестница, соединявшая площадку с первым этажом, вдруг вынырнула голова, и, будто при появлении Медузы, слова застыли на губах ребенка. Это была продолговатая, сухая голова с длинными черными волосами; синие очки скрывали кривой глаз. Таков был отец эконо́м, который имел обыкновение появляться бесшумно и внезапно.

Оба брата окаменели.

— На тебя, Басилио, я налагаю штраф в два реала за то, что ты звонишь неравномерно, — сказал отец эконо́м настолько глухо, будто у него не было голосовых связок. — А ты, Криспин, ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока не вернешь то, что украл.

Криспин взглянул на брата, моля о помощи.

— Нам уже разрешили идти... мать ждет нас к восьми, — робко пролепетал Басилио.

— Ты тоже не уйдешь в восемь, — сиди до десяти!

— Но, сеньор, ведь после девяти нельзя ходить, да и дом наш далеко.

— Ты мне еще указывать будешь? — злобно прошипел отец эконо́м. И, схватив Криспина за плечо, потащил его к себе.

— Сеньор! Мы уже целую неделю не видели матери! — молил Басилио, уцепившись за братишку.

Отец эконо́м резко оттолкнул Басилио и поволок за собой Криспина, который сквозь слезы кричал брату:

— Не отдавай меня, они меня убьют!

Но отец эконо́м, не обращая внимания на крик, продолжал тащить ребенка вниз по лестнице, пока оба не исчезли в темноте.

Басилио стоял, онемев от ужаса. Он слышал, как ударилось о ступени тело брата, как бил его отец эконо́м, слышал крики, но вскоре все эти раздражающие душу звуки стихли.

Мальчик не дышал: он все еще прислушивался, широко раскрыв глаза и сжав кулаки.

— Когда же я наконец сам смогу пахать? — пробормотал он и бросился вниз по лестнице.

Спустившись на хоры, он снова прислушался; голос

брата быстро удалялся, и крики: «Мама! Братик!» — совсем прекратились, когда захлопнулась какая-то дверь.

Дрожа, обливаясь холодным потом, Басилио замер на месте; он кусал пальцы, чтобы сдержать крик, рвавшийся из груди; потом стал озираться вокруг, пытаясь что-нибудь разглядеть в тускло освещенной церкви. Слабо мерцала лампа; посредине стоял катафалк; все двери были заперты, на окнах — решетки.



Тогда он быстро взбежал вверх по лестнице, миновал вторую площадку, где горела свеча, и поднялся на третью. Там Басилио отвязал веревки от колоколов и снова спустился. Он был бледен, но глаза его блестели, только не от слез.

Дождь начал стихать, и небо очищалось от туч.

Басилио связал веревки, прикрепил их одним концом к столбику балюстрады и, забыв погасить свет, соскользнул во мглу.

Несколько минут спустя на одной из улиц послышались голоса и прогремели выстрелы; однако никто из горожан даже ухом не повел, и снова все погрузилось в безмолвие.

XVI

СПСА

Ночной мрак сгущается. Спят спокойно горожане, спят семьи, которые помянули усопших, — они почивают безмятежно, с легкой совестью, ибо прочитали все положенные заупокойные молитвы, отмолились девять дней

во спасение душ и сожгли немало свеч перед святыми образами. Сильные мира сего сполна рассчитались с родственниками, которые оставили им богатство; завтра они отстоят по одной мессе у каждого священника, дадут два песо, чтобы отслужили еще одну мессу по их заказу, а потом купят буллу с индульгенциями для усопших. Поистине правосудие божье куда менее требовательно, чем людское.

Однако бедняк, неимущий, который едва зарабатывает на хлеб и еще должен давать взятки секретарям префекта, писцам и солдатам, чтобы они не трогали его, вряд ли спит спокойно, вопреки мнению придворных поэтов, которые, наверно, не испытали на себе всех ужасов нужды. Бедняк ложится спать с печальной думой. Этим вечером он прочитал, может быть, мало молитв, зато много жалоб вознес богу с тоскою в очах и болью в сердце. Он не молится по девять дней подряд, он не знает ни тропарей, ни псалмов, ни других песнопений, которые сочинили монахи для тех, у кого нет ни собственных мыслей, ни собственных чувств; да он всего этого и не понимает. Он молится на языке своей нужды; его душа плачет о себе и о тех усопших, чья любовь была для него радостью. Пусть уста его шепчут благодарственную молитву, — его разум жалуется и обвиняет. Будете ли вы довольны — ты, господь, благословивший нищету, и ты, тени в чистилище, — безыскусной молитвой бедняка, произнесенной перед дешевой олеографией при свете тимсима? Или вы, быть может, желаете видеть свечи перед кровоточащими распятиями, перед девами, у которых стеклянные глаза и губы бантиком, и хотите слушать мессы, что бубнят по-латыни равнодушные священники? О религия, дарованная страждущему человечеству, уже ли ты забыла свою миссию — утешать угнетенного нуждой и умерять гордыню власть имущего? Уже ли ныне ты сулишь спасение только богатым, только тем, кто может заплатить тебе?

Бедная вдова, лежа рядом с детьми, не смыкает глаз; она думает о буллах, которые надо купить, чтобы ее родители и покойный муж почивали в мире. «Одно песо, — шепчет она, — одно песо, это неделя счастья для моих детей, неделя смеха и радости, это сбережения за целый месяц, это платье для моей дочери, которая становится взрослой...» — «Надо погасить огонь сих жела-

ний, — слышится ей голос проповедника, — надо жертвовать собой». Да! Надо! Церковь не спасает безвозмездно души твоих любимых: она не раздает буллы бесплатно. Ты должна купить буллу, и, вместо того чтобы ночью спать, ты будешь работать. А дочь твоя пусть ходит в лохмотьях. Ох, как дорого стоит небо! Нет, видно, бедным не попасть в рай!

Такие мысли витают в клетушке, разделенной на сайг, где разостлана жалкая циновка, и палупу, где качается гамак, в котором спит ребенок. Его дыхание ровно и спокойно, иногда он причмокивает и что-то бормочет: ему снится, как наполняется его голодный желудок, которому мало тех крох, что остаются после старших братьев и сестер.

Монотонно стрекочут цикады; бесконечный этот звук сливается с трелями сверчка, прячущегося в траве, с тихим свистом маленькой ящерицы, вылезающей из норки в поисках пищи, меж тем как чакон, уже не боясь дождя, высовывает голову из дупла гнилого дерева и нарушает однообразный шум своим зловеющим карканьем. На улице надрывно воют собаки, и, прислушиваясь к их вою, суеверные люди говорят, что животные чувствуют приближение духов и призраков. Но ни собаки, ни насекомые не видят людских страданий, а между тем сколько их на земле!

За городом, на расстоянии часа ходьбы, стояла хижина матери Басилио и Криспина, жены одного бессердечного человека. Она жила ради своих сыновей, а ее муж только и знал, что шатался по городу да целыми днями пропадал на петушиных боях. Они виделись редко, но встречи их всегда кончались плохо. Мало-помалу он отнял у нее все ее скромные украшения, проиграл или пропил их, и когда у кроткой Сисы уже не осталось ничего, чем бы ублажить мужа, он стал измываться над ней. Сиса была слабовольна, в ней больше говорило сердце, нежели разум, она умела лишь любить и плакать. Мужа она считала богом, а сыновей — ангелами. Он же, зная, что она его любит и в то же время боится, вел себя так, как ведут себя все мнимые божества: с каждым днем становился все более жестоким и требовательным.

Однажды Сиса спросила у мужа, явившегося с сумрачным лицом, как относится он к ее затее сделать Басилио церковным служкой. Муж, глядя петуха, ничего

не ответил, а только спросил, много ли денег будет получать сын. Она тогда не посмела настаивать, однако пужда и желание определить мальчиков в городскую школу, где они смогли бы научиться читать и писать, побудили ее осуществить свой замысел. Муж и на этот раз не сказал ни слова.

Той самой ночью, часов около одиннадцати, когда звезды уже сияли на небе, омытом грозою, Сиса сидела на деревянной скамеечке и смотрела на тлеющие ветки в очаге, сложенном из грубо обтесанного камня. На треножнике стояла кастрюлька, где варился рис, а на углях лежали тощие сардины, из тех, что продаются по три штуки на два куарто.

Подперев рукой подбородок, она смотрела на желтые, слабые язычки пламени, лизавшие бамбук, хрупкие угольки которого быстро превращались в пепел; печальная улыбка освещала ее лицо. Она вспоминала шуточную загадку о кастрюле и огне, которую ей как-то загадал Криспин. Мальчик сказал:

Naupû si Maitim sinulut ni Mapulá
Nang malaóy kumará — kará ¹.

Она была еще молода и, очевидно, в свое время отличалась красотой и изяществом. Глубокие, с длинными ресницами глаза, которые она вместе со своей душою передала сыновьям, были прекрасны; нос — правильной формы, а поблекшие губы — красиво очерчены. Кожа у нее была смуглая, но чистая, светло-шоколадного оттенка. Однако несмотря на молодость, ее бледные щеки заметно ввалились — то ли от горя, то ли с голоду; если она еще причесывала пышные волосы, бывшие когда-то ее гордостью и украшением, то скорее по привычке, а не из кокетства — они были собраны в простой пучок, без пшплек и гребенок.

Сиса уже несколько дней не выходила из дому — шила одну вещь, которую ее попросили сделать как можно скорее. Чтобы заработать деньги, ей пришлось в то утро пропустить мессу, ибо дорога в город отняла бы у нее по меньшей мере два часа: бедность вынуждает гре-

¹ Черный человек садится, а красный глядит на него, время идет, а он все глядит на него (тагальск.).

пить! Закончив работу, она отнесла питье заказчику, но он лишь пообещал заплатить ей.

Весь день мечтала Сиса о наступлении вечера: она ждала сыновей и ей хотелось побаловать их. Она купила сардины, сорвала в своем огороде лучшие помидоры, зная, что это любимое лакомство Криспина; выпросила у философа Тасио, жившего в полукилометре от нее, кабанье копытце и лапку дикой утки — любимое блюдо Василио. Полная

радостного ожидания, она сварила самый белый рис, ею же собранный на полях. Для бедных мальчишек это был действительно ужин на славу.

Но тут, как на грех, пришел муж и съел рис, кабанье копытце, утиную лапку, пять сардин и помидоры. Сиса не вымолвила ни слова, хотя ей казалось, будто едят ее самое. Насытившись, он вспомнил о детях; лишь тогда лицо Сисы озарилось улыбкой, и, довольная его вниманием, она пообещала себе не ужинать этим вечером, ибо того, что осталось, не хватило бы на троих. Отец спросил про детей, и это для нее значило больше, чем еда.

Затем муж взял своего петуха и собрался уходить.

— Ты не хочешь их повидать? — спросила она с трепетом. — Старый Тасио сказал мне, что они немного задержатся; Криспин уже умеет читать и... Василио, наверное, принесет жалованье!

Это последнее сообщение остановило супруга, он колебался, но его добрый гений восторжествовал.

— Ты мне оставишь тогда одно песо! — сказал он и ушел.

Сиса горько расплакалась, но, вспомнив о детях, осушила слезы. Она сварила остаток риса и поджарила три оставшихся сардины: каждому достанется по полторы.



«Они нагуляют аппетит! — думала она. — Путь долог, а у голодных кишок нет жалости».

Так она сидела, ловя каждый шумок, настораживаясь при еле слышных шагах прохожих. «Четкие и твердые — Басилио, легкие и неровные — Криспин», — думала мать.

Калао прокричал в лесу уже два или три раза с тех пор, как кончился дождь, но сыновей все еще не было.

Сиса положила сардины в кастрюльку, чтобы они не остыли, и вышла на порог хижины взглянуть на дорогу. Желая немного отвлечься, она стала тихонько напевать песенку. У нее был прекрасный голос, и когда ее сыновья слышали, как она поет кундиман, они плакали, сами не зная почему. Но этим вечером голос ее дрожал, и песня не получалась.

Она перестала петь и устремила взор в темноту. Никто не шел со стороны городка, только ветер стряхивал капли с широких листьев платанов.

Вдруг она увидела перед собою черную собаку, которая что-то обнюхивала на дороге. Сиса испугалась, схватила камень и бросила в собаку. Та, жалобно взыв, побежала прочь.

Сиса не была суеверной, но она столько наслышалась о дурных предчувствиях и черных собаках, что ее душой овладел ужас. Она поспешно захлопнула дверь и села у огонька. Ночь рождает суеверные страхи, и воображение населяет тьму призраками.

Она пыталась молиться, взывать к святой деве, к богу, чтобы они защитили ее сыновей, в особенности маленького Криспина. Но слова молитвы улетучивались из ее памяти при мысли о них, ей виделись их лица, лица сыновей, постоянно улыбающиеся ей — и во сне и наяву. Вдруг она почувствовала, что волосы зашевелились у нее на голове, глаза полезли на лоб, — что это — видение или действительность? — она увидела Криспина, стоящего подле очага, на том месте, где он всегда сидел, чтобы поболтать с нею. Сейчас он ничего не говорил, только смотрел на нее своими большими задумчивыми глазами и улыбался.

— Мама, мама, открой, мама! — раздался снаружи голос Басилио.

Сиса вздрогнула, и видение исчезло.

XVII

БАСИЛИО

«Жизнь есть сон» *.

Едва переступив порог, Басилио зашатался и упал на руки матери. Ужас охватил Сису, когда она увидела его одного. Она хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова, хотела обнять сына и не находила сил; плакать она тоже не могла.

При виде крови на лбу мальчика из груди ее вырвался вопль, словно в сердце у нее что-то оборвалось.

— Дети мои!

— Не тревожься, мама! — ответил Басилио. — Криспин остался в монастыре.

— В монастыре? Он остался в монастыре? Он жив?

Мальчик поднял на нее глаза и молча кивнул.

— Ох! — воскликнула она, тревога в ее душе сменилась радостью. Сиса плакала, обнимала сына, покрывала поцелуями его окровавленный лоб.

— Криспин жив! Он остался в монастыре... Но кто тебя ранил, сыночек? Или ты упал?

И она внимательно его оглядела.

— Отец эконоом увел Криспина, а мне велел не уходить до десяти часов. Было уже очень поздно, и я убежал. В городе солдаты крикнули мне: «Кто идет?» — и я пустился бегом, а они стали стрелять, и пуля оцарапала мне лоб. Я боялся, что меня схватят и отколотят в казармах палкой, как Пабло, — он до сих пор болеет.

— Благодарю тебя, боже, — прошептала мать, содрогаясь. — Это ты его спас! — И прибавила, готовя для перевязки кусок ткани, воду, уксус и перо цапли: — Еще бы чуть-чуть, и тебя убили бы, убили моего сына! Жандармы не думают о матерях!

— Ты скажешь соседям, что я упал с дерева; пусть никто не знает, что за мной гнались.

— А почему Криспин остался? — спросила Сиса, перевязав лоб сыну.

Он посмотрел на мать, обнял ее и рассказал по порядку историю с двумя унциями, но ни словом не обмолвился о побоях, которым подвергали брата.

Слезы сына смешались со слезами матери.

— Мой хороший Криспин! Обвинять моего доброго Криспина! Это потому, что мы бедные, а бедные должны все терпеть! — шептала Сиса, глядя полными слез глазами на лампу, в которой догорало масло.

Некоторое время они молчали.

— Ты ужинал? Нет еще? Вот рис и жаренные сардины.

— Я не хочу есть; воды, дай мне воды, и больше ничего.

— Да, — произнесла печально мать, — я знала, что тебе не по вкусу вяленые сардины, я приготовила тебе другую еду, но приходил твой отец. Бедный сын мой!

— Отец приходил? — спросил Басилио и невольно взглянул на лицо и руки матери.

Сердце Сисы сжалось: она слишком хорошо поняла смысл вопроса и потому поспешила добавить:

— Приходил и расспрашивал про вас, хотел видеть своих сыновей, он был очень голоден. Сказал, что, если вы будете хорошо себя вести, он опять вернется к нам.

— Э, вздор! — прервал Басилио и досадливо скривил губы.

— Сынок! — упрекнула она.

— Извини, мама! — ответил мальчик серьезно. — Но разве не лучше нам жить втроем: ты, Криспин да я? Ты плачешь? Нет-нет, я беру свои слова обратно.

Сиса вздохнула.

— Значит, не будешь ужинать? Тогда ляжем спать, уже поздно.

Она заперла дверь хижины и засыпала угольки пеплом, чтобы не потухли. Так же поступаем мы со своими чувствами, чтобы не угасли они от повседневного общения с ближними: посыпая их пеплом жизни, который называется равнодушием.

Басилио прочитал скороговоркой молитвы и лег возле матери; она молилась, преклонив колена.

Мальчика бросало то в жар, то в холод; закрыв глаза, он думал о своем братике, который мечтал, что будет спать этой ночью, прижавшись к материнской груди, а теперь, наверно, плачет и дрожит от страха в темной камерке монастыря. В ушах Басилио все еще звучали крики брата, раздававшиеся на колокольне, но постепенно усталость взяла верх, мысли стали путаться, и сон смежил его глаза.

Ему привиделась келья, где горели две свечи. Мрачный священник с лианой в руке слушает отца эконома, отвратительно гримасничающего и говорящего на каком-то странном языке. Криспин, дрожа и плача, озирается по сторонам, словно ищет защиты или хочет спрятаться. Но вот священник оборачивается к нему и начинает гневно допрашивать; лиана, свистя, рассекает воздух... Мальчик прячется за спину причетника, но тот хватается за него и бросает к ногам разъяренного священника: несчастный ребенок отбивается руками и ногами, кричит, катается по полу, встает, бежит, спотыкается, снова падает, то закрывается от ударов руками, то с воем отдергивает их и прячет. Басилио видит, как он извивается, бьется головой об пол, видит и слышит, как свистит лиана! В порыве отчаяния малыш вдруг вскочил на ноги; обезумев от боли, он бросился на своих палачей и укусил священника за руку. Тот вскрикнул и вырвал лиану; отец эконома схватил палку, ударил мальчика по голове, и Криспин свалился замертво. Увидев следы зубов на своей руке, священник стал бить ребенка ногами, но тот уже не защищался, не кричал: безжизненной массой лежал он на полу в луже крови...¹

Голос Сисы вернул Басилио к действительности.

— Что с тобой? Отчего ты плачешь?

— Я видел сон... Боже мой! — воскликнул мальчик, приподымаясь, весь в холодном поту. — Это был сон. Мама, скажи, что это был сон, только сон!

— Что же тебе приснилось?

Басилио не ответил. Он сел и отер с лица слезы и пот. В хижине было совсем темно.

— Сон, это сон! — тихо повторял мальчик.

— Расскажи мне, что тебе приснилось. Иначе я не засну! — сказала мать, когда сын вновь лег.

— Мне... — начал он едва слышно, — мне приснилось, будто мы пошли собирать колосья... на поле росло много цветов... У женщины были корзины, полные колосьев... У мужчин тоже были корзины, полные колосьев... и у детей тоже... Дальше я не помню, мама, не могу вспомнить!

¹ Было ли это сном или явью, о францисканцах мы такого не слышали, но нечто похожее рассказывают про одного августинца, отца Пьернавьеа. (*Прим. автора.*)

Сиса больше не расспрашивала сына, она не верила в сны.

— Мама, сегодня вечером я кое-что придумал, — сказал Басилио, немного помолчав.

— Что же? — спросила она.

Робкая со всеми, Сиса робела даже перед своими детьми; она считала их разумнее себя.

— Я уже не хочу быть служкой!

— Как же так?

— Послушай, мама, что мне пришло в голову. Сегодня приехал из Испании сын покойного дона Рафаэля, он такой же добрый, как и его отец. Так вот, мама, завтра ты возьмешь Криспина, забереешь мое жалованье и скажешь, что я не хочу быть служкой. Как только я поправлюсь, пойду к дону Крисостомо и попрошу, чтобы он взял меня пасти коров или буйволов; я ведь уже большой. Криспин сможет учиться у старого Тасио, — он не дерется, он добрый, хотя священник считает его дурным человеком. Чего нам бояться священника? Разве он может сделать нас беднее, чем мы есть? Поверь, мама, старик Тасио — хороший. Я часто видел его в церкви, когда там никого не было. Он становился на колени и молился, поверь мне. А я, мама, не буду служкой, нет. Платят там мало, да к тому же что получаешь, все уходит на взыскания. У других тоже так. Я стану пастухом, буду хорошо пасти коров, и хозяин меня полюбит. Может, нам позволят доить одну корову и брать молоко — Криспин так любит молоко! Кто знает, может, нам потом подарят телочку, если увидят, что я стараюсь. Мы за ней будем ходить и откормим, как нашу курицу. Я буду собирать в лесу плоды и продавать их в городе вместе с овощами с нашего огорода, и у нас будут деньги. Буду ставить силки и ловушки для птиц и зверей, ловить рыбу, а когда совсем вырасту, стану ходить на охоту. Я смогу и дров нарубить на продажу, а не то станем их дарить хозяину, и он будет доволен. Когда я научусь пахать, я попрошу у него кусочек земли, мы посадим сахарный тростник или маис, и тебе не надо будет шить до полуночи. К каждому празднику будем покупать новую одежду, будем есть мясо и крупную рыбу. Я буду жить на свободе, мы будем видаться каждый день и вместе обедать. Старый Тасио говорит, что у Криспина светлая голова. Мы пош-

лем его учиться в Манилу; а я стану зарабатывать деньги, правда, мама? И он выучится на доктора, да?

— Разве я могу сказать «нет»? — ответила Сиса, обнимаемая мальчика.

Она заметила, что сын, говоря о будущем, даже не упомянул об отце, и тихо заплакала.

Басилио продолжал говорить о своих планах с уверенностью молодости, которая видит только то, что хочет видеть. Сиса на все отвечала «да», все ей казалось прекрасным. Сон опять одолел усталого мальчика, и на этот раз Оле Лукойе, о котором нам поведал Андерсен, раскинул над ним свой чудесный зонтик, разрисованный веселыми картинками.

Басилио уже видел себя пастухом, рядом с братиком; они собирали гуайяву, альпай и другие лесные плоды, прыгали с ветки на ветку, легко, как бабочки; входили в гроты и смотрели на сверкающие стены; купались в источниках, где песок был из чистого золота и галька сверкала, как камешки в короне святой девы. Рыбки плясали и веселились вокруг, деревья протягивали детям свои ветви, увешанные фруктами и монетами. Потом ему привиделся колокол, висящий на дереве, и привязанная к нему длинная веревка, к другому концу веревки привязана корова, у которой на рогах свили гнездо птицы, а в колоколе сидит Криспин... Такие сны видел Басилио.

Но его мать не могла уснуть: ей было побольше лет и не довелось бежать целый час, спасаясь от преследования солдат.

XVIII

СТРАЖДУЩИЕ ДУШИ

Было часов семь утра, когда отец Сальви закончил последнюю мессу; в течение часа он успел отслужить три службы.

— Падре, наверное, болен, — говорили богомолки, — жесты его не так размеренны и красивы, как обычно.

Он сбросил с себя облачение, не вымолвив ни слова, ни на кого не глядя, не сделав ни единого замечания.

— Тише! — шушукались служки. — Он гневается! Теперь денежные взыскания градом посыплются, и все из-за этих двух мальчишек!

Священник спустился из ризницы в прихожую, служившую школой; там его поджидали, сидя на скамьях, семь или восемь женщин и один мужчина, который расхаживал из угла в угол. При виде священника все встали, а одна женщина поспешила было вперед, чтобы поцеловать его руку, но святой отец отмахнулся от нее с таким нетерпением, что она застыла на месте.

— Верно, он потерял реал, этот скупец! — насмешливо воскликнула женщина, оскорбленная таким невниманием. Не дать приложиться к руке ей, надзирательнице братства, самой сестре Руфа! Это было неслыханно.

— Сегодня утром он не остался в исповедальне! — присовокупила сестра Сипа, беззубая старуха. — А я хотела исповедаться, чтобы причаститься и получить индульгенции.

— Сочувствую вам! — ответила девушка с наивным лицом. — За эту неделю я получила три полных индульгенции и предназначила их для спасения души моего мужа.

— И плохо сделали, сестра Хуана, — сказала обиженная сестра Руфа. — Одной полной хватило бы, чтоб выволить его из чистилища. Зачем понапрасну растрачивать святые индульгенции? Поступайте так, как я.

— А я думала — чем больше, тем лучше! — ответила, улыбаясь, простодушная сестра Хуана. — Но скажите, как поступаете вы?

Сестра Руфа ответила не сразу: она сначала попросила буйо, пожевала его, оглядела присутствующих, взиравших на нее со вниманием, сплюнула в сторону и заговорила:

— Я не выбрасываю на ветер ни одного святого дня! С тех пор как я принадлежу к братству, я добыла четыреста пятьдесят семь полных индульгенций, то есть отпущение грехов на семьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто восемь лет. Я записываю каждую индульгенцию, потому что люблю в делах точность: не хочу ни обманывать, ни быть обманутой.

Сестра Руфа умолкла, продолжая жевать табак; женщины смотрели на нее восхищенно, но мужчина, который ходил из угла в угол, остановился и сказал с некоторым презрением:

— Ну, а я только за этот год приобрел на четыре полных больше, чем вы, сестра Руфа, и вдобавок еще на сто лет; молился же я в этом году не так уж много.

— Больше, чем я? Больше восьмидесяти девяти полных, то есть девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть лет? — повторила немного обескураженная сестра Руфа.

— Вот именно, на восемь полных да еще на сто пятнадцать лет, и всего-то за несколько месяцев, — подтвердил мужчина, на шее которого болтались ладанки и засаленные четки.

— Ничего нет удивительного, — сказала Руфа, признавая себя побежденной. — Вы — человек ученый, один из первых в провинции.

Мужчина, польщенный, улыбнулся.

— И впрямь, ничего нет странного в том, что я заработал больше вашего; я, право, могу сказать, что даже во время сна приобретаю индульгенции.

— А что вы с ними делаете, сеньор? — спросили четверо или пять голосов сразу.

— Пс! — ответил мужчина, состроив гримасу, выражавшую надменность и презрение. — Я их раздаю направо и налево!

— Вот за это я вас не похваляю, сеньор! — заметила Руфа. — Вы попадете в чистилище за такое мотовство! Вы же знаете, что даже за каждое попусту оброненное слово придется жариться сорок дней на медленном огне, как говорит священник; за каждую пядь нитки — шестьдесят; за каждую каплю воды — двадцать. Попадете в чистилище!

— Я-то уж сумею выбраться из него! — ответил брат Педро с величайшей уверенностью. — Я столько душ вызволил из огня! Столько их сделал святыми! И кроме того, если захочу, я еще могу заработать *«in articulo mortis»*¹ не менее семи полных и спасти других, умерев сам!

Сказав это, он гордо удалился.

— Все равно вы должны поступать так, как я, — не терять ни одного дня и аккуратно вести счет. Я не люблю ни обманывать, ни быть обманутой!

— Так что же вы делаете? — спросила Хуана.

— Вам, говорю я, надо учиться у меня. Представьте себе, например, что я получила прощение грехов на один год; я записываю это в тетрадку и говорю: «Блаженнейший отче, сеньор святой Доминик, сделайте милость, посмотрите, нет ли в чистилище кого-нибудь, кому нужен как

¹ В смертный час (лат.).

раз один год, ни днем больше... ни днем меньше». Затем я подкидываю монеты — «глава» или «крест»? Если выпадает «глава» — таких нет; если «крест» — есть. Допустим, выпадает «крест»; тогда я пишу «погашено». А если выпадает «глава», я оставляю индульгенцию себе и присоединяю к ней другие, пока не накопятся сто лет, и все это аккуратно записываю. Жаль, что с индульгенциями нельзя поступать как с деньгами: пускать в оборот; тогда могло бы спастись куда больше душ. Верьте мне, делайте так, как я.

— А я придумала кое-что получше! — заметила сестра Сипа.

— Что? Получше? — изумленно спросила Руфа. — Не может быть! Лучшие придумать — невозможно!

— Послушайте меня, и сами убедитесь, сестра! — ответила сурово старая Сипа.

— Ну-ка, ну-ка, расскажите! — подхватили другие.

Внушительно откашлявшись, старуха начала следующим образом:

— Вы очень хорошо знаете, что, читая «Слава тебе, пренепорочная...» и «Господи Иисусе Христе, сыне божий...», отмаливаешь по десять лет за каждую букву...

— По двадцать! Нет, меньше! По пять! — раздались голоса.

— Одним годом больше, одним меньше — не важно! Так вот: когда слуга или служанка разбивает тарелку, стакан или чашку, я заставляю их собрать все осколки, и за каждый, даже за самый крохотный, они должны отчитать мне «Слава тебе, пренепорочная...» и «Господи Иисусе Христе, сыне божий...», а индульгенции, которые я получаю, я отдаю во спасение душ грешных. В моем доме все знают эти молитвы, кроме разве кошек.

— Но индульгенции-то зарабатывают слуги, а не вы, сестра Сипа, — заметила Руфа.

— А мои чашки, мои тарелки: кто мне за них заплатит? Слуги-то рады откупиться этим, и я довольна; я их никогда не секу, иногда только шлепну или ущипну разок...

— Мне это нравится! И я так буду делать! И я! — зашумели женщины.

— Да, но если тарелка разобьется только на два или на три куса, вы мало получите! — заметила упрямая сестра Руфа.

— Ну что ж! — ответила старая Сипа. — Я их заставляю прочитать молитвы, а потом склеить куски и все-таки останусь в выигрыше.

Сестра Руфа не нашлась, что возразить.

— Разрешите мне спросить вас, — промолвила робко юная Хуана. — Вы, сеньоры, так хорошо разбираетесь в делах неба, чистилища и ада... а я, сознаюсь, совсем невежда.

— Говорите!

— Я часто встречаю в молитвеннике и других книгах такое предписание: «Три раза «Отче наш», три раза «Богородица» и три раза «Слава отцу и сыну и святому духу».

— Ну и что же?

— Я хотела бы знать, как их читать: три раза подряд «Отче наш», три раза подряд «Богородицу» и три раза подряд «Слава отцу и сыну и святому духу» или трижды все вместе: «Отче наш», «Богородицу» и «Слава отцу и сыну и святому духу»?

— Надо так: три раза «Отче наш»...

— Извините меня, сестра Сипа! — прервала ее Руфа. — Не так нужно читать, мужчин нельзя смешивать с женщинами; «Отче наш» — это мужчины, «Богородица» — женщины, а «Слава отцу и сыну и святому духу» — дети.

— Э! Извините, сестра Руфа; «Отче наш», «Богородица» и «Слава отцу и сыну и святому духу» — это как бы рис, мясо и соус, райская еда...

— Вы ошибаетесь! Смотрите — раз вы читаете молитвы в таком порядке, никогда не получите того, что просите!

— Нет, это вы неправильно делаете, вот и молитесь впустую все девять дней! — заметила старая Сипа.

— Кто? Я? — сказала Руфа, вставая. — Недавно у меня потерялся поросенок, я помолилась святому Антонию, и поросенок нашелся, я даже выгодно продала его, вот как!

— Да? Потому-то ваша соседка сказала, что вы продали ее поросенка?

— Кто, я? Ах, негодница! Уж я не стану, как вы!..

Тут должен был вмешаться всезнающий брат Педро, чтобы восстановить мир: никто больше и не вспоминал об «Отче наш», говорили только о свиньях.

— Полно вам, полно, не стоит браниться из-за поросенка, сестры! Святое писание да наставит вас: ведь еретики и протестанты не ругали господа нашего Иисуса Христа, когда он загнал в воду стадо свиней, им принадлежавшее; так неужто мы, христиане и, кроме того, члены братства святого Доминика, будем ссориться из-за какого-то поросенка? Что скажут о нас наши соперники, братья терциарии?

Все умолкли, двяясь его премудрости и опасаясь того, что могут сказать братья терциарии. Брат Педро, довольный их послушанием, продолжал уже другим тоном:

— Скоро нас призовет священник. Надо сообщить ему, какого проповедника мы выбрали из трех, предложенных им вчера: отца Дамасо, отца Мартина или викария. Не знаю, выбрали ли уже терциарии, надо решать.

— Викария... — пробормотала робко Хуана.

— Гм! Викарий не умеет читать проповеди! — сказала Сиса. — Лучше отца Мартина.

— Отец Мартин! — воскликнула с презрением другая. — У него нет голоса; лучше уж отца Дамасо.

— Вот-вот, его! — воскликнула Руфа. — Отец Дамасо знает, как надо проповедовать, настоящий артист!

— Но мы его не понимаем! — прошептала Хуана.

— Потому что он ученый! А раз он читает хорошо...

В эту минуту появилась Сиса с корзиной на голове, пожелала женщинам доброго здоровья и стала подниматься вверх по лестнице.

— Она пошла туда! Пойдем и мы! — сказали все.

Сиса, считая ступеньки, чувствовала, как сильно бьется ее сердце: она не знала, что сказать отцу священнику, чем смягчить его гнев, какие доводы привести в защиту сына. Рано утром, на заре, спустилась она к своему огороду, собрала самые лучшие овощи и сложила их в корзину, покрыв листьями платана и цветами. Затем пошла на берег реки поискать пако, который, как она знала, священник любит добавлять в салат. Надела свое лучшее платье и с корзиной на голове, ничего не сказав сыну, отправилась в город.

Стараясь идти как можно медленнее, она поднималась по лестнице, прислушивалась, не раздастся ли случайно родной, звонкий детский голосок.

Но она ничего не услышала, никого не увидела и после минутного колебания свернула в кухню.

Слуги и причетники встретили ее холодно. Сиса поздоровалась, поклонившись во все стороны; ей едва ответили.

— Куда положить овощи? — спросила она, ничуть не обидевшись.

— Да там... где-нибудь! — едва взглянув на нее, ответил повар, занятый своим делом: он ошпиывал каплуна.

Сиса аккуратно разложила на столе овощи и нежные стебли пако. Сверху прикрыла их цветами и, робко улыбнувшись, спросила слугу, который показался ей более приветливым, чем повар:

— Можно мне поговорить со святым отцом?

— Он болен, — ответил тот тихо.

— А Криспин? Вы не знаете, он не в ризнице?

Слуга удивленно взглянул на нее.

— Криспин? — спросил слуга, нахмурив брови. — Разве он не дома? Вы не ошибаетесь?

— Басилио дома, но Криспин остался здесь, — ответила Сиса. — Я хочу его видеть...

— Ах да! — сказал слуга. — Он остался, но потом... потом удрал и утащил много вещей. Священник велел мне еще рано утром сообщить об этом властям. Жандармы, наверное, уже отправились к вам домой за мальчишками.

Сиса заткнула пальцами уши, открыла рот, губы ее зашевелились, но она не издала ни единого звука.

— Ну и дети у вас! — прибавил повар. — Все знают, что вы верная жена, а сыновья-то, видно, в отца пошли! Смотрите, как бы младший его не переплюнул!

Сиса вдруг горько разрыдалась, рухнув на скамью.

— Не смей здесь реветь! — прикрикнул на нее повар. — Не знаешь разве, что падре болен? Иди на улицу, там реви.

Бедную женщину чуть не пинками вытолкнули на лестницу, а за ней спустились и сестры, которые шушукались, высказывая различные догадки по поводу болезни священника.

Несчастная мать прикрыла лицо платком и прикусила губы.

Выйдя на улицу, она осмотрелась по сторонам, не зная, что делать, но затем, словно приняв какое-то решение, быстро побежала прочь.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ

Чернь не умна, и это ей дорого стоит,
 а потому,
 Дабы ее уважить, слова подбирай
 по ее уму.
Lope de Vega

Окруженное горами озеро спокойно дремлет, словно оно — лицемерное! — ничуть не было причастно к разывгравшейся накануне непогоде. С первыми проблесками зари, пробудившими в воде фосфоресцирующих духов, вдали, почти на самом горизонте, появились непельные силуэты — это на своих лодках и челноках с поднятыми парусами выехали рыбаки вытаскивать сети.

Два человека в глубоком трауре молча смотрели на озеро с высокого берега; один из них был Ибарра, другой — скромного вида юноша с грустным лицом.

— Вот здесь! — сказал юноша. — Сюда бросили тело вашего отца. Сюда привел нас — лейтенанта Гевару и меня — могильщик!

Ибарра с признательностью пожал руку юноши.

— Вам не за что меня благодарить! — ответил тот. — Я многим обязан вашему отцу, и единственное, что я мог для него сделать, — это проводить на кладбище. Я приехал сюда никого не зная, без рекомендаций, без имени, без денег, которых, впрочем, нет у меня и сейчас. Мой предшественник бросил школу, чтобы заняться торговлей табаком. Ваш отец оказал мне покровительство, помог найти дом; он доставлял все, что было нужно для школьных занятий: приходил в школу и раздавал деньги бедным и прилежным ученикам, наделял их книгами и бумагой. Но это, как всякое доброе дело, продолжалось недолго!

Ибарра обнажил голову и некоторое время молча молился. Затем, повернувшись к своему слутнику, промолвил:

— Вы сказали, что мой отец помогал бедным детям, а как же теперь?

— Теперь они приходят, когда могут, и пишут, когда могут, — ответил молодой учитель.

— Почему же так?

— Потому что стыдятся своих рваных рубах.

Ибарра помолчал.

— Сколько у вас сейчас учеников? — спросил он вдруг с интересом.

— По списку — более двухсот, а в классе двадцать пять!

— Отчего же?

Школьный учитель грустно улыбнулся.

— Перечислять все причины — это долгая и скучная история.

— Не приписывайте мой вопрос праздному любопытству, — ответил Ибарра, задумчиво глядя на далекий горизонт. — Поразмыслив, я решил, что воплотить в жизнь замыслы моего отца важнее, чем его оплакивать, — и тем более чем мстить за него. Могилой ему служит святая природа, а его врагами были горожане и священник. Я прощаю их: первых — потому что они невежественны, а второго — ради его сана, ибо я хочу, чтобы уважали религию, на которой воспитано наше общество. Я хочу идти по стопам того, кто дал мне жизнь, и потому желал бы узнать, что препятствует здесь образованию.

— Страна всегда будет чтить вашу память, сеньор, если вы осуществите прекрасные намерения вашего покойного отца! — сказал учитель. — Вы хотите узнать, какие препятствия стоят на пути образования? Так вот, если в наших нынешних условиях школой не заняться всерьез, она никогда не выполнит своего назначения. Во-первых, у здешних детей нет охоты учиться, нет стимула, а во-вторых, если бы он и был, его глушат нужда и заботы. Говорят, в Германии сын крестьянина обучается восемь лет в народной школе; а кто захотел бы здесь затратить на учение даже половину этого времени, если плоды его столь мизерны? У нас пишут, читают и зубривают наизусть отрывки, а порой целые книги на испанском языке, не понимая ни слова. Какую же пользу приносит школа крестьянским детям?

— Но вы-то видите, в чем зло, так почему же не подумали, как его исправить?

— Увы! — ответил юноша, печально качая головой. — Несчастный учитель один не может справиться с враждебностью окружающих и преодолеть их влияние. Прежде всего для школы нужно помещение, чтобы не приходи-

лось, как сейчас, вести уроки в нижнем этаже монастыря, где стоит коляска священника. Кое-кто из детей любит читать вслух, а это, естественно, причиняет беспокойство священнику, он иногда спускается к нам раздраженный — особенно когда у него болит печень, — кричит на детей, а подчас оскорбляет и меня. Вы понимаете, что так нельзя ни обучать, ни учиться; ребенок не может уважать учителя, если видит, что он безропотно сносит брань и не отстаивает своих прав. Чтобы учителя слушались, чтобы не сомневались в его власти, он должен иметь авторитет, добрую славу, нравственную силу, известную свободу. Позвольте рассказать вам о некоторых грустных подробностях. Я хотел ввести кое-какие новшества, но меня подняли на смех. Чтобы устранить то зло, о котором я говорил, я попытался обучать детей испанскому языку. Так правительством предписано, и сам я полагал, что это принесет пользу всем. Я выбрал самый простой метод — учил детей понимать слова и фразы, не забивая им головы трудными правилами и отложив грамматику до той поры, когда они будут кое-что понимать по-испански. По прошествии нескольких недель самые способные уже недурно понимали меня и составляли легкие фразы.

Учитель остановился, словно усомнившись в чем-то, а затем, уже более решительным тоном, продолжал:

— Нет, мне нечего стыдиться своей истории обид и унижений, любому на моем месте досталось бы так же. Как я уже сказал, начало было удачным. Однако несколько дней спустя отец Дамасо, бывший тогда здесь священником, прислал за мной отца эконома. Я хорошо знал прав святого отца и, чтобы не рассердить его, тотчас к нему поднялся и с поклоном сказал по-испански: «Добрый день!» Он было протянул мне руку для поцелуя, но тут же ее отдернул и, не ответив на мое приветствие, разразился громким насмешливым хохотом. Я растерялся: рядом со мной стоял причетник. Я не знал, что сказать и глядел на священника, а он все хохотал и хохотал. Я едва не вышел из себя и готов был сказать ему дерзость, что-нибудь вроде: «Видно, быть одновременно добрым христианином и достойным уважения человеком — невозможно», но в этот момент, перейдя вдруг от смеха к оскорблениям, он бросил мне с издевкой: «Так, значит, «добрый день», да? «Добрый день»? Ловко! Ты, оказы-

вается, и по-испански говоришь?» И опять залился смехом.

Ибарра не мог сдержать улыбку.

— Вот вы улыбаетесь, — сказал школьный учитель, тоже засмеявшись, — но, признаюсь, тогда мне было не до смеха. Я вдруг почувствовал, как кровь прихлынула к моему лицу, в глазах потемнело. Священника я видел будто издали, где-то очень далеко. Я направился к нему, хотел что-то сказать, сам не зная что. Отец эконома преградил мне дорогу, а священник встал и строго проговорил по-тагальски: «Нечего рядиться в чужие перья! Говоришь на своем языке и говори, а испанский не смей коверкать — он не для вас. Слышал про учителя Сируэлу? Учитель Сируэла хоть азбуки не знал, да царень был умелый и всех он поучал». Я хотел ответить, но священник быстро шагнул в свою келью и захлопнул за собой дверь. Что мне было делать? И так едва перебиваюсь на свое жалованье, а чтобы получить его, надо заручиться благоволением священника и ездить в главный город провинции. Что я мог поделаться с ним — с человеком, представлявшим духовную и политическую власть в городе, пользовавшимся поддержкой ордена, влиявшим на правительство, человеком богатым и могущественным, которого все слушаются, уважают и боятся? Если он меня оскорбляет, я должен молчать; если я стану возражать, он вышвырнет меня отсюда, и я должен буду навсегда расстаться со своей профессией. Моя строптивость не послужит на пользу делу, напротив, все станут на сторону священника, возненавидят меня, назовут выскочкой, гордецом, дурным христианином, грубияном, а то еще врагом Испании и флибустьером. От школьного учителя не требуют даже усердия. От него ждут только покорности, смирения и податливости. Да простит мне господь, если я пошел против своей совести и разума, но я родился в этой стране, мне надо как-то жить, у меня есть мать, и потому я отдался на волю судьбы, подобно труцу, который несет волна.

— И одно это препятствие вас навсегда обескуражило? Так вы потом и жили?

— Ох, если бы горький опыт меня научил! — ответил учитель. — Тогда мои злоключения на этом закончились бы! Правда, с тех пор я возненавидел мою профессию. Я задумал поискать себе другое занятие, по примеру

моего предшественника. Ведь работа, которую выполняешь со стыдом и отвращением, превращается в пытку, а школа ежедневно напоминала мне о моем позорном положении. Я пережил много тяжелых часов. Но что делать? Я не мог огорчить мать, я должен был уверять ее, что те три года, которые она провела в лишениях, чтобы дать мне образование, принесли мне счастье. Надо было убедить ее, что профессия моя почетна, что труд учителя приятен и путь мой усыпан цветами, что в городе меня почитают и окружают вниманием. Если бы я поступил с ней иначе, то, не став от этого счастливей, я лишь сделал бы несчастной еще и ее, а это было бы поступком не только жестоким, но и грешным. Так я остался на своем месте и, не желая все же сдаваться, попробовал продолжать борьбу.

Школьный учитель сделал короткую паузу.

— После того как меня так грубо оскорбили, я внимательнее присмотрелся к себе и увидел, что в самом деле многого еще не знаю. Дни и ночи стал я проводить за изучением испанского языка и других предметов, которые обязан был знать. Старик философ дал мне кое-какие книги. Я читал все, что мог достать, и размышлял над прочитанным. Познакомившись со многими новыми идеями, я изменил свои взгляды на некоторые вещи, теперь они предстали предо мной в новом свете. Бесспорные прежде истины оказались заблуждением, а то, что я считал заблуждением, стало истиной. Например, побои, без которых с незапамятных времен не мыслилась школа и которые раньше я сам считал наилучшим способом заставить детей учиться. По крайней мере, так нам всегда внушали. Я понял, что побои не только не способствуют развитию ребенка, но даже вредят. Я убедился, что невозможно взывать к разуму, держа в руках ленточку или розги. Страх мешает сосредоточиться даже самому толковому ученику, пагубно действует на живое воображение ребенка, более впечатлительного, чем взрослые. Мозг лучше постигает науку, если всюду царит спокойствие — и извне и внутри, — если душа свободна от тревог, если дети в хорошем настроении. Я решил, что прежде всего в них надо вселить уверенность в своих силах, уважение к самим себе. Я понял также, что ежедневное зрелище истязаний убивает в сердце милосердие и гасит огонек человеческого достоинства, этот мощный

рычаг прогресса. С ними вместе дети теряют и способность стыдиться, возродить которую очень трудно. Я заметил, что побитый ребенок утешается тем, что остальных тоже бьют, и радостно смеется, услышав плач наказанных; а тот, кому поручают сечь товарищей, хоть вначале и делает это с отвращением, потом привыкает и даже находит удовольствие в своей печальной обязанности. Прошлое внушало мне ужас, я хотел спасти настоящее, изменив прежнюю систему. Мне хотелось, чтобы учиться стало приятно и интересно, чтобы учебник был не мрачной, залитой детскими слезами книжкой, а другим, раскрывающим перед детьми чудесные тайны, чтобы школа была не обителью страданий, а источником разума. Поэтому я решительно отменил порку, отнес домой розги и постарался заменить их соревнованием, привить детям чувство собственного достоинства. Бывало, я бранил их за лень, но никогда не упрекал в отсутствии способностей. Я внушал детям веру в свои силы и всегда стремился убедить их в том, что они значительно умнее, чем были на самом деле. Веру эту ученики старались оправдать во что бы то ни стало. Ведь известно, что доверие может вдохновить человека на подвиг. Поначалу, однако, казалось, что новый метод непригоден: многие перестали ходить на занятия; но я не оставил свою мечту и вскоре заметил, что иное отношение к детям постепенно завоевывало их сердца. Учеников в классе прибавилось, а тот, кого хвалили в присутствии всех, на следующий день выучивал вдвое больше. По городу пошла молва, что я не секу детей. Меня вызвал священник, и я, страшась повторения прежней сцены, холодно приветствовал его по-тагальски. На сей раз он разговаривал со мной очень серьезно. Он сказал мне, что я порчу детей, что зря теряю время, что не выполняю свой долг, что отец, забывающий о палке, враг своему ребенку, как учит Писание, что нет ученья без мученья, и так далее и тому подобное. Он привел дюжину пословиц из эпохи варварства, будто любое изречение наших предков бесспорная истина. В таком случае нам надо было бы уверовать в существование чудовищ, изображениями которых они украшали свои дворцы и храмы. В конце концов он посоветовал мне вести себя разумно и вернуться к прежней системе. Если же я буду упорствовать, он, мол, донесет на меня алькальду. Беды мои на этом

не кончились. Несколько дней спустя к монастырю явились родители учеников, и я должен был призвать на помощь всю свою выдержку и терпение. Они начали с того, что напомнили мне о старых временах, когда школьные учителя были люди с характером и вели преподавание так, как когда-то преподавали их предки. «Это были знатоки своего дела! — говорили родители. — Они били так, что кривое дерево и то выпрямится. Не мальчишки какие-нибудь, а умудренные опытом старцы, седовласые и суровые! Дон Каталино, основатель школы, король среди учителей, никогда не давал меньше двадцати пяти палок, а потому из его учеников и вышли ученые люди и священнослужители. Эх, старики-то знали толк во всем лучше, чем мы, да, сеньор, лучше, чем мы». Другие не довольствовались грубыми намеками, они прямо заявили, что, если я буду стоять на своем, дети ничему не научатся и они будут вынуждены забрать их из школы. Увещевать их было бесполезно: они не слишком доверяли молодому учителю. Дорого бы я заплатил за то, чтобы иметь седые волосы! Они приводили в пример и священника, и того, и сего, и даже самих себя, уверяя, что, если бы учителя их не били, они остались бы круглыми невеждами. Дружелюбие, с каким говорили со мной некоторые из них, отчасти смягчило горечь моего разочарования.

Мне пришлось отказаться от новых методов, которые после тяжких трудов начали давать плоды. Отчаявшись, принес я на следующий день в школу розги и приступил к выполнению своих варварских обязанностей. Прежнего взаимного доверия как не бывало, снова заволокло печалью ясные глаза детей, уже успевших полюбить меня: ведь они составляли все мое общество, были единственными моими друзьями. Я старался пороть их как можно реже и легче, однако всякий раз, как дети испытывали на себе силу розог, они чувствовали себя оскорбленными, униженными и горько плакали. Душа моя разрывалась на части, и хотя я негодовал и сетовал на тупость их родителей, я все же не мог вымещать злобу на этих невинных жертвах отеческой заботы. Их слезы жгли мне сердце, и вот однажды я покинул класс раньше времени и пошел домой поплакать там в одиночестве... Вас, наверное, удивляет моя чувствительность, но, окажись вы на моем месте, вы бы поняли меня. Старый дон Анастасио сказал мне: «Родители желают порки? Так почему вы

их не выпороли?» Одним словом, от всего этого я слег в постель.

Ибарра слушал с задумчивым видом.

— Едва мне стало лучше, я вернулся в школу и увидел, что число учеников сократилось в пять раз. Лучшие из них ушли после введения старых методов, а из оставшихся многие приходили в школу лишь для того, чтобы избежать домашней работы. Никто мне не обрадовался, не поздравил с выздоровлением, — им было все равно, здоров я или нет. Они, может быть, даже предпочитали, чтобы я продолжал хворать, ибо мой заместитель, хотя и порол их больше, зато часто пропускал занятия. Те ученики, которых родители заставляли ходить в школу, нередко прогуливали уроки. Отцы обвиняли меня в том, что я их избаловал, и осыпали упреками. Правда, один из мальчиков, сын крестьянки, навещавшей меня во время болезни, не вернулся в школу из-за того, что сделался служкой, а отец эконома говорит, что служкам нечего делать в школе, они там только распускаются.

— Так вы и покорились своей участи вместе с учениками? — спросил Ибарра.

— А что было делать? — ответил тот. — Однако во время моей болезни произошли большие перемены. У нас сменился священник. В меня вселилась новая надежда, и я решил еще раз попытаться сделать так, чтобы ученики не теряли даром время и получали от школы хоть что-нибудь вместе с побоями. Пусть эти мучения по крайней мере не будут напрасны, думал я. Любить меня они уже не могли, но мне хотелось передать им какие-нибудь знания, чтобы потом они меня вспоминали с меньшей горечью. Вы ведь знаете, что в большинстве школ учатся по книгам, написанным на испанском языке, за исключением тагальского катехизиса, — это уж зависит от того, к какому религиозному ордену принадлежит священник. Из этих испанских книг — молитвенников, собраний гимнов, катехизиса отца Астете * — дети способны почерпнуть столько же благочестия, сколько из книг еретических. Объяснять их содержание по-испански или переводить все эти книги на тагальский невозможно; вот я и попытался постепенно заменить их короткими отрывками из полезных произведений, написанных по-тагальски, таких, как «Трактат о хороших мане-

рах» Ортенсио и Фелисы или некоторые руководства по сельскому хозяйству. Иногда я сам переводил небольшие сочинения, например «Историю Филиппин» отца Барранеры, и затем диктовал их детям вместе с моими комментариями. Карт для преподавания географии у меня не было, и я срисовал карту нашей провинции, виденную мной как-то в столице; с помощью этой копии и черепков, разложенных на земле, я попытался дать детям какое-то представление о нашей стране. На сей раз переполошились матери; отцы ограничились усмешками, считая это одной из моих причуд. Меня вызвал к себе новый священник. Он, правда, не бранил меня, но сказал, что в первую очередь я обязан заботиться о религии, и прежде, чем учиться всем этим вещам, дети должны показать на экзамене, что знают на память церковные службы и катехизис христианской доктрины.

Таким образом, сейчас я тружусь над тем, чтобы дети превратились в попугаев и затвердили наизусть множество всяких вещей, из которых они не понимают ни единого слова. Многие уже знают назубок мистерии и гимны, но, боюсь, с книгой отца Астете мы потерпим крах: большинство моих учеников до сих пор не различают в тексте вопросы и ответы и вообще не понимают их смысла. Так мы и умрем с этим, не дальше уйдут и те, кто родится после нас, а тем временем в Европе будут толковать о прогрессе!

— Не надо быть таким пессимистом! — сказал Ибарра. — Лейтенант-майор прислал мне приглашение присутствовать на совете в зале суда... Кто знает, может быть, там вы найдете ответ на ваши вопросы?

Учитель покачал головою, выражая сомнение, и ответил:

— Вот увидите, тот проект, о котором говорилось, тоже разделит судьбу моих затей! А в общем — посмотрим!

XX

СОВЕТ В ЗАЛЕ СУДА

В длину зал имел метров двенадцать — пятнадцать, а в ширину — восемь или десять. Побеленные известью стены были испещрены более или менее уродливыми, более или менее непристойными рисунками углем с пояс-

нительными надписями. В углу было аккуратно сложено несколько старых кремневых ружей, ржавых сабель и талибонов — вооружение стражников. В одном конце зала висел наполовину скрытый грязным красным занавесом портрет его величества короля Испании. На помосте под портретом раскрывало свои объятия старое разбитое кресло. Перед креслом возвышался деревянный, весь в чернильных пятнах стол; он был изрезан ножом, покрыт надписями и инициалами и походил на столы в студенческих кабачках Германии. Скамейки и поломанные стулья дополняли мебелировку.

Таким предстает перед нами зал судилищ и пыток, где собрались теперь правители города и предместий. Старики держатся обособленно от молодых, ибо не выносят молодежь. Одни представляют консервативную, а другие либеральную партию, только споры между ними принимают в маленьких городках очень острый характер.

— Поведение префекта меня настораживает, — говорил своим друзьям дон Филиппо, глава либералов. — Он неспроста отложил до самого последнего момента обсуждение расходов. Заметьте, нам осталось всего лишь одиннадцать дней.

— И сейчас он еще сидит в монастыре, совещается со священником, который занемог, — вставил один из молодых.

— Не беда, — заметил другой, — у нас все готово. Лишь бы предложение стариков не получило большинства...

— Полагаю, что не получит, — прервал его дон Филиппо, — ибо предложение стариков я внесу сам.

— Что? Что вы говорите? — спросили удивленные собеседники.

— Я сказал, что если возьму слово первым, то внесу предложение наших соперников.

— Но что же будет с нашим...

— Я дам возможность вам его внести, — ответил с улыбкой дон Филиппо, обращаясь к молодому сборщику податей. — Вы будете защищать наши интересы после того, как я потерплю поражение.

— Мы вас не понимаем, сеньор, — говорили молодые, глядя на него с недоумением.

— Послушайте,— продолжал дон Филипо вполголоса, обращаясь к тем, кто стоял рядом.— Сегодня утром встретил старика Тасио.

— Ну и что же?

— Старик мне сказал: «Ваши противники больше ненавидят вас самих, чем ваши идеи. Если вы хотите чему-нибудь помешать, предложите именно это, и, будь ваша ватага так же полезна городу, как митра епископу, ее все равно отвергнут. Когда же вы потерпите поражение, пусть самый незаметный человек из присутствующих предложит то, что вы хотите, и ваши соперники примут его предложение, лишь бы унижить вас...» Но об этом — ни слова.

— Однако...

— Итак, я предложу план наших противников, превознося до смешного его достоинства. Но об этом ни гугу. А, вот сеньор Ибарра и школьный учитель.

Молодые люди раскланялись и с той и с другой группой, не примкнув ни к одной из них.

Несколько минут спустя в комнату вошел префект, тот самый, которого мы видели накануне со связкой свечей. Лицо его выражало недовольство. При его появлении разговоры смолкли, все заняли свои места, постепенно установилась тишина. Он уселся под портретом короля, откашлялся три-четыре раза, провел рукой по лицу и голове, положил руки на стол, затем убрал их со стола, снова откашлялся и повторил все манипуляции с самого начала.

— Сеньоры,— начал он наконец неуверенным голосом,— я взял на себя смелость пригласить вас сюда на заседание... кхе... кхе... Нам предстоит отпраздновать день нашего патрона, святого Диего. Торжество состоится двенадцатого сего месяца... кхе... кхе... а сегодня второе... кхе, кхе...— В этом месте прерывистый, сухой кашель заставил его умолкнуть.

Тогда со скамьи старейшин поднялся человек лет сорока, с гордой осанкой. Это был богач, капитан Басилио, противник покойного дона Рафаэля Ибарры, считавший, что после смерти святого Фомы Аквинского * мир не сделал ни шага вперед и что с тех пор, как его покинул святой Хуан де Летран, человечество двигалось лишь назад.

— Разрешите мне, сеньоры, сказать несколько слов по поводу сего важного события,— начал он.— Я первым прошу слова, хотя среди присутствующих есть люди,

имеющие на это больше прав. Однако я хотел бы говорить первым, ибо мне кажется, что человек, первым берущий слово, не притязает на первое место в обществе так же, как, выступая после других, человек не становится от этого последним среди людей. К тому же важность моего заявления столь велика, что его нельзя отложить или выступить с ним в последнюю очередь, и потому я желал бы говорить первым, дабы придать тому, что скажу, надлежащий вес. Итак, разрешите мне ранее других взять слово на этом совете, где я вижу столь достойных людей, как нынешний наш префект или как бывший префект, мой досточтимый друг дон Валентин; как мой друг детства дон Хулио, также в прошлом префект; или наш прославленный капитан стражников дон Мельчор и многие другие, которых краткости ради я вынужден не называть, но которых вы видите здесь. Я прошу у вас позволения произнести несколько слов прежде, чем выступит кто-либо другой. Смею ли я уповать на счастье получить согласие совета на мою покорнейшую просьбу?

И оратор с легкой улыбкой почтительно склонил голову.

— Говорите, мы слушаем вас со вниманием, — сказали его упомянутые выше друзья, а также некоторые другие, считавшие капитана Басилио великим оратором. Старики, удовлетворенно покашливая, потирали руки.

Отерев шелковым платком пот со лба, капитан Басилио продолжал:

— Раз уж вы были столь добры и внимательны к моей скромной персоне и разрешили мне сказать несколько слов ранее других присутствующих, я воспользуюсь столь великодушным разрешением и буду говорить. В воображении своем я вижу себя в высоком римском сенате, *senatus populusque romanus*¹, как говорилось в те прекрасные времена, которые, к несчастью для человечества, никогда уже не вернутся. И я предлагаю *patres conscripti*², как сказал бы на моем месте ученый Цицерон, помнить, что мы ограничены временем, а время, как говорил Соломон, это деньги; я предлагаю, чтобы при этом важном обсуждении каждый излагал свое мнение ясно, кратко и просто. Я сказал.

¹ Сенат и римский народ (лат.).

² Отцам сенаторам (лат.).

Довольный собой и польщенный вниманием собрания, оратор сел на место, не преминув бросить полный превосходства взгляд в сторону Ибарры, сидевшего в углу, а также многозначительный взгляд на своих друзей, как бы говоря: «Недурно я сказал, а?»

Выражение его лица словно отпечаталось на физиономиях его друзей, которые тоже принялись смотреть на молодых так, что тем оставалось только умереть от зависти.

— Теперь каждый, кто хочет, может высказаться о... кхе... кхе... — начал было префект, но кашель и одышка снова одолели его. Очевидно, никто не хотел считать себя одним из *patres conscripti*, ибо никто не нарушал воцарившейся тишины. Дон Филипо воспользовался случаем и попросил слова.

Консерваторы многозначительно переглянулись, подмигивая друг другу.

— Сеньоры, я хочу представить вам приблизительный подсчет расходов на торжества, — промолвил дон Филипо.

— Мы не можем этого позволить, — бросил чахоточного вида старик, непримиримый консерватор.

— Мы будем голосовать против, — поддержали старика и другие.

— Сеньоры! — воскликнул дон Филипо, подавляя улыбку. — Ведь я еще не изложил вам плана, выдвигаемого нами, молодыми. Мы уверены, что этому прекрасному проекту будет отдано предпочтение перед всеми другими проектами, которые наши противники смогут составить или даже вообразить.

Столь самоуверенное вступление до глубины души возмутило консерваторов, и они тайне поклялись оказать «молодым» упорное сопротивление.

— Расходы составят три тысячи пятьсот песо, — продолжал дон Филипо. — На эту сумму мы сможем устроить праздник, который затмит все великолепные праздники, проводившиеся в нашей или какой-либо другой провинции.

— Гм, — усомнились некоторые, — город А. тратит пять тысяч, а город Б. — четыре, гм, чепуха.

— Выслушайте меня, сеньоры, и я сумею вас убедить, — продолжал оратор, не смущаясь. — Я предлагаю соорудить посредине площади театр, который обойдется нам в сто пятьдесят песо.

— Ста пятидесяти не хватит на это, надо сто шестьдесят песо, — возразил один упрямый консерватор.

— Запишите, сеньор секретарь, двести песо на театр, — сказал дон Филипо. — Предлагаю также подписать контракт с труппой комедиантов из Тондо на семь вечерних представлений подряд. Семь представлений по двести песо за вечер — получается тысяча четыреста песо. Запишите — тысяча четыреста песо, сеньор секретарь.

И старики и молодые переглядывались с удивлением. Только лица тех, кто был посвящен в тайну, ничего не выражали.

— Кроме того, я предлагаю устроить великолепный фейерверк. Не какие-нибудь там искорки и огненные колесики, что развлекают ребятишек и старых дев, отнюдь нет. Нам нужны большие ракеты и огромные петарды. Я предлагаю двести больших ракет по два песо каждая и двести петард за ту же цену. Мы закажем их у пиротехникам из Малабона.

— Гм, — перебил его какой-то старик, — хлопущка за два песо меня не испугает и не оглушит. Нужны настоящие ракеты, по три песо за штуку.

— Запишите, тысячу песо за двести петард и двести ракет.

Консерваторы уже не могли усидеть на месте. Некоторые из них встали и начали перешептываться.

— Кроме того, дабы наши гости видели, что мы люди щедрые и денег у нас много, — продолжал дон Филипо, повысив голос и бросив быстрый взгляд на группу старейшин, — я предлагаю: во-первых, выбрать четырех распорядителей на два дня праздника, а во-вторых, ежедневно бросать в озеро двести жареных кур, сто фаршированных каплунов и пятьдесят поросят, как это делал Сулла *, современный Цидерона, о котором только что говорил капитан Басилио.

— Правильно, как Сулла, — повторил полыценный капитан Басилио.

Удивление нарастало.

— Поскольку здесь соберется много богатых людей и каждый принесет с собой тысячи песо, лучших бойцовых петухов, лиампо и игральные карты, я предлагаю, чтобы петушиные бои продолжались две недели и чтобы были открыты все игорные дома...

Молодые повскакивали с мест, стараясь прервать его: они думали, что лейтенант-майор сошел с ума. Старики яростно спорили.

— И, наконец, чтобы не пренебречь радостями духовными...

Ропот перерос в крики; поднявшийся в зале страшный шум полностью заглушил голос оратора.

— Нет! — вопил непримиримый консерватор. — Я не хочу, чтобы он хвастал тем, будто весь праздник устроил он один. Дайте, дайте мне сказать слово!

— Дон Филиппо нас обманул! — говорили либералы. — Мы будем голосовать против его плана. Он переметнулся к старикам. Будем голосовать против него.

Префект, еще более растерянный, чем обычно, ничего не делал, чтобы восстановить порядок: он ожидал, чтобы присутствующие сами его восстановили.

Попросил разрешения высказаться капитан стражников, ему дали слово, но он, так и не раскрыв рта, снова сел, смущенный и пристыженный.

К счастью, тут поднялся капитан Валентин, самый умеренный из консерваторов, и сказал:

— Мы не можем согласиться с тем, что предложил лейтенант-майор, ибо полагаем это излишней роскошью. Такое количество ракет и театральных представлений может привлечь лишь молодого человека, вроде дона Филиппо, способного бодрствовать ночи напролет и не оглохнуть от шума взрывов. Я спросил совета у присутствующих здесь благоразумных граждан, и все они единодушно отклоняют план дона Филиппо. Не так ли, сеньоры?

— Да, да! — вскричали в один голос молодые и старые. Молодые были в восторге, услышав такие речи от старика.

— К чему нам четыре распорядителя? — продолжал старик. — Что должны означать все эти куры, каплуны и поросята, выброшенные в озеро? Сумасбродство, сказали бы наши соседи. А потом нам пришлось бы поститься полгода. Какое нам дело до Суллы и до римлян? Разве они когда-нибудь приглашали нас на свои праздники? Я, по крайней мере, никогда не получал от них приглашения, а я, как видите, уже старый человек.

— Римляне живут в Риме, там же, где папа, — сказал ему тихо капитан Басилио.

— А, теперь я понимаю! — невозмутимо ответил старик. — Они устраивают праздники во время поста, и папа велит выбрасывать пищу в море, дабы избежать греха.

Но, как бы то ни было, ваш план неприемлем, невозможен, это сплошное безумие.

Встретив такой яростный отпор, дон Филиппо должен был снять свое предложение.

После того как их главный соперник был разбит, самые непримиримые консерваторы ничуть не встревожились, когда попросил слово молодой сборщик податей.

— Прощу не прогневаться, если я, молодой человек, возьму на себя смелость выступить в присутствии столь многочисленных особ, уважаемых за их возраст, мудрость и осторожность суждений, но поскольку красноречивый оратор капитан Басилио предложил каждому высказать здесь свое мнение, пусть его веское слово послужит оправданием для моей ничтожной особы.

Консерваторы с довольным видом закачали головами, шепча друг другу:

— Этот молодой человек говорит отлично.

— Он скромн.

— Он прекрасно рассуждает.

— Жаль, что он не владеет искусством жеста, — заметил капитан Басилио. — Но он, видно, не изучал Цицерона, еще слишком молод.

— Сеньоры, — продолжал молодой человек, — предлагая некую программу или план, я вовсе не надеюсь, что вы найдете его безупречным и одобрите; это должно лишь означать, что я лишний раз склоняюсь перед вашим суждением и хочу доказать уважаемым старейшинам, что наши мысли совпадают с их мыслями, ибо идеи, которые столь изящно выразил капитан Басилио, не отличаются от наших собственных.

— Хорошо сказано. Хорошо сказано, — говорили польщенные консерваторы.

Капитан Басилио знаками показывал оратору, как ему следует стоять и как жестикулировать. Один лишь эффект оставался спокоен и невозмутим. Казалось, он был поглощен какой-то мыслью или заботой, а может быть, и тем и другим.

Молодой человек продолжал с жаром:

— Мой план, сеньоры, сводится к следующему: надо придумать новые зрелища, отличающиеся от обычных зрелищ, какие мы видим ежедневно; надо сделать так, чтобы собранные деньги не утекли из города, не превратились в пороховой дым, а были истрачены с пользой для всех.

— Правильно,— поддержжали молодые,— вот этого мы и хотим.

— Отлично,— добавили старшие.

— Что извлечем мы из недели комедий, которую предлагает нам лейтенант-майор? Чему можно научиться у королей Богемии или Гранады, приказывающих отрубить своим дочерям головы или выстрелить ими из пушки, которая в последнем действии превращается в трон? Мы не короли, но мы и не варвары. У нас нет пушек, и, вздумай мы подражать этим людям, нас повесили бы в Багумбаяне. Кто эти принцессы, которые лезут в сражения, колют и рубят, дерутся с принцами или бродят в одиночку по горам и долинам, словно одержимые тикбалагом? Нам свойственно любить в женщине мягкость и нежность, и нас ужаснуло бы прикосновение к запятнанной кровью девичьей руке, даже будь это кровь мавра или великана. Мы презираем и считаем подлецом человека, поднимающего руку на женщину, будь это принц, альфрес или грубый селянин. Не будет ли в тысячу раз полезнее изобразить наши собственные нравы, дабы исправить наши недостатки и пороки и поощрить наши достоинства?

— Правильно, правильно,— повторили его сторонники.

— Он прав,— бормотали в задумчивости некоторые старики.

— Мне бы это никогда не пришло в голову,— тихо промолвил капитан Басилио.

— Но как вы это сделаете? — спросил непримиримый консерватор.

— Очень просто,— ответил юноша.— Я принес с собой две пьесы, которые, я в этом уверен, собравшиеся здесь достопочтенные старейшины с их тонким вкусом и признанным благоразумием найдут приятными и развлекательными. Одна называется «Выборы префекта» — это комедия в прозе, в пяти действиях, написанная одним из присутствующих. Вторая пьеса, в девяти актах, рассчитана на два представления. Эта фантастическая драма сатирического характера называется «Марьянг Макилинг» *, написана она одним из лучших поэтов нашей провинции. Так как обсуждение подготовки к празднику все время откладывалось и мы опасались, что времени у нас останется мало, мы тайне собрали актеров и дали им разучить роли. Мы надеемся, что одной недели репетиций им вполне хватит, чтобы разыграть все на славу.

Эта затея, сеньоры, не только нова, полезна и разумна, но имеет еще и то преимущество, что почти ничего не будет стоить. Нам не нужны костюмы, ибо вполне подойдет обычная одежда.

— Я оплачу театр,— крикнул, воодушевившись, капитан Басилио.

— Если для пьесы понадобятся стражники, я одолжу своих,— воскликнул их капитан.

— И меня... меня возьмите, если понадобится старый человек...— прошепелявил кто-то, горделиво выпятив грудь.

— Приято, принято! — раздались голоса.

Дон Филиппо побледнел от волнения, глаза его наполнились слезами.

«Он плачет от злости», — подумал непримиримый консерватор и закричал:

— Приято, принято без прений! — Удовлетворенный местью и полным поражением своего противника, он начал расхваливать план сборщика податей.

Тот продолжал свою речь:

— Пятая часть собранных денег может пойти на задачу призов, например, лучшему школьнику, лучшему пастуху, земледельцу, рыболову и так далее. Мы можем устроить лодочные гонки на реке и на озере, скачки на берегу, можем поставить намазанные салом столбы и придумать другие игры, в которых примут участие наши крестьяне. Допускаю, что из уважения к старому обычаю не следует отказываться от фейерверка. Огненные колеса и фонтаны очень красивы и забавны, но вряд ли нужно тратить деньги на такие ракеты, какие предлагал лейтенант-майор. Для веселья вполне хватит двух оркестров, и мы, таким образом, избежим соперничества и ссор между бедными музыкантами, которые являются увеселять нас, а ведут себя как драчливые петухи и уходят с пустым кошельком, полуголодные, избитые, а порой израненные. На оставшиеся деньги мы можем начать постройку небольшого школьного здания, ибо не должны ждать, пока господь спустится на землю и построит нам школу. Весьма печально, что, имея прекрасную арену для петушиных боев, мы спокойно взираем на то, как наши дети учатся чуть ли не рядом с конюшней священника. Таков вкратце мой план: о том, как улучшить его, пусть подумают все.

По залу пробежал шелток: присутствующие были согласны с юношей, лишь кое-кто вздыхал:

— Новшества, новшества... Когда мы были молоды...

— Примем это предложение и посраим дона Филиппо,— говорили другие, указывая на него.

Когда восстановилась тишина, все уже пришли к согласию. Не хватало только одобрения префекта. Обливаясь потом, он потирал лоб и наконец пробормотал, опустив глаза:

— Я тоже согласен... но... кхе...

Все в зале молча слушали.

— Но что? — спросил капитан Басилио.

— Вполне согласен,— повторил префект,— то есть... я не согласен... я хочу сказать, да, но...

И он потер глаза тыльной стороной ладони.

— Но священник,— продолжал бедняга,— отец священник хочет совсем другого.

— А кто оплачивает праздник? Священник или мы? Дал ли он хоть один кuarto? — раздался чей-то резкий голос.

Все посмотрели в сторону, откуда прозвучал вопрос, и увидели философа Тасио.

Лейтенант-майор, не шевелясь, пристально смотрел на префекта.

— Чего же хочет священник? — спросил капитан Басилио.

— Святой отец хочет... шесть процессий, три проповеди, три больших мессы... и, если останутся деньги, комедиантов из Тондо и интермедии с пением.

— Но мы же этого не хотим,— сказали молодые и кое-кто из старших.

— Однако этого хочет священник,— повторил префект.— Я обещал, что желание его будет исполнено.

— Тогда зачем вы пригласили нас сюда?

— Именно для того... чтобы сообщить вам об этом.

— Почему же вы не предупредили нас с самого начала?

— Я хотел сказать вам, сеньоры, но слово взял капитан Басилио, и я уже не успел... Надо слушаться священника.

— Священника надо слушаться,— вторило ему несколько старейшин.

— Его надо слушаться, иначе алькальд всех нас посадит в тюрьму, — грустно присовокупили другие старики.

— Тогда слушайте его и сами устраивайте праздник! — закричали молодые, вставая. — Мы берем назад наши взносы.

— Деньги уже собраны, — сказал префект.

Дон Филиппо подошел к нему и с горечью сказал:

— Я поступился своей гордостью ради доброго дела; вы же пожертвовали своим человеческим достоинством ради дурного и все испортили...

Ибарра обернулся к школьному учителю и спросил его:

— Вам что-нибудь пужно в главном городе провинции? Я тотчас же еду туда.

— У вас там дела?

— Да, у нас там дела, — загадочно ответил Ибарра.

Когда по пути домой дон Филиппо клял свою неудачу, старик Тасио сказал ему:

— Мы сами виноваты. Вы не протестовали, когда вам навязали раба в начальники, а я, безумец, забыл об этом.

XXI

ИСТОРИЯ МАТЕРИ

...Бежала куда-то — летела в сомнение,
Одно лишь мгновение — не отдыхая...

Алаехос

Сиса бежала к своему дому в полном смятении, которое охватывает душу, когда в беде все оставляют нас и мы лишаемся последних надежд. Тогда нам кажется, что вокруг — непроглядная тьма, и если вдали видится мерцающий огонек, нам хочется бежать к нему, следовать за ним, хотя бы на пути и разверзлась бездна.

Мать желала спасти своих сыновей. Как? Матери не спрашивают о средствах, когда речь идет о спасении детей.

Она бежала, гонимая страхом и мрачными предчувствиями. Арестован ли уже Басилио? Куда делся ее маленький Криспин?



У своей хижины над оградой садика она увидела треуголки двух жандармов. Невозможно описать, что она почувствовала в этот миг; она забыла все и вся. Сиса знала наглость этих людей, которые не считались даже с самыми богатыми горожанами. Что будет теперь с нею и ее сыновьями, обвиненными в краже? Жандармы — это не люди, это только жандармы: они глухи к мольбам и привычны к слезам.

Сиса инстинктивно подняла глаза к небу — небеса сияли дивной улыбкой; в их прозрачной лазури плыли белые облачка. Она остановилась, чтобы

немного прийти в себя; дрожь сотрясала ее тело.

Солдаты выходили из дому, но с ними никого не было, никого и ничего, кроме курицы, которую Сиса откормила. Женщина вздохнула свободнее, воспрянула духом.

— Как они добры, какое у них доброе сердце! — проворковала она, чуть не плача от радости.

Если бы солдаты сожгли ее дом, но оставили сыновей на свободе, она осыпала бы их благословениями.

Она снова с благодарностью взглянула на небеса, где пролетала стая цапель, этих легких облачков филиппинского неба, и с новой надеждою в сердце продолжала путь.

Приблизившись к этим страшным людям, Сиса отвела взгляд в сторону, делая вид, что не замечает своей курицы, которая кудахтала, взывая о помощи. Едва она разминулась с ними, как ей захотелось пуститься бегом, но осторожность заставила ее умерить шаг.

Сиса не успела далеко уйти, как вдруг услышала повелительный оклик. Она вздрогнула, но не подала виду, что слышит, и спокойно продолжала свой путь. Жандармы снова позвали ее, на этот раз громче, с оскорбительной руганью. Она невольно обернулась к ним, бледная и дрожащая. Один из жандармов сделал ей знак приблизиться.

Сиса, словно неживая, подошла к ним: от страха у нее отнялся язык и пересохло в горле.

— Говори правду, или мы привяжем тебя к тому дереву и пристрелим,— сказал один из них угрожающим тоном.

Женщина уставилась на дерево.

— Это ты — мать воров? — спросил другой.

— Мать воров, — машинально повторила Сиса.

— Где те деньги, что сыновья принесли тебе вчера вечером?

— Ах, деньги...

— Мы пришли арестовать твоих сыновей. Старший удрал от нас, а где ты спрятала младшего?

Услышав это, Сиса вздохнула свободней и ответила:

— Уже много дней, сеньор, я не видела Криспина; надеялась увидеть его сегодня утром в монастыре, но там мне сказали...

Солдаты многозначительно переглянулись.

— Хорошо,— воскликнул один из них,— отдай нам деньги, и мы оставим тебя в покое.

— Сеньор,— умоляюще сказала несчастная женщина.— Мои сыновья ничего не украдут, даже если будут умирать с голоду: мы к нему привыкли. Басилио не принес мне ни одного куарто; можете обыскать весь дом, и если найдете хотя бы реал, делайте с нами все, что хотите. Не все бедняки — воры.

— Если так,— медленно проговорил один из жандармов, глядя Сисе в глаза,— ты пойдешь с нами. Небось тогда сыновья твои сами прибегут и выложат украденные деньги.

— Я? С вами? — пробормотала женщина, отступая на шаг и взирая со страхом на их мундиры.

— Вот именно.

— Сжальтесь! — умоляла Сиса, едва не падая на колени.— Я женщина бедная и не могу дать вам ни золота, ни драгоценностей. У меня была только курица, которую я собиралась продать, но вы ее уже взяли... Возьмите все, что есть в моей хижине, но оставьте меня в покое, дайте мне здесь умереть.

— Пошли. Ты должна отправиться с нами, а не пойдешь по доброй воле, мы тебя свяжем.

Сиса горько расплакалась, но жандармы были неумолимы.

— Позвольте мне хотя бы идти на некотором расстоянии от вас! — взмолилась Сиса, когда они ее схватили и грубо толкнули вперед.

Жандармы как будто немного смягчились. Они пошептались между собой, и один из них сказал:

— Ладно! До города будешь идти между нами, чтобы не сбежала, а там пойдешь шагов на двадцать впереди, да смотри, не смей входить в лавки или глазеть по сторонам. Ну, шагай быстрее!

Все мольбы и доводы были тщетны, посулы — бесполезны. Жандармы твердили, что они и так уже сделали слишком большие уступки.

Идя между ними, Сиса сгорала от стыда. Правда, дорога была пустыня, но она стыдилась даже воздуха и дневного света. Истинно стыдливым повсюду чудятся глаза. Закрыв лицо платком, Сиса брела, ничего не видя перед собой, тихо оплакивая свою несчастную судьбу. Она испытала нищету, знала, что все ее оставили, даже собственный муж, но до сих пор считала себя порядочной и уважаемой женщиной и с состраданием смотрела на ярко разодетых особ, которых в городе называли солдатскими девками. Теперь ей казалось, что она спустилась на ступеньку ниже их на общественной лестнице.

Раздался цокот копыт, и на дороге показался небольшой караван жалких кляч, верхом на которых между корзинами с рыбой сидели мужчины и женщины. Это были люди, перевозившие рыбу в отдаленные от моря городки. Некоторые из них, бывало, проезжая мимо ее хижины, просили дать им папиться и дарили рыбу. Теперь же ей казалось, что, проезжая мимо нее, они топчут и попирают ее ногами, а их взгляды, снисходительные и презрительные, проникают сквозь платок и жалят лицо.

Когда путники наконец проехали, она вздохнула и на мгновение приподняла платок, чтобы посмотреть, далеко ли до города. Нужно было миновать еще несколько телеграфных столбов, а там уже виден бантаин — караульная будка при входе в город. Никогда этот путь не казался ей прежде таким долгим.

Вдоль обочины тянулись густые бамбуковые заросли, где она когда-то отдыхала в тени и где ее возлюбленный нежно говорил с ней: он помогал ей тогда носить корзины с фруктами и овощами. Увы, все это прошло как сон.

Возлюбленный стал ее мужем, а мужа сделали сборщиком податей, и тогда беды начали стучаться в ее дверь.

Солнце стало припекать, и солдаты спросили ее, не хочет ли она отдохнуть.

— Нет, спасибо,— ответила женщина со страхом.

Когда же они приблизились к городу, ею овладел настоящий ужас. В тоске оглядывалась она по сторонам, но вокруг были лишь обширные рисовые поля, пескольско чохлых деревцов да маленький оросительный канал,— ни обрыва, ни скалы, о которую можно было бы разбиться! Сиса жалела о том, что последовала сюда за солдатами. Она вспоминала глубокую реку, протекавшую возле ее хижины; высокие берега с острыми скалами сулили такую легкую смерть! Но мысль о сыновьях, о Криспине, чья участь была ей еще неизвестна, озарила светом ее душу, и она пробормотала, смирившись:

— Потом... потом... мы уйдем и поселимся в глухом лесу.

Осушив слезы и стараясь казаться спокойной, она обернулась к своим стражам и сказала тихим голосом, в котором слышались и жалоба, и мольба, и упрек, и боль:

— Вот мы и в городе.

Даже солдаты, казалось, были тронуты и кивнули ей в ответ. Сиса попыталась овладеть собой и быстро пошла вперед.

В этот миг звон церковных колоколов возвестил окончание большой мессы. Сиса ускорила шаги, чтобы как-нибудь избежать встречи с выходившими из церкви людьми. Но, увы, разминуться с ними было невозможно. С горькой улыбкой поклонилась она двум знакомым женщинам, которые устремили на нее вопрошающий взгляд. Чтобы не подвергать себя и далее подобным унижениям, она опустила голову и уставилась в землю, но, как ни странно, продолжала спотыкаться о дорожные камни.

При виде Сисы люди останавливались на мгновение и, переговариваясь, указывали на нее; а она, хоть и не отрывала глаз от земли, все замечала, все чувствовала.

Вдруг Сиса услышала у себя за спиной громкий наглый женский голос:

— Где вы ее поймали? А деньги нашли?

На этой женщине было не платье, а желто-зеленая юбка и голубая блуза. По одежде в ней легко было узнать солдатскую девку.

Сисе показалось, будто ее ударили по лицу: такая женщина поносила ее перед толпой! На секунду она подняла глаза, чтобы до конца испытать чашу людского презрения и ненависти; людей она видела словно в тумане, где-то далеко-далеко, и все же ощущала холод их взглядов, слышала быстрый шепот. Бедная женщина шла, не чуя земли под ногами.

— Эй, ты, сюда! — крикнул ей жандарм.

Как автомат, в механизме которого что-то испортилось, она резко повернулась на каблуках. А затем, ничего не видя, ничего не соображая, побежала — ей хотелось где-нибудь спрятаться. Она кинулась к какой-то двери, где стоял часовой, потянула ее, но чей-то еще более повелительный голос приказал ей остановиться. Неверными шагами направилась она в ту сторону, откуда послышался голос, кто-то толкнул ее в спину, она закрыла глаза, сделала еще два шага и, совершенно обессилев, опустилась сначала на колени, а потом упала. Все тело ее сотрясало от беззвучных рыданий.

Это была казарма. Сиса оказалась среди солдат и женщин, свиней и кур. Мужчины чинили обмундированные, их возлюбленные, положив голову им на колени, лежали, развалившись на скамьях, и курили, вперив скучающий взор в потолок. Другие женщины, мурлыча непристойные песенки, помогали мужчинам чистить одежду и оружие.

— Видно, цыплята сбежали и досталась вам только курица, — бросила какая-то женщина, обращаясь к вновь прибывшим. Неизвестно, говорила ли она о Сисе или о все еще кудахтавшей курице.

— Что ж, курица всегда дороже цыплят, — ответила сама Сиса, так как солдаты промолчали.

— Где же сержант? — спросил один из ее стражей недовольным тоном. — Альфересу уже доложено?

В ответ ему все лишь пожали плечами: никто не собирался утруждать себя, чтобы облегчить участь бедной женщины.

Целых два часа отупевшая от горя Сиса сидела, съевшись, в углу и обхватив руками голову. Волосы ее растрепались и беспорядочной массой ниспадали на лицо. В полдень о ней доложили альфересу, но он не поверил в ее виновность.

— Ба, все это выдумки скаредного монаха! — сказал

он, распорядившись, чтобы женщине отпустили и не мочили ему голову этим делом.— Если он хочет получить обратно то, что потерял, пусть обратится к святому Антонию или пожалуется папскому нунцию. Так-то.

И Сису почти силой вывели из казармы, потому что сама она даже не могла подняться с места.

Оказавшись на улице, она инстинктивно направилась к дому. Вид ее был страшен: голова непокрыта, волосы растрепаны, неподвижные глаза устремлены к далекому горизонту. Сияло полуденное солнце, ни единое облачко не скрывало его пылающего диска; ветер слегка шевелил листья деревьев, росших вдоль почти уже просохшей дороги; ни одна птица не решалась выглянуть из тени листвы.

Сиса добрела наконец до своей хижинки и молча отворила дверь. Оглядев все углы, она выбежала в сад, заметалась из стороны в сторону. Затем бросилась к дому старого Тасио и постучала в дверь, но никто ей не ответил. Несчастная женщина вернулась к хижинке и принялась громко звать Басилио и Криспина, время от времени умолкая и прислушиваясь. Эхо, отвечавшее ей, да нежное журчанье воды в реке и шелест тростника были единственными звуками, нарушавшими тишину. Она звала снова и снова, подбегала к реке; ее блуждавшие глаза то мрачнели и затухали, то вспыхивали ярким светом, а потом опять темнели, будто небо в грозовую ночь; казалось, это искрился в них свет разума, готовый угаснуть навсегда.

Снова вернувшись в хижинку, Сиса опустилась на циновку, где спала прошлой ночью. Вдруг она подняла глаза и увидела на изгороди у самого обрыва клочок рубахи Басилио. Схватив лоскут, она стала рассматривать его на солнце. На ткани были следы крови, но Сиса вряд ли замечала их; выбежав на улицу, она ежеминутно подносила к глазам клочок рубашки, стараясь лучше разглядеть его. Но внезапно все потемнело вокруг, словно померк свет солнца. Сиса смотрела ввысь широко раскрытыми глазами.

Она побрела прочь, сама не зная куда, оглашая воздух стонами и воплями, и голос ее мог испугать всякого; такие страшные звуки, казалось, не способны издавать человеческое горло. Если ночной порой, когда завывает буря и ветер мчит, отбиваясь невидимыми крыльями

от полчища теней, что гонятся за ним, вы окажетесь в одиноком разрушенном доме, то вам послышатся какие-то таинственные вздохи; и хотя вы будете знать, что это воет ветер в высоких башнях и потрескавшихся стенах, звуки эти наполнят вас страхом, и вы невольно вздрогнете. Но вопли несчастной матери были еще ужасней, чем неведомые жалобы среди темной ночи, когда бушует ураган.

Так настиг ее вечер. Быть может, небеса даровали ей несколько часов сна, чтобы незримое крыло ангела, коснувшись ее бледного лица, унесло с собой ее память, а заодно и горести; а может быть, такое страдание просто не по силам слабой человеческой натуре, и само провидение ниспосылает ей свое сладостное лекарство — забвение. Как бы там ни было, на следующий день Сиса уже ходила, улыбалась, пела и разговаривала со всевозможными тварями в лесах и полях.

XXII

СВЕТ И ТЕНЬ

После описанных событий прошло три дня, в течение которых жители городка Сан-Диего только и делали, что готовились к празднику, обсуждали его и в то же время роптали. Хотя все радовались предстоящим удовольствиям, одни порицали префекта, другие — лейтенант-майора, третьи — «молодых», а нашлись и такие, которые осуждали всех и вся.

Приезд Марии-Клары с тетушкой Исабель вызвал немало разговоров. Горожане были рады ему, ибо девушку любили и восторгались ее красотой, но всех поразила перемена, происшедшая в отце Сальви. «Священник часто бывает рассеян во время службы, почти не беседует с нами, сохнет и мрачнеет прямо на глазах», — говорили прихожанки. Повар замечал, что падре худеет не по дням, а по часам, и жаловался на то, что хозяин оказывает мало внимания его блюдам. Особенно много пересудов вызывало то обстоятельство, что по вечерам в монастыре горело больше двух огней сразу, в то время как отец Сальви сидел в гостях в частном доме... в доме Марии-Клары! Богомолки осеняли себя крестным знаменем, но продолжали ворчать.

Хуан Крисостомо Ибарра прислал из главного города провинции телеграмму, в которой приветствовал тетку Исабель и ее племянницу, но не объяснял причину своего отсутствия. Многие уже думали, что его посадили в тюрьму за дерзкое обхождение с отцом Сальви в День всех святых. А когда на третий день под вечер увидели, что Ибарра выходит из экипажа у дома своей невесты и вежливо раскланивается со священником, направляющимся в этот же дом, пища для слуг прибавилось.

О Сисе и ее сыновьях больше не вспоминали.

Если мы заглянем теперь в дом Марии-Илары, прелестное гнездышко, окруженное апельсиновыми деревьями и иланг-илангом, то еще застанем молодых людей у выходящего на озеро окна, затененного цветами и вьюнками, издающими легкий аромат.

Их губы шепчут слова, более нежные, чем шелест листьев, и более сладостные, чем ароматный воздух сада. Это час, когда наяды в озере, под покровом быстро сгущающихся сумерек, поднимают над волнами свои веселые головки, чтобы взглянуть на умирающий день и проводить его песней. Говорят, что волосы и глаза у них голубые, что на голове у них венки из водорослей с белыми и красными цветами, что порой в пене мелькают их дивные тела, блее самой пены, а когда наступает глубокая ночь, они предаются своим божественным играм, и тогда над озером слышатся таинственные аккорды, подобные звукам эоловой арфы; говорят также... Однако вернемся к нашим влюбленным и подслушаем конец их разговора. Ибарра говорил Марии-Иларе:

— Завтра на рассвете твое желание будет исполнено. Сегодня же вечером я все подготовлю.

— Тогда я напишу моим подругам, чтобы пришли. Но сделай так, чтобы с нами не было священника!

— Почему же?

— Мне кажется, что он следит за мной. Его запавшие глаза смущают меня; взглянет, и мне становится страшно. Когда он говорит со мной, у него такой голос... И говорит он все о вещах странных, непонятных... Однажды он спросил, не снились ли мне когда-нибудь письма моей матери. Я даже думаю, что он полубезумный. Моя подружка Синанг и моя молочная сестра Анденг говорят, что у него не все дома, потому что он не ест, не моется и сидит по вечерам впотьмах. Не надо, чтобы он был с нами!

— Мы не можем не пригласить его, — задумчиво ответил Ибарра. — Этого требуют обычаи страны. Он сейчас находится в твоём доме, и, кроме того, он благородно поступил со мной. Когда алькальд спросил его о том деле, о котором я тебе рассказывал, он принялся хвалить меня и не чинил никаких препятствий. Но я вижу, ты серьёзно озабочена этим; не беспокойся, он не попадет в нашу лодку.

Послышались легкие шаги, и к ним подошел священник; на его губах блуждала кривая улыбка.

— Какой холодный ветер! — сказал он. — Стоит теперь простудиться, и уже не поправишься, пока не установится жара. Вы не боитесь простудиться?

Голос его дрожал, а взор был устремлен к далекому горизонту; он старался не смотреть на молодых людей.

— Напротив, для нас обоих этот вечер очень приятен, а ветерок просто упоителен! — ответил Ибарра. — В эти месяцы в наших краях царит и осень и весна одновременно. Часть листьев опадает, но бутоны не перестают распускаться.

Отец Сальви вздохнул.

— По-моему, сочетание двух времен года, без вмешательства холодной зимы — прекрасно, — продолжал Ибарра. — В феврале раскроются почки на фруктовых деревьях, а в марте уже будут спелые плоды. Когда же наступит жара, мы переедем в другое место.

Отец Сальви усмехнулся. Разговор зашел о самых обычных вещах — о погоде, о городе, о празднике. Под каким-то предлогом Мария-Клара удалилась.

— Раз уж зашла речь о празднествах, разрешите пригласить вас принять завтра участие в увеселительной прогулке. Мы намерены отправиться за город вместе с нашими друзьями.

— Куда же вы думаете поехать?

— Девушки хотят отправиться к ручью, который протекает в ближнем лесу, недалеко от балити; надо встать пораньше, чтобы не ехать в самую жару.

Задумавшись на мгновение, священник ответил:

— Приглашение очень заманчивое, и я принимаю его в доказательство того, что нисколько не сержусь на вас. Но мне придется приехать позднее, после того как я выполню свои обязанности. Как вы должны быть счастливы, что свободны, совершенно свободны!

Через несколько минут Ибарра откланялся — надо было заняться приготовлениями к завтрашнему выезду.

Сгущались сумерки. На улице кто-то подошел к нему и почтительно поклонился.

— Кто вы? — спросил Ибарра.

— Мое имя, сеньор, вам неизвестно, — ответил незнакомец, — но я уже два дня жду встречи с вами.

— Для чего же?

— Я ни в ком не нахожу сочувствия, сеньор, все твердят, что я бандит. Я потерял двух сыновей, жена моя сошла с ума, а люди говорят мне, что я заслужил такую участь.

Ибарра окинул быстрым взглядом говорившего и спросил:

— Чего же вы теперь хотите?

— Просить вас о помощи моей жене и сыновьям!

— Я не могу задерживаться, — ответил Ибарра, — если хотите, идите со мной, и вы расскажете по дороге, что с вами случилось.

Человек поблагодарил его, и вскоре оба они исчезли во мраке тускло освещенных улиц.

XXIII

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Звезды еще мерцали на сапфировом небосводе, и птицы спали в листве деревьев, когда при свете смоляных факелов, так называемых «уэпес», веселая компания уже шла по улицам, держа путь к озеру.

Это были пять девушек, которые быстро шагали, взявшись за руки или обняв друг друга за талию. Их сопровождало несколько старых женщин и служанок, грациозно несших на голове корзины с едой и посудой. Глядя на светившиеся молодостью и надеждой лица девушек, на их развевающиеся по ветру длинные черные волосы и широкие платья, мы могли бы принять их за богинь ночи, убегающих от дневного света, если бы не знали, что то была Мария-Клара и ее четыре подруги: резвушка Сипанг, ее кузина, строгая Виктория, прелестная Идай и мечтательная Нененг.

Они оживленно болтали, смеялись, о чем-то шептались и потом опять заливались громким смехом.

— Тише, ведь люди еще спят! — выговаривала им тетушка Исабель. — Когда мы были молоды, мы вели себя скромнее.

— Да и не вставали, наверно, так рано, как мы, а старшие небось не спали так долго! — ответила маленькая Синанг.

Девушки помолчали, затем попытались говорить тише, но вскоре забылись, рассмеялись, и на улицах снова зазвучали их сочные, молодые голоса.

— Сделай вид, что сердись, и не говори с ним! — советовала Синанг Марии-Кларе. — Отругай его, чтобы отучился от своих дурных привычек.

— Не будь слишком требовательной! — говорила Идай.

— Будь требовательной, не будь глупой! Надо приучить его к послушанию, пока он еще жених, иначе когда он станет твоим мужем, то все будет делать так, как захочет! — поучала маленькая Синанг.

— Что ты понимаешь в этом? — оборвала ее Виктория.

— Тихо, молчите, вот они!

В самом деле, освещая путь большими камышовыми факелами, к ним приближалась группа молодых людей. Они торжественно шагали под звуки гитары.

— Бренчат, как нищие, — засмеялась Синанг.

Когда обе группы встретились, женщины повели себя сурово и официально, словно и не знали, что такое смех, а мужчины болтали, смеялись и задавали уйму вопросов, чтобы получить ответ хотя бы на один.

— Озеро спокойно. Вы думаете, погода будет хорошая? — спрашивали матери.

— Не волнуйтесь, сеньора, я хорошо плаваю, — ответил высокий худощавый юноша.

— Следовало бы сначала отстоять мессу, — вздохнула тетушка Исабель, молитвенно сложив руки.

— Еще не поздно, сеньора. Альбино когда-то учился богословию и может отслужить мессу в лодке, — заметил другой юноша, указывая на высокого. Услышав, что о нем говорят, Альбино с лукавым выражением лица сделал сокрушенный жест, пародируя отца Сальви.

Ибарра был, как всегда, задумчив, но постепенно он тоже поддался общему веселью.

Когда они пришли на берег озера, женщины не могли сдержать возгласов восхищения при виде двух больших, связанных вместе лодок, живописно разукрашенных гирляндами из цветов и листьев, украшенных разноцветными тканями. С палатки сооруженного тента свисали бумажные фонарики, перемежаясь с розами, гвоздиками и разнообразными фруктами — ананасами, казуи, гуаябами, бананами, лансонес и другими. Ибарра заранее устроил для женщин удобные сиденья из ковров, покрывал и подушек. Даже весла и шесты были разукрашены. В одной из лодок лежали гитары, аккордеоны, арфа и труба из буйволова рога. Во второй лодке в глиняных каланах горел огонь для приготовления чая, кофе и салабата на завтрак.

— Женщины — в эту лодку, а в ту — мужчины, — распоряжались матери при посадке. — Спокойно, не суетитесь, не то опрокинемся.

— Прежде всего перекреститесь, — посоветовала тетя Исабель, подавая пример.

— Разве мы будем здесь одни? — спросила Синанг, состроив гримаску. — Только мы одни? Фи!

За это «фи» мать тут же наградила ее щипком.

Лодки медленно удалялись от берега, свет фонариков отражался в спокойных водах озера. На восточном краю неба появлялись первые проблески зари.

Все молчали. После того как матери заставили их разместиться в разных лодках, юноши и девушки будто погрузились в раздумье.

— Осторожнее, — громко сказал Альбино, бывший студент-богослов, обращаясь к другому юноше. — Крепче прижимай ногой затычку.

— Что?

— Затычка может выскочить, и лодку затопит. Здесь масса дыр.

— Ой, мы утонем! — вскричали перепуганные женщины.

— Не беспокойтесь, сеньоры, — сказал бывший семинарист, чтобы рассеять их страхи. — Ваша лодка еще довольно крепкая, в ней только пять пробоин, да и то небольших.

— Пять пробоин, господи Иисусе, уж не хотите ли вы нас утопить? — воскликнули женщины в ужасе.

— Не больше пяти, сеньоры, всего-навсего вот таких, — уверял семинарист. Он сомкнул большой и указательный пальцы, и у него образовался кружок, который

должен был показать, какого размера пробойны. — Покрепче нажимайте на затычки, чтобы они не выскочили.

— Боже мой! Пресвятая Мария! Вода заливает! — воскликнула одна старая женщина, которой почудилось, что она уже вымокла до нитки.

Началось небольшое смятение — одни визжали, другие хотели броситься в воду.

— Покрепче нажимайте на затычки, вон там! — повторял Альбино, указывая на дно лодки под сиденьями девушек.

— Где? Где? О боже! Мы не знаем, как это делать! Сжальтесь, помогите нам, мы же не знаем, как это делать! — умоляли перепуганные матери.

По странной случайности опасность угрожала только девушкам, а возле старых жепцин не оказалось ни одной опасной течи. Еще более странным было то, что Ибарра уселся теперь рядом именно с Марией-Кларой, а Альбино — с Викторией. Среди заботливых матерей воцарилось спокойствие, но молодежь отнюдь не собиралась угомониться.

Так как озеро было спокойно, рыболовная тоня уже виднелась, а час был еще ранний, решили бросить весла и позавтракать. Солнце светило вовсю, и фонари на лодках потушили.

— Нет ничего лучше салабата, когда пьешь его утром, до того, как идти к мессе, — сказала капитанша Тика, мать веселой Сипанг. — Отведай-ка салабата с рисовым печеньем, Альбино, и увидишь, что даже тебе захочется помолиться.

— Я так и делаю, — отвечал юноша. — Меня уже потянуло исповедаться.

— Нет, — сказала Сипанг, — выпей лучше кофе, от него станет веселей.

— Сейчас выпью, а то я что-то взгрустнул.

— Не делай этого, — посоветовала тетушка Исабель, — выпей чаю и съешь немного сухариков; чай, говорят, охлаждает голову.

— Я и чай отведаю с сухариками, — ответил покладистый семинарист. — Это же, слава богу, не католическая религия.

— А могли бы вы... — начала Виктория.

— Выпить также и шоколада? Конечно! Ведь до обеда еще далеко!

Утро было великолепное: озеро сверкало, отражая небо, и на фоне сияющих небес и воды каждый предмет обрисовывался ясно и четко, все было залито ярким, прозрачным светом, окрашено в цвета, подобные тем, какие мы видим иногда на картинах.

Все были веселы и полной грудью вдыхали свежий утренний воздух. Даже матери, столь осторожные и боязливые, теперь пересмеивались и обменивались шутками.

— Помнишь,— говорила одна из них, обращаясь к капитанше Тике,— помнишь ли то время, когда мы еще девушками ходили купаться к реке? Вниз по течению плыли маленькие лодочки из коры платана, нагруженные всякими фруктами и чудесными цветами. На каждой лодочке был флажок с именем одной из нас...

— А когда мы возвращались домой,— добавила другая, перебивая собеседницу,— оказывалось, что бамбуковые мостки сломаны и надо переходить ручьи вброд... вот плуты!

— Да, но я готова была замочить подол, только бы не оголять ноги,— сказала капитанша Тика.— Ведь я знала, что из кустов на берегу за нами наблюдает не одна пара глаз!

Некоторые девушки, слушая эти воспоминания, улыбались и перемигивались, остальные были поглощены своими разговорами.

Лишь один человек, исполнявший обязанности рулевого, все время молчал и не участвовал в общем веселье. Это был атлетического сложения юноша с красивым лицом, на котором привлекали внимание большие грустные глаза и резко очерченные губы. Длинные, черные спутанные волосы ниспадали на крепкую шею; под темной холщовой рубашой угадывались могучие мышцы, а обнаженные жилистые руки, как перышком, играли огромным веслом, направляя обе лодки.

Мария-Клара не раз ловила на себе его взгляд, но юноша быстро отворачивался и принимался смотреть вдаль, на горы, на берег. Девушку тронуло его одиночество, она предложила ему печенье. Рулевой удивленно взглянул на нее, но тут же опустил глаза, взял печенье и коротко, чуть слышно поблагодарил.

Больше уже никто не интересовался рулевым. Молодежь шутила, весело смеялась, но ни один мускул не дрогнул на его лице; он не улыбнулся даже при взгляде на

уморительную рожицу, которую скорчила веселая Синанг, когда ее ущипнули.

После завтрака поплыли дальше, к двум рыболовным тоням, расположенным почти рядом и принадлежавшим капитану Тьяго. Еще издали можно было заметить цапель, застывших в позе наблюдателей на бамбуковых кольях изгороди, и белых птиц, которых тагалы называют калавай,— они носились над озером, едва не задевая воду крыльями, и пронзительно кричали. С приближением лодок цапли взмыли в воздух, и Мария-Клара следила за ними, пока они не скрылись за ближайшей горой.

— Эти птицы гнездятся в горах? — спросила она у рулевого не столько из любопытства, сколько из желания втянуть его в разговор.

— Вероятно, да, сеньора, — ответил он, — но до сих пор никто не видел их гнезд.

— Разве у них нет гнезд?

— Наверное, должны быть, иначе они были бы очень несчастны.

Мария-Клара не заметила, с какой грустью он произнес эти слова.

— Значит...

— Говорят, сеньора, — продолжал юноша, — что гнезда этих птиц невидимы и обладают свойством делать невидимым всякого, кто ими завладеет. Подобно тому, как душу можно разглядеть лишь в чистом зеркале человеческих глаз, точно так же их гнезда можно увидеть лишь в зеркале водной глади.

Мария-Клара задумалась.

Тем временем они подъехали к бакладу, и пожилой лодочник привязал лодки к столбу.

— Постой, — закричала тетушка Исабель сыну рыбака, который уже хотел взобраться на помост, держа рыболовную сеть, прикрепленную к бамбуковому шесту. — Нам надо сперва приготовить синиганг, чтобы рыба попала из воды прямо в суп.

— О, добрая тетушка Исабель! — воскликнул бывший семинарист. — Она не хочет, чтобы рыба хоть на мгновение осталась без воды.

Несмотря на свой беззаботный вид, Анденг, молочная сестра Марии-Клары, славилась как отличная повариха. Она принялась готовить рисовый суп с томатами и

камией, а молодые люди, желавшие завоевать ее благосклонность, помогали или, вернее, мешали ей. Остальные девушки чистили тыкву и горох, резали пааяп на кусочки длиной с папиросу.

Чтобы развлечь тех, кому не терпелось наконец увидеть, как живая, трепещущая рыба забьется в сетях, красавица Идай взялась за арфу; она не только прекрасно играла на этом инструменте, но, кроме того, была обладательницей очаровательных пальчиков.

Молодые люди зааплодировали, а Мария-Клара расцеловала ее; арфа — излюбленный инструмент в этой провинции, и на воде эта музыка была весьма кстати.

— Спой теперь, Виктория, «Песню о женитьбе»! — попросили матери.

Мужчины запротестовали, и Виктория, у которой был чудесный голос, заявила, что она охрипла. «Песня о женитьбе» — это прекрасная тагальская элегия; в ней поется о всех заботах и горестях брачной жизни, но не забыты и радости брака.

Тогда попросили спеть Марию-Клару.

— Все мои песни очень грустные.

— Просим, все равно просим! — закричали все.

Она не стала отказываться, взяла арфу, сыграла короткое вступление и запела звонким, приятным, полным чувства голосом:

Как сладостны часы в родной стране,
Где солнце нам волнует кровь,
Где жизнь — зефир, ласкающий поля,
Где краше смерть и горячеей любовь.

Целует мать родимое дитя,
Едва рассвет забрезжит вновь;
Ребенок тянется к груди,
А на него глядит любовь.

И смерть мила за свой родимый край,
Где солнце нам волнует кровь,
Здесь смерть — зефир, ласкающий того,
Кто потерял очаг, мать и любовь.

Песня окончилась, голос замер, арфа умолкла, а окружающие все еще сидели словно замороженные; никто не аплодировал. У девушек глаза наполнились слезами; Ибара, казалось, был взволнован. Молодой рулевой неподвижно смотрел куда-то вдаль.

Внезапно раздался громоподобный рев: женщины вскрикнули и заткнули уши. Это бывший семинарист Альбино во всю силу своих легких дул в буйволов рог. Снова воцарились радость и веселье, а потускневшие от слез глаза засверкали.

— Ты что, хочешь оглушить нас, еретик? — воскликнула тетушка Исабель.

— Сеньора, — торжественно ответил Альбино, — я слышал однажды о бедном трубаче с берегов Рейна, который игрой на трубе завоевал сердце одной знатной богатой девушки и женился на ней.

— Конечно, трубач из Закингена! * — воскликнул Ибарра, невольно поддаваясь общему веселью.

— Слышите? — продолжал Альбино. — Я тоже хочу попытать счастья.

И он с удвоенной силой принялся дуть в рог, поднося его к уху тех девушек, которые казались грустнее других. Разумеется, поднялся переполох, и матери, пустив в ход туфли, быстро заставили трубача умолкнуть.

— Увы, увy! — говорил он, ощупывая свои руки. — Как далеко от Филиппин до берегов Рейна! О времена, о нравы! Одним оказывают почести, других колотят туфлями!

Все рассмеялись, даже серьезная Виктория, а проказница Синанг прошептала Марии-Кларе:

— Какая ты счастливая! Ах, если бы я тоже умела поты!

Анденг наконец заявила, что суп готов и она может угощать гостей.

Мальчик, сын рыбака, взобрался тогда на помост в узкой части тони, где можно было бы написать для рыб, если бы несчастные умели читать по-итальянски: «*Lasciate ogni speranza voi ch'entrate*»¹, ибо ни одна рыба не выходила отсюда живой. Это был почти круглый садок, около метра в диаметре, устроенный так, что, стоя на помосте, можно было доставать рыбу сачком.

— Здесь никогда не надоест ловить рыбу на удочку, — сказала Синанг, поживаясь от предвкушаемого удовольствия.

Все устремили взор на воду, а иным уже казалось, что они видят рыб, бьющихся в сетях и сверкающих чешуей.

¹ «Оставь надежду всяк сюда входящий» (итал.) (Данте).

Но когда мальчик запустил туда сачок, из воды не выпрыгнула ни одна рыба.

— Да здесь их полно, — прошептал Альбино, — сюда уже пять дней никто не заглядывал.

Рыбак вытащил сачок, увы... его не украшала ни одна рыбешка; сочась крупными каплями сквозь сеть и блестя на солнце, вода будто смеялась серебристым смехом. Из уст всех вырвались возгласы удивления, досады и разочарования.

Мальчик снова проделал все сначала, но результат был таким же плачевным.

— Ты не знаешь своего дела! — сказал Альбино, взобравшись на помост и выхватив сеть из рук мальчика. — Вот сейчас увидите! Анденг, приготовь кастрюлю!

Но Альбино, видно, тоже ничего не смыслил в этом деле, сачок вынырнул пустым. Все стали над ним потешаться.

— Не шумите так, а то рыба услышит и испугается. Наверное, сеть у нас рваная.

Но оказалось, что все ячейки сети целы.

— Дайте-ка мне, — сказал Леон, жених Идай.

Он удостоверился в том, что изгородь в порядке, осмотрел сеть и, убедившись, что она цела, спросил:

— А вы уверены, что никто здесь не был в течение этих пяти дней?

— Конечно, уверены, последний раз ловили в канун дня всех святых.

— Тогда — или это озеро заколдованное, или я что-нибудь да вытащу.

Леон опустил шест в воду, и на лице его изобразилось изумление. Молча посмотрел он в сторону соседней горы и, двигая шестом в воде, тихо пробормотал, не вынимая сачка:

— Кайман!

— Кайман! — повторили все; слово это передавалось из уст в уста, вызывая испуг и удивление.

— Что ты сказал? — спрашивали юношу.

— Я говорю, что сюда попал кайман, — убежденно сказал Леон и опустил в воду рукоять шеста. — Разве вы не слышите? Это шуршит не песок, а твердая чешуя на спине каймана. Видите, как дрожат кольца? Он на них напирает, хоть и притаился на дне. Постойте... да он крупный, не меньше пяди в поперечнике.

— Что же нам делать? — прозвучали голоса.

— Поймать его, — ответил кто-то.

— Господи Иисусе, но кто же его поймает?

Никто не изъявил желаний спуститься в воду. Садок был глубокий.

— Надо привязать его к нашей лодке и притащить домой как трофей! — предложила Синанг. — Какая наглость, съесть рыбу, предназначенную нам на завтрак!

— Я никогда не видела живого каймана, — прошептала Мария-Клара.

Рулевой встал, взял в руку длинную веревку и легко вскочил на помост. Леон посторонился, давая ему место.

Никто, кроме Марии-Клары, не замечал его раньше, но теперь все восхитились его стройной фигурой. Ко всеобщему изумлению, он нырнул в воду, невзирая на предостерегающие крики.

— Возьмите нож, — крикнул Крисостомо, протягивая широкий толедский кинжал, но рулевой уже не слышал; сверкнув тысячей брызг, вода таинственно сомкнулась над ним.

— Иисус, Мария и Иосиф! — вскричали женщины. — Ох, ждать беды! Иисус, Мария и Иосиф!

— Не беспокойтесь, сеньоры, — сказал старый лодочник, — если есть хоть один человек, способный на такое, — это он.

— Как его имя? — спросили женщины.

— Мы называем его «Рулевой»; он — самый искусный из всех рулевых, только работу свою не любит.

Вода забурлила, закипела, изгородь затряслась, — казалось, на дне разыгрывается сражение. Все молчали затаив дыхание. Ибарра судорожно сжимал рукоять острого ножа.

И вот битва закончилась. На поверхности появилась голова юноши, слышались радостные крики. Глаза женщин наполнились слезами.

Держа в руке конец веревки, Рулевой вскарабкался на помост. Веревка натянулась, а вскоре показалось и чудовище; двойная петля охватывала его шею и передние лапы. Леон не ошибся. Это был крупный кайман, пятнистый, с ворсом на спине, а ворс для каймана, что седины для человека. Ревя, как бык, сотрясая бамбуковые стенки садка мощными ударами хвоста, он старался разметать

колья и разевал страшную черную пасть с острыми зубами. Рулевой один вытаскивал добычу, никому даже не пришлось в голову помочь ему.

Вытащив каймана из воды и повалив на помост, юноша придавил животное ногой и своими сильными руками сомкнул огромные челюсти, пытаясь обвязать его морду веревкой. Но вдруг, сделав последнее усилие, кайман изогнул тело, ударил по мосткам могучим хвостом и, вырвавшись, ринулся в озеро за пределы садка, увлекая за собой ловца. Гибель Рулевого была неминуема. Раздались крики ужаса. Однако тут же с быстротой молнии другое тело упало в воду; находившиеся в лодке едва успели разглядеть, что это был Ибарра. Мария-Клара не потеряла сознания лишь потому, что филиппинки еще не научились падать в обморок.

Все видели, как вздымались волны, окрашенные кровью. Мальчик-рыбак бросился в озеро, держа в руках боло, за ним последовал его отец, но не успели они погрузиться в воду, как на поверхности появились Крисостомо и Рулевой, тащившие за собой труп чудовища. Белое брюхо каймана было распорото во всю длину, а из горла торчала рукоятка ножа.

Невозможно описать всеобщее ликование: дюжина рук протянулась к молодым людям. Старые женщины были вне себя от радости, они смеялись, бормотали молитвы. Анденг забыла, что ее синиганг уже трижды закипал: бульон переселился через край и погасил огонь. Одна только Мария-Клара не могла выговорить ни слова.

Ибарра был цел и невредим, а у Рулевого краснела лишь легкая царапина на руке.

— Я обязан вам жизнью, — сказал он Ибарре, который закутывался в шерстяные покрывала. В голосе Рулевого сквозил оттенок грусти.

— Вы слишком отчаянный, — ответил Ибарра. — Больше не искушайте судьбы.

— Если бы ты не вернулся... — прошептала Мария-Клара, все еще дрожа.

— Если бы я не вернулся, а ты последовала за мной, — ответил Ибарра, завершая ее мысль, — то на дне озера я оказался бы в своей семье!

Он не забыл, что там покоятся останки его отца.

Старые женщины уже не желали отправляться к другому садку; они предлагали вернуться, говоря, что день

начался плохо и как бы не случилось еще какое-нибудь несчастье.

— А все потому, что мы не пошли к мессе! — вздохнула одна из них.

— Но какое с нами произошло несчастье, сеньоры? — спросил Ибарра. — Ведь единственный, кому не повезло, это кайман!

— Сие доказывает, — подвел итог бывший семинарист, — что за всю свою греховную жизнь несчастный гад не посетил ни одной мессы. Я никогда не видел его среди множества других кайманов, которые ходят в церковь.

Итак, лодки направились к другой топе, и Анденг должна была снова готовить свой синиганг.

Солнце поднималось все выше, дул свежий ветерок. Вокруг мертвого каймана рябили маленькие волны, образуя «гребни пены в ясном и щедром сиянии солнца», как говорит поэт Патерно *.

Снова послышалась музыка: Идай заиграла на арфе, а мужчины с большим или меньшим искусством аккомпанировали ей на аккордеонах и гитарах. Особенно старался Альбино, который поистине терзал гитару и все время сбивался с ритма или забывал мелодию и начинал другую.

Ко второму садку подплыли с некоторой опаской; многие считали, что самка убитого каймана должна быть там, но природа любит шутки: сети на этот раз возвращались полные до краев. Тетушка Исабель распоряжалась:

— Айунгии годится для синиганга. Оставьте бия для маринада; далаг и буан-буан — для паса: далаги живучи. Оставьте их в сети под водой! Лангуст — на сковородку! Банак падо завернуть в листья платана, нафаршировать томатами и зажарить! Часть рыбы оставьте на развод: нехорошо бросать садок пустым, — заключила она.

Затем они направились к берегу, туда, где темнели вековые деревья леса, принадлежавшего Ибарре. Там, в тени, среди цветов, у прозрачного ручья они позавтракали в наскоро разбитом шатре.

Звучала музыка; дым костра поднимался вверх легкими завитками; горячая вода булькала в котелке — не то утешая мертвую рыбу, не то издеваясь над ней; труп каймана плавал в ручье, поворачиваясь то вспоротым брюхом, то зеленоватой пятнистой спиной, а человек — любитель природы — спокойно делал свое дело, которое брамины или вегетарианцы называли бы братоубийством.

XXIV

В ЛЕСУ

Рано, очень рано отслужил мессу отец Сальви и, вопреки своим обычаям, за несколько минут очистил от грехов дюжину грешных душ. Чтение же двух-трех запечатанных сургучом писем, видно, отбило у почтенного священника аппетит, он даже не заметил, что шоколад остыл.

— Падре нездоров, — сказал повар, готовя другую чашку. — Вот уже сколько дней он ничего не ест, а из шести блюд, которые я подаю ему, и двух не отведаст.

— Все потому, что он плохо спит, — ответил слуга. — С тех пор как он переменял спальню, его мучают кошмары. Глаза у него совсем ввалились, он отощал и пожелтел.

В самом деле, на отца Сальви жалко было смотреть. Он даже не притронулся ни ко второй чашке шоколада, ни к слойкам от Себу. Вместо этого он задумчиво расхаживал взад и вперед по просторному залу, теребя в костлявых руках письма, которые он время от времени перечитывал. В конце концов он приказал подать карету, оделся и велел ехать в лес, где неподалеку от зловещего дерева веселилась молодежь.

Доехав до опушки, отец Сальви отпустил экипаж и один отправился в лес.

Узкая затепенная тропинка вилась меж зарослей к ручью, образованному горячими источниками, подобными тем, что бьют на склонах горы Макилинг. По берегам ручья росли цветы, многие из которых до сих пор не имеют латинских названий, но зато хорошо известны золотистым жукам и бабочкам всех форм и цветов — голубым и желтым, белым и черным, пестрым, блестящим, синим, с рубинами и изумрудами на крылышках, а также легионам жучков с отливающими металлом спинками, осыпанным золотой пылью. Жуужканье насекомых, стрекотанье цикад, не умолкающее ни днем ни ночью; щебье птиц и сухой треск подгнивших сучьев, которые, падая, задевают соседние ветви, — вот единственные звуки, нарушающие тишину этого таинственного места.

Какое-то время священник блуждал среди густых зарослей, стараясь обходить колючки, которые цеплялись за его рясу из гингона, словно желая задержать его; переступал через корни, торчавшие из земли будто для того,

чтобы о них спотыкался непривычный к подобным дорогам путник. Внезапно он замер на месте: он услышал веселый смех и звонкие голоса; смех и голоса доносились со стороны ручья и становились все громче.

— Ну-ка, не найду ли я здесь гнездышко? — произнес прелестный, нежный голос, который был хорошо знаком священнику. — Я бы хотела видеть «его», но так, чтобы «он» не видел меня, и хотела бы следовать за «ним» повсюду.

Отец Сальви спрятался за ствол большого дерева и наострил уши.

— Значит ли это, что ты хочешь поступать с «ним» так, как с тобой поступает священник? — спросил чей-то веселый голос. — Ведь святой отец просто следит за тобой. Смотри, от ревности у людей вваливаются щеки и появляются круги под глазами.

— Нет, нет, это не ревность, а чистое любопытство! — ответил серебристый голосок, а веселый голос повторил:

— Нет, ревность, ревность!

— Будь я ревнива, я, вместо того чтобы самой стать невидимой, сделала бы невидимой «его», чтобы скрыть от посторонних глаз.

— Но тогда ты тоже не видела бы его, а это неинтересно. Если мы пойдем гнездо цапли, давайте лучше подарим его священнику; он будет следить за нами, а мы не будем его видеть. Вы согласны?

— Я не верю в гнезда цапель, — прервал другой голос, — но если я когда-нибудь стала бы ревновать, то уж сумела бы следить, оставаясь невидимой.

— Но как? Может быть, так, как это делает сестра «подслушница»?

Это воспоминание о монастырской школе вызвало дружный веселый смех.

— Ты-то знаешь, как обмануть сестру «подслушницу»!

Из своего укрытия отец Сальви увидел Марию-Клару, Викторию и Синанг, бредущих вдоль ручья. Они не отрывали глаз от водного зеркала, мечтая найти заколдованное гнездо цапли; девушки шли по колено в воде: под мокрыми купальными юбками угадывались нежные очертания ног. Волосы их были распущены, руки обнажены, а грудь прикрывали нестрые полосатые рубашки. Разыскивая неуловимое гнездо, три девушки попутно срывали цветы и плоды, росшие на берегу.

Богобоязненный Актеон, бледный и неподвижный, созерцал целомудренную Диану; его сверкавшие в черных впадинах глаза не отрывались от белых, красивых рук, изящной шеи и открытой части груди, а вид маленьких розовых ножек, плескавшихся в воде, будоражил его умерщвленную плоть, рождал в пылающем мозгу новые мечты.

Три прелестные фигурки исчезли в густых зарослях тростника за изгибом ручья, и он больше не слышал их жестоких намеков. Весь в поту, спотыкаясь, шатаясь, как пьяный, отец Сальви покинул свое убежище и обвел блуждающим взором обступавший его со всех сторон кустарник, затем сделал несколько шагов, словно собирался последовать за девушками, но тут же повернулся и пошел вдоль берега в поисках остальных участников прогулки.

Пройдя немного дальше, он увидел посреди ручья некое подобие купальни — изгородь, украшенную пальмовыми листьями, цветами и флажками, прикрытую сверху густой листвой бамбука: оттуда слышались веселые женские голоса. Еще дальше священник заметил бамбуковый мостик, а за ним купающихся мужчин. На берегу вокруг импровизированных кабанов суетились слуги и служанки, — они чистили цыплят, мыли рис, жарили поросят. А на противоположном берегу, на расчищенной полянке, мужчины и женщины расположились под холщовым навесом, который одним концом был прикреплен к столетним деревьям, а другим — к только что вбитым кольям. Тут собрались альферес, викарий, префект, лейтенант-майор, школьный учитель и много других бывших капитанов и лейтенантов; присутствовал даже отец Синанг — капитан Басилио, у которого была какая-то многолетняя тяжба с покойным доном Рафаэлем. Ибарра сказал ему: «Мы спорим о праве, а спорить — не значит быть врагами», — и знаменитый оратор партии консерваторов с радостью принял приглашение, прислал трех индюшек и отдал своих слуг в распоряжение молодого человека.

Священник был встречен с уважением и почтением всеми присутствующими, даже альфересом.

— Где же вы, однако, гуляли, ваше преподобие? — заметил последний, увидев исцарапанное лицо священника и покрытую листьями и сухими ветками рясу. — Уж не упали ли вы?

— Нет, я заблудился! — ответил отец Сальви, оглядывая свою одежду.

Открыли бутылки с лимонадом, раскололи зеленые кокосовые орехи, чтобы купавшиеся, выйдя из воды, могли освежиться кокосовым молоком и нежной мякотью, которая белее молока; девушки, кроме того, получили венки из жасмина с розами и бутонами иланг-иланга, напитавшими ароматом их рассыпанные по плечам волосы. Одни гости сидели на земле или отдыхали в гамаках, привязанных к ветвям деревьев, а другие окружили большой плоский камень, где лежали колоды карт, книжки, шахматная доска, сигуэйес и фишки.

Священнику показали каймапа, но он лишь рассеянно взглянул на него и пасторожился только тогда, когда услышал, что брюхо кайману вспорол Ибарра. Меж тем отважный таинственный Рулевой куда-то исчез; он скрылся еще до появления альфереса.

Но вот из кунальни вышла Мария-Клара с подругами, свежая, как роза на заре, когда капли росы алмазными искрами сверкают на дивных лепестках. Ее первая улыбка предназначалась Крисостомо, а первая тень на ее челе появилась при виде отца Сальви, который заметил это и вздохнул.

Наступил час обеда. Священник, викарий, префект, лейтенант-майор и некоторые капитаны разместились за тем столом, во главе которого восседал Ибарра. Старухи матери не разрешили ни одному из мужчин сесть за один стол с девушками.

— На сей раз, Альбино, тебе не удастся повторить выдумку с течью, — сказал Леон бывшему семинаристу.

— Что, что вы сказали? — слышались голоса пожилых женщин.

— Лодки, сеньоры, были такими же целыми, как эта тарелка, — объяснил Леон.

— О, Иисус! Ну и хитрец! — воскликнула, улыбаясь, тетушка Исабель.

— Вы что-нибудь узнали, сеньор альферес, о преступнике, напавшем на отца Дамасо? — спросил отец Сальви во время обеда.

— О каком преступнике, пренеподобный отец? — удивился альферес, взглянув на монаха сквозь бокал вина, который он осушал.

— О каком? Да о том самом, что позавчера вечером ударил отца Дамасо на дороге!

— Ударил отца Дамасо? — переспросило сразу несколько человек.

Викарий, казалось, улыбнулся.

— Да, и отец Дамасо лежит теперь в постели. Полагают, что это сделал тот самый Элиас, который толкнул вас в канаву, сеньор альферес.

Лицо альфереса побагровело — то ли от стыда, то ли от вина.

— Я полагал, — продолжал отец Сальви несколько насмешливо, — что вы, как начальник жандармерии, давно уже разобрались в этом деле.

Офицер закусил губу и пробормотал несколько слов в свое оправдание.

В эту минуту на поляне появилась бледная, изможденная женщина в лохмотьях. Никто не заметил ее приближения: она ступала так бесшумно, что ночью ее можно было бы принять за привидение.

— Дайте этой несчастной что-нибудь поесть! — вскричали пожилые сеньоры. — Эй, подойди-ка сюда!

Однако женщина, не останавливаясь, направилась к столу, за которым сидел священник. Он обернулся, узнал ее, и нож выпал из его руки.

— Дайте этой женщине поесть! — распорядился Ибарра.

— Ночь темная, и мальчики исчезли, — прошептала нищая, но, увидев альфереса, обернувшегося к ней, она вдруг испугалась, бросилась бежать и вскоре скрылась среди деревьев.

— Кто это? — спросил юноша.

— Несчастливая женщина, потерявшая рассудок от страха и горя! — ответил дон Филипо. — Вот уже четыре дня она не приходит в себя.

— Не Сисой ли ее зовут? — спросил Ибарра.

— Ваши солдаты арестовали ее из-за сыновей... Произошла какая-то история, которая до сих пор не выяснена, — довольно резко продолжал лейтенант-майор, обращаясь к альфересу. — Ее протащили через весь город...

— Что? — воскликнул альферес, обращаясь к священнику. — Уж не мать ли она ваших двух служек?

Священник кивнул.

— Они исчезли, и никто о них не справлялся, — добавил дон Филипо, сурово взглянув на префекта, и тот опустил глаза.

— Разыщите эту женщину! — приказал Крисостомо слугам. — Я обещал сделать все возможное, чтобы узнать, где находятся ее сыновья.

— Вы говорите — они исчезли? — спросил альферес. — Ваши служки исчезли, преподобный отец?

Священник вышел бокал вина, стоявший перед ним, и утвердительно кивнул головой.

— Карамба, святой отец, — воскликнул альферес, зло-
радно хихикая, ибо ему представилась возможность ото-
мстить. — У вашего преподобия исчезает несколько песо,
и мои сержанты должны отправляться ни свет ни заря
искать ваши деньги; когда же исчезают двое ваших слу-
жек, вы словно воды в рот набираете. Ну, а сеньор капи-
тан... ведь тоже правда, что вы...

Он не закончил фразы, расхохотался и погрузил ложку
в красную мякоть дикой папайи.

Священник, несколько растерявшись, ответил:

— Дело в том, что за деньги я должен отчиты-
ваться...

— Хороший ответ, достопочтенный пастырь душ чело-
веческих! — прервал его альферес с полным ртом. — Вели-
колепный ответ, святой вы человек!

Ибарра хотел вмешаться, но отец Сальви заставил себя
улыбнуться и сказал:

— Так вы не знаете, сеньор альферес, что говорят об
исчезновении этих мальчиков? Нет? Тогда спросите ва-
ших солдат!

— Что? — воскликнул альферес, сразу помрачнев.

— Говорят, в ту ночь, когда они исчезли, люди слы-
шали выстрелы.

— Выстрелы? — повторил альферес, обводя взором
присутствующих, которые кивали головами в подтвержде-
ние слов священника.

Тогда снова заговорил отец Сальви — медленно, с убий-
ственным сарказмом:

— Ну что ж, я вижу, вы сами не ловите преступников
и не знаете того, что происходит в вашем собственном
доме, хоть и лезете в проповедники и хотите поучать дру-
гих. Вам следовало бы помнить пословицу: «Дурак в соб-
ственном доме...»¹

¹ Испанская пословица: «Дурак в собственном доме умнее,
чем мудрец в чужом».

— Сеньоры,— перебил его Ибарра, увидев, что альферес побледнел.— Я хотел бы, кстати, посоветоваться с вами об одном своем проекте. Я думаю поручить эту безумную заботам хорошего врача, а тем временем, пользуясь вашей помощью, разыскать ее сыновей.

Возвращение слуг, так и не нашедших Сису, восстановило мир, и разговор перешел на другую тему.

Обед закончился; пока подавали чай и кофе, старики и молодежь разбились на группы и разбрелись кто куда. Одни взялись за шахматы, другие за карты, а девушки, желая узнать будущее, предпочли задавать вопросы «Колесу фортуны».

— Идите сюда, сеньор Ибарра,— закричал капитан Басилио, бывший чуть навеселе.— Наша тяжба длится пятнадцать лет, и здесь нет ни одного судьи, способного разобраться в ней. Давайте-ка попробуем решить дело за шахматной доской!

— С величайшим удовольствием,— ответил юноша,— подождите только минутку, альферес сейчас уезжает!

Услышав о предстоящем состязании, все старики — и понимавшие кое-что в шахматах, и плохо в них разбиравшиеся — столпились у доски: партия обещала быть интересной. Старые женщины тем временем окружили священника, чтобы побеседовать на духовные темы, но отец Сальви, очевидно, считал время и место не подходящими для подобных разговоров; он давал неопределенные ответы, а его мрачные, воспаленные глаза останавливались на чем угодно, только не на лицах собеседниц.

Партия началась очень торжественно.

— Если сыграем в ничью,— сказал Ибарра,— будем считать, что тяжба окончена.

В середине партии Ибарре подали телеграмму; когда он прочитал ее, глаза его заблестели, кровь отлила от щек. Он положил телеграмму в бумажник, взглянув при этом на молодежь, которая со смехом и криками продолжала осыпать вопросами «Колесо фортуны».

— Шах королю! — воскликнул молодой человек.

Капитану Басилио не оставалось ничего другого, как укрыть короля за спиной королевы.

— Спасайте королеву! — воскликнул юноша, угрожая ей ладьей, которая была надежно защищена пешкой.

Не имея возможности ни защитить королеву, ни

отвести ее, ибо сзади стоял король, капитан Басилио попросил время на обдумывание.

— Извольте! — согласился Ибарра; ему как раз нужно было что-то сообщить своим молодым друзьям. Он поднялся, предоставив противнику на размышление четверть часа.

Идай держала картонный диск, на котором были написаны сорок восемь вопросов, а книжка с ответами была в руках у Альбино.

— Неправда, неправда! — кричала Синанг, чуть не плача.

— Что с тобой? — спросила Мария-Клара.

— Только подумай, я спросила: «Когда я наберусь ума?» — и бросила фишку, а этот беспутный богослов вычитал в книжке: «Когда у лягушек отрастут волосы». Ты понимаешь?

И Синанг скорчила рожицу, передразнивая хохотавшего семинариста.

— А кто велел тебе задавать такой вопрос? — спросила ее кузина Виктория. — Каков вопрос, таков и ответ.

— Кто же получил самый лучший ответ?

— Мария-Клара, Мария-Клара! — ответила Синанг. — Мы заставили ее спросить: «Верна ли и постоянна его любовь?» — и книжка ответила...

Но зардевшаяся Мария-Клара приложила руку к губам Синанг, помешав ей закопчить фразу.

— Дайте-ка мне колесо, — сказал Крисостомо с улыбкой. — Вот мой вопрос: «Удастся ли начатое мною дело?»

— Какой неинтересный вопрос! — воскликнула Синанг.

Ибарра бросил фишку, и в соответствии с вышедшим числом были найдены страница и строчка.

— «Мечты остаются мечтами», — прочитал Альбино.

Ибарра достал телеграмму и развернул ее дрожащими руками.

— На этот раз ваша книга ошиблась! — воскликнул он радостно. — Читайте: «Проект школы одобрен. Решение в вашу пользу».

— Что это значит? — спросили все в один голос.

— Разве вы не условились, что получившему лучший ответ будет дан подарок? — спросил он прерывающимся от волнения голосом, осторожно разрывая телеграмму пополам.

— Да, да!

— Так вот мой подарок, — произнес он, протягивая половину телеграммы Марии-Кларе, — я построю в городе школу для мальчиков и девочек, и школа эта будет моим даром.

— А что означает вторая половинка?

— Она предназначена тому, кто получил самый худший ответ.

— Тогда мне, мне! — вскричала Синанг.

Ибарра отдал ей бумажку и поспешно удалился.

— Что же это значит? — спросила она, но счастливый юноша был уже далеко, у камня с шахматной доской.

Отец Сальви, будто случайно, приблизился к веселому кругу молодежи. Мария-Клара смахнула слезу радости, смех прекратился, и разговоры смолкли. Священник смотрел на юношей и девушек, не зная, что сказать, а они молча ждали его слов.

— Что это такое? — произнес он наконец, беря в руки книжку и листая страницы.

— «Колесо фортуны», книга для игры, — ответил Леон.

— Разве вы не знаете, что верить в подобные вещи грех? — сказал священник строго и принялся со злостью рвать книгу.

Раздались возгласы удивления и негодования.

— Но еще больший грех распорядиться чужим добром без согласия владельца, — возразил Альбино, поднимаясь с места. — Это называется грабежом, преподобный отец, и запрещено богом и людьми.

Всплеснув руками, Мария-Клара уставилась полными слез глазами на порванные страницы книги, которая доставила ей столько радости.

Вопреки ожиданию всех, отец Сальви ничего не ответил Альбино; он стоял неподвижно, наблюдая за тем, как ветер разносит останки «Колеса фортуны». Затем он пошел прочь, спотыкаясь и обхватив руками голову, и мимоходом обменялся несколькими словами с Ибаррой, который проводил его к одной из карет, предназначенных для гостей.

— Хорошо, что это пугало уезжает, — прошептала Синанг. — На его лице словно написано: не смейтесь, я знаю все ваши грехи.

Сделав подарок своей невесте, Ибарра пришел в такое радужное настроение, что принялся играть, не раздумывая и не анализируя позиции фигур на доске. Он сделал

много неосторожных ходов, и хотя у капитана Басилио положение было весьма тяжелое, игра закончилась вничью.

— Дело решено, мы помирились! — радостно воскликнул капитан Басилио.

— Помирились, — ответил юноша, — каково бы ни было решение суда. — И они сердечно пожали друг другу руки.

Все присутствующие искренне радовались счастливому окончанию спора, давно надоевшего обеим сторонам, но тут внезапное появление сержанта и четырех вооруженных жандармов нарушило веселье и вселило тревогу в сердца женщин.

— Стоять всем смирно! — закричал сержант. — Застрелю первого, кто шелохнется!

Несмотря на грубый окрик, Ибарра встал и подошел к сержанту.

— Что вы хотите? — спросил он.

— Чтобы вы немедленно выдали нам преступника по имени Элиас, который был у вас сегодня утром рулевым, — последовал угрожающий ответ.

— Преступник? Рулевой? Вы, наверное, ошибаетесь! — ответил Ибарра.

— Нет, сеньор. Элиас снова обвиняется; на этот раз в том, что поднял руку на священника.

— Ах, так это был наш рулевой?

— Он самый, согласно донесениям. Вы допускаете на ваши праздники подозрительных людей, сеньор Ибарра.

Ибарра смерил его взглядом с ног до головы и сказал с величайшим презрением:

— Я не обязан отчитываться перед вами в своих поступках! На наших праздниках всех встречают с почетом; если бы вы пришли, для вас тоже нашлось бы место за нашим столом, как нашлось оно для вашего альфереса, который обедал с нами каких-нибудь два часа назад.

Сказав это, юноша повернулся к жандарму спиной.

Сержант закусил кончики усов и, решив, что продолжать разговор бесполезно, приказал солдатам начать поиски рулевого в лесу; приметы преступника были записаны у него на листке бумаги. Дон Филипо сказал:

— Заметьте, что это описание подходит для девяти из каждого десятка местных жителей; смотрите не ошибитесь!

Некоторое время спустя солдаты вернулись и доложили, что не обнаружили ни лодки, ни человека, который

показался бы им подозрительным; сержант, пробормотав что-то невнятное, удалился с тем же, с чем пришел, как и водится у жандармов.

Веселье постепенно восстанавливалось; со всех сторон сыпались вопросы и замечания.

— Так это и есть тот самый Элиас, который бросил альфереса в канаву? — в раздумье промолвил Леон.

— Как это произошло? Как случилось? — спрашивали наиболее любопытные.

— Говорят, что как-то в сентябре, в сильный дождь, альферес встретил человека, несшего вязанку дров. Дорога была очень грязная, и оставалась лишь узкая тропинка на обочине, где мог пройти один человек. Говорят, что альферес, вместо того чтобы придержать свою лошадь, прищипнул ее и крикнул встречному, чтобы тот убирался с дороги. Человек этот тащил на плечах тяжелую ношу и не выказал большого желания поворачивать назад или вязнуть в грязи, а продолжал идти вперед. Раздраженный альферес хотел сбить его с ног, но тот выхватил из вязанки толстый кол и так огрел лошадь по голове, что та упала, сбросив всадника в лужу. Говорят также, что человек спокойно продолжал свой путь, не обратив никакого внимания на пять пуль, которые выпустил ему вслед альферес, ослепленный бешенством и грязью. Поскольку человек тот был ему совершенно неизвестен, решили, что это не кто иной, как знаменитый Элиас, неведомо откуда явившийся в провинцию несколько месяцев тому назад. Он известен жандармерии подобными же поступками, совершенными им в различных городах.

— Значит, он тулисан? — спросила Виктория, вздрогнув.

— Не думаю. Говорят, что однажды он дрался с тулисанами, пытавшимися ограбить дом.

— Он не похож на злодея, — заметила Сипанг.

— Нет, только у него очень грустный вид; за все утро я ни разу не заметила улыбки на его лице, — задумчиво добавила Мария-Клара.

Так прошел день, и наступило время возвращаться в город. С последними лучами заходящего солнца они покинули лес и молча прошли мимо таинственной могилы предка Ибарры. Затем снова возобновились веселые разговоры и горячие споры под сенью деревьев, столь непривычных к такому множеству голосов. Ветви печально

вздрагивали, а лозы дикого винограда раскачивались словно говоря: «Прощай, юность! Прощай, мимолетная мечта!»

А теперь оставим эту веселую компанию, шествующую в город при свете огромных полыхающих факелов и под звуки гитар. Толпа мало-помалу тает, огни гаснут, песни замирают, гитары умолкают по мере приближения к человеческому жилью. Наденьте же на себя маску, вы снова вернулись к своим братьям!

XXV

В ДОМЕ МУДРЕЦА

На следующее утро, осмотрев свои владения, Хуан Крисостомо Ибарра направился к дому старика Тасио.

В саду философа царила полная тишина; даже ласточки, кружившие над кровлей, летали почти бесшумно. По замшелым стенам домика вился плющ, зеленой рамкой окаймляя окна. Домик казался обителю безмолвия.

Ибарра заботливо привязал лошадь к столбу и, ступая почти на дыночках, пересек чистый, отлично ухоженный садик. Он поднялся по лестнице и, так как дверь была не заперта, вошел в дом. Старик, склонившись над столом, что-то писал. На стенах, среди карт и старых полок с книгами и рукописями, были развешаны коллекции насекомых и растений.

Старик так углубился в свою работу, что не заметил прихода юноши, пока тот не шагнул обратно к двери, собравшись уйти, чтобы не мешать хозяину.

— Вы давно здесь? — спросил старик, взглянув на Ибарру с некоторым удивлением.

— Извините, — ответил юноша, — я вижу, вы очень заняты...

— Да, я делал кое-какие записи, но это не срочно, и мне хочется отдохнуть. Чем могу служить вам?

— Очень многим! — ответил Ибарра, приближаясь. — Но... — И он посмотрел на лежавшую на столе книгу. — Вы расшифровываете иероглифы? — воскликнул юноша с изумлением.

— Нет, — ответил старик, предлагая гостю стул. — Я не разбираюсь ни в египетских, ни в коптских письме-

нах, но знаю кое-что о системе такого письма и пользуюсь иероглифами.

— Вы пишете иероглифами, но зачем же? — спросил юноша, не веря своим глазам и ушам.

— Затем, чтобы сейчас никто не смог прочесть мои записи.

Ибарра пристально посмотрел на него, заподозрив, что старик и в самом деле сошел с ума. Он бросил быстрый взгляд на книгу, чтобы узнать, правду ли тот говорит, и увидел умело нарисованные изображения животных, кружочки, полукруги, цветы, ноги, руки.

— Для чего же вы пишете, если не хотите, чтобы вас читали?

— Я пишу не для этого поколения, а для людей будущих времен. Если бы мои современники смогли прочесть эти записи, они сожгли бы мои книги, труд всей моей жизни, но те люди, которые сумеют расшифровать эти знаки, будут принадлежать к иному поколению, они поймут меня и скажут: «Не все наши предки спали той темной почью». Эти тайные значки спасут мой труд от человеческого невежества точно так же, как таинства и непонятные ритуалы спасли многие истины от губительной касты жериковников.

— На каком же языке вы пишете? — спросил Ибарра после паузы.

— На нашем, на тагальском языке.

— А иероглифы годятся для этого?

— Не будь так трудно их рисовать, — а на это требуется много времени и терпения, — я сказал бы, что они даже удобнее, чем латинский алфавит. У древних египтян были наши гласные, например, наш звук «о», который произносится только в конце слова и не походит на испанское «о», ибо является чем-то средним между «о» и «у». У египтян, как и у нас, не было чистого звука «е»; в их языке встречается наше «ha» и наше «kha», для которых нет знаков в латинском алфавите, по крайней мере при испанском произношении. Например, в слове «tukha», — продолжал он, указывая на книгу, — я воспроизвожу слог «ha» изображением рыбы более точно, чем латинской буквой «h», которая в Европе произносится по-разному. Чтобы обозначить менее сильное придыхание, например, в слове «hain», где «h» звучит слабее, я пользуюсь изображением львиной головы или трех цветков лотоса в зависи-

мости от краткости или долготы гласной. Кроме того, я могу обозначить посовые звуки, отсутствующие в латинском алфавите испанцев. Повторяю: если бы не так трудно было их рисовать, иероглифы могли бы быть приняты нами, однако именно эта трудность заставляет меня быть кратким и не говорить ничего, кроме того, что необходимо сказать. К тому же этот труд скрашивает мое одиночество, когда меня покидают мои гости из Китая и Японии.

— Ваши гости?

— Разве вы их не слышите? Мои гости — это ласточки. В этом году одной не хватает; верно, какой-нибудь негодный мальчишка-китаец или японец изловил ее.

— Откуда вы знаете, что они прилетают из этих стран?

— Это очень просто. Несколько лет назад перед отлетом ласточек я привязал им к лапкам бумажные ленточки, где по-английски написал слово «Филиппины», полагая, что птицы улетают не слишком далеко, а английский язык понимают почти во всех этих областях. Мои записочки долго оставались без ответа, пока я наконец не написал по-китайски, и к следующему ноябрю ласточки вернулись с посланиями, которые я расшифровал. Одно из них было написано по-китайски и принесло мне привет с берегов Хуанхэ, а другое, по предположению одного китайца, с которым я советовался, очевидно, было написано по-японски... Однако я отнимаю у вас время своими рассказами и до сих пор не спросил, чем могу вам помочь.

— Я пришел поговорить с вами о серьезном деле, — сказал юноша. — Вчера днем...

— Неужто они изловили беднягу?

— Вы хотите сказать — Элиаса? Откуда вы знаете о нем?

— Я видел жапдармскую Музу.

— Жапдармскую Музу? Кто это?

— Жена альфереса, которую вы не пригласили на свой пикник. Вчера утром весь город узнал об истории с кайманом. Жапдармская Муза столь же догадлива, сколь злобна; она предположила, что именно рулевой должен быть тем смельчаком, который заставил ее мужа искупаться в грязи и ударил отца Дамасо. Ведь она читает все донесения, которые присылают ее мужу. Не успел он вернуться домой, пьяный и ничего не соображающий, как она тут же послала в лес сержанта с солдатами, чтобы

отомстить вам и испортить настроение вашим гостям. Будьте осторожны! Ева была добрая женщина, созданная руками господи, а донья Консоласьон, говорят, очень зла и неизвестно, кем сотворена! Чтобы женщина была доброй, ей надо хоть раз в жизни оказаться в роли служанки или матери.

Ибарра усмехнулся и ответил, вынимая какие-то документы из бумажника:

— Мой покойный отец обычно советовался с вами по некоторым своим делам, и я помню, что он всегда бывал доволен, когда следовал вашему совету. Я сейчас занят одним делом, успех которого для меня очень важен.

Тут Ибарра вкратце рассказал о своем замысле построить школу — его подарок невесте — и развернул перед изумленным философом несколько чертежей, сделанных по его заказу в Маниле.

— Я прошу вас посоветовать мне, кого в городе я должен привлечь на свою сторону, чтобы обеспечить успех этого предприятия. Вы хорошо знаете здешних жителей, а я только недавно приехал и чувствую себя почти чужим в собственной стране.

Старый Тасио смотрел на разложенные перед ним планы; глаза его наполнились слезами.

— То, что вы собираетесь сделать, было некогда моей мечтой, мечтой несчастного безумца! — воскликнул он с чувством. — Но первое, что я посоветую вам, — это никогда не приходить ко мне за советом.

Юноша удивленно взглянул на него.

— Потому что рассудительные люди, — продолжал старик с горькой прощией, — и вас примут за сумасшедшего. Люди считают сумасшедшим того, кто думает иначе, чем они, поэтому меня и называют безумцем. Но я благодарен им за это, ибо — горе мне, если они захотят вернуть мне рассудок: тогда они лишат меня и той небольшой свободы, за которую я заплатил своей репутацией здравомыслящего человека. Кто знает, может быть, они и правы? Я мыслю и живу не по их законам. Мои принципы и идеалы совсем иные. Префект пользуется у них славой мудрого человека, а он ведь только и умеет, что готовить поклад да подлаживаться под настроение отца Дамасо. Теперь он богат, играет жалкими судьбами своих сограждан и порой даже поговаривает о правосудии. «Вот это человек способный, — думает простак. — Посмотрите-ка, из ничто-

жества он стал великим!» Я же унаследовал состояние и положение, учился, а теперь стал беден. Мне не доверяют самой нелепой должности, все говорят: «Он безумец, он не умеет жить»! Священник прозвал меня «философом», а сам дает всем понять, что я шарлатан, щеголяющий теми знаниями, которые приобретены в университете, хотя как раз эти знания меньше всего мнегодились. Может быть, я и в самом деле безумец, а они мудрецы? Кто сможет определить?

Старик покачал головой, словно отгоняя какую-то мысль, и продолжал:

— Второй мой совет вам — потолковать со священником, с префектом, со всеми влиятельными людьми. Они дадут вам скверные, глупые или ненужные советы, но спросить чьего-либо совета еще не означает последовать ему. Разумеется, вам надлежит делать вид, что вы их слушаетесь и действуете сообразно их мнению.

Ибарра задумался на мгновение, прежде чем ответить:

— Совет ваш хорош, но трудно выполним. Неужели я не могу осуществить свою идею, не прибегая для этого к каким-либо уловкам? Разве доброе дело не может само пробить себе путь? Ведь истине не обязательно ридиться в одежды лжи.

— Однако никто не любит голых истин! — возразил старик. — Это хорошо лишь в теории и осуществимо лишь в том мире, о котором мечтает молодежь. Посмотрите на школьного учителя; сколько он бился головой об стену! С детским простодушием он желал лишь добра всем, а навлек на себя издевательства и насмешки. Вы сказали, что чувствуете себя чужим в своей стране, и я этому верю. В первый же день пребывания здесь вы задели самолюбие священника, которого народ чтит как святого, а церковники считают мудрецом. Дай бог, чтобы этот промах не определил все ваше будущее. Доминиканцы и августинцы смотрят с презрением на рясу из гингона, веревку и грубую обувь францисканцев, а один ученый доктор из Санто-Томаса привел как-то слова папы Иннокентия Третьего про устав этого ордена, который якобы более подходит для свиней, чем для людей *. Однако, уверяю вас, все монахи протянут друг другу руки, если понадобится подтвердить слова, сказанные одним прокурором: «Самый последний послушник могущественней, чем правительство

со всеми его солдатами». Cave ne cadas!¹ Золото всевластно; еще со времен Моисея золотой телец не раз сбрасывал бога с алтарей.

— Я не такой пессимист, и жизнь в моей стране не представляется мне столь опасной, — сказал Ибарра, улыбаясь. — Думаю, что ваши страхи несколько преувеличены, и надеюсь, что мне удастся осуществить мои планы без большого сопротивления с этой стороны.

— Да, если они протянут вам руку, и нет, если откажутся вас поддержать. Все ваши усилия разобьются о церковные стены, стоит монаху взмахнуть своей веревкой или тряхнуть рясой. На следующий же день алькальд под любым предлогом откажет вам в том, что обещал вчера; ни одна мать не разрешит своему сыну посещать вашу школу, и тогда все ваши старания произведут обратное действие — они обескуражат тех, кто захотел бы после вас сотворить какое-нибудь благое дело.

— И все же, — ответил юноша, — я не могу поверить в такое могущество церкви, о котором вы говорите. Но предположим, даже согласимся с тем, что оно существует, — все равно на моей стороне будут разумные люди и правительство, которое полно самых лучших намерений, смотрит далеко вперед и искренне желает Филиппинам добра.

— Правительство, правительство! — пробормотал философ, подняв глаза к потолку. — Как бы ни было велико его желание возвеличить нашу страну на пользу ей самой, а также матери Испании, сколько бы ни вспоминал тот или иной чиновник — на людях и наедине с собой — о великодушии «католических королей»*, правительство ничего не видит, ничего не слышит и ничего не решает без священника или церковных властей провинции, которые заставляют его видеть и слышать то, что им хочется, и решать так, как им надо. Правительство убеждено, что оно зиждется только на них, держится только благодаря их поддержке и существует только потому, что они этого желают; оно боится, что в тот день, когда церковь и монахи отвернутся от него, оно падет, как манекен, лишенный опоры. Церковники пугают правительство народным восстанием, а народ запугивают войсками правительства. Игра тут нехитрая и напоминает то, что происходит с трусливыми людьми в темноте: они принимают за привидение

¹ Старайся не упасть (лат.).

собственную тень и за чужой голос эхо своего голоса. Пока правительство не будет непосредственно связано с народом этой страны, ему не избавиться от опеки монахов; оно будет жить подобно глухим юнцам, вздрагивающим от окрика воспитателя, чье спусхождение надо вымативать. Правительство не заботится о счастливом будущем страны; оно лишь выполняет волю церкви. Без малейшего сопротивления оно позволяет затягивать себя в пропасть и, в конечном счете утратив свое независимое положение и превратившись в жалкий придаток церковных властей, отдает страну в руки продажных дельцов. Сравните наш способ правления с тем, что существует в странах, которые вы посетили...

— О, о! — перебил его Ибарра. — Слишком много вы хотите! Будем довольствоваться тем, что наш народ не ропщет и не страдает, в отличие от народов других стран, и этим мы обязаны религии и кротости наших правителей.

— Народ не ропщет, ибо у него нет голоса; он не проявляет признаков жизни, ибо погружен в спячку. Вы говорите, что он не страдает, потому что не видели, как кровоточит его сердце. Но настанет день, и вы это увидите, вы услышите народ, и тогда горе тем, кто обретаёт силу благодаря невежеству и фанатизму простого народа! Горе тем, кто наживается на обмане и творит черные дела под покровом ночи, полагая, что все спит! Когда же наступит день и чудовища тьмы предстанут в обнаженном виде, произойдет нечто страшное! Сколько подавленных вздохов, сколько яду, собиравшегося по капле, сколько сдерживаемых веками сил вырвется наружу!.. Кто оплатит тогда счета, что народы время от времени предъявляют, а история храпит для нас на своих окровавленных страницах?

— Бог, правительство и церковь не допустят, чтобы такой день наступил! — ответил Ибарра, которому невольно передалось волнение старика. — Филиппинцы набожны и любят Испанию; Филиппины поймут, как много она делает для них. Да, конечно, есть злоупотребления, есть изъины, отрицать не стану, но Испания намерена провести реформы, которые все это исправят, она готовит проекты для нас, она не эгоистична.

— Знаю, знаю, но в этом-то и беда! Реформы, исходящие сверху, сводятся внизу на нет из-за присутствия людям

пороков, например, из-за страстного желания поскорее разбогатеть, а также из-за невежества народа, который молча выносит все. Королевским указом не искоренишь злоупотреблений, если не будет властей, которые бы ревностно следили за выполнением этого указа, если людям не будет дана свобода слова, чтобы защитить себя от наглости власть имущих. Проекты останутся проектами, злоупотребления — злоупотреблениями, а довольный собою министр будет спать еще спокойней. Более того, если высокий пост случайно займет человек, вдохновленный великими, благородными идеями, то за глаза его назовут безумцем, а в глаза скажут: «Ваше превосходительство не знает страны, ваше превосходительство их испортит, ваше превосходительство правильно поступит, если послушает такого-то и такого-то». А так как его превосходительство и вправду не знает страны, ибо до сих пор служил где-то в Америке, и к тому же, как у всякого человека, у него есть свои недостатки и слабости, то он легко позволит убедить себя в этом. Его превосходительство к тому же хорошо помнит, как, добиваясь этой должности, ему пришлось порядком попотеть и помучиться и что занимать ее он будет всего лишь три года, что он уже стареет и что следует думать не о донкихотстве, а о своем будущем: особнячок в Мадриде, домик в деревне и приличная рента, позволяющая вести роскошную жизнь в столице, — вот чего он должен добиться на Филиппинах. Не будем требовать чудес, не будем требовать, чтобы человек, приехавший из-за границы с целью обогатиться, был заинтересован в процветании нашей страны. Какое ему дело до благодарности или проклятий народа, которого он не знает, до земли, с которой он не связан воспоминаниями, где ему ничто не дорого? Для того чтобы слава доставляла радость, она должна достичь слуха тех, кого мы любим, озарить наш дом или родную страну, где будет покоиться наш прах; мы желаем, чтобы слава витала над нашей могилой, разгоняя своим дыханием холод смерти, дабы не превратились мы в ничто, но что-то оставили и после себя. Однако мы не можем этого обещать тому, кто приезжает сюда вершить наши судьбы. И самое плачевное, что они уезжают отсюда именно тогда, когда начинают понимать свой долг... Но мы уклонились от нашей темы.

— Нет, прежде чем мы к ней вернемся, я должен кое-что уяснить для себя, — с живостью прервал его юноша. —

Я готов допустить, что правительство не знает народа, но я уверен, что народ еще меньше знает правительство. Есть, конечно, чиновники никчемные, плохие, если угодно, но есть ведь и хорошие, и если они не могут ничего сделать, то потому лишь, что сталкиваются с инертной массой, с народом, который очень мало участвует в делах, его касающихся. Но я пришел не за тем, чтобы спорить с вами об этом предмете: я пришел за советом, а вы убеждаете меня склонить голову перед смехотворными идолами!..

— Да, и повторяю это еще раз, ибо здесь вы должны либо склонить голову, либо потерять ее.

— Склонить голову или потерять ее! — задумчиво проговорил Ибарра. — Тяжелый выбор! Но почему же? Разве любовь к своей стране несовместима с любовью к Испании? Разве необходимо унижаться, чтобы быть добрым христианином? Разве нужно идти против совести, чтобы осуществить благое дело? Я люблю мою родину, Филиппины, потому что ей я обязан жизнью и счастьем и потому что каждый человек должен любить свою родину. Я люблю Испанию, родину моих предков, ибо, несмотря ни на что, Филиппины обязаны ей — и впредь будут обязаны еще больше — своим счастьем и своим будущим. Я католик, я храню в чистоте веру отцов моих и не понимаю, почему мне надо склонять голову, если я могу ее поднять, и уступать моим врагам, если я могу с ними расправиться?

— Потому, что поле, которое вы хотите засеять, принадлежит вашим врагам, а против них вы бессильны... Надо сперва поцеловать руку, которая...

Но юноша не дал ему продолжить, воскликнув с горячностью:

— Целовать руку! А вы забыли, что кто-то из них убил моего отца, что тело его выбросили из могилы!.. Я — его сын и никогда этого не забуду, если я не мщу, то лишь из уважения к церкви.

Старый философ опустил голову и медленно заговорил:

— Если вы будете хранить эти воспоминания, сеньор Ибарра, воспоминания, которые я не могу вам посоветовать изгнать из памяти, то лучше расстаньтесь с вашей мечтой и ищите иных путей к благоденствию соотечественников. Для этого дела нужен другой человек, ибо, чтобы довести его до конца, недостаточно рвения и денег; в нашей стране требуются еще самопожертвование, на-

стойчивость, вера, ибо почва пока не подготовлена; в нее лишь брошены семена вражды.

Ибарра оценил значение слов философа, но не сдавался. Он думал о Марии-Кларе и хотел во что бы то ни стало сдержать свое обещание.

— Ваш жизненный опыт не подсказывает вам никакого иного, более приемлемого решения? — спросил он тихо.

Старик взял его за руку и подвел к окну. Дул свежий ветерок, предвестник холодов; перед их глазами раскинулся сад, окруженный большой рощей.

— Почему не можем мы поступать так, как эта слабая ветка, обремененная цветами и бутонами? — спросил философ, указывая на чудесный розовый куст. — Ветер сгибает, трясет ее, и она склоняется, словно укрывая свою дорожную ношу. Если бы веточка стояла прямо, она бы сломалась, ветер развеял бы лепестки цветов и погубил бутоны. Но ветер стихает, и ветка распрямляется, гордясь своим сокровищем. Кто упрекнет ее в том, что она склонилась перед необходимостью? А вот там вы видите гигантский купанг с величественной кроной, где гнездится орел. Я принес его из лесу маленьким деревцом и много месяцев подпирал его ствол тонкими бамбуковыми палками. Если бы я пересадил его сюда большим и крепким, он наверняка бы не прижился — ветер вырвал бы его из земли прежде, чем корни укрепились бы в почве, прежде, чем он привык бы к новой среде и набрался сил, чтобы разрастись и вширь и ввысь. Так и вы — растение, перенесенное из Европы на эту каменистую почву, — можете погибнуть, если не будете искать опоры и припоровливаться. Положение ваше нелегкое — вы стоите один на возвышенности, почва колеблется, небо сулит бурю, а кроны деревьев вашей породы, как вам известно, притягивают к себе молнии. Бороться в одиночку против всего существующего — не смелость, а безумие. Никто не упрекнет рулевого за то, что, заметив первые признаки бури, он укроется в бухте. Склониться перед пролетающей пулей не трусость; гораздо хуже встретить ее с поднятой головой лишь для того, чтобы упасть и никогда более не встать.

— Но принесет ли эта жертва плоды, о которых я мечтаю? — спросил Ибарра. — Поверит ли мне священник и забудет ли мою дерзость? Будут ли они искренне помогать мне в развитии образования, которое помешает монастырям присваивать богатства здешнего края? Не станут

ли они притворяться дружелюбными, оказывать покровительство лишь для виду, а исподтишка мешать, ставить палки в колеса, нащупывать слабые места в моем замысле, чтобы таким путем уничтожить его скорее, чем открытой атакой? Если ваши рассуждения верны, можно ведь ожидать чего угодно!

Старик минуту молчал, не зная, как ответить на эти вопросы. Затем он сказал:

— Если такое случится, если ваше предприятие потерпит неудачу, вы сможете утешить себя мыслью, что сделали все, что могли, и этим уже кое-чего достигли. Вы заложите первый камень, вы бросите первые семена, а когда разразится буря, какое-нибудь семя, возможно, переживет катастрофу, прорастет, спасая свой род от полного уничтожения, и принесет впоследствии другие семена сыновьям умершего сеятеля. Ваш пример может вдохновить других, для которых страшно лишь начало.

Взвесив эти доводы и трезво оценив свое положение, Ибарра понял, что в пессимистических речах старика крылась большая доля правды.

— Я верю вам! — воскликнул он, сжимая руку философа. — Не напрасно пришел я к вам за добрым советом. Сегодня же пойду и поговорю пачистоту со священником, который, в конце концов, не сделал мне никакого вреда и слывет добрым человеком, — ведь не все таковы, как гонитель моего отца. К тому же я должен уговорить его заступиться за несчастную безумную и ее мальчиков. Я верю в бога и в людей!

Распроставшись со стариком, он вскочил на коня и ускакал. Глядя ему вслед, мудрый пессимист прошептал:

— Посмотрим, как року будет угодно завершить драму, начавшуюся на клабище.

Но на этот раз мудрый старик глубоко ошибался: начало драме было положено гораздо раньше.

XXVI

КАНУН ПРАЗДНИКА

Десятое ноября, канун праздника.

Привычная, однообразная жизнь городка нарушилась, всюду кипит работа: в домах, в церквах, на улицах, на арене для петушиных боев, на полях. Окна завешиваются

флажками и пестрыми тканями; воздух полнится шумом, музыкой, веселыми возгласами.

На маленьких столиках, покрытых белыми расшитыми скатертями, девушки расставляют разноцветные хрустальные блюда со всевозможными сладостями, приготовленными из местных фруктов. Во дворах пищат цыплята, кудахчут куры, хрюкают свиньи, взбудораженные веселой людской суматохой. Слуги снуют взад и вперед с позолоченной посудой и серебряными приборами; тут бранятся из-за разбитой тарелки, там смеются над неловкостью деревенской девушки. Отовсюду несутся приказания, крики, то и дело слышится шепот, веселая перебранка, смех, все подгоняют друг друга, кругом царит суета, шум, неразбериха. Вся эта суматоха, все труды предназначаются для того, чтобы встретить знакомого или незнакомого гостя, чтобы попотчевать любого пришельца, которого вы, возможно, никогда не видели раньше и не собираетесь увидеть впредь; чтобы любой гость, будь то друг или враг, чужеземец, филиппинец или испанец, бедный или богатый, ушел довольным и сытым: от гостей не требуют благодарности, и хозяева даже готовы к тому, что во время трапезы или после нее гости могут отплатить злом радушному семейству! Богачи — те, что бывали в Маниле и видели больше, чем другие, — закупили пиво, шампанское, ликеры, вина и всякую европейскую снедь, хотя сами они вряд ли съедят хоть крошку из заморских яств или выпьют хоть каплю вина.

Столы богачей роскошно сервированы. В центре стоит отлично сделанный искусственный апанас, весь утыканный зубочистками, которые вырезают на досуге заключенные в тюрьмах. На одних зубочистках изображен всер, на других — букетик цветов, птица, роза, пальмовый лист или цепи — все из цельного куска дерева; мастером был каторжник, инструментом служил тупой нож, а вдохновение рождал окрик тюремщика. Вокруг такого апанаса, который называют «зубочистилище», высятся хрустальные вазы с фруктами; на них сложены в пирамиды апельсины, лансоны, атес, чикос и даже манго, несмотря на то что уже ноябрь. На больших блюдах, устланных цветной узорчатой бумагой, разложены окорока, доставленные из Европы и Китая, фаршированные индейки и большой пирог в форме «Agnus Dei» * или голубя, то бишь святого духа. Среди всего этого расставлены аппетитные фляжки

с ачара, затейливо украшенные цветами, различными фруктами и овощами, искусно нарезанными и приклеенными сиропом к стенкам графинов.

Стеклянные шарообразные люстры, переходящие по наследству от отца к сыну, тщательно вымыты; медные украшения начищены до блеска; керосиновые лампы вынуты из красных чехлов, которые защищают их от мух и комаров в течение всего года и не позволяют ими пользоваться. Граненые стеклянные подвески раскачиваются и, ударяясь друг о друга, мелодично позвякивают; они тоже словно участвуют в празднике, резвясь и преломляя свет, который отражается на тонких гранях всеми цветами радуги. Дети играют, шалят, ловят цветных зайчиков, спотыкаются, разбивают лампы, но это не нарушает общего веселья, хотя в другое время из их круглых глазенок пролилось бы немало слез.

Вместе с этими почтенными лампами пзвлекаются на свет божий также и работы девушек: вязаные накидки, коврики, искусственные цветы. Появляются старинные стеклянные подносы, на которых изображены миниатюрные озера с рыбками, кайманами, моллюсками, кораллами, водорослями и сверкающими стеклянными рифами. На подпосах навалены груды сигар, сигарет и маленьких буйо, сделанных тонкими пальцами девушек. Полы блестят, как зеркало, на дверях занавеси из пиньи и хуси, на окнах раскачиваются фонари из стекла или бумаги — розовой, сиреневой, зеленой и красной. Дом заставлен цветами и цветочными горшками на подставках из китайского фаянса. Даже святые приварились ради праздника: с образов и реликвий стерта пыль, стекло вымыто, а к рамам прикреплены букетики.

На улицах воздвигнуты затейливые бамбуковые арки различных форм, разукрашенные калускусами, один вид которых наполняет радостью детские сердца. Внутри церковного дворика, там, где должна пройти процессия, сделан круглый навес на бамбуковых подпорках. Под ним бегают и играют дети, карабкаются на подпорки и, спрыгивая на землю, рвут новые рубашки, которые им сшили к празднику.

На площади построены подмости из бамбука, дерева и нины. Здесь комедианты из Тондо будут показывать удивительные вещи и соперничать с богами по части маловероятных чудес; здесь будут петь и плясать Марианито,

Чананай, Бальбино, Ратия, Карвахаль, Еенг, Лусерия и другие. Филиппинец любит театр и с жадностью следит за драматическим представлением; затаив дыхание, он слушает песню, с восхищением смотрит танец и цантомиму, но никогда не свистит и не аплодирует. Если спектакль ему не нравится, он спокойно жует свой буйо или уходит, не мешая остальным наслаждаться зрелищем. Лишь временами, когда актеры по ходу действия обнимают или целуют актрис, простой люд начинает вопить, но большего себе не позволяет. Прежде разыгрывались только драмы; местный поэт сочинял пьесу, в которой каждые две минуты непременно затевалась драка, или же выскакивал клоун и показывал удивительные фокусы. Но с тех пор как актеры из Тондо стали лупить друг друга каждые пятнадцать секунд, выпускать двух клоунов сразу и представлять еще менее правдоподобные вещи, они совершенно затмили своих провинциальных коллег. Префект был любителем подобных зрелищ и с одобрения священника выбрал комедию с чудесами и фейерверком под названием «Принц Вильярдо, или Пленники, спасенные из ужасной пещеры» *.

Время от времени весело звонят колокола, те самые, что так мрачно гудели всего десять дней тому назад. Шипят огненные колеса и хлопки: филиппинские пиротехники, неизвестно у кого научившиеся этому ремеслу, щеголяют своим искусством, зажигая в небе огненных быков, феерические каскады бенгальских свечей, бумажные шары, наполненные горячим воздухом, искромётные колеса, бомбы и ракеты.

Что это? Вдали слышится музыка? И мальчишки бросаются сломя голову на окраину города, чтобы встретить музыкантов. Сан-Диего подрядил пять команд трубачей и, кроме того, три оркестра. Непременно придут музыканты из Пагсангана — собственный оркестр нотариуса, а также трубачи из Сан-Педро-де-Тупасан, знаменитые тем, что ими дирижирует маэстро Аустрия, бродячий «капрал Марьяно», у которого, если верить молве, слава и гармония сидят на кончике дирижерской палочки. Знатоки хвалят его траурный марш «Плакучая ива» и сетуют, что у него нет музыкального образования, ибо с таким талантом он мог бы прославить свою страну на весь мир.

Трубачи вступают в город, играя бодрые марши, а за ними бегут оборванные, полуголые мальчишки — кто в

рубашке брата, кто в старых штанах отца. Едва музыка смолкает, они уже знают мотивы наизусть, на редкость чисто напевают их и насвистывают, высказывают о них свое суждение.

Тем временем в двуколках, колясках, экипажах съезжаются родственники, друзья, незнакомцы, игроки со своими лучшими бойцовыми петухами и с мешочками золота, готовые рискнуть состоянием за зеленым сукном или на арене.

— Альферес ставит по пятьдесят песо каждый вечер, — шепчет маленький толстый человек на ухо кому-то из только что прибывших. — Придет капитан Тьяго, он будет держать банк. Капитан Хоакин принес с собой восемнадцать тысяч. Будет и лампо: китаец Карлос поставит десять тысяч. Люди из Тапавана, Лины, Батангас, а также из Санта-Крус тоже раскошелятся. Крупная будет игра, очень крупная! Но пейте же шоколад! В этом году капитан Тьяго не оберет нас, как в прошлом; он заказал лишь три благодарственные мессы, а у меня мутия из какао. Как поживает ваше семейство?

— Благодарю вас, хорошо! — отвечает гость. — А как поживает отец Дамасо?

— Отец Дамасо утром прочитает проповедь, а вечером сядет с нами за зеленый стол.

— Прекрасно. Значит, опасности нет никакой!

— Еще бы, мы в этом уверены! Китаец Карлос тоже не покусится. — И толстый человечек защелкал пальцами, как бы отсчитывая монеты.

Жители гор, окружающих город, надевают лучшие одежды, чтобы отнести на дом богатым покупателям откормленных кур, кабанов, оленей, птицу. Одни грузят дрова на тяжелые повозки, другие — лесные фрукты и орхидеи, а некоторые приносят широколистые бига и огненно-красные цветы тика-тика, которыми украшают двери домов.

Но самая невероятная суэта — настоящее столпотворение — царит на небольшой возвышенности в нескольких шагах от дома Ибарры. Скрипят блоки, кричат люди, кирпичи с металлическим звоном дробят камень, молотки ударяют по гвоздям, топоры — по бревнам. Одни копают широкую и глубокую траншею, другие укладывают в ряд камни из местного карьера. Разгружаются повозки, растут кучи песка, расставляются кабестаны и вброты...

— Эй, там, пошевеливайся! — кричит старичок с живым и умным лицом, опирающийся вместо трости на медную линейку, на которую намотан шпурок отвеса. Это руководитель работ Ньор Хуан — архитектор, каменщик, плотник, маляр, слесарь, художник, каменотес, а иногда и скульптор.

— Надо закончить сегодня же! Завтра не работают, а послезавтра — торжественная церемония! Потоптайтесь! Выдолбите отверстие побольше, чтобы этот цилиндр вошел туда! — говорит он каменщикам, обтесывающим большой четырехугольный камень. — В нем навеки сохранятся наши имена!

И он повторяет всякому, кто приближается к этому месту, то, что говорил уже тысячу раз:

— Знаете, что мы собираемся построить? Школу, образцовую школу, как в Германии и даже лучше. Архитектор сеньор Р. начертил план, а я руковожу работой. Да, сеньор, посмотрите-ка, это будет настоящий дворец с двумя флигелями: один для мальчиков, другой для девочек. Здесь, посередине, разобьем большой сад с тремя фонтанами; по бокам пройдут тенистые аллеи с небольшими огородами, где дети смогут сажать всякие растения в часы досуга, чтобы с пользой проводить время, а не растрачивать его зря. Посмотрите, как глубоко заложен фундамент! На три метра семьдесят пять сантиметров! Здание будет иметь склады, подвалы, а для плохих учеников — карцер поблизости от площадки для игр, чтобы провинившийся слышал, как веселятся прилежные дети. Видите тот лужок? Там устроим поле для игр на свежем воздухе. У девочек будет свой сад со скамейками, качелями, дорожками, где они смогут прыгать через веревочку; сад с водоемами и птицами. Это будет великолепно! — И Ньор Хуан потирал руки, мечтая о славе, которая выпадет на его долю. — Сюда станут приходить чужестранцы и спрашивать: «Кто тот великий мастер, который построил это?» И все ответят: «Разве вы не знаете? Неужели вы никогда не слышали о Ньоре Хуане? Наверное, прибыли издалека?»

С этими мыслями он расхаживал по площадке, зорко наблюдая за ходом работ.

— Мне кажется, вы взяли слишком много дерева для одной лебедки, — заметил он желтолицему человеку, работавшему с несколькими помощниками. — По-моему, доста-

точно трех больших шестов для треножника и трех для скрепления их между собой.

— Не беда,— ответил желтолицый со странной улыбкой.— Чем больше материала затратим, тем красивей получится. Сооружение будет выглядеть внушительней, и люди скажут: «Как здорово сделано!» Вот увидите, увидите, какую лебедку я построю! А потом разукрашу ее флагами, гирляндами из листьев и цветов. Вы не пожалеете, что наняли меня в работники, и сеньор Ибарра будет вполне доволен.— При этих словах желтолицый рассмеялся. Ньор Хуан улыбнулся и покачал головой.

На некотором расстоянии виднелись две беседки, соединенные между собой чем-то вроде галереи, крытой листьями платана. Школьный учитель и человек тридцать мальчиков плели там венки и прикрепляли флажки к бамбуковым шестам, обернутым белым узорчатым холстом.

— Смотрите, чтобы буквы были хорошо выписаны! — наставлял учитель мальчиков, делавших надписи.— Здесь будет алькальд, придет много священников, а может быть, и сам генерал-губернатор — ведь он сейчас находится в нашей провинции. Если они увидят, что вы хорошо пишете, возможно, вас похвалят.

— И дадут нам классную доску?..

— И это возможно. Впрочем, сеньор Ибарра уже заказал ее в Маниле. Завтра привезут кое-какие вещицы и будут раздавать их вам как награды... Эти цветы оставьте в воде, завтра сделаем из них букеты. И принесите еще цветов; нужно, чтобы весь стол был ими усыпан,— цветы ласкают глаз.

— Мой отец принесет завтра кувшинки и корзину жасмина.

— А мой привез три повозки песку и не взял денег.

— Мой дядя обещал заплатить учителю,— добавил племянник капитана Басилио.

В самом деле, благое начинание поддерживали почти все. Священник изъявил желание быть попечителем школы и освятить первый уложенный камень,— церемония эта должна была состояться в последний день праздника как одно из самых крупных его торжеств. Даже викарий подошел к Ибарре и застенчиво предложил, чтобы за все мессы, которые будут отслужены, пока строится здание, внесли деньги прихожане. Более того, сестра Руфа, бога-

тая и расчетливая женщина, заявила, что, если не хватит средств, она поедет по другим городам собирать пожертвования, — при условии, что ей оплатят расходы на дорогу и еду. Ибарра поблагодарил ее и ответил:

— Нам не удалось бы много собрать, ибо и я не знаменит, и здание это не церковь. К тому же я не рассчитывал строить школу на чужие деньги.

Молодые люди, студенты из Манилы, приехавшие принять участие в празднике, смотрели на Ибарру с восторгом, стараясь брать с него пример. Но когда мы желаем подражать великим людям, мы обычно копируем только какие-то мелочи или даже усваиваем их слабости, ибо на большее неспособны. И вот одни из юных поклонников Ибарры стали так же, как он, завязывать галстук, другие переняли фасон его воротника, а были и такие, которые пересчитали пуговицы на его камзоле и жилете.

Мрачные предсказания старого Тасио явно не оправдывались. Ибарра при случае напомнил ему об этом, но старый пессимист возразил:

— Помните, что сказал Бальтасар?

Когда по возвращении

Тебя с улыбкой встречают —

Поберегись!

То месть или козни предвещает... *

Бальтасар был не только поэтом, но и мыслителем.

Так развивались события в канун праздника на закате дня.

XXVII

В СУМЕРКАХ

В доме капитана Тьяго также готовилось нечто грандиозное. Мы знаем хозяина дома; его пристрастие к пышности и амбиция исконного манильца требовали такого величия, которое повергло бы в прах местных провинциалов. Была и другая причина, по которой он считал своим долгом затмить всех остальных: Мария-Клара была его дочерью, и здесь же находился его будущий зять, привлечший к себе всеобщее внимание.

В самом деле, одна из наиболее солидных газет Манилы посвятила Ибарре целую статью, помещенную на первой полосе под заголовком: «Подражайте ему», где юноше

дали уйму советов и вознесли весьма скромную хвалу. Газета называла его «просвещенным человеком и богатым капиталистом», а двумя строчками ниже: «благородным филантропом», в следующем же абзаце — «учеником Минервы, поехавшим поклониться матери Испании, истинной обители искусства и наук». Немного дальше его именовали «филиппинским испанцем». Капитан Тьяго тоже воспылал благородным рвением и уже подумывал, не построить ли ему на свои деньги монастырь.

За несколько дней до праздника в дом, где жили Мария-Клара и тетушка Исабель, доставили из Европы множество ящиков с винами и провизией, а также огромные зеркала и рояль Марии-Клары.

Капитан Тьяго приехал в капун праздника, и когда дочь целовала ему руку, подарил ей великолепный золотой ларец, украшенный брильянтами и изумрудами, где хранилась щетка от лодки святого Петра, в которой наш спаситель отправлялся на рыбную ловлю.

Первое свидание с будущим зятем было чрезвычайно сердечным. Говорили, разумеется, о школе. Капитан Тьяго выразил желание, чтобы она была названа школой святого Франциска.

— Поверьте мне, — говорил он, — святой Франциск хороший покровитель! Если вы назовете ее школой «начального обучения», вы ничего не выиграете, да и что это такое — «начальное обучение»?

Пришли подруги Марии-Клары и позвали ее на прогулку...

— Только возвращайся скорее, — сказал капитан Тьяго дочери, обратившейся к нему за разрешением. — Ты же знаешь, что приехал отец Дамасо и будет с нами ужинать сегодня вечером.

— Вы тоже отужинаете с нами, — добавил он, повернувшись к внезапно помрачневшему Ибарре. — Дома-то вы будете совсем один.

— Я бы с величайшим удовольствием остался, но мне надо быть дома, могут прийти гости, — пробормотал юноша, избегая взгляда Марии-Клары.

— Приведите ваших друзей сюда, — весело заявил капитан Тьяго. — В моем доме еды хватит, к тому же я хочу, чтобы вы подружились с отцом Дамасо...

— Это мы еще успеем сделать! — ответил Ибарра с натянутой улыбкой и поспешил за девушками.

Все вместе они спустились вниз по лестнице. Мария-Клара шла между Викторией и Идай, тетушка Исабель плелась сзади.

Люди с почтением уступали им дорогу. Мария-Клара была поразительно хороша: бледность ее прошла, и хотя в глазах еще таилась задумчивость, улыбка не сходила с ее уст. С радушием счастливицы приветствовала она своих друзей детства — теперь восторженных почитателей ее цветущей юности. Меньше чем за две недели она вновь обрела то искреннее доверие к людям, ту детскую веселость, которые словно увяли в тесных кельях монастыря. Так бабочка, покинув кокон, радостно порхает среди цветов; стоит ей только расправить крылья, немного согреться в солнечных лучах — и уже никто не узнает в ней прежней неподвижной куколки. Все существо Марии-Клары озарилось светом новой жизни, все казалось ей милым и прекрасным; и любовь свою она проявляла с той девичьей непосредственностью, которой ведомы лишь чистые мысли и чужда притворная стыдливость. Хоть она и прикрывала веером лицо, слушая веселые шутки друзей, глаза ее улыбались, а по телу пробегала легкая дрожь.

В домах загорались огни, а на улицах, где бродили музыканты, уже пылали факелы.

Через раскрытые окна было видно, как суетятся люди в празднично освещенных комнатах, откуда доносился аромат цветов и слышались звуки рояля, арфы или оркестра. По улицам гуляли китайцы, испанцы, филиппинцы, — одни в европейской одежде, другие в национальных костюмах. Расталкивая гуляющих, пробегали слуги, нагруженные мясом и курами; студенты в белых рубашках, мужчины и женщины, рискуя попасть под экипажи и повозки, с большим трудом продвигались вперед, несмотря на окрики возниц.

Перед домом капитана Басилио наших знакомых окликнули какие-то юноши и пригласили войти. Радостный голос Синанг, сбежавшей вниз по лестнице навстречу гостям, положил конец колебаниям.

— Поднимитесь на минутку, чтобы я могла потом уйти с вами, — говорила она. — Мне скучно здесь среди чужих людей, которые только и говорят что о петушиных боях да картах.

Пришлось повиноваться. Когда юная компания поднялась наверх, из просторного зала, битком набитого гостя-

ми, навстречу им двинулась толпа мужчин и женщин, жаждавших приветствовать Ибарру и выразить восхищение красотой Марии-Клары. Некоторые старые женщины не могли сдержать восторга и, жуя свой буйо, бормотали:

— Точь-в-точь дева Мария!

Нельзя было отказаться и от предложенного им шоколада, ибо после поездки в лес капитан Басилио стал искренним другом и защитником Ибарры. Из той половинки телеграммы, которая досталась его дочери Синанг, он узнал, что Ибарре было известно решение суда в его, Ибарры, пользу, и, желая быть не менее великодушным, капитан Басилио предложил считать недействительным решение дела шахматной партией. Но Ибарра не согласился, и тогда капитан Басилио заявил, что те деньги, которые он истратил бы на тяжбу, он отдает на оплату учителя в будущей городской школе. С поистине ораторским красноречием он призвал всех, кто ведет тяжбы, отказаться от своих нелепых претензий.

— Верьте мне, — говорил он, — в судебной тяжбе даже выигравший остается без штанов!

Но он никого не убедил, хотя и цитировал римлян.

Выпив шоколаду, наши юные друзья должны были еще послушать игру городского органиста на рояле.

— Когда я слушаю его в церкви, — сказала Синанг, указывая на органиста, — мне хочется плясать, а теперь, когда он играет здесь на рояле, мне хочется молиться. Уж лучше я пойду с вами гулять.

— Не желаете ли провести в нашем обществе сегодняшней вечер? — прошептал капитан Басилио на ухо Ибарре при расставании. — Отец Дамасо будет держать небольшой банк.

Ибарра улыбнулся и ответил кивком, который мог означать и отказ и согласие.

— Кто это? — спросила Мария-Клара у Виктории, указав глазами на юношу, следовавшего за ними.

— Это... это мой двоюродный брат, — сказала Виктория несколько смущенно.

— А тот, другой?

— Это мой двоюродный брат, — живо ответила Синанг, — он сын моей тети.

Они прошли мимо церкви, где царило не меньшее оживление, чем всюду. Синанг не могла сдержать удивленного возгласа при виде двух горящих ламп, старинных

ламп, которые отец Сальви никогда не разрешал зажигать, дабы не тратить зря керосин. В церкви раздавались громкие крики и взрывы смеха, степенно расхаживали монахи, в такт шагам покачивая головой и зажатой в зубах сигарой. Находившиеся среди них миряне, — очевидно, провинциальные чиновники, судя по их европейскому платью, старались во всем подражать почтенным священнослужителям. Мария-Клара заметила грузную фигуру отца Дамасо рядом со стройным отцом Сибилой. В углу неподвижно стоял угрюмый и молчаливый отец Сальви.

— Грустит, — заметила Синанг, — гадает, во что ему обойдется прием стольких гостей. Вот увидите, не он будет платить за все, а причетники. Его гости всегда обедают где-нибудь в другом месте.

— Синанг! — с упреком сказала Виктория.

— Терпеть его не могу с той поры, как он разорвал «Колесо фортуны»; я больше не хожу к нему на исповедь.

Лишь один из домов городка отличался от других — окна его были наглухо закрыты, и в них не светился огонь. Это был дом альфереса.

— Ух, ведьма! Жандармская Муза, как говорит старик! — воскликнула неугомонная Синанг. — Что ей за дело до нашего веселья? Наверное, бесится от злости! А вот если нагрянет чума, закатит пир.

— Полно, Синанг! — попыталась одернуть девушку кузина.

— Я никогда ее не выносила, а теперь, после того как она испортила нам праздник своими жандармами, просто ненавижу. Будь я архиепископом, я бы выдала ее замуж за отца Сальви... Вот получились бы детки! Подумайте, она хотела арестовать беднягу Рулевого, который прыгнул в воду, только для того, чтобы угодить...

Она запнулась на полуслове, пораженная необычным зрелищем: на площади под аккомпанемент гитары пел слепой. Это был бедно одетый человек, в широкополом салакоте из пальмовых листьев. Куртка его представляла собой сплошные лохмотья, широкие панталоны, какие носят китайцы, были разорваны во многих местах, грубые сандалии стоптаны. Лицо слепого затеняли поля салакота, но эту тень время от времени словно пронизывали две молнии, которые тут же гасли. Он был высок и, судя по быстрым движениям, молод. Закончив песню, слепой ставил на землю корзину, отходил от нее на несколько шагов

и издавал какие-то странные, непонятные звуки. Он стоял совсем один, на почтительном расстоянии от толпы, словно он и люди боялись приблизиться друг к другу. Порою к корзине подходили женщины и опускали в нее фрукты, рыбу или рис. Когда больше никто уже не подходил, слепой издавал еще более грустные звуки, в которых, однако, не слышалось мольбы,— возможно, то было выражение благодарности. Затем слепой поднимал корзину и отправлялся дальше, чтобы повторить все сначала.

Мария-Клара догадалась, что со слепым связана какая-то тайна, и с сочувствием стала расспрашивать про него.

— Прокаженный,— сказала ей Идай.— Четыре года тому назад он заболел этим недугом; одни говорят, что заразился, ухаживая за своей матерью, другие — что получил проказу от долгого пребывания в сырой тюрьме. Он живет в поле, неподалеку от китайского кладбища, и ни с кем не общается; все избегают его. Если бы ты только видела его хижину! Ветер и дождь пронизывают ее насквозь, как игла холстину. Ему запрещено трогать что-либо, принадлежащее другим людям. Однажды бедняга проходил мимо канавы, не очень глубокой, куда как раз упал ребенок; он помог вытащить ребенка. Но отец, узнав об этом, пожаловался префекту, и тот приказал выпороть его на площади, а розги затем сжечь. Это было ужасно! Прокаженный бежал, мучители его преследовали, а префект кричал: «Запомни! Лучше утонуть, чем подцепить твою болезнь!»

— Это правда,— прошептала Мария-Клара и, движимая безотчетным порывом, быстро подошла к корзине несчастного и опустила туда ларец, подаренный отцом.

— Что ты сделала? — ахнули ее подруги.

— У меня не было ничего другого! — ответила она, улыбаясь, чтобы скрыть слезы.

— Что он будет делать с твоим подарком? — спросила ее Виктория.— Ему как-то бросили деньги, но он оттолкнул их палкой. Зачем они ему, если никто ничего не примет из его рук? Ведь не может же он съесть твой ларец?

Мария-Клара с завистью взглянула на женщин, торговавших всякой снедью, и пожала плечами.

Прокаженный подошел к корзинке, взял в руки сверкающий ларец, упал на колени, поцеловал его и, сняв шляпу, прижался лбом к пыльной дороге в том месте, где

только что стояла девушка. Мария-Клара закрыла лицо веером и поднесла к глазам платок.

Меж тем к прокаженному, застывшему словно в молитве, подошла какая-то женщина. Волосы ее были распущены и взлохмачены. При свете фонарей люди узнали изможденное лицо безумной Сисы. Почувствовав прикосновение руки, прокаженный вскрикнул и, вскочив на ноги, отпрянул назад. Однако к ужасу всех Сиса схватила его за руку и сказала:

— Будем молиться, молиться! Сегодня день памяти усопших! Эти огни — души людей; помолимся за моих сыновей!

— Разъедините их, оттолкните ее, сумасшедшая заразится! — неистовствовала толпа, но никто не смел к ним приблизиться.

— Видите свет на колокольне? Это мой сын Басилло спускается вниз по веревке! Видите свет в окне монастыря? Это мой сын, Криспин! Но я не увижу их, потому что священник болен; у него было много золотых монет, и они пропали! Помолимся, помолимся за душу святого отца! Я отнесла ему амаргосо и сарсалиду; в моем саду было много цветов, и у меня было двое сыновей! У меня был сад, я сажала цветы и растила двух сыновей! — Отстранив прокаженного, она убежала, распевая: — У меня был сад, были цветы и двое сыновей, двое сыновей, сад и цветы!

— Что ты сделал для этой бедной женщины? — спросила Мария-Клара у Ибарры.

— Ничего! Она исчезла из города, и никто не мог ее найти, — ответил юноша с некоторой досадой. — К тому же я был очень занят. Но ты не волнуйся. Священник обещал мне помочь, хотя посоветовал действовать очень деликатно и осторожно, ведь в этом деле замешаны жандармы. Священник припал в ней большое участие.

— А разве не говорил альферес, что прикажет разыскать ее сыновей?

— Да, но он тогда был немного... навеселе!

Не успел Ибарра это сказать, как они увидели солдата, который вел, вернее, волочил безумную: Сиса отчаянно сопротивлялась.

— Почему вы ее схватили? Что она сделала? — спросил Ибарра.

— Что сделала? Разве вы не видели, какой она устроила переполох? — ответил блюститель порядка.

Прокаженный схватил свою корзинку и поспешил скрыться.

Мария-Клара пожелала вернуться домой; от ее радостного настроения не осталось и следа.

— Значит, есть на свете и несчастливые люди, — прошептала она. А когда ее жених откланялся, отказавшись войти в дом, она опечалилась еще больше.

— Так надо! — сказал юноша.

Мария-Клара поднялась наверх, размышляя о том, как может быть скучно в праздничные дни, когда приходят с визитом чужие люди.

XXVIII ПИСЬМА

Чем тебя праздник потешил,
Тем его и помянешь.

Так как с нашими героями не произошло ничего важного ни в канун праздника, ни в первый его день, мы охотно перешли бы к описанию последнего дня, если бы не мысль о том, что какой-нибудь иностранный читатель, возможно, захочет узнать, как филиппинцы веселятся на праздниках. Посему мы точно воспроизведем в этой главе несколько писем, одно из которых написано корреспондентом солидной манильской газеты, весьма уважаемой за серьезный тон и строгую нравственность. Наши читатели сами исправят некоторые мелкие и неизбежные погрешности пера. Итак, достойный корреспондент почтенной газеты писал:

«Сеньору издателю, моему высокоуважаемому другу.

Никогда я не видел и не ожидал увидеть в провинции столь торжественное, роскошное и волнующее религиозное празднество, как то, что справляют ныне в этом городе досточтимые и праведные отцы францисканцы.

Стечение народа — огромное. Я имел удовольствие встретить здесь почти всех испанцев, проживающих в этой провинции, трех досточтимых отцов августинцев из провинции Батангас и двух досточтимых отцов доминикан-

цев. Один из последних — его преподобие брат Эрпандо де ла Сибила, оказавший этому городу честь своим присутствием. Здешные достойные жители никогда этого не забудут. Встретил я также многих знатных горожан из Кавите и Пампанги, богатых особ из Манилы, и видел много оркестров, среди которых особо выделяется превосходный оркестр из Пагсангана, что принадлежит нотариусу дону Мигелю Геваре. Собралось здесь также множество китайцев и индейцев; первые, движимые присущим им любопытством, а вторые — религиозным чувством; с нетерпением ждали дня, когда должны были начаться торжества, дабы присутствовать на комико-мимико-танцевально-драматическом спектакле, для которого посредине площади воздвигнуты высокие и обширные подмостки.

В девять часов вечера десятого числа, накануне праздника, после роскошного ужина, которым нас угостил распорядитель, внимание всех испанцев и монахов, находившихся в монастыре, а в том числе и мое, было привлечено звуками музыки — это толпа людей, под грохот петард и ракет, направлялась во главе с видными гражданами города к монастырю, чтобы проводить нас к специально отведенным для нас местам, с которых мы могли бы наблюдать представление.

Мы были вынуждены принять столь любезное приглашение, хотя лично я предпочел бы провести час-другой з объятиях Морфея и дать отдых моему телу, изрядно утомленному тряской в экипаже, который нам предоставил сам префект города Б.

Итак, мы присоединились к толпе и поплы за нашими спутниками, ужинавшими в доме благочестивого и состоятельного дона Сантьяго де лос Сантос. Гостями этого филиппинского креза были: здешний священник, досточтимый отец Бернардо Сальви, и досточтимый отец Дамасо Вердолагас, который по особой милости всевышнего уже оправился от повреждений, нанесенных ему злодейской рукой, а также досточтимый отец Эрпандо де ла Сибила, достойнейший священник из Танавана, и другие испанцы. В доме мы имели удовольствие восторгаться не только роскошью и изысканным вкусом хозяина, — что отнюдь несвойственно индейцам, — но также красотой очаровательной и богатой наследницы, которая показала себя настоящей ученицей святой Цецилии, разыграв на изящном рояле немецкие и итальянские пьесы с искусством,

напомнившим мне самого Гальвеса. Можно лишь сожалеть о том, что столь прелестная девица чересчур скромна и скрывает свои таланты от общества, взирающего на нее с восторгом. Не смею обойти молчанием и то обстоятельство, что в доме нашего гостеприимного хозяина нас угощали шампанским и тонкими ликерами со щедростью и великолением, присущими этому известному богачу.

Побывали мы и на спектакле. Вы уже знаете наших артистов — Ратию, Карвахалю и Фернандеса; их остроты были понятны лишь нам одним, а непросвещенная толпа ничего не могла уловить. Чананай и Бальбино пели хорошо, хотя и несколько охрипшим голосом; последний пустил один раз петуха, но в целом их старания достойны всяческой похвалы. Всем тагалам, в особенности префекту, очень понравилась тагальская драма; префект потирал руки от удовольствия и сетовал лишь на то, что принцессу не заставили биться с великаном, похитившим ее, ибо, по мнению префекта, это было бы чудесное зрелище, в особенности если бы у великана нашлось только одно уязвимое место — пуп, как у некоего Феррагуса, о котором рассказывается в истории двенадцати царев. Известный своим простосердечием досточтимый отец Дамасо присоединился к мнению префекта и добавил, что в этом случае принцесса все равно ухитрилась бы добраться до пупа и прикончила бы великана.

Излишне говорить, что во время представления любезность филиппинского ротшильда была так велика, что мы не испытывали недостатка ни в чем: шербет, лимонад, сласти, вина и всевозможные прохладительные напитки предлагались зрителям в изобилии. Всеми было замечено, и это вполне понятно, отсутствие известного и просвещенного юноши дона Хуана Крисостомо Ибарры; он, как вы уже знаете, будет завтра возглавлять церемонию закладки первого камня для того монументального здания, которое он воздвигает, побуждаемый филантропическими чувствами. Этот достойный отпрыск семей Пелайос и Эльканос (я узнал, что один из его предков со стороны отца — уроженец наших героических и славных северных провинций, возможно даже — соратник Магеллана или Легаспи *) не показывался весь день по причине легкого недомогания. Имя его передается из уст в уста, с похвалами, приумножающими также славу Испании и истинных испанцев,

подобных нам, которые никогда не отрекаются от своей крови, если даже она смешанная.

Сегодня в одиннадцать часов утра мы были свидетелями глубоко волнующего зрелища. Всякий знает, — это день пресвятой девы Умиротворительницы, который празднуют братья ордена Сантисимо Росарио. Завтра же будет праздник в честь патрона Манилы, святого Диего, и в нем будут участвовать главным образом братья терциарии. Эти два ордена благочестиво соревнуются в служении господу, и благочестие их достигает предела в религиозных спорах, как, например, в споре по поводу назначения повсеместно признанного знаменитого проповедника досточтимого отца Дамасо. Завтра он взойдет на кафедру в церкви св. Духа и произнесет проповедь, которая, как ожидают, явится выдающимся литературным и церковным событием.

Итак, как уже говорилось, мы были свидетелями в высшей степени назидательного и волнующего зрелища. Шесть молодых монахов, из коих трое должны были участвовать в мессе и трое — прислуживать, вышли из ризницы и простерлись ниц перед алтарем. Стоявший перед алтарем священник, досточтимый отец Эрнандо де ла Сибила запел «Гряди, о господи», подавая тем самым знак к началу шествия вокруг церкви; его великолепный голос и священный жар растрогали всех и заслуженно спискали ему всеобщее восхищение. Когда «Гряди, о господи» было пропето, префект во фраке, с хоругвью в руках, в сопровождении четырех послушников и кадильщиков возглавил шествие. Вслед за ними несли высокие серебряные канделябры, затем шли городские власти, далее на серебряных повозках везли разодетые в шелк и золото изваяния святого Доминика и святого Диего, а также пресвятой девы Умиротворительницы в великолепном голубом облачении с накладками из позолоченного серебра. (Наряд пресвятой девы Умиротворительницы — подарок благочестивого экспрефекта, дона Сантьяго де лос Сантос, человека, достойного всяческого подражания, которому никогда полностью не воздавалось по заслугам.) За богоматерью шли мы, испанцы, и все духовные особы, кроме священника, возглавлявшего службу: его несли в паланкине сборщики налогов. Замыкал шествие взвод наших доблестных жандармов. Излишне упоминать о том, что по обе стороны процессии шло множество индейцев, с великим благоговением несли зажженные свечи. Музыканты играли духов-

ные марши, гремели петарды, трещал бенгальский огонь. Просто поражаешься тому, какое умиление, какой религиозный восторг внушают эти церемонии верующим; сколь велика и чиста их вера в чудотворную статую божьей матери; какая восторженность и истинная набожность царят на этих празднествах, устраиваемых нами, кому выпало счастье родиться под священным и незапятнанным стягом Испании.

Когда шествие закончилось, началась месса с участием оркестра и артистов театра. После чтения Евангелия досточтимый отец Мануэль-Мартин, августинец из провинции Батангас, поднялся на кафедру и пленил своим красноречием всех присутствующих, в особенности испанцев, ибо говорил он на испанском языке, который звучал в его устах так мужественно, а фразы лились так легко и плавно, что сердца наши наполнялись радостью и восторгом. Именно этими словами следует выразить то, что чувствуем все мы, когда речь заходит о Мадонне или о нашей любимой Испании, и особенно тогда, когда в проповеди упоминаются, — если позволяет тема, — идеи князя церкви, сеньора Монесильо *, ибо они, безусловно, выражают мысли всех испанцев.

По окончании мессы все мы отправились в монастырь вместе со знатными гражданами и другими важными особами. Там нас приняли со всей любезностью, вниманием и щедростью, присущими досточтимому отцу Сальви: нам предложили сигары и обильное угощение, которое приготовил распорядитель для тех, чей желудок уже начал напоминать о себе.

В этот день всего было достаточно, чтобы сделать праздник веселым и создать веселое настроение, которое отличает нас, испанцев, и которое в подобных случаях проявляется особенно бурно — в песнях, танцах и других развлечениях. Ибо сердца наши доблестны и стойки, никакие беды им не страшны; стоит трем испанцам сойтись вместе, как хандра и печаль тут же исчезают. Итак, во многих домах была оказана честь Терпсихоре, и более всего в доме просвещенного филиппинского миллионера, куда нас всех пригласили на обед. Не стану описывать этот обед, скажу лишь, что он блистал роскошью и изяществом, одним словом — второе издание свадебного пира в Кане или у Камачо *, но исправленное и расширенное. В то время как мы наслаждались яствами, приготовлен-

ными поваром из «Кампаны», оркестр играл нежные мелодии. Прекрасная молодая хозяйка дома, одетая в костюм метиски и сверкающая брильянтами, царила на празднике, как обычно. Все мы до глубины души сожалели о том, что она подвернула ножку и была лишена удовольствия танцевать, ибо, если судить по другим ее талантам, сеньорита де лос Сантос должна танцевать, как сильфида.

Во второй половине дня прибыл алькальд провинции, чтобы придать еще большую торжественность церемонии, назначенной на следующий день. Он выразил сожаление по поводу нездоровья видного землевладельца сеньора Ибарры, который, как говорят, уже, слава богу, поправляется.

Сегодня вечером проходило торжественное шествие, но об этом я расскажу в моем завтрашнем письме, потому что от разрывов петард у меня трепит голова и шумит в ушах, а кроме того, я валяюсь с ног от усталости и хочу спать. Пока я буду набираться сил в объятиях Морфея, — а скорее всего, на монастырской койке, — желаю вам, мой высокоуважаемый друг, спокойной ночи и прощаюсь с вами до завтрашнего дня, которому суждено быть великим.

*Ваш преданный друг и покорный слуга,
корреспондент.*

Сан-Диего, 11 ноября.

Так писал добряк корреспондент. Посмотрим теперь, что писал капитан Мартин своему другу Луису Чикито.

«Дорогой Чой, скорей приезжай сюда, если можешь, — праздничек выдался веселый. Представь себе, капитан Хоакин почти совсем продулся. Капитан Тьяго трижды удваивал ставку против него и выигрывал с первого же хода в трех конах, а хозяин дома капитан Мануэль всякий раз просто готов был лопнуть от удовольствия. Отец Дамасо разбил кулаком лампу, потому что до сих пор не выиграла ни одна его карта. Консул проиграл на петухах и в карты все то, что выиграл на празднике у нас в Биньяне, а также на празднике Пречистой Девы де Пилар в Санта-Крус.

Мы ожидали, что капитан Тьяго приведет к нам своего будущего зятя, богатого наследника дона Рафаэля, но похоже, что тот хочет подражать своему отцу, — совсем

здесь не показывается. Жаль, видно толку нам от него будет мало.

Китаец Карлос загребает большие деньги, играя в лиампо. Подозреваю, что дело нечисто, — у него, наверное, есть амулет: он вечно жалуется на головные боли и ходит с повязкой на голове, а когда колесо лиампо замедляет бег, он наклоняется, почти касаясь его лбом, словно хочет лучше его разглядеть. Мне все это кажется подозрительным, я уже видывал подобные штучки.

Прощай, Чой. Петушки мои чувствуют себя хорошо, и жена моя счастлива и весела.

Твой друг Мартин Аристоренас».

Ибарра тоже получил надушенную записочку, которую Анденг, молочная сестра Марии-Клары, передала ему вечером в первый день праздника. В записке говорилось:

«Крисостомо, вот уже целый день ты не показываешься на глаза. Я слышала, что ты нездоров, молилась за тебя и зажгла две свечи, хотя папа говорит, что ты болен не серьезно. Вчера вечером и сегодня меня замучили просьбами играть на рояле и танцевать. Я не знала раньше, что на свете есть столько надоедливых людей! Если бы не отец Дамасо, старающийся развлечь меня разговорами и всякими рассказами, я заперлась бы в своей комнате и легла бы спать. Напиши мне, что с тобой, и я попрошу папу навестить тебя. А сейчас посылаю к тебе Анденг, чтобы она приготовила тебе чай, — она делает это хорошо, наверное, лучше, чем твои слуги.

Мария-Клара.

Р. S. Если завтра не придешь, я не пойду на церемонию. Будь здоров».

XXIX

УТРО

Едва забрезжил рассвет, оркестры заиграли веселые мелодии и разбудили утомленных праздником горожан. Жизнь и движение возобновились, опять зазвонили колокола, опять слышались взрывы петард.

Это был последний день торжеств, самый разгар праздника. Ожидалось много интересного, гораздо больше, чем в предыдущий день. Братья терциарии были многочисленнее братьев Сантисимо Росарио и потому смиренно улыбались, уверенные в том, что посрамят своих соперников. Они закупили куда больше свечей, и благодарные торговцы-китайцы, получившие хорошие барыши, уже подумывали креститься, хотя кое-кто утверждал, что их побуждает к этому не вера в католическую церковь, а желание заполучить жену-христианку. Пабожные женщины возражали: пусть даже так, но все равно это чудо, если женится сразу столько китайцев, а уж на путь праведный их наставят жены.

Люди нарядились в свои лучшие одежды, достали из шкапулок все драгоценности. Даже завзятые игроки расхаживали в белых шляпах и в расшитых рубашках с большими брильянтовыми запонками и тяжелыми золотыми цепями. Только на старом философе были, как обычно, темная полосатая рубашка из сипамая, застегнутая по самое горло, просторные башмаки и широкополая фетровая шляпа испельного цвета.

— Сегодня у вас еще более унылый вид, чем обычно! — сказал ему при встрече лейтенант-майор. — Неужели вам неприятно, что мы время от времени развлекаемся? Ведь у нас так много причин для скорби.

— Развлекаться — это еще не значит безумствовать! — ответил старик. — Бессмысленная оргия, повторяющаяся каждый год! А для чего? Трапжирить деньги, когда вокруг такая нищета! Да, я понимаю, эта оргия, эта вакханалия затевается для того, чтобы заглушить жалобы народа!

— Вы же знаете, что я разделяю ваше мнение, — ответил дон Филипо, полушутя. — Я защищал его, но как можно противостоять префекту и священнику?

— Подать в отставку! — ответил философ и пошел своей дорогой.

Дон Филипо озадаченно смотрел вслед удалявшемуся старцу.

— Подать в отставку, — бормотал он, направляясь к церкви. — В отставку! Да, если бы моя должность была честью, а не бременем, я бы подал в отставку.

Церковный двор был полон пароду: мужчины и женщины, дети и старики, одетые в лучшие платья, толпились и толкались, входили и выходили через узкие ворота.

Пахло порохом, цветами, ладаном и духами. При взрывах петард, ракет и хлопушек женщины с криком шарахались в стороны, а дети смеялись до упаду. Один оркестр играл перед монастырем, другой сопровождал владык города, а остальные бродили по улицам, где, трепеща на ветру, развевались бесчисленные флаги. Яркие цвета и огни тешили глаз, музыка и взрывы улаждали слух. Колокола не переставали трезвонить; повсюду грудились экипажи и коляски — лошади иногда пугались, пятились, вставали на дыбы, все это, хотя и не было предусмотрено программой празднеств, само по себе являло зрелище, хоть и бесплатное, но не менее интересное.

Распорядитель праздника посылал слуг разыскивать на улицах гостей, подобно тому, кто устраивал трапезу, о которой повествует Евангелие. Их почти силой тащили выпить шоколада, кофе, чаю, отведать сладостей. Нередко эти настойчивые приглашения приводили к настоящим стычкам.

Предстояло отслужить мессу, известную под названием «далматская», такую же большую, как отслуженная накануне и описанная уважаемым корреспондентом. Только на сей раз служить ее должен был отец Сальви, а среди присутствующих, наряду со многими другими испанцами и знатными особами, ожидали увидеть алькальда провинции, который хотел послушать отца Дамасо, пользовавшегося славой прекрасного проповедника. Даже альферес, всегда томившийся от скуки на проповедях отца Сальви, явился, чтобы доказать свою благонамеренность и, если представится возможность, расквитаться за те неприятности, которые доставил ему священник.

Слава отца Дамасо была столь велика, что корреспондент уже заранее писал редактору своей газеты: «То, что я предокazyвал вам в моем вчерашнем наспех написанном послании, полностью оправдалось. Мы имели особое удовольствие слушать бывшего священника этого города, досточтимого отца Дамасо Вердолагаса, ныне переведенного в награду за его заслуги в другой, больший приход. Этот блестящий оратор взшел на кафедру церкви св. Духа и произнес красноречивейшую и глубочайшую проповедь, которая просветила и потрясла всех верующих, в нетерпении ожидавших той минуты, когда из его медоточивых уст брызнут целебные струи вечной жизни. Величие идей, смелость суждений, оригинальность оборо-

тов речи, пзящество стиля, отсутствие манерности, яркость мысли — вот черты этого испанского Боссюэ *, пользующегося заслуженной славой не только среди просвещенных испанцев, но даже среди невежественных тагалов и лукавых сынов Небесной империи».

Однако бойкому журналисту едва не припилось зачеркнуть то, что он написал. Отец Дамасо вдруг стал жаловаться на легкий катар, который он схватил накануне, пропев несколько разудалых песенок, съев три блюда шербета и посмотрев часть спектакля. По этой причине он уже хотел отказаться от чести выступить перед людьми с проповедью слова божия. Но поскольку не нашлось никого другого, кто бы так основательно изучил житие и чудеса святого Диего, — правда, отец Сальви не уступал в познаниях отцу Дамасо, но был не его черед служить мессу, — остальные священнослужители все как один заявили, что тембр голоса у отца Дамасо ничуть не изменился и что было бы очень жаль, если бы он отказался произнести ту прекрасную проповедь, которую он уже написал и выучил наизусть. Поэтому старуха экономка приготовила ему лимонад, патерла грудь и шею мазями и оливковым маслом, сделала ему припарки, массаж. Отец Дамасо выпил несколько сырых яиц, взбитых с вином, все утро молчал и почти не завтракал; он проглотил лишь стакан молока и чашку шоколаду с дюжиной сухариков, героически отказавшись от своих обычных блюд — жареной курицы и полукруга лагунского сыра, ибо, как утверждала экономка, сыр и курица содержат соль и жир, от которых кашель может усилиться.

— И все это ради того, чтобы заслужить царство небесное и просветить нас! — с умилением говорили сестры из ордена терциариев, узнав о таких жертвах.

— Да покарает его пресвятая дева Утешительница, — бормотали сестры из ордена Сантисимо Росарио, которые не могли простить отцу Дамасо его благосклонность к их соперницам.

В половине девятого процессия вышла из-под сени полотняного навеса. Она была такая же, как и накануне, но с одним лишь новшеством: члены ордена терциариев — старики, старухи и несколько уже немолодых девиц, были облачены в широкие рясы; на бедных они были из простого гингона, а на богатых — из шелка, называемого францисканским гингоном, ибо в него одеваются досточти-

мые братья францисканцы. Все одеяния были доподлинно святыми, из манильского монастыря, где их можно приобрести по твердой цене, если здесь уместен коммерческий термин; эта твердая цена может быть повышена, но не понижена. В том же монастыре, как и в женском монастыре Санта-Клара, продаются также рясы, которые наделены удивительным свойством — облаченным в них покойникам отпускаются многие грехи. Но, кроме того, эти рясы обладают и другим, еще более удивительным свойством: их цена повышается пропорционально их ветхости и изношенности. Мы это видим на тот случай, если какому-нибудь набожному читателю понадобятся такие реликвии или какому-нибудь ловкому старьевщику из Европы захочется нажить состояние, — то есть отправить на Филиппины партию залатанных, старых ряс, ибо стоят они там по шестнадцать песо и более, в зависимости от того, насколько они потрепаны.

Святой Диего де Алкала ехал в повозке, украшенной чеканным серебром. Святой был довольно тощ; однако торс из слоновой кости придавал ему вид суровый и величественный, несмотря на пышную шевелюру с мелкими, как у негритят, завитушками. На нем была шелковая мантия,шитая золотом.

Святой Франциск, наш покровитель, следовал, как и вчера, за богородицею; только священник, сидевший в паланкине, был на сей раз не изящный, учтивый отец Сибила, а отец Сальви. И хотя он не отличался красивой осанкой, все в нем говорило о глубоком благочестии: он сидел полусогнувшись, опустил глаза и молитвенно сложив руки, как бы в экстазе. Паланкин несли те же самые сборщики податей; каждый из них, потея и сияя от удовольствия, чувствовал себя одновременно и причетником, и сборщиком податей, и спасителем бедного заблудшего человечества, своего рода Христом, отдающим свою кровь во искупление чужих грехов. Облаченный в ризу викарий переходил от одной повозки к другой, помахивая кадилом, дым которого порой ударял в нос священнику, и тот становился тогда еще серьезней, еще суровей.

Так, медленно и чинно, продвигалась вперед процессия, гремели петарды, звучали гимны, а оркестры, следовавшие за каждой повозкой, играли духовные марши. Меж тем распорядитель праздника так щедро наделая всех свечами, что многие унесли домой изрядный запас для

картежной игры по ночам. Любопытные зрители с трепетом опускались на колени перед повозкой с Мадонной, истово шепча «Символ веры» и «Помилуй нас, господи...». Перед домом, где в нарядно разукрашенных окнах виднелись фигуры алькальда, капитана Тьяго, Марии-Клары, Ибарры, испанцев и девиц, паланкин задержался. Отец Сальви поднял глаза, но не сделал ни малейшего движения в знак приветствия и не подал виду, что узнал друзей. Он лишь выпрямился и расправил плечи; теперь его облачение ниспадало еще более изящными складками.

Под окном на улице стояла молодая женщина с милым лицом, пышно разряженная и державшая на руках маленького ребенка, — вероятно, кормилица или нянька, потому что ребенок был белепский и светловолосый, а женщина — смуглая, с черными как смоль волосами.

При виде священника малыш протянул к нему ручки и засмеялся тем радостным детским смехом, который никого не может обидеть; в пастушившей на миг тишине дитя закричало: «Па... па! Папа! Папа!»

Молодая женщина вздрогнула, поспешно прикрыла ладонью рот ребенка и в смущении побежала прочь. Ребенок горько расплакался.

Люди ехидные подмигнули друг другу, а испанцы, наблюдаявшие эту сцену, улыбнулись. Обычно бледный отец Сальви зарделся как маков цвет.

Но люди ошибались: священник даже не знал этой женщины, она, видимо, была приезжей.

XXX

В ЦЕРКВИ

Здание, предназначенное людьми для создателя всего сущего, была набита битком.

Выходили лишь немногие — больше народу входило, и все толкали, давили друг друга, вскрикивая от боли. То и дело к чаше со святой водой еще издали тянулась рука, чтобы обмакнуть пальцы, но тут напирала толпа и отбрасывала руку; раздавался вопль, оттертая людьми женщина бранилась, но толчея не уменьшалась. Кое-кому из стариков все-таки удалось окунуть пальцы в воду, кото-

рая успела приобрести цвет помоев, потому что почти все население города, не считая приезжих, вымыло в ней руки. Этой водой старики благоговейно, хоть и не без труда смачивали себе затылок, темя, лоб, нос, подбородок, грудь и живот, в полной уверенности, что таким образом они освящают все части тела и что отныне им уже не страшны ни прострел, ни головные боли, ни чахотка, ни несварение желудка. Люди молодые — то ли потому, что их меньше тревожили недуги, то ли из-за неверия в целебные свойства святой воды — едва касались чапши кончиками пальцев, чтобы не давать святопам повода для пересудов, а затем подносили их ко лбу, до которого, конечно, не дотрагивались. «Пусть она освященная и какая угодно, — думала про себя иная молодая женщина, — но у нее такой ужасный цвет!»

С трудом дышалось в этой духоте; было жарко и пахло двуногими животными, но ради проповедника стоило стерпеть все эти неудобства — ведь его проповедь обошлась городу в двести пятьдесят песо. Старик Тасно сказал:

— Двести пятьдесят песо за проповедь! Одному человеку, за один только раз! Треть того, что стоят все комедианты, которые будут трудиться три вечера подряд! Видимо, вы очень богаты!

— Как можно это сравнивать с комедией! — с досадой сказал раздражительный старейшина ордена терциариев. — Комедия готовит души для ада, а проповедь — для рая! Запроси он тысячу, и мы заплатили бы ему, да еще не переставая благодарили бы...

— Пожалуй, вы правы! — ответил философ. — Меня, например, проповедь развлекает больше, чем комедия.

— А меня и комедия не веселит! — в ярости завопил его собеседник.

— Еще бы, ведь вы смыслите в ней не больше, чем в проповеди!

И старый безбожник пошел прочь, не обращая внимания на брань и зловещие пророчества, которые расточал обозленный терциарий по поводу его загробной жизни.

В ожидании алькальда люди обливались потом и, зевая, обмахивались веерами, шляпами и платками. Дети кричали и плакали, что доставляло немало хлопот причетникам, выгонявшим их из храма божьего. Взирая на все это, честный, но туповатый старейшина братства

Сантисимо Росарио думал: «А ведь господь наш Иисус Христос сказал: «Пусть дети приходят ко мне и не возбраняйте им...» Но, наверное, он подразумевал детей, которые не ревут!»

Сестра Путэ, старуха в рясе из гингона, подтолкнула свою внучку, девочку шести лет, стоявшую рядом с ней на коленях.

— Ах ты, погибшая душа! Да не вертись же, сейчас услышишь такую проповедь, как в святую пятницу!

С этими словами она ущипнула ребенка, дабы пробудить в нем пабожность, но девочка скорчила рожицу, надулась и нахмурила бровки.

Некоторые мужчины, сидя на корточках, дремали возле исповедальни. Один старик клевал носом, и старуха решила, что он бормочет молитвы; она принялась быстро перебирать пальцами четки — самый лучший способ почтить волю небес — и вскоре последовала его примеру.

Ибарра стоял в углу; Мария-Клара преклонила колени у главного алтаря, где служки по распоряжению галлантного священника очистили для нее место. Капитан Тьяго во фраке сидел на одной из скамей, предназначенных для власть имущих, и дети, принимавшие его за второго префекта, старались держаться от него на расстоянии.

Наконец явился сеньор алькальд со своими приближенными. Он вышел из ризницы и уселся в одно из роскошных кресел, стоявших на ковре. Алькальд был в парадной форме с лентой ордена Карла III и четырьмя или пятью другими орденами. Люди не узнали его.

— Глянь-ка! — воскликнул какой-то крестьянин. — Жандарм разрядился, как комедиант!

— Дурень ты, — ответил ему сосед, толкая локтем в бок. — Это же принц Вильярдо, которого мы видели вчера в театре!

Так алькальд поднялся в глазах народа, превратившись в сказочного принца, победителя великанов.

Началась месса. Те, кто сидел, встали, а те кто спал, проснулись от звона колоколов и звучных голосов певчих. Суровое лицо отца Сальви сияло от удовольствия, ибо не кто-нибудь, а двое монахов-августинцев прислуживали ему в качестве дьякона и иподьякона. Каждый из них, когда наступал его черед, пел хорошо, в меру гнусавя и в меру невнятно произнося слова, но зато голос самого

священника слегка дрожал, нередко даже срывался, к великому удивлению его паствы. И тем не менее держался он изящно, с достоинством, произносил «господь с вами», благоговейно склоняя голову набок и вознося очи горе. Глядя, как он вдыхает дым кадильниц, можно было поверить Галену *, утверждавшему, что дым, входя в ноздри, проникает сквозь особые отверстия прямо в мозг, ибо священник вдруг выпрямлялся, откидывал голову назад и направлялся к середине алтаря так важно и торжественно, что капитану Тьяго он показался гораздо более величественным, чем комедиант-китаец, который изображал накануне императора, облачившись для этого в роскошную мантию с лентами на спине, ярко размалевав лицо, приклеив бороду из конского волоса и надев туфли на толстой подошве.

«Что и говорить, — думал капитан Тьяго, — в одном нашем священнике больше величавости, чем во всех императорах».

Наконец настал долгожданный миг — все приготовились слушать отца Дамасо. Трое священнослужителей уселись в кресла и застыли в монументальных позах, как написал бы почтенный корреспондент. Алькальд и другие знатные особы с жезлами и тростями последовали их примеру. Музыка смолкла.

Внезапный переход от шума к тишине разбудил старую сестру Путэ, которая уже похрапывала, благо музыка гремела вовсю. Подобно Сехизмундо * или повару из сказки о спящей красавице, первое, что она сделала, проснувшись, это наградила подзатыльником внучку, которая тоже уснула. Та запицала, но тут же утешилась при виде женщины, иступленно и самозабвенно бившей себя в грудь.

Каждый старался устроиться поудобнее; те, кому не хватило скамеек, опускались на корточки; женщины усаживались на полу, поджав под себя ноги.

Отец Дамасо пропешествовал сквозь толпу. Впереди него двигались два причетника, а сзади шел еще один монах, несший толстую книгу. Поднимаясь по винтовой лестнице, отец Дамасо скрылся из виду, но вскоре снова показалась его круглая голова, затем жирная шея, за которой незамедлительно вынырнуло и туловище. Слегка откашлявшись, он по-хозяйски огляделся, заметил Ибарру и многозначительно подмигнул ему — видимо давая понять,

что в своих молитвах не забудет юношу. Затем он бросил довольный взгляд на отца Сибилу и другой, презрительный, на отца Мартина, читавшего проповедь накануне. Закончив обзор, он украдкой обернулся и шепнул своему помощнику: «Внимание, брат мой!» Тот открыл толстую книгу.

Но проповедь заслуживает отдельной главы. Один молодой человек, изучавший в то время стенографию и преклонявшийся перед великими ораторами, записал ее. Благодаря этому мы можем познакомить читателя с образцом церковного красноречия, процветавшего в тех краях.

XXXI

ПРОПОВЕДЬ

Отец Дамасо начал медленно, вполголоса:

— *Et spiritum tuum bonum dedisti, qui doceret eos, et manna tuum non prohibuisti ab ore eorum, et aquam dedisti eis in siti!* (И ты даровал им свой дух, дабы наставить их, и манну твою не отвел от уст их, и воду дал им, дабы утолить жажду их!) Слова эти вложил господь в уста Ездры; книга вторая, глава девятая, стих двадцатый.

Отец Сибилла с удивлением взглянул на проповедника; отец Мануэль-Мартин побледнел и проглотил слюну: начало было куда лучше, чем у него.

То ли отец Дамасо заметил это, то ли еще не прочистил горло, но он несколько раз кашлянул, положив руки на край кафедры. Над его головой парил свежеевыкрашенный святой дух: беленький, чистенький, с розовыми лапками и клювом.

— Глубокоуважаемый сеньор алькальд, достопочтенные служители церкви, христиане, братья во Христе!

Здесь отец Дамасо сделал многозначительную паузу, снова обвел взором присутствующих и, очевидно, остался доволен всеобщим вниманием и сосредоточенностью.

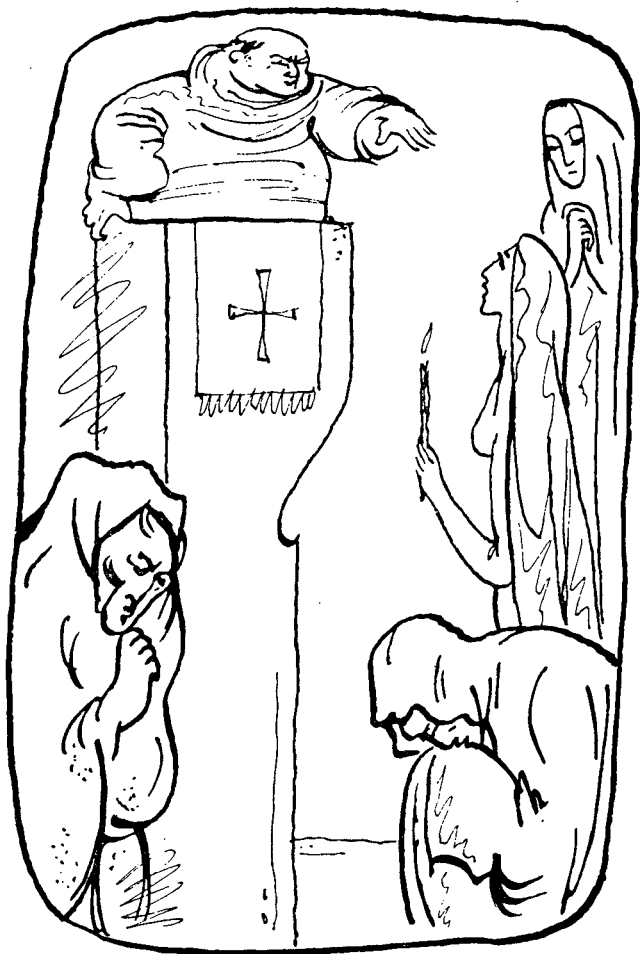
Первая часть проповеди должна была быть произнесена на испанском языке, а вторая — на тагальском.

После вступления и последовавшей за ним паузы отец Дамасо величественным жестом простер правую руку к алтарю, впевнив взор в алькальда; затем, не произнося ни

слова, медленно скрестил руки на груди и вдруг запрокинул голову и указал пальцем в сторону главного входа, с таким пылом прорезав воздух ладонью, что причетники восприняли его жест как приказ и заперли двери. Альферес с тревогой подумал, оставаться ему или уходить, но тут проповедник заговорил сильным, звучным голосом (его старая эконожка, безусловно, знала толк в медии):

— Блеск и сияние исходит алтарь, широки церковные врата и да подхватит ветер святое и божественное слово, сошедшее с уст моих! Внемлите же ушам душ и сердец ваших, дабы слова господ не упали на каменистую почву, где их могут склевать птицы адовы; но да прорастут они и принесут плоды, как священное семя в вертограде славного отца нашего святого Франциска! Слушайте, великие грешники, пребывающие в плену черных мавров своей души, плывущие по морям вечного бытия на нечистых судах, груженных плотскими, мирскими помыслами. Слушайте вы, закованные в кандалы стяжательства и похоти, вы, что гребете на галерах князя тьмы! Глядите с почтительным раскаянием на того, кто спасает души от плена дьявольского, глядите на этого бесстрашного Гедона, храброго Давида, победоносного Роланда * христианского воинства, на этого небесного жандарма, более отважного, чем все земные жандармы прошлого и будущего! (Тут альферес нахмурил брови.) Да, сеньор альферес, более храброго и могущественного, ибо, не имея иного оружия, кроме деревянного креста, он бесстрашно побеждает вечного тулисана тьмы и всех прихвостней Люцифера и уничтожил бы всех их навсегда, если бы духи не были бессмертны! Это чудо божественного творения, этот дивный гений, наш благословенный Диего из Алькала, который... да позволят мне сделать сравнение, ибо сравнение помогает постигнуть непостижимое, как говорил один мудрец, — так вот, я говорю, что этот великий святой всего лишь простой солдат, рядовой нашей могучей рати, которой командует с небес блаженный отец наш святой Франциск и к которой я имею честь — по воле господ — принадлежать в качестве капрала или сержанта!..

Неотесанные индейцы, как называет их корреспондент, уловили из этой части лишь слова: «жандарм», «тулисан», «святой Диего» и «святой Франциск», а заметив надушенное лицо альфереса и воинственные жесты пропо-



ведника, заключили, что отец Дамасо порицал офицера за то, что тот не выловил тулисанов. Очевидно, думали они, это поручат сделать святому Диего и святому Франциску, и правильно поступят, как то подтверждает картина в манильском монастыре, изображающая святого Франциска, который одним лишь вервием сдерживает нашествие китайцев в первые годы после открытия Филиппин *. Набожные прихожане очень обрадовались и возблагодарили бога за подобную помощь, не сомневаясь в том, что, когда исчезнут тулисань, святой Франциск истребит также и жандармов. Посему они с удвоенным вниманием стали слушать отца Дамасо. Тот продолжал:

— Достопочтенные сеньоры! Великие дела суть великие дела, даже рядом с малыми, а малые дела суть малые, даже рядом с великими. Так глаголет история, но история бывает права лишь единожды из ста раз, ибо она — творение человека, а человек может ошибиться. «*Errare est hominum*»¹, — как говорил Цицерон, и, как говорят в моей стране: «У кого есть рот, тот всегда соврет». Следовательно, существуют более глубокие истины, которых история не понимает. Истины эти, достопочтеннейшие сеньоры, изрек божественный дух в своей высшей мудрости, которую человеческий разум еще не постиг со времен Сенеки и Аристотеля, сих мудрых священнослужителей древности, вплоть до наших греховных дней, и истины эти заключаются в том, что не всегда малые дела малы, но что они велики не только по сравнению с малым, а и по сравнению с тем величайшим, что существует на земле, в небесах, в воздухе, в облаках, в водах и во вселенной, в жизни и в смерти!

— Аминь! — воскликнул старейшина терциариев и перекрестился.

Этим риторическим приемом, которому отец Дамасо научился у одного знаменитого проповедника из Манилы, он хотел поразить своих слушателей. И в самом деле, даже его собственный «святой дух» был так ошеломлен столькими великими истинами, что пришлось лягнуть его ногой, дабы напомнить о его обязанностях.

— И вот пред очами вашими... — подсказал «дух» снизу.

¹ Искаж. «*Errare humanum est*» (лат.) — человеку свойственно ошибаться.

— И вот пред очами вашими предстает неоспоримое и мощное доказательство этой вечной философской истины! Вы зрите солнце добродетели, — я говорю солнце, а не луна, ибо не велика заслуга светить ночью: в стране слепых и кривой станет королем, ночью может светить и лучина и маленькая звездочка. Но величайшая заслуга в том, чтобы сиять средь бела дня, как сияет солнце; вот так же светит брат наш святой Диего даже в сонме величайших святых! Итак, пред очами вашими, пред вашим греховным неверием предстает величайшее творение всевышнего, дабы повергнуть в прах сильных мира сего; да, братья, это ясно, ясно для всех!

Какой-то бледный и трясущийся от страха человек поднялся с места и спрятался в исповедальне. Это был торговец спиртными напитками; он под шумок прикорнул, и ему приснилось, что карабинеры уличают его в контрабанде. Разумеется, он уже не вышел из своего укрытия до конца проповеди.

— О смиренный, святой затворник, твой деревянный крест (изваяние святого было украшено серебряным крестом), твои скромные одеяния делают честь великому Франциску, коего сынами и последователями мы являемся. Мы распространяем идеи твоего святого братства по всему миру, мы несем их в самые отдаленные места, в города и веси, не отличая белого от темнокожего (тут алькальд затаил дыхание), подвергая себя лишениям и принимая муки, несем нашу святую веру и воинствующую религию («Фу» — перевел дух алькальд), которая поддерживает мир в равновесии и не позволяет ему низвергнуться в пучину гибели!

Слушатели, даже сам капитан Тьяго, стали позевывать. Мария-Клара не следила за проповедью, она знала, что Ибарра неподалеку, и думала о нем, обмахиваясь веером и поглядывая на бычка, нарисованного рядом с одним из евангелистов и очень похожего на маленького буйвола.

— Всем вам надлежало бы знать получше святое Писание и жития святых, тогда мне не пришлось бы произносить для вас проповеди, о грешники! Вам надлежало бы знать такие важные и необходимые молитвы, как «Отче наш», а многие из вас и ее забыли и живут ныне подобно протестантам или еретикам, которые, как китайцы, не почитают слугителей господа. Вы

губите свою душу! Что ж, тем хуже для вас, о нечестивцы!

— Ох, сто это говорит отец Дамасо, сто? — бормотал китаец Карлос, сердито глядя на проповедника, который продолжал импровизировать, выкрикивая обвинения и проклятия.

— Вы умрете без покаяния, о племя еретиков! Даже в этом мире бог уже наказует вас тюрьмами и застенками! Вашим женам и детям следует бежать от вас, а властям — перевешать вас всех, дабы семя сатаны не размножилось на ниве господней! Иисус Христос сказал: если есть у тебя грешный член, что побуждает тебя ко греху, отсеки его и брось в огонь!..

Отец Дамасо так разволновался, что позабыл о тексте проповеди и о риторике.

— Слышишь? — спросил приятеля один юноша, студент из Манилы. — Ты отсечешь?

— Ха! Пусть сначала он себе отсечет! — ответил тот.

Ибарра стал встревоженно озираться по сторонам, пытаясь отыскать укромный уголок, но церковь была полна народу. Мария-Клара ничего не слышала и не видела вокруг себя; она разглядывала картину, изображавшую неприкаянные души чистилища в облике нагих мужчин и женщин с митрами, кардинальскими шапками и монашескими чепцами на головах; все они жарились в огне и цеплялись за веревку святого Франциска, не равнуюясь не смотря на такую тяжесть.

Из-за импровизации проповедника его «святой дух» сбился и, пропустив три больших абзаца, стал подсказывать не то, что следовало. Отец Дамасо никак не мог отдышаться после своего гневного выпада.

— Кто из вас, о грешники, меня слушающие, — продолжал он, — станет лобызать язвы на теле нищего, одетого в лохмотья? Кто? Пусть ответит мне, подняв руку! Никто! Так я и знал, ибо только такой святой, как Диего из Алькала, был способен на это. Он лобызал всю эту гниль, говоря удивленному брату: «Так исцеляется страждущий!» О, христианское милосердие! О, неслышанное великодушие! О, добродетель из добродетелей! О, неподражаемый подвиг! О, незапятнанный талисман!..

И на паству снова обрушился град риторических восклицаний; проповедник то скрещивал руки на груди, то

опускал их и воздевал к небу, будто хотел взлететь или вспугнуть птиц.

— Перед смертью он заговорил по-латыни, не зная латыни. Дивитесь сему, грешники! Хотя вы и учите латынь, хоть и стегают вас в школе, вам никогда не одолеть латыни, вы так и умрете, не зная ее! Умение говорить по-латыни — дар божий, потому церковь и говорит по-латыни. Я тоже говорю по-латыни! Вы думаете, бог решился бы отказать в этом утешении своему любимцу Диего? Думаете, призвал бы его к себе прежде, чем он заговорил бы по-латыни? О нет! Бог не был бы тогда справедлив, не был бы господом богом! Так вот, святой Диего заговорил по-латыни, об этом свидетельствуют летописцы того времени.

И проповедник завершил свое вступление копцовкой, которая стоила ему немалого труда и была заимствована у великого писателя Синибальдо де Мас *.

— Посему я славлю тебя, святой Диего, гордость нашего ордена. Ты образец всех добродетелей, ты скромн и доблестен, смиренн и благороден, ты покорен, но тверд, непротивителен, но честлюбив, непримирим, но справедлив; ты сострадателен и милосерден, благочестив и совестлив, предан богу и вере, доверчив и прямодушен, целомудрен и чист в любви, молчалив и сдержан, терпелив и стоек; ты храбр, но не заносчив, отважен, но не опрометчив; ты умерен в желаньях, послушен наставникам, кроток и стыдлив, великодушен и бескорыстен, обходителен и вежлив, умен и проникателен, добр и жалостлив, благонравен и почтителен, мстителен и мужествен, усерден и покорен, но беден; щедр, но не расточителен, смел, но осмотрителен, бережлив, но не скуп, прост, но мудр, пытлив, но не назойлив, ты деятелен и пастойчив. Бог сотворил тебя для радостей самоотреченной любви! Помогите же мне воспеть твое величие и твое имя, более высокое, чем звезды, и более светлое, чем само солнце, плывущее у ног твоих! Помогите мне все вы, прочтите «Богородице, дево, радуйся», прося господа ниспослать мне вдохновение.

Все преклонили колена и глухо забубнили молитву — словно тучи оводов зажуужали. Алькальд с трудом опустился на одно колено, недовольно покачивая головой; альферес был бледен и подавлен.

— Черт бы побрал этого священника! — проговорил один из двух юношей, прибывших из Манилы.

— Молчи! — ответил другой. — Нас может услышать его любовница...

Тем временем отец Дамасо, вместо того чтобы читать со всеми «Богородицу», клял своего «святого духа», по вине которого он пропустил три лучших абзаца. Затем он сунул в рот два пирожных и запил их стаканом малаги, убежденный, что это вдохновит его куда больше, чем все святые духи в облике ли деревянного голубя или в облике рассеянного монаха.

Богомольная старуха снова подтолкнула локтем внучку, которая с трудом открывала слипавшиеся глазки и спросила:

— Уже пора плакать, да?

— Нет еще, но не смей спать, греховодница! — ответила добрая бабушка.

Вторую часть проповеди, произнесенную по-тагальски, мы можем воспроизвести лишь приблизительно. Отец Дамасо на этом языке импровизировал — не потому, что владел им лучше, а потому, что считал филиппинцев-провинциалов полными невеждами в риторике и не боялся сболтнуть глупость. С испанцами другое дело: он кое-что слышал о правилах ораторского искусства и понимал, что среди прихожан мог найтись человек с образованием, хотя бы сеньор старший алькальд. Поэтому проповеди на испанском языке отец Дамасо писал заранее, исправлял их, шлифовал, затем выучивал наизусть и два дня речетировал.

Говорят, что никто из присутствовавших не понял всей проповеди: люди слишком тупы, а священник говорил очень мудрено, как выразилась сестра Руфа. Прихожане напрасно ждали случая пустить слезу, и грешная внучка старой святоши опять заснула.

И все же эта часть проповеди имела последствия более важные, чем первая, по крайней мере для некоторых из прихожан, как мы увидим позже.

Священник начал ее словами: «Мана капатир кон кристиано»¹, за которыми хлынул поток непереводимых фраз; он говорил о душе, об аде, о «махаль на санто пинтакази»², о грешных туземцах и добродетельных отцах францисканцах.

¹ Братья мои во Христе (тагальск.).

² Досточтимом святом патроне (тагальск.).

— К черту! — сказал непочтительный манилец своему приятелю. — Для меня это все равно что по-гречески. Я ухожу.

Двери, однако, были закрыты, и он вышел через ризницу, к великому возмущению прихожан и проповедника, который побледнел и запнулся на полуслове. Кое-кто замер в ожидании гневной реплики, но отец Дамасо ограничился тем, что проводил дерзкого взглядом, и продолжал проповедь.

Он обрушил проклятия на головы охальников и веротступников, на весь нынешний греховный век. Видимо, это был его конек: он заговорил вдохновенно, и речь его стала страстной и понятной. Он упоминал о грешниках, которые не исповедуются и умирают в тюрьмах без покаяния, о проклятых семьях, о гордых и спесивых «метисшках», о молодых людях «всезнайках», о «философешках-блохоловах», об «адвокатишках, студентишках». Известный прием тех, кто хочет высмеять своих врагов: к каждому слову прибавляется уничижительный суффикс, — на большее насмешники неспособны и очень рады этой находке.

Ибарра все слышал, он понял намеки. Сохраняя внешнее спокойствие, юноша искал глазами бога и вершителей правосудия, но видел только изображения святых и дремлющего алькальда.

Между тем проповедник распалялся все больше. Он говорил о тех временах, когда всякий филиппинец, встретив священника, снимал шляпу, опускался на одно колено и целовал ему руку.

— Теперь же, — прибавил он, — вы только снимаете салакот или кастановую шляпу, надетую набекрень, чтобы не портить прическу! Вы довольствуетесь словами «добрый день, амонг»¹, а иные спесивые студентишки-недоучки, побывав в Маниле или в Европе, думают, что они вправе пожимать нам руку вместо того, чтобы целовать ее... О, близок Судный день, мир идет к гибели, это пророчили святые! Хлынет дождь огненный, посыплются камни и пепел, чтобы покарать гордыню вашу!

И он призывал народ не подражать подобным «дикарям», а избегать и презирать их, ибо они отлучены от церкви.

¹ Господин (*тагальск.*).

— Слушайте, что предписывают церковные соборы! — воскликнул он. — Если тагал встретит на улице священника, он должен нагнуть голову и подставить шею, чтобы амонг мог опереться на него. Если повстречаются священник и тагал верхом на лошадях, то тагалу следует остановиться, почтительно сняв салакот или шляпу. И, наконец, если тагал едет на лошади, а священник идет пешком, всадник должен спешиться и не садиться верхом до тех пор, пока священник не скажет «сулунг!»¹ или не удалится на значительное расстояние. Так решили церковные соборы, и ослушник будет предан анафеме.

— А если едешь верхом на буйволе? — спросил один дотошный крестьянин своего соседа.

— Тогда... проезжай мимо! — ответил сосед; он был казуистом.

Но, несмотря на вопли и отчаянную жестикуляцию проповедника, многие дремали или развлекались как могли, — эти проповеди уже никого не трогали. Напрасно некоторые богомолки принимались вздыхать и всхлипывать, сокрушаясь о нечестивых грешниках, — охотников следовать их примеру не находилось, и они быстро умолкали. Даже у сестры Путэ мысли были заняты отнюдь не проповедью. Какой-то человек, сидевший рядом, заснул и свалился прямо на нее, смяв ей рясу. Добрая старушка сняла туфлю и стала ею колотить невежу, крича:

— Ах ты дикарь, скотина, дьявол, буйвол, собака, будь ты проклят навеки!

Как и следовало ожидать, поднялась суматоха. Проповедник, изумленный разыгравшимся скандалом, умолк, подняв брови. От негодования слова застряли у него в горле, он только мычал, барабанив кулаками по кафедре. Это возымело действие: старуха, не переставая ворчать, бросила туфлю и, осеняя себя крестным знаменем, смиренно опустила на колени.

— А-а-а! А-а-а! — простонал наконец возмущенный священник, скрестив на груди руки и трясая головой. — Разве для этого я читаю вам тут проповедь целое утро, дикари! Здесь, в божьем храме, вы ссоритесь и бранитесь! Бессовестные! А-а-а! Для вас нет ничего святого. Вот он, разврат и распущенность нашего века. Я говорил об этом, а-а-а!

¹ Ступай! (тагальск.).

На эту тему он распространялся еще полчаса. Алькальд храпел, Мария-Клара смежила веки, — бедняжка не могла побороть сон, она уже изучила все образа, все статуи, и развлечься больше было нечем. Ибарру теперь не задевали бранные слова и намеки проповедника, он мечтал о домике на вершине горы и видел Марию-Клару в саду. Пусть здесь, в долине, люди поедом едят друг друга в своих жалких селениях!

Отец Сальви дважды звонил в колокольчик, но это было все равно что подбрасывать хворосту в огонь: отец Дамасо отличался упрямством, проповедь продолжалась. Отец Сибила кусал губы и беспрестанно поправлял свои очки из горного хрусталя в золотой оправе. Только отец Мануэль-Мартин слушал проповедь с явным удовольствием — улыбка не сходила с его губ.

Наконец сам бог сказал «хватит»: оратор устал и сошел с кафедры.

Все преклонили колена, чтобы возблагодарить господа бога. Алькальд потер глаза, потянулся, зевнул и откашлялся: «Уф!»

Служба продолжалась.

Когда Бальбино и Чананай запели «Incarnatus» * и все снова встали на колени, а священники опустили головы, кто-то прошептал на ухо Ибарре: «Во время церемонии освящения не отходите от отца Сальви, не спускайтесь в ров, не приближайтесь к каменной плите, — не то вы поплатитесь жизнью».

Ибарра обернулся и увидел Элиаса, который, сказав это, скрылся в толпе.

XXXII

ПОДЪЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ

Желтолицый человек сдержал свое слово: то, что он воздвиг над зияющим ровом, чтобы опустить туда огромную глыбу гранита, не было обычной лебедкой или простым треножником с укрепленным на его верхушке блоком, как того желал Ньор Хуан. Там возвышалось нечто более совершенное и величественное: машина и вместе с тем произведение искусства.

Метров на восемь или больше в высоту поднималась хитроумная и сложная постройка: четыре толстых столба, врытых в землю, служили остовам. Столбы соединялись крест-накрест огромными балками, которые были скреплены большими гвоздями, вбитыми лишь наполовину, — возможно, для того чтобы эту временную лебедку было потом легче разрушить. Толстые канаты, протянутые во все стороны, придавали ей прочный и внушительный вид; наверху ее украшали яркие флаги, развевавшиеся вымпелы и гигантские, искусно сплетенные гирлянды из цветов и листьев.

Там, в вышине, под сенью балок, гирлянд и флагов, висела укрепленная на веревках и железных крюках система блоков, — три гигантских колеса. По их блестящим ободам проходили три каната, еще более толстые, чем остальные; они удерживали на весу огромную четырехугольную плиту с углублением в центре. Эту плиту предстояло опустить на другую, уже лежавшую во рву и также имевшую выемку; полученный таким образом небольшой тайник предназначался для хранения исторических документов того времени — газет, рукописей, а также монет, медалей, чтобы они могли дойти до потомков. От верхней системы блоков канаты были протянуты вниз, к большому блоку у подножья сооружения, и намотаны на вал станка, укрепленного врытыми в землю толстыми столбами. Вал приводился в движение с помощью двух рукояток и благодаря системе шестерен увеличивал приложенную силу в сто раз, однако при увеличении подъемной силы уменьшалась скорость подъема.

— Смотрите, — говорил желтолицый человек, крутя ручку, — смотрите, Ньор Хуан, я один, своими силами поднимаю и опускаю эту глыбу... Все так ловко приспособлено, что я могу по желанию регулировать подъем или спуск с точностью до дюйма. Человек, стоящий во рву, сможет без труда подогнать оба камня, а я буду отсюда управлять спуском.

Ньор Хуан с восхищением глядел на мастера, который так странно ухмылялся. Любопытные зрители переговаривались, расхваливая желтолицего.

— Кто вас выучил делать машины? — спросил его Ньор Хуан.

— Мой отец, мой покойный отец! — ответил тот, все так же криво усмехаясь.

— А вашего отца?..

— Дон Сатурнино, дедушка дона Крисостомо.

— Я не знал, что дон Сатурнино...

— О да, он умел многое! Не только здорово сечь своих батраков и выгонять их в поле на солнцепек; он еще умел пробуждать спящих и усыплять бодрствующих. Придет время, и вы увидите, чему обучил меня мой отец, ей-ей, увидите! — И желтолицый засмеялся зловещим смехом.

На столе, покрытом персидским ковром, лежали свинцовый цилиндр и различные предметы, которые должны были быть погребены в этой своеобразной гробнице, там же стояла наготове хрустальная шкатулка с толстыми стенками, в которую намеревались сложить эти исторические реликвии, чтобы сберечь для будущего воспоминания о прошлом. Философ Тасио, бродивший неподалеку, задумчиво шептал:

— Когда-нибудь то, что мы сегодня строим, рухнет, не выдержав превратностей судьбы, — силы стихий или разрушительные руки человека превратят это здание в руины, которые порастут мхом и травой. Потом время уничтожит и мох, и траву, и самые руины, и развеет пыль по ветру, стирая со страниц истории воспоминание об этой школе и о тех, кто ее построил, а люди, люди забудут о них намного раньше. Быть может, целые народы будут погребены под землей или исчезнут. И вот тогда совсем случайно кирка какого-нибудь шахтера высечет искру из этого гранита и сумеет вырвать из недр скалы схороненные здесь тайны и загадки. Быть может, ученые того народа, который будет обитать в этих краях, начнут тогда работать так же, как работают современные египтологи, исследуя остатки великой цивилизации, рассчитывавшей на вечность и не подозревавшей, что ее поглотит такая долгая ночь. Быть может, какой-нибудь мудрый учитель скажет тогда своим пяти- или семилетним ученикам на языке, на котором будут говорить все люди: «Господа! После тщательного изучения и исследования предметов, найденных в недрах нашей земли, после расшифровки некоторых знаков и перевода некоторых слов, на наш язык мы можем с уверенностью предположить, что эти предметы принадлежат к эпохе варварства, к мрачным временам в истории человечества, которые мы называем легендарными. В самом деле, господа, чтобы

вы могли иметь хотя бы некоторое представление об отсталости наших предков, достаточно сказать, что те, кто жил здесь, не только признавали еще власть королей, но, чтобы решить вопросы своего местного управления, должны были испрашивать согласия у людей, обитавших на другом конце света. Я сравнил бы этот народ с телом, которое, чтобы двигаться, должно было бы сноситься со своей головой, находящейся в другой части земного шара, — может быть, в тех местах, где ныне уже бушуют волны. Такое поразительное несовершенство — хоть оно и покажется вам невероятным — все же вполне объяснимо; надо лишь ознакомиться с условиями жизни тех существ, которых я едва осмелюсь назвать людьми. В те первобытные времена существа эти состояли еще — или по меньшей мере верили, что состоят, — в прямом общении с создателем, ибо среди них были его служители, существа, отличные от всех остальных, неизменно обозначаемые в письменных памятниках загадочными буквами: «П.О.М.»¹. Относительно толкования этого сокращения наши ученые еще не пришли к согласию. По словам нашего весьма посредственного преподавателя языков, знающего не больше сотни несовершенных наречий прошлого, «П.О.М.» означает: «Помещик Очень Могуущественный», ибо эти служители творца были чем-то вроде полубогов, обладали всеми добродетелями, были краспоречивыми, на редкость образованными ораторами и, несмотря на свою огромную власть и авторитет, никогда не совершали ни малейшего проступка. Это обстоятельство подкрепляет мою догадку, что они были иной породы, чем все остальные. И если этот аргумент кажется вам недостаточно убедительным, у меня есть еще один, который никем не отвергается и с каждым днем получает все большее признание. А именно — эти таинственные существа, произнеся всего несколько слов, заставляли бога сходить на землю, бог мог вещать только их устами, они вкушали его тело, пили его кровь и нередко угощали этим блюдом даже обычных людей...

Такие слова вкладывал философ-вольнодумец в уста испорченных людей будущего. Возможно, старик Тасио и ошибался, ведь опшибиться тут нетрудно. Но возвратимся к нашему рассказу.

¹ Преподобный отец монах.

В тех беседках, где позавчера, как мы знаем, трудился школьный учитель со своими учениками, ныне шли приготовления к обильному и роскошному обеду. На столе, предназначенном для школьников, не было ни одной бутылки вина, зато высились груды фруктов. В галерее, соединявшей обе беседки, отвели места для музыкантов и поставили стол со сладостями, печеньем и бутылками с водой, украшенными листьями и цветами.

Школьный учитель велел поставить столбы с привадами и барьеры, развесить сковороды и горшки для веселых игр.

Толпы людей, разодетых в яркие одежды, собирались в тени деревьев или в галерее, спасаясь от палящего солнца. Малыши карабкались на деревья, влезали на камни, чтобы лучше видеть происходящее, и с завистью глядели на чистеньких, принаряженных школяров, которые занимали отведенные им места. Родители были в восторге: они, бедные крестьяне, увидят, как их дети будут есть за столом, покрытым белой скатертью, — почти как священник или алькальд. От одной этой мысли забудешь о голоде, рассказ о таком событии будет передаваться из поколения в поколение.

Вдали послышалась музыка. Приближалось пестрое шествие, взрослые и дети в разноцветных одеждах шли впереди музыкантов. Желтолицый человек забеспокоился и окинул испытующим взглядом сооружение. Какой-то любопытный крестьянин не спускал с него глаз, следил за каждым его движением: это был Элиас, который тоже явился на церемонию в крестьянской одежде и в салакоте, — так что узнать его было нелегко. Он занял удобное место, почти у самой лебедки, на краю рва.

Вместе с музыкантами шествовали члены муниципалитета, алькальд, чиновники-испанцы и все монахи, кроме отца Дамасо. Ибарра завел разговор с алькальдом; они стали приятелями с тех пор, как юноша сказал ему несколько тонких комплиментов по поводу его орденов и лент: аристократическое тщеславие было слабым местом его превосходительства. Капитан Тьяго, альферес и несколько местных богачей шли с группой «золотой молодежи», нарядных юношей в щегольских шелковых шляпах. Отец Сальви, как обычно, был молчалив и задумчив.

— Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, если речь идет о добром деле, — говорил алькальд

Ибарре. — Я сделаю для вас все, что нужно, а если не смогу сам, постараюсь, чтобы вам помогли другие.

Приближаясь к месту церемонии, юноша чувствовал, как с каждой минутой все сильнее бьется его сердце. Невольно он взглянул на возвышавшееся там странное сооружение и увидел желтолицего человека, почтительно ему поклонившегося и на мгновение задержавшего на нем взгляд. С удивлением обнаружил он среди присутствующих Элиаса. Тот многозначительно подмигнул Ибарре, как бы напоминая о сказанных в церкви словах.

Священник надел облачение и приступил к церемонии; кривой отец эконома держал Евангелие, а служка — кадило и кропильницу со святой водой. Все остальные стояли вокруг с обнаженными головами, храня такое глубокое молчание, что можно было слышать, как дрожал голос отца Сальви, хотя читал он очень тихо.

Тем временем в хрустальную шкатулку сложили рукописи, газеты, медали, монеты и прочее, засунули ее в свинцовый цилиндр и запаяли.

— Сеньор Ибарра, не хотите ли вы положить шкатулку на место? Священник ожидает, что это сделаете вы, — прошептал алькальд на ухо молодому человеку.

— С удовольствием, — пробормотал тот, — но я лишился столь почетной миссии сеньора нотариуса: ведь сеньор нотариус должен удостоверить этот акт.

Нотариус с важным видом взял цилиндр, спустился по устланной ковром лестнице в глубь рва и с подобающей торжественностью установил цилиндр в выемке. Затем священник взял кропило и окропил гранитную плиту святой водой.

Теперь каждый из присутствующих должен был бросить немного известкового раствора на эту плиту, чтобы верхняя плита прочно соединилась с нею.

Ибарра подал алькальду серебряную лопатку каменщика, на которой была выгравирована дата, и его превосходительство произнес краткую речь по-испански.

— Жители Сан-Диего! — начал он торжественно. — Мы все имеем честь присутствовать на весьма важной церемонии, значение которой вам понятно и без моих слов. Учреждается школа, а школа — это основа общества, школа — это книга, на страницах коей начертано будущее народов! Покажите нам школу какого-нибудь

народа, и мы вам скажем, что это за народ. Жители Сан-Диего! Вознесите хвалу господу за то, что он дал вам добродетельное мудрое духовенство и правительство матери Испании, которое неустанно насаждает цивилизацию на этих плодородных островах, пользующихся ее славным покровительством! Благодарите бога за то, что он сжалился над вами, послав вам сих смиренных священнослужителей, которые вас просвещают и наставляют слову божьему! Благодарите правительство, которое столь много жертв принесло, приносит и принесет еще во имя счастья вашего и ваших детей! Да будет благословен первый камень этого замечательного здания. Именем его величества короля обеих Испаний, да хранит его бог, и именем пресветлого испанского правительства, осененные его незапятнанным победоносным знаменем, мы, старший алькальд этой провинции, освящаем сие деяние и начинаем строительство школы! Жители Сан-Диего, да здравствует король! Да здравствует Испания! Да здравствуют добрые католики! Да здравствует католическая вера!

— Ура! — отвечало множество голосов. — Да здравствует сеньор алькальд!

После этого алькальд под звуки музыки величественной поступью сошел в ров, зачерпнул несколько раз лопаткой известь и бросил ее на гранит; затем так же торжественно поднялся по лестнице.

Чиновные особы зааплодировали.

Ибарра предложил другую серебряную лопатку священнику, который, взглянув на него, начал медленно спускаться в ров. На середине лестницы он поднял глаза, посмотрел на камень, висевший над его головой на мощных канатах, приостановился на одну секунду — и пошел дальше. Он проделал ту же процедуру, что и алькальд, но на этот раз аплодисментов было больше: к чиновникам присоединились некоторые монахи и капитан Тьяго.

Отец Сальви, казалось, раздумывал, кому бы передать лопатку; он в нерешительности посмотрел на Марию-Клару и протянул лопатку нотариусу. Галафный нотариус направился было к Марии-Кларе, однако она, улыбнувшись, отказалась. Монахи, чиновники и альферес спускались в яму один за другим. Не был забыт и капитан Тьяго.

Остался один Ибарра. Собирались уже приказать желтолицему опускать плиту, как вдруг священник вспомнил

про юношу и заметил ему шутливо, с напускной фамильярностью:

— А вы не зачерпнете своей ложкой, сеньор Ибарра?

— Хотите, чтобы я стал Хуаном Паломо: * сам заварил, сам расхлебывай? — ответил ему в тон Ибарра.

— Идите, идите! — сказал алькальд, тихонько подталкивая его в спину. — Иначе я не дам приказа опускать камень, и мы простои́м здесь до Судного дня.

Такая страшная угроза заставила Ибарру подчиниться. Он сменил маленькую серебряную лопатку на большую железную, — при этом некоторые из зрителей улыбнулись, — и спокойно пошел вперед. Элиас наблюдал за ним. Лицо отважного Рулевого застыло в каком-то странном выражении — казалось, вся его энергия сосредоточилась в глазах. Желтолицый смотрел в пропасть, зиявшую у ног юноши.

Окинув быстрым взглядом каменную плиту, вписанную над его головой, Ибарра посмотрел на Элиаса и желтолицего и затем сказал Ньору Хуану чуть дрогнувшим голосом:

— Дайте мне бадью и еще одну лопатку!

Юноша стоял впизу один. Элиас уже не глядел на Ибарру: его глаза были прикованы к рукам желтолицего, который, нагнувшись надо рвом, пристально следил за движениями юноши.

Слышалось позвякивание лопатки, которой Ибарра перемешивал песок и известь; чиповники вполголоса поздравляли алькальда с великолепной речью.

Вдруг раздался грохот: блок, закрепленный у основания лебедки, сорвался, за ним взметнулся вверх подъемный станок и, словно тарап, ударил по сооружению: столбы пошатнулись, балки разлетелись в стороны, и вся махина в одно мгновение с оглушающим шумом рухнула в ров.

Поднялась туча пыли; вопль ужаса вырвался из тысяч грудей, сотрясая воздух. Почти все бросились прочь, немногие поспешили ко рву. Только Мария-Клара и отец Сальви, бледные и безмолвные, застыли на месте.

Когда пыль несколько рассеялась, увидели Ибарру, стоявшего среди балок, жердей, канатов, между подъемником и краем гранитной плиты, которая, падая с огромной скоростью, сокрушила все на своем пути. Юноша еще держал в руке лопатку и полными ужаса глазами смот-

рел на труп, лежавший у его ног, наполовину погребенный под балками.

— Вы не погибли? Вы еще живы? Отвечайте, ради бога! — кричали чиновники, глядя вниз со страхом и любопытством.

— Чудо, чудо! — восклицали другие.

— Спуститесь и вытащите труп этого несчастного! — сказал Ибарра, словно очнувшись от сна.

Услышав его голос, Мария-Клара почувствовала, что силы оставляют ее, и почти без сознания упала на руки подруг.

Суматоха поднялась неопишущая; все разом говорили, жестикулировали, металсь из стороны в сторону, спускался в ров и вылезали из него, смущенные и подавленные.

— А кто погиб? Может быть, он еще жив? — спрашивал альферес.

Опознали труп; оказалось, что погиб желтолицый человек, стоявший у подъемника.

— Взять под стражу руководителя работ! — это было первое, что смог произнести алькальд.

Труп осмотрели, потрогали грудь; сердце уже не билось. Удар пришелся по голове, из носа, рта и ушей текла кровь. На шее виднелись странные следы: четыре темных синяка с одной стороны и пятый, несколько больший, с другой, — казалось, чьи-то стальные пальцы словно клещами сдавили шею желтолицего.

Священнослужители горячо поздравляли юношу, жали ему руку. Смиренного вида францисканец, «святой дух» отца Дамасо, проговорил со слезами на глазах:

— Велик бог наш многотерпеливый и многомилостивый!

— Подумать только, секунду назад я был там! — сказал Ибарре один из чиновников. — Если бы я спустился последним! Господи Иисусе!

— У меня волосы дыбом встают! — проговорил другой, наполовину лысый чиновник.

— Хорошо, что это случилось с вами, а не со мной! — пробурчал, поеживаясь, какой-то старик.

— Дон Паскуаль! — с укором воскликнул кто-то из испанцев.

— Сеньоры, я сказал так потому, что этот сеньор не

погиб, а я, если бы меня даже и не раздавило, умер бы со страху от одной мысли о случившемся.

Но Ибарра уже не слышал этих слов, он подошел к Марии-Кларе, чтобы узнать о ее самочувствии.

— Пусть это происшествие не будет помехой для праздника, сеньор де Ибарра,— сказал алькальд.— Убитый, слава богу, не священник и не испанец! Надо отпраздновать ваше спасение. Подумать только, ведь камень мог свалиться на вас!

— Надо верить в предчувствия, надо верить! — воскликнул нотариус.— Я же говорил: сеньору Ибарре не хотелось спускаться. Я это видел!

— Погиб-то всего-навсего какой-то тагал.

— Продолжим праздник! Музыка! Мертвеца не воскресить слезами! Префект, приступайте к дознанию! Вызовите писца! Под арест руководителя работ!

— В колодки его!

— В колодки! Эй! Музыка, музыка! В тюрьму негодного мастера.

— Сеньор алькальд, — тихо, но твердо возразил Ибарра, — если слезы не воскресят мертвого, то, уж конечно, этого не сделает арест человека, чья вина еще не доказана. Я ручаюсь за него и прошу для него свободы, по крайней мере на эти дни.

— Ладно, ладно, но впредь пусть будет осторожней!

Высказывались самые различные мнения. Все были согласны, что произошло чудо. Однако отец Сальви, казалось, не очень радовался этому чуду, которое приписывалось святому его ордена и свершилось в его приходе.

Кое-кто даже утверждал, что в момент катастрофы в ров спустилась фигура, облаченная в черную рясу францисканца. Несомненно, то был сам святой Диего. Стало известно также, что Ибарра в этот день слушал обедню, а желтолицый человек — нет: все ясно как божий день!

— Вот видишь, а ты не хотел идти к обедне, — говорила одна мать своему сыну. — Если бы я не побила тебя и не заставила пойти, ты бы ехал сейчас в суд, как вон тот, в карете!

Действительно, желтолицый, вернее, его труп, завернутый в рогожу, препровождался в суд.

Ибарра отправился домой, чтобы переодеться.

— Гм, недоброе начало! — проговорил, удаляясь, старый Тасио.

Ибарра был уже почти одет, когда слуга доложил, что его спрашивает какой-то крестьянин.

Полагая, что это один из его работников, он приказал провести посетителя в свой кабинет, служивший ему комнатой для занятий, библиотекой, а также химической лабораторией.

Однако, войдя в кабинет, он, к своему удивлению, застал там Элиаса, этого сурового и загадочного человека.

— Вы спасли мне жизнь,— сказал гость по-тагальски, заметив вопросительный взгляд Ибарры.— Я лишь частично уплатил вам долг, и вам не за что меня благодарить. Напротив, это я пришел просить вас об услуге...

— Говорите! — ответил юноша на том же языке, пораженный серьезным тоном крестьянина.

Элиас пристально посмотрел в глаза Ибарре и сказал:

— Если людское правосудие захочет раскрыть эту тайну, прошу вас, никому не говорите о предупреждении, которое я сделал вам в церкви.

— Будьте спокойны, — с легкой досадой ответил юноша.— Я знаю, что вас преследуют, но я не доносчик.

— О, я боюсь не за себя, не за себя! — поспешно и немного высокомерно воскликнул Элиас.— Я боюсь за вас; мне-то люди не страшны.

Изумление Ибарры все возрастало: тон этого крестьянина, которого он прежде знал как рулевого, был необычен и, казалось, не соответствовал ни положению, ни судьбе Элиаса.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Ибарра, испытующе глядя на таинственного гостя.

— Я не хочу говорить загадками и постараюсь выразиться более ясно. Для вашей безопасности необходимо, чтобы враги ваши считали вас человеком беспечным и доверчивым.

Ибарра отступил назад.

— Мои враги? У меня есть враги?

— У всех нас они есть, сеньор, начиная от крохотной букашки и кончая человеком, от самого бедного до самого богатого и могущественного! Вражда — закон жизни!

Ибарра молча глядел на Элиаса.

— Вы не рулевой и не крестьянин!.. — прошептал он.

— У вас есть враги и в высших кругах и в народе, — продолжал Элиас, не обратив внимания на слова юноши. — Вы задумали великое дело, но вас преследует прошлое — ваш отец и ваш дед нажили себе немало врагов, потому что были слишком деятельны. Помните, что самую лютую ненависть вызывают не преступники, а честные люди.

— Вы знаете моих врагов?

Элиас задумался.

— Я знал одного, он уже мертв, — ответил он наконец. — Вчера вечером мне стало известно, что он что-то замышляет против вас, — я услышал несколько слов, которыми он обменялся с каким-то незнакомцем, скрывшимся в толпе. «Этого не съедят рыбы, как его отца, вот увидишь завтра», — сказал он. Его слова поразили меня не только скрытым в них намеком, но и тем, что произнес их человек, который несколько дней назад явился к руководителю работ и выразил желание заняться устройством для спуска каменной плиты; он соглашался на самую скромную оплату и хвастал своими познаниями. У меня не было оснований подозревать его в злом умысле, но что-то во мне говорило, что опасения мои не напрасны; поэтому, выбрав подходящее время и место, я постарался предупредить вас, но так, чтобы вы не смогли задать мне вопрос. Остальное вы уже видели.

Элиас умолк, Ибарра тоже долго не отвечал ему. Юноша размышлял.

— Жаль, что этот человек мертв, — сказал он наконец, — от него можно было бы узнать еще что-нибудь!

— Если бы он остался жив, то ускользнул бы от неверной руки слепого человеческого правосудия. Бог его осудил, бог его покарал, бог да будет единственным нашим судьей!

Крисостомо удивленно взглянул на гостя и обнажил до локтей свои мускулистые руки, покрытые синяками и большими ссадинами.

— Вы тоже верите в чудо? — сказал он, улыбаясь. — Взгляните, вот это чудо, о котором говорит народ!

— Если бы я верил в чудеса, то не верил бы в бога: я верил бы в богоподобного человека, верил бы, что именно человек создал бога по своему образу и подобию, — отвечал Элиас торжественно. — Но я верю в бога; не один раз меня спасала его десница. Когда постройка рушилась,

грозя все смять под собою, я подскочил к злодею, схватил его, по именно он оказался убит, а я — жив и невредим.

— Вы? Так, значит, это вы?..

— Да! Я удержал его, когда он хотел удрать, подготовив злодейство; я был свидетелем его преступления. И я говорю вам: да будет бог единственным судьей над людьми, да будет он единственным, кто властен над нашей жизнью; пусть человек никогда не дерзает присвоить себе это право!

— И однако же, на этот раз вы...

— Нет! — прервал Элиас, угадав мысль Ибарры, — Это не то же самое. Если чиновник осуждает других на смерть или навсегда губит их будущее, он делает это безнаказанно и пользуется силой других людей для выполнения своих приговоров, которые в конце концов могут быть несправедливыми или ошибочными. Но я, подвергая преступника той опасности, какую он уготовил для других, подвергал и себя такому же риску. Я не убивал его, а положился на десницу божью, и она его покарала.

— Вы не верите в случай?

— Верить в случай — все равно что верить в чудеса: и то и другое предполагает, что богу неизвестно будущее. Что такое случай? Происшествие, которое никто не мог предвидеть. А что такое чудо? Противоречие, нарушение законов природы. Но как можно думать, что Разум, управляющий механизмом вселенной, несовершенен, что он не способен предвидеть и допускает противоречия!

— Кто вы? — снова спросил Ибарра с некоторым страхом. — Вы учились где-нибудь?

— Я должен был всем сердцем поверить в бога, потому что утратил веру в людей, — ответил Элиас, избегая прямого ответа.

Ибарре показалось, что он понял этого гонимого людьми бедняка, который отрицал людское правосудие, не признавал за человеком права судить себе подобных, протестовал против насилия и господства одних классов над другими.

— Однако вы должны примириться с необходимостью человеческого правосудия, хотя бы и несовершенного, — возразил Ибарра. — Разумеется, у бога немало служителей на земле, и все же он не может, вернее, не хочет изречь свою волю настолько ясно, чтобы разрешить миллионы споров, порождаемых нашими страстями. Человек

иной раз может судить себе подобных — это нужно, это необходимо, это справедливо!

— Чтобы творить добро, но не зло, чтобы исправлять и улучшать, но не разрушать, ибо если приговор ошибочен, человек уже не властен исправить совершенное зло. Впрочем, — прибавил он другим тоном, — этот спор выше моих способностей, и я задерживаю вас, ведь вы торопитесь. Не забывайте о том, что я сказал: у вас есть враги. Берегите себя на благо вашей родины.

И он попрощался.

— Когда я вас снова увижу? — спросил Ибарра.

— Всегда, когда захотите, всегда, когда я смогу быть вам полезен. Я все еще ваш должник!

XXXIV

ПИРШЕСТВО

Под сенью нарядной беседки пировали знатные люди провинции.

За одним концом длинного стола сидел алькальд, за другим — Ибарра. Справа от юноши была Мария-Клара, слева — нотариус. Капитан Тьяго, альферес, префект, монахи, чиновники и несколько приглашенных на пиршество сеньорит расположились за столом не по рангу, а по собственному усмотрению.

Обед проходил довольно весело и оживленно, но в самый разгар трапезы вдруг явился посыльный с почты. Он разыскивал капитана Тьяго, чтобы вручить ему депешу. Капитан Тьяго, разумеется, попросил позволения прочитать депешу, что ему, разумеется, было разрешено.

Брови достойного капитана сперва сошлись у перепосицы, потом полезли вверх, лицо его побледнело, потом побагровело; торопливо складывая бумагу и поднимаясь с места, он смущенно промолвил:

— Сеньоры, его превосходительство генерал-губернатор сегодня вечером почтит мой дом своим присутствием!

И капитан Тьяго бросился бежать, зажав в кулаке депешу и салфетку и позабыв о шляпе. Вслед ему неслись возгласы удивления и вопросы.

Известие о палате тулисанов не произвело бы большого впечатления.

— Пойдите же, пойдите! Когда он придет? Растолкуйте нам! Неужто сам его превосходительство?

Но капитан Тьяго был уже далеко.

— Придет его превосходительство и остановится в доме капитана Тьяго! — изумленно восклицали гости, не обращая внимания на присутствие дочери капитана и его будущего зятя.

— Выбор как пельзя более удачный, — возразил Ибарра.

Монахи смотрели друг на друга; их взгляды, казалось, говорили: «Генерал-губернатор опять чудит, он нас оскорбляет, ему следовало бы остановиться в монастыре». Так они думали, но молчали, и никто не высказывал вслух своего мнения.

— Мне уже сообщили об этом вчера, — сказал алькальд, — однако его превосходительство тогда еще не сделал окончательного выбора.

— Не знаете ли вы, сеньор алькальд, сколько времени генерал-губернатор полагает пробыть здесь? — с беспокойством спросил альферес.

— С уверенностью не скажу; его превосходительство любит делать сюрпризы.

— А вот и новые депеши!

Эти предназначались алькальду, альфересу и префекту и извещали о том же самом. Монахи отметили, что ни одна из депеш не была адресована священнику.

— Его превосходительство прибудет в четыре часа, сеньоры! — торжественно сообщил алькальд. — Мы можем спокойно продолжать трапезу.

Сам Леонид при Фермонилах * едва ли достойнее произнес бы свою знаменитую фразу: «Этим вечером мы будем ужинать с Плутоном!»

Разговор вернулся в прежнее русло.

— Я замечаю отсутствие нашего великого проповедника! — робко сказал один из чиновников, смиренный на вид человек, не открывавший рта до самого обеда и заговоривший сейчас впервые за весь день.

Все, кто знал историю отца Крисостомо Ибарры, подняли головы и переглянулись, словно говоря: «Эка, угораздило его! Открыл затычку — нацедили мути!» А некоторые, более благодушные, ответили:

— Оп, видимо, немпожко утомился...

— Какое там немпожко! — воскликнул альферес. — Он, наверно, совсем слег, или, как здесь говорят, «уездился». Такую проповедь произнести не шутка!

— Великолепная проповедь, превосходная! — сказал нотариус.

— Остроумная, глубокомысленная! — подхватил корреспондент.

— Чтобы так долго говорить, надо обладать его легкими, — заметил отец Мануэль-Мартин. Августинец отдал должное только силе легких отца Дамасо.

— И красноречием, — добавил отец Сальви.

— Вам известно, что у сеньора де Ибарра лучший повар во всей провинции? — сказал алькальд, меняя тему разговора.

— Так говорят, но его прекрасная соседка не желает воздать честь обеду; она еще и кусочка не съела, — ответил один из чиновников.

Мария-Илара покраснела.

— Весьма признательна, сеньор, за ваше слишком лестное для меня внимание, — прошептала она робко, — но...

— Но вы воздаете честь этому столу уже одним своим присутствием, — подхватил галантный алькальд и, обратившись к отцу Сальви, прибавил, повысив голос:

— Преподобный отец, я замечаю, что весь сегодняшний день вы молчаливы и задумчивы...

— Сеньор алькальд на диво наблюдателен! — воскликнул не без иронии отец Сибила.

— Таков мой обычай, — тихо промолвил францисканец, — мне больше нравится слушать, чем говорить.

— Его преподобие поэтому всегда в выигрыше и никогда не проигрывает, — шутливо заметил альферес.

Отец Сальви не пожелал ответить шуткой, глаза его сверкнули:

— Уж кто-кто, а сеньор альферес хорошо знает, что сейчас не мне приходится выигрывать или проигрывать!

Альферес ответил на выпад деланным смешком, притворившись, будто не понял намека.

— Но, сеньоры, я не понимаю, как можно тут говорить о выигрышах или проигрышах, — вмешался алькальд. — Что подумают о нас эти милые, скромные сеньориты, которые почтили нас своим присутствием? Для

меня молодые девушки — что арфы эоловы в полночь, надо внимать им и стараться уловить их затаенную гармонию, уносящую души в лазурные выси идеального и бесконечного...

— Ваша милость ударились в поэзию! — с живостью заметил потарпус, и они оба осушили бокалы.

— Не могу удержаться, — сказал алькальд, вытирая губы. — Обстоятельства лишь иногда делают людей ворами, поэтами же — всегда. В молодости я сочинял стихи и, ей-ей, не плохие.

— Значит, ваша милость изменили Музе, чтобы последовать за Фемидой! — высокопарно изрек корреспондент — любитель не только мифов, но и мифологии.

— А вы что думаете? Пройти всю общественную лестницу снизу доверху всегда было моей мечтой. Вчера я срывал цветы и слагал песни, сегодня держу в руке судейский жезл и служу человечеству, завтра...

— Завтра ваша милость швырнет жезл в огонь, чтобы согреться в зимнюю пору жизни, и возьмет портфель мистера, — закончил отец Сибила.

— Да... впрочем, нет, пост министра вовсе не мой высший идеал: любой выскочка может его получить. Летняя вилла на севере, апартаменты в Мадриде и имение в Андалузии на зимний сезон... Нет. Мы будем жить, думая о наших любимых Филиппинах! Обо мне Вольтер не мог бы сказать: «Мы жили среди этих людей только для того, чтобы обогатить себя и обогатить их».

Чиновники подумали, что его милость изволит острить и залились одобрительным смехом; монахи вторили им, не зная, что это тот самый Вольтер, которого столько раз предавали анафеме и давно отправили в ад. Отец Сибила, однако, понял, о ком идет речь, и нахмурился, заподозрив, что в словах алькальда кроется ересь или кощунство.

В другой беседке пировали школьники во главе с учителем. Они изрядно шумели, что обычно присвойственно маленьким филиппинцам, которые за столом и в присутствии старших скорее застенчивы, нежели развязны. Кто-то не умел обращаться с прибором, его поучал сосед; отсюда возникал спор, и у обоих находились сторонники: одни стояли за ложку, другие за вилку или нож, а так как среди них не было авторитета в этих вопросах, поднимался невообразимый крик, хоть святых вон выноси — почти как на богословских диспутах.

Родители перемигивались, толкали друг друга локтями, обменивались таинственными знаками, и по их улыбкам было видно, что они счастливы.

— Так вот, — говорила одна крестьянка старику, который крошил буйо в своем каликуте, — хоть муж и не хочет, но мой Андой будет священником. Мы, по правде сказать, бедны, да уж поработаем и милостыню, если нужно, попросим. Найдутся люди, которые дадут деньги, чтоб бедняк в священники определился. Разве не говорил брат Матео, — а он-то никогда не соврет, — что папа Сикст был погонщиком буйволов в Батангасе? Посмотрите-ка на моего Андою, глядите, у него и сейчас лицо, как у святого Винченца!

Добрая женщина даже всхлипнула от умиления при виде сына, ухватившегося обеими руками за вилку.

— Да поможет нам бог! — добавил старик, жуя табак. — Если Андой станет папой, мы пойдем в Рим, хе-хе! Я еще хорошо хожу. А если я помру... хе-хе!

— Не горюйте, дедушка! Андой не позабудет, что вы научили его плести корзины из камыша и дикипы.

— Ты права, Петра; я тоже верю, что твой сын будет большим человеком... самое малое, основателем ордена. Я никого тут не знаю, кто бы так быстро обучился делу! Уж он вспомнит обо мне, когда понадобится делать корзины папе или епископу для ихней поварихи. Уж он отслужит мессу во спасение моей души, хе-хе!

И добрый старик, в надежде на такое счастье, наполнил доверху свой каликут табаком.

— Если бог услышит мои мольбы и если надежды мои исполнятся, я скажу Андою: сын мой, сними с нас все грехи и пошли нас на небо. Нам уже не надо будет молиться, поститься и покупать индульгенции. У кого сын — святой папа, тот может и согрешить!

— Пришли его завтра ко мне, Петра, — сказал старик, воодушевляясь. — Я научу его плести из нити.

— Вот еще выдумали! По-вашему, священники работают руками? Священник, хоть бы и самый простой, трудится только во время мессы... когда ходит вокруг алтаря! Архиепископ, тот даже не ходит, служит мессу сидя; а папа... папа, верно, служит ее прямо в постели, лежит себе да веером обмахивается!.. Можете себе представить?

— Э, Петра, если он выучится плести из нити, это ему не помешает. Лучше, чтобы он продавал салакоты и

пятаки, чем просил милостыню; ведь наш-то священник каждый год ходит, собирает подаяния для папы. Мне всегда становится жаль беднягу священника, и я отдаю ему все, что накопил.

К ним подошел другой крестьянин.

— Решено, кума, мой сын будет доктором; нет ничего лучше, чем быть доктором!

— Доктором! Молчите уж, кум, — ответила Петра. — Лучше всего быть священником!

— Священником? Брр! Доктор загребает кучи денег, и больные его уважают, кума!

— Подумаешь! А священник пройдетя раза три-четыре кругом алтаря да скажет: «*Dominus vobiscum*»¹, — а ест вволю да еще деньги получает. Все-все, даже женщины, рассказывают ему свои секреты!

— А доктор? Вы что думаете — доктору хуже? Доктор все видит, что там есть у вас, у женщин, да еще пульс щупает... Мне бы хоть педельку побыть доктором!

— А священник? Думаете, священник не видит того, что ваш доктор? Еще и побольше! Знаете поговорку: монаху бы поздоровей чашку да потопище ляжку.

— Ну и что? Может, доктора одними сушеными сардинами кормятся? Может, сами еду себе варят?

— Да разве священник станет себе руки марать, как ваши лекаря? Для этого он слишком богат, а если уж трудится, так под музыку и причетники ему помогают.

— А исповедовать, кума? Это ли не работа?..

— Ну уж и работа! Небось сами вы не прочь всех исповедовать! Мы вот из кожи вон лезем, стараемся разузнать, что поделявают мужья и жены, наши соседи! А священник сидит-посиживает, и люди ему сами все выкладывают; бывает, он даже задремлет да сквозь сон благословит раза два-три — вот мы и опять божьи дети! Хотела бы я быть священником хоть один вечерок во время великого поста!

— А это... а проповедь? Тут уж мне не говорите, что это не работа. Видели, как вспотел сегодня утром большой священник? — возразил крестьянин, чувствующий, что ему не отбиться.

— Проповедь? Проповедовать — это, по-вашему, работа? Да в своем ли вы уме? Хотела бы я так болтать полдня

¹ «Господь с вами» (искаж. лат. «*Dominus vobiscum*»).

с кафедры, бранить всех и поносить, заведомо зная, что никто мне не осмелится ответить, да еще деньги дадут за это! Хотела бы я стать священником, пусть только на одно утро, да чтобы к обедне пришли мои должники! Вон взгляните на отца Дамасо, как он раздобыл от своей ругани да от колотушек, которыми нас угощает!

В самом деле, к столу, грузно переваливаясь, приближался отец Дамасо, укмыкаясь так злобно, что Ибарра, увидев его, запнулся на полуслове.

Отца Дамасо все приветствовали радостно, хотя и с некоторым удивлением, все, кроме Ибарры. Пиршество уже близилось к концу, шампанское пенилось в бокалах.

Усмешка отца Дамасо превратилась в гримасу, когда он увидел Марию-Клару, сидевшую справа от Крисостомо. Священник опустился на стул рядом с алькальдом и первый нарушил тревожную тишину.

— Вы о чем-то говорили, сеньоры? — спросил он. — Продолжайте, пожалуйста!

— Мы провозглашали тосты, — ответил алькальд. — Сеньор де Ибарра предлагал поднять бокал за тех, кто помог ему осуществить его филантропическую затею, и говорил об архитектуре, когда ваше пренодобие...

— Я ничего не смыслю в архитектуре, — прервал его отец Дамасо, — но смеюсь над архитекторами и теми глупцами, которые прибегают к их помощи. Я сам набросал план этой церкви, и построена она прекрасно; так сказал ювелир-англичанин, который останавливался как-то на день в монастыре. Чтобы набросать план, надо только голову иметь на плечах!

— Однако, — возразил алькальд, видя, что Ибарра молчит, — для строительства некоторых зданий, как, например, школы, нам нужен архитектор, знаток...

— Долой всех знатоков! — насмешливо воскликнул отец Дамасо. — Тому нужен знаток, кто сам щенок! Надо быть тупей туземцев, которые сами ставят свои дома, чтобы не знать, как смастерить четыре стены и накрыть их сверху крышей, — вот вам и вся школа!

Все взглянули на Ибарру, но тот, хоть и побледнел, продолжал беседовать с Марией-Кларой.

— Но посудите, ваше пренодобие...

— Посмотрите-ка, — продолжал францисканец, перебивая алькальда, — посмотрите, как один наш мирянин, дурак из дураков, построил отличную, красивую и деше-

вую больницу. Он просто заставлял работать как следует и платил не больше восьми куарто в день, даже туземцам из других селений. Он знал, как с ними обращаться, не то что разные идиоты и метисы, которые только портят туземцев, платя им по три-четыре реала.

— Вы говорите, ваше преподобие, что он платил только восемь куарто? Поразительно! — сказал алькальд, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Да, сеньор, и так должен делать каждый, кто считает себя добрым испанцем. Беда в том, что едва только открыли Суэцкий канал, как в наших краях началась порча нравов. Раньше, когда надо было обигать Мыс *, сюда не приезжало столько всяких шалопаев и наши жители не ездили за море, не губили свою душу.

— Что вы, отец Дамасо...

— Вы же знаете, что такое туземец; едва он научится чему-нибудь — он уже доктор. Все эти сопляки, которые едут в Европу...

— Но послушайте, ваше преподобие, — прервал его алькальд которого начал беспокоить такой воинственный тон.

— ...Всех их ждет конец, какого они заслуживают, — продолжал монах. — Десница божья простерта над ними; надо быть слепцом, чтобы не видеть этого. Уже в сей жизни получают по заслугам отцы подобных змеепрыщей... помирают в тюрьмах! Хе-хе! Вроде им больше негде...

Он не закончил фразу. Ибарра, мертвенно-бледный, не спускал с него глаз; услышав намек, задевавший его отца, он поднялся и наотмашь ударил своей сильной рукой священника по голове. Тот, оглушенный, упал навзничь.

Все застыли от ужаса и неожиданности, никто не осмеливался вмешаться.

— Не подходите! — вскричал юноша громовым голосом и протянул руку к острому ножу, придавив ногой грудь монаха, который постепенно приходил в чувство. — Кто дорожит жизнью, не приближайтесь!

Ибарра был вне себя, он весь дрожал, глаза его округлились от гнева. Отец Дамасо, сделав усилие, приподнялся, но юноша, схватив монаха за шею, стал трясти его до тех пор, пока тот не упал на колени и не уткнулся лбом в землю.

— Сеньор де Ибарра! Сеньор де Ибарра! — забормотал кто-то из гостей.

Но никто не отваживался подойти, даже альферес, видя, как сверкает нож, и опасаясь силы и ярости молодого человека. Все были словно парализованы.

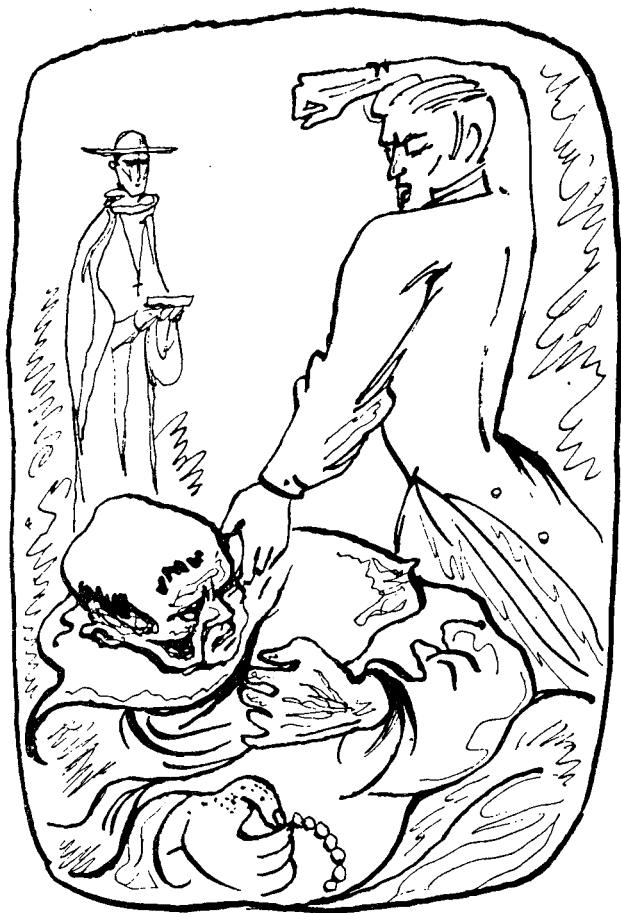
— Все вы тут, все вы молчали! Теперь пробил мой час! Я не хотел этого. Бог меня направил, бог сему судья!

Юпоша учащенно дышал, но его железная рука продолжала сжимать шею францисканца, который напрасно старался вырваться.

— Сердце мое бьется спокойно, рука моя тверда,— продолжал он, оглянувшись вокруг. — Скажите, есть ли среди вас человек, который бы не любил своего отца, кому была бы ненавистна память о нем, кто родился бы под тяжким бременем позора и презрения?.. Видишь? Слышишь это молчание? Слуга милосердного бога, на языке у тебя святость и благочестие, а в сердце — скверна; тебе не дано знать, что такое отец... Ты бы хоть вспомнил о своем! Видишь! В этой толпе, которую ты презираешь, нет никого, похожего на тебя! Тебе вынесен приговор!

Окружающие подумали, что Ибарра замыслил убийство, и подались вперед.

— Назад! — снова закричал он угрожающим тоном. — А! Вы боитесь, что я запятнаю руки печистой кровью? Разве я не сказал вам, что мое сердце бьется спокойно? Отойдите от нас! Слушайте меня, вы, священники,— судьи, возмнившие себя людьми особого рода и присвоившие себе особые права! Мой отец был честным человеком; спросите об этом народ, чтящий его память. Мой отец был добрым гражданином: он принес себя в жертву ради меня и ради блага своей страны. Его дом всегда был открыт, а стол всегда был к услугам иноземца или изгнанника, приходившего к нему в беде! Он был добрым христианином: он всегда делал добро и никогда не притеснял слабого, не угнетал бедного... Отец открывал этому человеку двери своего дома, сажал его за стол и называл другом. Чем же он отплатил отцу? Порочил его, преследовал, вооружил против него невежественных людей, используя свой сан священника; осквернил его могилу, надругался над его памятью и продолжал преследовать даже за порогом смерти. И, не довольствуясь этим, он преследует теперь сына! Я уходил с его дороги, избегал его... Вы слышали сегодня утром, какую ересь он нес с амвона, натравляя на меня фанатиков, и я смолчал. Теперь он пришел



сюда, чтобы затеять со мной ссору. Я терпеливо сносил все, вы дивились этому сами; но он снова оскорбил память, самую священную для всех сыновей... Все вы, стоящие здесь, священники, судьи, приходилось ли вам видеть, как старик отец трудится для вас не покладая рук, отсылает вас от себя ради вашего блага и, одинокий, больной, умирает от тоски в темнице, мечтая обнять вас, призывая вас, своего сына, который бы его утешил, в то время как вы находитесь за границей?.. И вот вы слышите потом, как позорят его имя, а когда хотите помолиться на его могиле, находите ее разоренной? Вам не пришлось этого пережить? Вы молчите, значит, вы осуждаете этого человека!

Он занес нож, но тут с быстротой молнии между ними встала девушка и своими нежными руками отвела руку мстителя; это была Мария-Клара.

Ибарра остановил на ней взор, в котором, казалось, сквозило безумие. Судорожно сжатые пальцы ослабели и выпустили нож; францисканец снова бессильно опустился наземь. Закрыв лицо руками, юноша бросился в толпу и побежал прочь.

XXXV

ПЕРЕСУДЫ

Слухи о происшествии мгновенно разнеслись по городку. Сначала никто не хотел им верить, но факты подтвердились, и все принялись громогласно обмениваться мнениями.

Каждый высказывался сообразно со своими взглядами и настроениями.

— Отец Дамасо отдал богу душу! — говорили некоторые. — Когда его подняли, все лицо у него было в крови, и дышать он уже не дышал.

— Царство ему небесное, но он всего лишь уплатил свой долг! — воскликнул какой-то юноша. — Только подумать, что он вытворял сегодня утром в монастыре, — слов не подберешь.

— А что же он делал? Опять бил викария?

— Ну-ка, расскажи, что он там делал?!

— Вы видели, как этим утром один метис вышел через ризницу во время проповеди?

— Да, конечно, отец Дамасо тоже его заметил.

— Вот именно, а после проповеди падре велел позвать метиса и спросил, почему он ушел. «Я не понимаю по-тагальски», — ответил тот. «А почему ты безобразничал, называя тагальский греческим?» — закричал отец Дамасо и ударил его по щеке. Юноша ответил тем же; оба орудовали кулаками, пока их не разняли.

— Если бы со мной такое случилось... — пробормотал сквозь зубы один студент.

— Я не одобряю поступок францисканца, — сказал другой, — ведь нельзя же насильно навязывать религию, делать ее каким-то наказанием, епитимьей, но я готов оправдать его, потому что знаю этого молодого человека. Сам-то он из Сан-Педро-Макати и свободно говорит по-тагальски. Ему, видите ли, хочется, чтобы думали, будто он явился к нам чуть ли не из России, вот он и хвалится, что забыл язык своих предков.

— Ну, тогда пусть себе дерутся, оба хороши.

— Однако мы должны протестовать против таких поступков, — воскликнул другой студент. — Молчать — значит одобрять, а это может повториться с любым из нас. Мы возвращаемся к временам Нерона!

— Ты ошибаешься, — заметил другой. — Нерон был великим артистом, а отец Дамасо — жалкий проповедник! Комментарии людей пожилых были иного рода.

В домике на окраине городка ждали прибытия генерал-губернатора.

— Сказать, кто прав, а кто виноват, — говорил префект, — дело нелегкое; однако если бы сеньор Ибарра вел себя благоразумней...

— Вы, вероятно, хотите сказать, если бы отец Дамасо имел хоть частицу благоразумия сеньора Ибарры? — прервал его дон Филипо. — Вся беда в том, что они поменялись ролями; юноша ведет себя, как старец, а старец — как юноша.

— И вы говорите, что никто не двинулся с места, никто не поспешил разнять их, кроме дочери капитана Тьяго? — спросил капитан Мартин. — Ни монахи, ни алькальд? Гм! Плохо, очень плохо! Не хотел бы я оказаться в шкуре этого юноши. Никто из них не простит ему того, что он нагнал на них страху. Плохо, очень плохо, да!

— Вы так думаете? — с интересом спросил капитан Басилио.

— Я надеюсь,— сказал дон Филипо, переглянувшись с ним,— что город не отвернется от него. Мы должны помнить о том, что сделала тут для общего блага его семья и что делает сейчас он сам. А если горожане струсят и будут молчать, его друзья...

— Но, сеньоры,— перебил префект,— что можем сделать мы? Что может сделать город? Что бы ни случилось, монахи всегда правы.

— «Всегда» правы, потому что мы «всегда» признаем их правыми,— ответил дон Филипо, с раздражением подчеркивая слово «всегда». — Давайте хоть раз объявим правыми себя и посмотрим, что получится!

Префект почесал затылок и, глядя в потолок, уныло ответил:

— Эх, горячая вы голова! Будто не знаете, в какой стране мы живем, не знаете своих сограждан. Монахи богаты и сплочены, а мы разобщены и бедны. Ну-ка, попробуйте выступить на его защиту и увидите, как вас разделяют.

— Да,— с горечью воскликнул дон Филипо,— это может случиться, если думать так, если не делать различия между страхом и благоразумием. Возможное зло волнует нас больше, чем необходимое для нас благо; мы сразу поддаемся страху и теряем веру в свои силы; каждый думает только о себе, и никто — о других; поэтому мы слабы.

— Ладно, попробуйте думать о других больше, чем о себе, и увидите, как вас схватят за глотку! Знаете испанскую пословицу: «Истинное милосердие начинается с заботы о самом себе».

— Лучше сказать,— запальчиво возразил лейтенант-майор,— что истинная трусость начинается с эгоизма и кончается позором! Сейчас же пойду и подам алькальду прошение об отставке; с меня довольно, не желаю быть смелой и к тому же беспомощной куклой... Прощайте!

Женщины рассуждали по-другому.

— Ох,— вздыхала одна из них, обладательница добродушной физиономии,— молодежь всегда опрометчива. Была бы жива его добрая матушка, что бы она сказала? Ох, боже мой! Подумать только, это могло бы случиться с моим сыном — у него ведь тоже горячая кровь... Господи Иисусе! Хорошо, что его матери нет в живых. Меня бы хватил удар.

— А меня нет, — возразила другая. — Я бы не горевала, если бы это случилось с моими обоими сыновьями.

— Что вы говорите, капитанша Мария? — воскликнула первая, всплеснув руками.

— Мне нравится, когда сыновья чтят память отцов, капитанша Тинай. Что сказали бы вы, будь вы вдовой, если бы слышали подобные слова о своем супруге, а ваш сын Антонио опустил бы при этом голову и смолчал?

— Я отказала бы ему в благословении! — воскликнула сестра Руфа из братства терциариев. — Но...

— Отказать в благословении? Никогда! — возразила добрая капитанша Тинай. — Мать не должна так говорить! Но не знаю, как поступила бы я, не знаю... Думаю, что просто умерла бы, а его... Нет! Боже мой! Но я прогнала б его с глаз долой, впрочем... А как думаете вы, капитанша Мария?

— Во всяком случае, — заметила сестра Руфа, — нельзя забывать, что поднять руку на священную особу — это большой грех.

— Память отцов еще более священна! — возразила капитанша Мария. — Никто, даже сам римский папа, а тем более отец Дамасо, не вправе оскорблять их святую память!

— Что правда, то правда! — пробормотала капитанша Тинай, дивясь мудрости обеих. — Где это вы научились так умно рассуждать?

— А как же быть с отлучением и проклятием? — сказала Руфа. — Значат ли что-нибудь почести и доброе имя в этой жизни, если мы обрекаем себя на вечное проклятие на том свете? Все так мимолетно, однако отлучение... Оскорбить слугу господа!.. Этого никто ему не простит, никто, кроме папы!

— Его простит бог, который велит почитать отца с матерью; бог от него не отвернется! И я вам говорю: если этот юноша придет в мой дом, я его приму и найду для него доброе слово. Если бы у меня была дочь, я хотела бы иметь его зятем: хороший сын всегда будет хорошим мужем и добрым отцом, поверьте мне, сестра Руфа!

— Нет, я с этим не согласна; говорите, что хотите. Но пусть вы и правы, я всегда буду больше верить священнику. Прежде всего надо спасти свою собственную душу. А как думаете вы, капитанша Тинай?

— Ах, сама не знаю! Вы обе правы, и священник прав,

но ведь бог тоже, наверное, прав! Я ничего не знаю, я совсем глупая... Вот что я сделаю: скажу-ка своему сыну, чтобы он бросил учебу! Говорят, что ученые кончают жизнь на виселице. Пресвятая Мария! Ведь сын-то мой хочет ехать в Европу!

— Как же вы намерены поступить?

— Прикажу никуда от меня не отлучаться; зачем ему паука? Не сегодня-завтра все мы умрем, мудрецы умирают равно как и невежды... Главное, прожить жизнь тихо-мирно.

И добрая женщина вздохнула, подняв глаза к небу.

— А я, — сурово произнесла капитанша Мария, — если бы я была так богата, как вы, то разрешила бы своим сыновьям путешествовать: они молоды и должны когда-нибудь стать людьми... Самой-то мне недолго осталось жить, увижусь с ними в иной жизни... Дети должны стараться стать чем-то большим, чем их родители, а мы, оё-кая их, не даем им мужать.

— Ах, какие у вас страшные мысли! — с ужасом воскликнула капитанша Тинай, молитвенно складывая руки. — словно вы не родили в муках ваших близнецов!

— Именно потому, что я родила их в муках, вырастила и воспитала, несмотря на нашу бедность, я не хочу, чтобы после стольких стараний, которые так дорого мне обошлись, они остались бы жалкими недоучками...

— Мне кажется, вы не любите своих детей так, как велит бог! — сказала назидательным тоном сестра Руфа.

— Простите, каждая мать любит своих детей по-своему: одни любят их для себя, другие — следуя чувству долга, а третьи — ради самих детей. Я принадлежу к последним; так учил меня мой муж.

— Все ваши мысли, капитанша Мария, — заметила Руфа правоучительно, — не очень благочестивы; вам бы стать сестрой святого Франциска, святой Риты или святой Клары!

— Сестра Руфа, когда я стану достойной сестрой людям, я постараюсь стать сестрой святым, — ответила та с улыбкой.

Чтобы закончить эту главу о пересудах и хоть немного познакомить читателей с тем, что думали о случившемся простые крестьяне, мы пойдем на площадь, где под навесом беседуют некоторые из них, и найдем там нашего знакомого, того, что превозносит жизнь докторов.

— А больше всего жалко,— говорил он,— что школу теперь уже не достроят!

— Как?! Почему?! — с любопытством вопрошали окружающие.

— Не быть моему сыну доктором, придется ему быть извозчиком! Все, конец! Погибла школа!

— Кто сказал, что школа погибла? — спросил дюжий крестьянин со скуластым лицом и плоским черепом.

— Я! Нет больше школы! Белые отцы называли дона Крисостома «плибастером»¹.

Все недоуменно переглянулись. Это слово они слышали впервые.

— Ругательство, что ли, какое? — отважился наконец спросить скуластый крестьянин.

— Самое худшее слово из всех, какие один христианин может сказать другому!

— Хуже, чем «тарантадо»² и «сарагате»?³

— Ну, уж не хуже, чем «индеец», как бранится альферес.

Тот, чей сын должен был стать теперь извозчиком, помрачнел; другой почесал затылок и задумался.

— Наверно, это все равно что «бетелопора»⁴, как бранится альфересова старуха! Хуже не придумаешь, разве что плюнуть на святые облатки с причастием.

— Нет, это еще страшней, чем плюнуть на святые облатки с причастием в страстной четверг,— мрачно ответил собеседник. — Вы знаете, что такое «испичосо»?⁵ Достаточно так назвать человека, чтобы гражданские гвардейцы из Вилья-Абрилье загнали его к черту на рога или бросили в тюрьму; ну, а «плибастер» гораздо хуже. Телеграфист и писец говорят: «Если христианин, священник или испанец назовут словом «плибастер» другого христианина, — скажем, кого-нибудь из нас, — это все равно что прочесть над кем-нибудь из живых «сантусдеус» или отслужить по нем «реквимитернам»⁶. Если тебя хоть раз назовут «плибастер», можешь исповедоваться и платить долги, — нет тебе другого выхода, как только головой в

¹ Флибустьер (искаж. испанск.).

² Укушенный тарантулом (тагальск.).

³ Дебошир (тагальск.).

⁴ Иди к дьяволу (искаж. испанск.).

⁵ Подозрительный (искаж. испанск.).

⁶ Искж. реквием этернам (лат.) (начальные слова заупокойной службы).

петлю. Ты ведь понимаешь, телеграфист и писец — люди знающие: один разговаривает с проводами, а другой пером строчит да болтает по-испански — и ничем больше не занимается.

Всех охватил ужас.

— Пусть меня заставят носить башмаки и всю жизнь пить эту кобылью мочу, которую называют «пивом», если я хоть раз дам назвать себя «плибастером»! — поклялся один крестьянин. — Был бы я богат, как дон Крисостомо, знал бы испанский язык, как он, да мог бы управляться с ножом и ложкой, чихал бы я на всех священников!

— Как увижу первого служаку, который кур воровать будет, назову его «палабистером»... а потом пойду и исповедаюсь! — пробурчал тихо кто-то из крестьян и пошел прочь.

XXXVI

ПЕРВАЯ ТУЧА

В доме капитана Тьяго парило не меньшее смятение, чем в умах простонародья. Мария-Клара только и знала, что плакала, не слушая утешений тетушки и Анденг, своей молочной сестры. Отец запретил ей разговаривать с Ибаррой до тех пор, пока святые отцы не простят его.

Капитана Тьяго, занятого приготовлениями к достойной встрече генерал-губернатора, вдруг вызвали в монастырь.

— Не плачь, доченька, — говорила тетушка Исабель, протирая замшей сверкающие зеркала. — Его опять приобщат к церкви, напишут святому пане, мы сделаем хорошее подношение... Ведь отец Дамасо всего-навсего упал в обморок, он же не умер!

— Не плачь! — тихонько говорила Марии-Кларе Анденг. — Уж я постараюсь, чтобы ты с ним увиделась: для чего тогда исповедальни, если не грешить? Все простится, как покаешься священнику!

Наконец капитан Тьяго вернулся. Женщины пытались прочесть на его лице ответ на многие вопросы, но лицо капитана выражало одно уныние. Беднягу даже пот прошиб; он вытирал рукой мокрый лоб и не мог вымолвить ни слова.

— Что с тобой, Сантьяго? — тревожно допытывалась тетушка Исабель.

В ответ он только вздохнул, смахнув слезу.

— Ради бога, говори! Что случилось?

— То, чего я боялся! — простонал он, чуть не плача. — Все пропало! Отец Дамасо велит расторгнуть помолвку, — иначе быть мне проклятым и в этой и в иной жизни! Все твердят то же самое, даже отец Сибилла! Надо, мол, закрыть перед ним двери моего дома и... Но я ведь должен ему большие пятидесяти тысяч песо! Я сказал об этом святым отцам, а те и ухом не повели. Что хочешь потерять — пятьдесят тысяч песо или свою бессмертную душу? Ох, святой Антоний! Если бы я только знал!

Мария-Клара рыдала.

— Не плачь, дочь моя, — прибавил он, обращаясь к ней, — не пошла ты в свою мать, та никогда не плакала, разве только случайно... Отец Дамасо сказал мне, что из Испании приехал один его родственник... он его в женихи тебе прочит...

Мария-Клара заткнула уши.

— Ты что, сиятил, Сантьяго? — прикрикнула на него тетушка Исабель. — Нашел время говорить про другого! Ты думаешь, твоя дочка меняет женихов, как рубашки?

— Я понимаю, Исабель, дон Крисостомо богат, а испанцы жепятся только из любви к деньгам. Но чего ты от меня хочешь? Мне тоже пригрозили отлучением, сказали, что я подвергаю большой опасности не только душу, но и тело. Тело, слышишь? Тело!

— Но ты только терзаешь сердце своей дочери! Разве архиепископ не друг тебе? Почему ты ему не панишешь?

— Архиепископ тоже монах, архиепископ делает только то, что ему подскажут монахи. Ну, не плачь, Марья. Приедет генерал-губернатор, захочет увидеть тебя, а ты явишься с красными глазами... Эх, я-то думал приятно провести сегодняшний вечер! Если бы не эта беда, я был бы самым счастли-



вым человеком на свете, всем на зависть... Успокойся, дочь моя; мне гораздо тяжелее, но я не плачу! У тебя будет другой жених, получше прежнего, а я, я теряю пятьдесят тысяч песо! Ох, пресвятая дева Антипольская, хоть бы уж сегодня вечером мне повезло!

Ружейная пальба, стук колес, цокот лошадиных копыт, громкие звуки королевского марша возвестили о прибытии его превосходительства генерал-губернатора Филиппинских островов. Мария-Клара спряталась в своей спальне. Бедная девушка! Сердцем твоим играют грубые люди, которым неведомы нежные чувства.

В то время как дом наполнился людьми и повсюду слышались гулкие шаги, приказания, звон сабель и шпор, молодая девушка в горе преклонила колена перед образом пречистой девы, лицо которой выражало такую скорбь и страдание, — подобное мог написать один Деларош*, — словно она только что вернулась с могилы сына.

Но Мария-Клара не думала о горе богоматери, она думала о своей собственной беде. Покинутая голова, безжизненно повисшие руки придавали ей сходство с лилией, сломленной ветром. Давние сладостные мечты о будущем, — смутные в детстве и принявшие ясные очертания в девические годы, — стали частью ее существа; и вот теперь одно лишь слово должно было изгнать их из ее ума и сердца! Не так-то легко унять боль в груди, погасить свет надежд!

Мария-Клара была столь же доброй, благочестивой христианкой, сколь и любящей дочерью. Ее повергло в страх не только отлучение жениха от церкви: приказ отца и нависшая над ним опасность требовали, чтобы ее любовь была припесена в жертву. И она внезапно ощутила всю силу своего чувства, о которой ранее не подозревала. До тех пор река спокойно несла свои воды; чудесные цветы усыпали ее берега, и чистый песок устилал ее русло; ветерок почти не рябил водную гладь; и вдруг будто грозные скалы преградили путь водам, огромные деревья упали поперек русла, закрыв проход. О, тогда река зашумела, забушевала, вскипела волнами, затрясла плетом пены, пробила скалы и устремилась в пропасть!

Мария-Клара пыталась молиться, но разве в отчаянии можно молиться? Мы молимся, когда питаем надежду, а если уж ни на что не надеемся, то обращаемся к богу с одними лишь жалобами.

«Господи! — стесало ее сердце. — Зачем так карать человека, зачем отказывать ему в любви других людей? Ты ведь не отнимаешь у него ни свое солнце, ни свой воздух, позволяешь ему смотреть на свое небо, так почему же ты отнимаешь у него любовь? Ведь без неба, без воздуха и без солнца можно жить, а без любви — нет!»

Дойдут ли до трона господня эти вопли, которых не слышат люди? Услышит ли их мать всех обездоленных?

Бедная девушка! Она не знала своей родной матери и решилась поверить горести, причиненные земной страстью, чистейшему существу, познавшему лишь дочернюю и материнскую любовь. В своей печали она обратилась к обожествленному образу женщины, к самому возвышенному из идеалов человечества, к этому поэтическому созданию христианства, соединившему в себе два прекраснейших облика женщины — девы и матери, — к этому существу, которое не извело страданий любви и которое мы зовем Марией.

— Мама, мама, — стонала девушка.

Пришла тетупка Исабель, боявшаяся оставлять ее наедине с горем. Приехали, сказала старушка, знакомые дамы, и генерал-губернатор желает говорить с нею.

— Тетя, скажите им, что я больна! — в ужасе умоляла Мария-Клара. — Меня ведь заставят играть на рояле и петь!

— Твой отец уже обещал. Неужто ты желаешь зла своему отцу?

Мария-Клара встала, посмотрела на тетупку, заломила прелестные руки и прошептала:

— О, если бы я...

Но она не окончила фразу и стала одеваться.

XXXVII

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

— Я хочу поговорить с этим юношей! — сказал его превосходительство адъютанту. — Он меня очень заинтересовал.

— За ним уже послали, мой генерал. Но тут один молодой человек из Манилы постоянно просит аудиен-

ции. Мы ему сказали, что у вашего превосходительства нет времени и что вы приехали сюда не аудиенции давать, а посмотреть город и процессию. Однако он ответил, что ваше превосходительство всегда находит время для восстановления справедливости...

Его превосходительство с удивлением взглянул на алькальда.

— Если я не ошибаюсь, — ответил с легким поклоном алькальд, — это тот самый юнец, который сегодня утром поссорился с отцом Дамасо из-за проповеди.

— Опять ссора? Видимо, этот монах задумал возмутить всю провинцию? Может быть, он полагает, что он тут правит? Скажите юноше, пусть войдет!

Его превосходительство нервно ходил по залу из угла в угол.

В прихожей ожидали несколько испанцев, а также военные и представители власти города Сан-Диего и соседних селений; собравшись кучками, они беседовали и спорили. Явились сюда и все монахи, кроме отца Дамасо, желавшие засвидетельствовать свое почтение его превосходительству.

— Его превосходительство генерал-губернатор просит ваши преподобия немного подождать! — сказал адъютант. — Входите, молодой человек!

Манилец, тот самый, который не видел разницы между тагальским языком и греческим, вошел в зал, бледный и трепещущий.

Присутствующие не могли опомниться от изумления: должно быть, его превосходительство сильно разгневался, если заставил монахов ждать. Отец Сибила промолвил:

— Мне не о чем с ним говорить! Я зря теряю здесь время!

— Я того же мнения, — добавил один из августинцев. — Уйдем?

— Не лучше ли нам все-таки узнать, что он думает? — спросил отец Сальви. — Мы к тому же избежали бы скандала и... могли бы напомнить ему... о его долге... по отношению к церкви...

— Ваши преподобия могут войти, если желают! — сказал адъютант, провожая юношу, который не знал греческого; теперь лицо этого юноши сияло от удовольствия.

Брат Сибила вошел первым, за ним шествовали отец Сальви, отец Мануэль-Мартин и другие священники.

Все смиренно поклонились, один только отец Сибила, даже кланяясь, сохранял несколько надменный вид; отец Сальви, напротив, согнулся почти вдвое.

— Кто из вас отец Дамасо? — спросил неожиданно его превосходительство, не пригласив их садиться, не осведомившись об их здоровье, не обратившись к ним с теми почтительными фразами, к каким привыкли эти высокочтимые особы.

— Отца Дамасо нет с нами, сеньор! — ответил почти так же сухо отец Сибила.

— Покорный слуга вашего превосходительства лежит в постели, он болен, — прибавил смиренно отец Сальви. — Мы явились сюда, чтобы приветствовать высокого гостя и узнать о здоровье вашего превосходительства, как подобает всем верным слугам короля и воспитанным людям, а также принести извинения от имени покорного слуги вашего превосходительства, который имеет несчастье...

— О! — прервал генерал-губернатор, раскачивая на одной ножке стул и насмешливо кривя губы. — Если бы у моего превосходительства все слуги были таковы, как отец Дамасо, я предпочел бы сам служить моему превосходительству!

Святые отцы, которые и так уже едва держались на ногах, совсем были сражены этим выпадам.

— Садитесь, ваши преподобия! — прибавил губернатор после паузы немного мягче.

Капитан Тьяго, одетый во фрак, вошел на цыпочках в зал; он вел под руку Марию-Клару, которая дрожала от волнения и страха, но тем не менее изящно и церемонно склонилась перед гостем в поклоне.

— Эта сеньорита ваша дочь? — спросил с изумлением генерал-губернатор.

— А также и вашего превосходительства, мой генерал! — серьезно ответил капитан Тьяго.

Алькальд и адъютанты широко раскрыли глаза, но его превосходительство с невозмутимым видом протянул руку девушке и ласково сказал:

— Счастливы родители, имеющие таких дочерей, как вы, сеньорита. О вас отзываются с уважением и восхищением... Я хотел видеть вас, чтобы поблагодарить за прекрасный поступок, который вы совершили сегодня. Я знаю все и, когда буду писать правительству его вели-

чества, не премину упомянуть о вашем мужественном поведении. А пока позвольте мне, сеньорита, от имени его величества короля, которого я здесь представляю и который любит, когда среди его верноподданных царят *мир и спокойствие*, а также и от собственного имени, от имени отца, имеющего дочерей вашего возраста, выразить вам живейшую благодарность!

— Сеньор! — воскликнула, трепеща, Мария-И́лара.

Его превосходительство угадал, что она хотела сказать, и ответил:

— Очень хорошо, сеньорита, что вы довольствуетесь сознанием совершенного доброго дела и признательностью ваших сограждан: действительно, это лучшая награда, и мы не должны желать большего. Но не лишайте меня счастливой возможности показать, что правосудие умеет не только карать, но и вознаграждать; оно не всегда *слепое*.

Все выделенные курсивом слова были произнесены с особой интонацией, подчеркнуто громким голосом.

— Сеньор дон Хуан Крисостомо Ибарра ждет распоряжений вашего превосходительства, — доложил адъютант.

Мария-И́лара вздрогнула.

— А! — воскликнул генерал-губернатор. — Позвольте мне, сеньорита, сказать вам, что я желал бы еще раз увидеть вас перед отъездом из этого города; мне надо еще сообщить вам нечто очень важное. Сеньор алькальд, прошу вас сопровождать меня на прогулке, которую я хочу совершить пешком после того, как побеседую наедине с сеньором Ибаррой.

— Ваше превосходительство, позвольте предупредить вас, — тихо сказал отец Сальви, — что сеньор Ибарра отлучается...

Его превосходительство решительным жестом прервал священника:

— Я очень доволен, что мне пришлось огорчиться по поводу самочувствия одного лишь отца Дамасо, которому я искренне желаю *полного* выздоровления, ибо в его возрасте не слишком приятно предпринимать *путешествие в Испанию* для восстановления здоровья. Это, однако, зависит от него самого... А пока пусть бог пошлет здоровья вашим преподобиям!

Все удалились из зала.

— Ровно столько же зависит и от вас! — пробурчал, выходя, отец Сальви.

— Еще посмотрим, кто скорей отправится в путешествие, — прибавил другой францисканец.

— Я тотчас уезжаю домой! — воскликнул с досадой отец Сибила.

— И мы тоже поедем в свои провинции! — сказали августинцы.

Монахи были возмущены тем, что по вине одного францисканца его превосходительство принял так холодно их всех.

В прихожей они столкнулись с Ибаррой, у которого пировали несколько часов назад. Святые отцы не удостоили юношу приветствием, только метнули в его сторону многозначительные взгляды.

Алькальд, напротив, раскланялся с ним, когда монахи скрылись из виду, и по-приятельски протянул руку, но появление адъютанта, искавшего Ибарру, помешало разговору.

В дверях Ибарра встретил Марию-Клару; их глаза тоже сказали многое друг другу, но вовсе не то, что читалось в глазах монахов. Ибарра был в глубоком трауре. Он вошел твердым шагом и спокойно поклонился, хотя визит монахов не предвещал ничего доброго.

Генерал-губернатор сделал несколько шагов ему навстречу.

— Мне доставляет большое удовольствие, сеньор Ибарра, познать вам руку. Я хотел бы, чтобы вы отнеслись ко мне с полным доверием.

Его превосходительство в самом деле внимательно и с заметным удовольствием разглядывал юношу.

— Сеньор, вы так добры ко мне!

— Ваше удивление меня обижает, оно означает, что вы не ожидали встретить здесь хороший прием, сомневались в моем справедливом суде!

— Столь радушный прием такого скромного подданного его величества, как я, сеньор, это не дань справедливости, а скорее милость.

— Хорошо, хорошо, — сказал его превосходительство, садясь и указывая гостю на стул. — Давайте побеседуем откровенно. Я очень доволен вашим поведением и уже обратился к правительству его величества с просьбой о

представлений вас к награде за филантропическую идею создать школу... Если бы вы ко мне обратились, я бы с радостью присутствовал на церемонии, и, возможно, это избавило бы вас от неприятностей.

— Моя затея казалась мне настолько малозначительной,— ответил юнопа,— что я не считал себя вправе отвлекать внимание вашего превосходительства от многочисленных дел; кроме того, я почел своим долгом обратиться прежде всего к местным властям провинции.

Его превосходительство кивнул головой с довольным видом и продолжал еще более дружелюбно:

— Что касается неприятности, происшедшей у вас с отцом Дамасо, пусть вас не беспокоят ни опасения, ни угрызения совести. Ни один волос не упадет с вашей головы, пока я управляю островами; а насчет отлучения я поговорю с архиепископом. Мы должны принимать во внимание обстоятельства: здесь нельзя смеяться над некоторыми вещами во всеуслышание, как в Испании или в просвещенной Европе. А в общем, вы должны быть впредь более осторожны. Вы восстановили против себя духовные ордена, которые влиятельны, богаты и потому должны быть уважаемы. Но я окажу вам покровительство, потому что мне нравятся добрые сыновья, мне нравится, когда чтут память отцов. Я тоже любил своих родителей и, бог свидетель, не знаю, что бы сделал на вашем месте...

Внезапно меняя тему разговора, он спросил:

— Мне сказали, что вы приехали из Европы. Вы были в Мадриде?

— Да, сеньор, несколько месяцев.

— Вам, возможно, приходилось слышать о моем семействе?

— Вскоре после отъезда вашего превосходительства я имел честь быть представленным в вашем доме.

— И как же это случилось, что вы явились сюда без всяких рекомендательных писем ко мне?

— Сеньор,— отвечал с поклоном Ибарра,— я приехал не прямо из Испании и к тому же, зная по рассказам ваш нрав, подумал, что рекомендательное письмо будет не только ненужным, но даже оскорбительным: мы, филиппинцы, и так все вам рекомендованы.

Улыбка промелькнула на губах старого воина, он медленно заговорил, будто взвешивая и обдумывая каждое слово:

— Мне льстит, что вы так думаете и... действительно так должно было быть! Однако, молодой человек, вам надо знать, как много обязанностей возложено на наши плечи на Филиппинах. Здесь мы, старые солдаты, должны все уметь делать и быть одновременно королем, министром иностранных дел и военным, министром внутренних дел и финансов, министром сельского хозяйства, юстиции и так далее. И хуже всего то, что по каждому делу мы должны обращаться к далекой матери-родине, которая принимает или отвергает, руководствуясь неизвестно чем, — иногда влепую! — наши проекты. Есть у нас, испанцев, старая поговорка: кто много набрал, мало удержит! А кроме того, мы приезжаем, почти не зная страны, и уезжаем, едва только начинаем узнавать ее. С вами я могу говорить откровенно, и мне незачем приукрашивать положение. Так вот, если в Испании, где дела вершат министры, родившиеся и получившие образование на родине; где есть пресса и общественное мнение; где свободная оппозиция на многое раскрывает глаза правительству и многое ему разъясняет, — если даже там, в Испании, все так несовершенно и неблагополучно, то просто чудо, что здесь не идет все кувырком, здесь, где нет упомянутых преимуществ и где существует и втайне строит козни еще более мощная оппозиция. Мы, правители, при всех наших добрых намерениях, вынуждены прибегать к помощи чужих рук и глаз, опираться на людей, которых, как правило, мы не знаем и которые, возможно, вместо того чтобы заботиться о своей стране, заботятся только о собственной выгоде. Винить следует не нас, а обстоятельства; местное духовенство помогает нам разобраться кое в чем, но этого недостаточно...



— Ну ладно, я вижу, что еще не решили! Если не хватает шаферов, с удовольствием буду одним из них. Для того чтобы отделаться от дуриного привкуса, который у меня остался после всех тех свадеб, где я бывал шафером! — добавил он, обращаясь к алькальду.

— Да, сеньор, — ответил капитан Тьяго с жалкой улыбкой.

Ибарра почти бегом бросился к Марии-Кларе: ему надо было столько сказать ей! Он услышал в одной из комнат оживленные голоса и тихо постучал в дверь.

— Кто там? — спросила Мария-Клара.

— Это я!

Голоса умолкли, но дверь... не открылась.

— Это я, можно войти? — спросил юноша, сердце его колотилось.

Никто не ответил ему. Через несколько секунд за дверью послышались легкие шаги, и сквозь замочную скважину прозвенел веселый голосок Синанг:

— Крисостомо, сегодня вечером мы уходим в театр; ты напиши в записке то, что хочешь сказать Марии-Кларе.

Шорох удалявшихся шагов быстро стих.

— Что все это значит? — прошептал задумчиво Ибарра, медленно отходя от двери.

XXXVIII ПРОЦЕССИЯ

Поздно вечером, когда в окнах уже зажглись огни, в четвертый раз потянулась по улицам церковная процессия, сопровождаемая звоном колоколов и взрывами петард.

Генерал-губернатор вышел из дома вместе с двумя адъютантами, капитаном Тьяго, алькальдом, альфересом и Ибаррой. Впереди шли жандармы и представители местных властей, расчищавшие путь. Префект пригласил к себе генерал-губернатора наблюдать процессию и приказал воздвигнуть перед своим домом помост для чтения хвалебной поэмы в честь святого патрона.

Ибарра с удовольствием отказался бы слушать эти поэтические композиции и предпочел бы смотреть на процессию из дома капитана Тьяго, где осталась Мария-Клара с подругами, но его превосходительство пожелал слушать поэму, и юноше пришлось утешиться надеждой, что он увидит свою невесту в театре.

Процессию открывали три клирика в перчатках, несшие серебряные подсвечники. За ними следовали школьники со своим учителем, далее шли мальчики с разноцветными, самой различной формы бумажными фонариками на коротких и длинных, пестро разукрашенных пестках. Иллюминацию устраивали дети. Они с удовольствием выполняли эту обязанность, которую возложил на них староста квартала; каждый мальчик сам придумывал и мастерил свой фонарик, изощряясь в выдумках и украшая его разными побрякушками и флажками, конечно, если в кармане отыскивался на это медный грош. Если у кого-нибудь среди родственников и приятелей оказывался церковный служака, то счастливец водружал свечной огарок в фонарь, другие же покупали красную свечку, какую китайцы ставят перед своими алтарями.

Повсюду шныряли альгуасилы и стражники, следившие за тем, чтобы ряды не ломались и зрители не мешали шествию; блюстители порядка ловко орудовали своими жезлами, раздавая направо и налево довольно ощутимые удары, дабы приумножить величие и пышность процессии, наставить души верующих и придать особый блеск религиозному торжеству.

В то время как альгуасилы бесплатно награждали людей душеспасительными тумками, служки, чтобы утешить пострадавших, раздавали им свечи, тоже даром.

— Сеньор алькальд, — тихо сказал Ибарра, — быют в наказание за грехи или так, ради удовольствия?

— Вы правы, сеньор Ибарра! — ответил генерал-губернатор, услышав его вопрос. — Это... варварское зрелище удивляет всех, кто приезжает сюда из других стран. Следовало бы запретить его.

По неизвестной причине первым из святых несли Иоанна Крестителя. Судя по его виду, этот предшественник Иисуса Христа был не в большом почете у народа; правда, ноги у него были тонкие, как у девушки, и лицо аскетическое, но тащили Крестителя на старых деревянных

носилках, и он едва виднелся за головами мальчишек, шедших впереди с пезажженными бумажными фонарями и исподтишка пинавших друг друга.

— Несчастный! — прошептал философ Тасио, наблюдавший за процессией. — Не помогло тебе то, что ты был провозвестником мессии и сам Иисус склонился пред тобой! Ни к чему твоя великая вера, суровая жизнь, смерть за правду и твои обличения: все это забывается людьми, — ныне ценят лишь собственные заслуги! Лучше читать плохие проповеди в церквах, чем быть дивным гласом вопиющего в пустыне: этому тебя учат Филиппины. Если бы ты ел индейку вместо акрида, если бы одевался в шелка, а не в шкуры, если бы ты вступил в какой-нибудь орден...

Тут старец на миг умолк, — показался святой Франциск.

— Ну, разве я не говорил? — снова зашептал он, саркастически улыбаясь. — Этот вот едет в паланкине и, господи боже, в каком паланкине! Сколько вокруг огней и стеклянных фонарей! Никогда еще я не видел тебя, окруженного таким блеском, Джованни Бернардоне! * А что за музыка! Совсем иное пели твои духовные чада после твоей смерти! Однако, досточтимый, смиренный основоположник, если ты сейчас воскреснешь, то увидишь лишь выродившихся Илий Кортонских *, и если потомки твоих последователей узнают тебя, ты будешь брошен в тюрьму и, быть может, разделишь судьбу Цезаря де Спиры.

За музыкантами плыла хоругвь с изображением этого же святого, но в виде шестикрылого серафима; ее несли братья терциарии, одетые в рясы из гингона и громкими жалобными голосами читавшие молитвы.

Следующей почему-то появилась великолепная статуя святой Марии Магдалины с роскошными волосами: унизанные перстнями пальцы держат кружевной платок, шелковое платье расшито золотом. Вокруг нее сияли огни и дымился ладан, а в стеклянных слезах, катившихся по щекам, отражались разноцветные бенгальские огни, которые придавали шествию фантастический вид. Казалось, святая блудница плачет то зелеными, то красными, то голубыми слезами. Бенгальский огонь начинали зажигать в домах лишь тогда, когда мимо проносили святого Франциска. Иоанн Креститель не устаивался таких почестей, торопился поскорей пройти, устыженный тем, что он один

одет в шкуры среди стольких святых, сверкающих золотом и драгоценными камнями.

— Вот песут нашу святую! — сказала дочь префекта своим гостям. — Для того, чтобы самой попасть на небо, я одолжила ей свои кольца.

Люди с фонарями остановились у помоста, чтобы послушать чтение поэмы, святые сделали то же самое; они или те, кто их тащил, захотели послушать стихи. Державшие Иоанна Предтечу присели на корточки, устав стоять, и решили опустить святого на землю.

— Попадет нам от альгуасила, — заметил один.

— Э, в ризнице-то святой небось и вовсе в углу под паутиной сидит!

И Иоанн Предтеча, очутившись на земле, стал как бы одним из местных жителей.

Вместе с Магдалиной показалась вереница жепщиц. Первыми тут шли не дети, как в процессии мужчин, а старухи. Незамужние девицы замыкали шествие, в самом конце которого двигалась повозка пресвятой девы, а за ней ехал священник под балдахином. Такой обычай ввел отец Дамасо, говоривший: «Пречистой деве по вкусу молодухи, а не старухи». Как ни досадовали многие старые святоши, вкусы святой девы не изменялись.

Святой Диего следовал за Магдалиной, хотя, казалось, это его не очень радовало, — с самого утра, когда ему пришлось идти вслед за святым Франциском, он все хмурился. Его повозку тащили шесть сестер из ордена терциариев, то ли по обету, то ли ради исцеления — неизвестно; факт тот, что они его тащили, и весьма усердно. Святой Диего также остановился у помоста, с которого должны были его приветствовать. Однако пришлось подождать повозку приснодевы, впереди которой шли люди, одетые пугалами и наводившие страх на детей: повсюду слышался плач и писк несмышленных младенцев. Но вот, среди темной массы сутан, капюшонов, веревок и камилавок, под монотонные, гнусавые песнопения, появились, словно бутоны белого жасмина на фоне старого тряпья, двенадцать девочек, одетых в белое, с завитыми волосами, в венках из цветов; их глазки блестели ярче ожерелий. Они казались маленькими феями света в плену у призраков. Девочки шли, держась за две широкие синие ленты, привязанные к повозке святой девы, и напоминали голубков, которые везут колесницу Весны.

Вот уже все святые, тесно прижавшись друг к другу, приготовились слушать стихи. Люди усталились на полураскрытый занавес, и наконец возглас восхищения «а-а-а!» вырвался из всех уст.

Зрелище стояло того: на помосте появился мальчик с крылышками. На нем были дорожные ботфорты, перевязь, пояс и шляпа с перьями.

— Это сеньор старший алькальд! — крикнул кто-то, по небесное создание начало бойко декламировать стихи и ничуть не обиделось за сравнение.

Стоит ли здесь давать перевод того, что читала полатыни, по-тагальски и по-испански — и все одни стихи — эта бедная жертва местного префекта? Наши читатели уже насладились проповедью отца Дамасо сегодняшним утром, и мы не хотим баловать их столькими чудесами сразу. Кроме того, францисканец, пожалуй, станет коситься на нас, если мы найдем ему соперника, а этого-то мы как раз и не хотим, ведь, по счастью, мы люди тихие, мирные.

Затем процессия отправилась дальше: святой Иоанн последовал своим тяжким путем.

Когда мадонна поравнялась с домом капитана Тьяго, до нее донеслось оттуда ангельское пение. Нежный, мелодичный, скорбный голос, словно рыдая, пел «Аве Мария» Гуно, сливаясь со звуками фортепьяно. Музыка в процессии умолкла, бормотание прекратилось, и даже сам отец Сальви остановился. Дивный голос исторгал слезы; в нем звучало не ликование, а мольба, жалоба.

Ибарра услышал этот голос через окно, у которого стоял; смутение и тоска охватили его душу. Он понял, как страдает девушка и что хочет она выразить в песне, но побоялся задать себе вопрос о причине ее скорби.

Генерал-губернатор застал его погруженным в мрачное раздумье.

— Вы составите мне компанию за столом, там поговорим об этих пропавших мальчиках, — сказал он Ибарре.

— Уж не из-за меня ли она страдает? — прошептал юноша, глядя невидящими глазами на его превосходительство и машинально следуя за ним.

ДОНЬЯ КОНСОЛАСЬОН

Почему закрыты окна в доме альфереса? Куда скрылась во время прохождения процессии скуластая физиономия и фланелевая рубаша жапдармской Медузы, то бишь Музы? Неужели донья Консоласьон поняла, как уродлив ее лоб со вздутыми венами, по которым, казалось, течет не кровь, а уксус и желчь; поняла, как отвратительны ее синие губы, облепленные крошками табака, и ее злобный взгляд? Может быть, в порыве великодушия она решила не портить своим нежеланным появлением всеобщее веселье?

Ничуть не бывало! По ее мнению, великодушные порывы существовали только в золотом веке.

В ее доме всегда уныние, потому что народ веселится, как говорила Синапг — ни фопарей, ни флагов. Если бы перед дверью не расхаживал привратник, можно было бы подумать, что дом необитаем.

Слабый свет разливается по неубранному залу, с трудом проникая снаружи сквозь грязные раковины*, затянутые паутиной и инкрустированные пылью. Хозяйка дома, не изменяя своей привычке сидеть сложа руки, дремлет в широком кресле. Одета она, как обычно, то есть плохо и очень неряшливо: на голове платок, из-под которого выбиваются прядки жидких, спутанных волос; голубая фланелевая рубашка надета поверх пижмы, которая была когда-то белой, а выцветшая юбка натянута на плоские толстые бедра. Одна нога, закинута на другую, подрагивает. Из рта вырываются клубы дыма: с усталым видом она время от времени пускает их в пространство, куда устремляется ее взор, когда она открывает глаза. Если бы в эту минуту супругу альфереса увидел дон Франсиско де Каньямаке*, он принял бы ее за деревенского касика* или за манкукулям и описал бы затем сие открытие цветистым языком торговца, изобретенным им для своего личного пользования.

В то утро сеньоре не довелось слушать мессу, — не потому, что она не желала этого, напротив, ей хотелось показаться на людях и послушать проповедь, но ее не пустил супруг. Запрещение сопровождалось, как обычно, крепкими ругательствами, проклятиями и угрозой прибить. Альферес понимал, что его половина одевается

людям на потеху, что от нее, как говорят тут, за милую разит «солдатской девкой» и что ее вовсе не следует показывать представителям высшей власти или чужеземцам.

Но она толковала это иначе. Ей было доподлинно известно, что она красива, привлекательна, что поступь у нее царственная и одевается она куда лучше и роскошнее, чем сама Мария-Клара, которая носит скромные платья, и в сравнение не идущие с ее пышными юбками. Альфересу приходилось осаживать ее: «Или ты заткнешься, или вылетит кубарем к... своим сородичам!»

Донья Консоласьон не хотела вылетать кубарем к своим сородичам, но затаила мысль о мести.

Мрачная физиономия этой дамы никогда и никому не внушала доверия, даже если она подрумянивалась, по нынешним утром сеньора просто приводила всех в трепет, особенно тех, кто видел, как она мечется по дому, не говоря ни слова, будто замышляя что-то страшное, подлое. Взгляд у нее, как у змеи, которую прижали к земле и вот-вот придавят: холодный, сверкающий, пронзительный и в то же время какой-то липкий, злобный и жестокий.

Достаточно малейшего промаха, самого незначительного шума, чтобы она разразилась площадной бранью, оскорбляющей душу. Однако отвечать надо полным молчанием: оправдываться — значит совершить новое преступление.

Так прошел день. Не видя никого, кто осмелился бы ей перечить — муж был приглашен на праздник, — она исходила желчью: казалось, все клеточки ее организма наэлектризованы и каждую минуту можно было ждать взрыва, дикой вспышки. Все перед ней склонялось, как колосья под ветром, предвещающим бурю; она не встречала сопротивления, не могла найти никакой зацепки или неполадки, чтобы сорвать злость; слуги и солдаты ходили вокруг нее на цыпочках.

Чтобы не слышать праздничного ликования, она распорядилась закрыть окна и приказала привратнику никого не впускать. Словно боясь, что голова ее может лопнуть, она повязалась платком и, хотя солнце еще сияло всюду, велела зажечь лампы.

Как мы знаем, Сиса была арестована за нарушение общественного порядка и доставлена в тюрьму. Альферес в ту пору отсутствовал, и несчастная провела ночь на

скамье, глядя перед собой невидящими глазами. На следующее утро альферес заметил арестантку. Побоявшись выпустить ее в праздничные дни, чтобы не испортить торжества столь неприятным зрелищем, он приказал солдатам охранять ее, обращаться с ней помягче и давать есть. Так провела безумная два дня.

В этот вечер, то ли потому, что из находившегося по соседству дома капитана Тьяго до нее донеслось грустное пение Марии-Клары, то ли какие-то другие мелодии напомнили ей песни ее молодости, — Сиса тоже начала напевать прежним, печальным голосом кундимапы. Гражданские гвардейцы слушали ее молча: эти песни воскрешали в них давние воспоминания, память о тех временах, когда они еще были порядочными людьми.

Донья Консоласьон, томившаяся от скуки, тоже услышала пение и спросила, кто поет.

— Пусть сейчас же поднимется ко мне! — распорядилась она, немного подумав. Нечто вроде улыбки промелькнуло на ее сухих губах.

Привели Сису. Она вошла без всякого смущения, не выказывая ни удивления, ни страха: казалось, она не видит перед собой сеньоры. Это задело тщеславие жандармской Музы, которой правилось внушать почтение и страх.

Супруга альфереса кашлянула, сделала знак солдатам, чтобы они удалились, и, снимая с гвоздя хлыст своего мужа, мрачно сказала сумасшедшей:

— Ну-ка, магкантур икау! ¹

Сиса, конечно, не поняла ее, и подобное невежество несколько умерило гнев сеньоры.

Одним из восхитительных качеств этой дамы было стремление забыть тагальский язык или по крайней мере делать вид, будто она его не знает; варварски коверкая слова, она, по ее мнению, походила на настоящую «орфейку» ². Что и говорить, этого сходства она могла достигнуть, только искажая тагальский, ибо испанский язык вовсе не давался ей — ни грамматика, ни произношение. Тщетно старался супруг, ниская в ход стулья и башмаки, научить ее хоть чему-нибудь! Одно из слов, которое доставило ей куда больше мучений, чем Шамполиону* иероглифы, было слово «Филиппины».

¹ Начиная петь! (искаж. тагальск.).

² Искаж. «европейку».

Говорили, что на следующий день после свадьбы, беседуя с мужем, который был тогда лишь капралом, она сказала «Филиппины». Капрал считал своим долгом поправить жену и промолвил, наградив ее щелчком: «Надо говорить Филиппины, слышишь? Не будь душой. Разве не знаешь, что название твоей страны идет от племени Фелипе?» Супруга, мечтавшая о радостях медового месяца, повиновалась и произнесла «Фелиппины». Капрал расценил это как некоторый сдвиг и, добавив ей еще пару щелчков, снова потребовал: «Ну-ка, ты что, не можешь произнести слово «Фелипе»? Прибавь «ны», по-латыни это означает «острова индейцев», и у тебя получится название твоей страны».

Консоласьон,— тогда еще простая прачка,— потирая одну, а может, и две шишки на голове, повторяла, уже теряя терпение:

— Фел...липе, Фелипе...ны, Фелиппены, так годится?

Кaprал обомлел. Почему же вышло «Фелиппены» вместо «Фелиппины»? Одно из двух: либо надо говорить «Фелиппены», либо «Фелиппи», а не «Фелипе»?..

В тот день он предпочел промолчать, оставил в покое жену и пошел рыться в книгах. Тут его изумление достигло предела, он протер глаза: «Вот так штука!» Во всех книгах, которые он с усердием разбирал по складам, стояло: «Филиппины». Значит, оба не правы: и он и жена.

— Как же так? — бормотал он. — Разве история может врать? Ведь в этой книжке говорится, что Алонсо Сааведра * дал это имя стране в честь инфанта дона Фелипе? Почему же испортили его имя? Неужто этот Алонсо Сааведра был туземцем?..

Он обратился со своими сомнениями к сержанту Гомесу, который в юности собирался стать священником. Тот, не удостоив его взглядом, выпустил изо рта струйку дыма и ответил с величайшей важностью:

— В старые времена говорили не Фелипе, а Филиппи; мы же теперь офранцузились и не можем выносить двух «и» подряд. Потому образованные люди,—прежде всего в Мадриде,— ты не был в Мадриде,— образованные люди, повторяю, уже начали говорить так: «министр, везит». Это называется идти в ногу с современностью.

Бедный капрал не бывал в Мадриде, а потому не знал этих тонкостей. Чему только не научишься в Мадриде!

— Так, значит, теперь надо говорить...

— По-старинному, приятель! Этой стране далеко еще до настоящей культуры; по-старинному: Филиппины! — ответил Гомес с презрительной гримасой.

Если капрал был плохим филологом, он был зато хорошим мужем: то, что узнавал сам, тотчас вдалбливал своей жене, и обучение продолжалось.

— Консола, как ты зовешь свою ср... страну?

— Как же ее звать? Как ты учил: «Фелифены».

— Я запущу в тебя стулом, дура! Вчера ты произносила куда лучше, по-современному, но теперь надо произносить по-старинному! Фели... то есть Филиппины!

— Ишь что выдумал! Разве я старуха?

— Все равно! Говори Филиппины!

— А вот и не хочу по-старинному! Я тебе не развалина какая-нибудь... и тридцати годов не минуло, — отвечала она, засучивая рукава, словно готовясь к бою.

— Говори, шлюха, или я тресну тебя стулом!

Консолой поняла серьезность его намерений и, одумавшись, забормотала, тяжело дыша:

— Фели... Феле... Филе...

Бум! Трах-тарарах! Грохот не дал ей закончить слово.

И урок завершился побоями, царапинами, пощечинами. Капрал схватил ее за волосы, она его — за бороду и за кое-что другое. Кусаться она не могла: все зубы шатались. Капрал издал вошь, отпустил ее, потом попросил прощения. По щеке у него струилась кровь, один глаз побагровел. У нее перекутилась рубаха, некоторые выпуклости тела вышли из своих укрытий, но слово «Филиппины» так и не вышло.

Подобные происшествия случались всякий раз, когда речь заходила о языке. Капрал, наблюдая лингвистические успехи супруги, с болью в сердце пришел к выводу, что лет через десять она вовсе разучится говорить. Действительно, так и случилось. Когда они поженились, она еще понимала по-тагальски и старалась говорить по-испански. Но к тому времени, о котором мы повествуем, она уже почти не говорила ни на одном из этих языков, зато так пристрастилась изъясняться жестами, причем самыми резкими и размашистыми, что дала бы сто очков вперед изобретателю волаюка.

Итак, Сиса, к счастью, не поняла ее слов. Насупленные брови хозяйки расправились, довольная улыбка оза-

рила лицо — нет сомнения, раз ее не понимают по-тагальски, значит, она уже «орофейка».

— Денщик, скажи ей по-тагальски, чтобы пела! Девка меня не понимает, она не знает испанского языка!

Безумная поняла приказ денщика и запела «Песню ночи».

Донья Консоласьон сперва слушала, ухмыляясь, но постепенно усмешка сходилa с ее губ, она стала слушать внимательней, сделалась серьезной и даже задумчивой. Голос, слова песни и само пение взволновали ее: быть может, это выжженное, сухое сердце жаждало дождя. Ей были понятны слова кундимана: «Грусть, холод и влага спускаются с неба, обернутые покрывалом ночи». Ей казалось, что все это спускается на ее сердце. «Цветок, что днем расцветал, красивый и нежный, ждущий привета, преисполненный гордости, к ночи блекнет и вянет от тоски и разочарования. Он устремляет к небу сморщенные лепестки, прося немного тени, чтобы навеки скрыться, уберечься от насмешек света, который любовался его цветеньем пышным, не замечая его пустой гордыни; он просит капельку росы, чтобы она слезой с него скатилась. Почная птица покидает свою обитель, дупло в старом стволе, и взмахи крыльев нарушают тихую дремоту леса...»

— Хватит, довольно петь! — воскликнула, вскочив с места, супруга альфереса на безукоризненном тагальском языке. — Замолчи! Эта песня разрывает мне душу!

Безумная умолкла, денщик воскликнул: «Ой-ой, сеньора говорит по-тагальски!» — и уставился на хозяйку восхищенным взором.

Та поняла, что выдала себя, и устыдилась, а так как она обладала отнюдь не женственной натурой, ее смущенье обернулось яростью и бешенством. Она выгнала вон неосторожного слугу и ударом поги захлопнула за ним дверь. Потом забегала по комнате, судорожно сжимая хлыст в жилистой руке, и вдруг, остановившись перед безумной, сказала ей по-испански:

— Танцуй!

Сиса не шевельнулась.

— Танцуй, говорю, танцуй! — повторила она с угрозой.

Безумная смотрела на нее отсутствующими, стеклянными глазами. Сеньора дернула ее за одну руку, потом

за другую — напрасно, Сиса не понимала. Тогда донья Консоласьон стала прыгать, изгибаться, стараясь заставить безумную подражать ей. Издали послышалась музыка, сопровождавшая процессию, зазвучал суровый, торжественный марш, но сеньора яростно скакала по комнате, следуя другому ритму, другой музыке, звучащей в ее душе. Сиса, не двигаясь, смотрела на нее: что-то вроде любопытства засветилось в ее взоре, и слабая улыбка заиграла на бледных губах: ей нравились танцы сеньоры.

Супруга альфереса внезапно остановилась, словно устыдившись, подняла хлыст, страшный хлыст, хорошо известный ворами и солдатам, сделанный в Уланго и усовершенствованный альфересом, который впледел в него колючую проволоку, и сказала:

— А теперь танцуй ты, ну, танцуй!

И она легонько прошлась хлыстом по голым ногам сумасшедшей. Лицо Сисы исказилось от боли, она подняла руки, защищаясь.

— Ага, заплесала! — воскликнула с дикой радостью сеньора, и ее хлыст перешел от *lento* к *allegro vivace*.

Сиса вскрикнула от боли и отдернула ногу.

— Ты будешь танцевать, ты, шлюха?..

Хлыст со свистом рассекал воздух.

Сиса упала на пол и прикрыла колени руками, обратив к своей мучительнице помутившийся взор. Удар, рассекающий кожу на плече, заставил ее вскочить. Несчастная закричала, вернее, страшно завывала. Ее тонкая рубашка разорвалась, спина кровоточила.

Вид крови разъяряет тигра. Кровь жертвы пробудила зверя в донье Консоласьон.

— Танцуй, проклятая, танцуй! Горе матери, породившей тебя! — кричала она. — Танцуй, не то я забью тебя насмерть!

Затем, схватив Сису одной рукой и продолжая хлестать ее другой, сама пустилась в пляс.

Безумная поняла наконец, чего от нее хотят, и последовала за сеньорой, неуклюже взмахивая руками. На губах ее наставницы заиграла довольная усмешка, усмешка мефистофеля, которому удалось заполучить достойного ученика. Ненависть, презрение, издевка и жестокость выражались в этой усмешке — взрыв демонического смеха не выразил бы столько чувств.

И вот, всецело поглощенная танцем, донья Консоласьон не заметила, что приехал ее муж. Альферес распахнул дверь сильным ударом ноги и бледный, мрачный вошел в комнату. Увидев, что там происходит, он бросил на жену грозный взгляд, но сеньора не тронулась с места и вызывающе улыбнулась.

Альферес мягко положил руку на плечи странной танцовщицы и заставил ее остановиться. Сумасшедшая вздрогнула и медленно опустилась на пол, забрызганный кровью.

Все молчали. Альферес тяжело дышал; жена вопросительно смотрела на него. Затем она подняла с пола хлыст и спросила мужа тихим, вкрадчивым голосом:

— Что с тобой? Ты не пожелал мне доброго вечера!

Вместо ответа альферес позвал слугу и приказал:

— Уведи эту женщину к себе, да скажи Марте, чтобы сменила ей рубашку и сделала перевязки. Накормите ее и положите в постель. Да смотрите, получше с ней обращайтесь! Завтра ее отвезут в дом сеньора Ибарры.

Он плотно закрыл дверь, запер ее на задвижку и подошел к жене.

— Ты, верно, хочешь, чтобы я убил тебя! — воскликнул он, сжимая кулаки.

— Что с тобой? — спросила она, отступая.

— Что со мной?! — вскричал он громовым голосом, страшно выругался и супул ей под нос лист бумаги, испещренный каракулями. — Не ты ли писала это письмо алькальду, уверяя его, что меня подкупили и потому я, мол, разрешаю азартные игры? А? Не знаю, как я до сих пор не пристукнул тебя!

— Ну-ка! Ну-ка, попробуй! — издевательски захохотала она. — Чтобы меня пристукнуть, надо быть мужчиной, где уж тебе!

Альфереса задело оскорбление, но он увидел хлыст в руках супруги. Схватив со стола тарелку, он швырнул ее в голову доньи Консоласьон; та, привыкшая к подобным схваткам, быстро увернулась, и тарелка, ударившись об стену, разлетелась на куски. Чашку и соусник постигла та же участь.

— Трус, — визжала она, — боишься подойти ближе! — И, чтобы еще больше разозлить его, плюнула ему в лицо.



Альферес обезумел от ярости и, взревев, подскочил к ней, но она с поразительной ловкостью ударила его хлыстом по лицу, со всех ног кинулась в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Мыча от гнева и боли, он устремился за ней, но наткнулся на запертую дверь и разразился бранью.

— Будь проклято все твое потомство, свинья! Открой мне, открой, не то я разможу тебе голову! — рычал он, колотя в дверь руками и ногами.

Супруга не отвечала, слышался лишь грохот передвигаемых стульев и сундуков, возвещавший о том, что она, должно быть, строила баррикаду из мебели. Дом содрогался от ударов и проклятий альфереса.

— Попробуй войти, попробуй, — донесся ее голос. — Только сунься, я застрелю тебя.

Постепенно пыл альфереса остывал; он уже только бегал по комнате, как зверь в клетке.

— Выйди на улицу и остуди голову, — продолжала издеваться над ним женщина, видимо, завершив подготовку к обороне.

— Будь уверена, как доберусь до тебя, сам бог тебе не поможет, старая свинья!

— Ну-ну! Болтай, что хочешь... Не дал мне пойти к мессе! Ты не дал мне исполнить мой христианский долг! — ответила супруга с таким сарказмом, на какой только она была способна.

Альферес надел пляну, привел в порядок одежду и, стуча каблуками, вышел из комнаты, но тут же снял обувь и, бесшумно ступая, вернулся. Слуги, привыкшие к таким стычкам, обычно относились к ним с полным равнодушием, но это новшество с ботинками привлекло их внимание, и они лукаво перемигнулись. Альферес тихо опустился на стул у заветной двери и терпеливо прождал более получаса.

— Ты в самом деле ушел или все еще здесь, старый козел? — время от времени спрашивал голос изнутри, разнобразя эпитеты и повышая тон. Наконец она снова начала передвигать мебель. Он услышал шум и ухмыльнулся.

— Эй, денщик, хозяин ушел? — крикнула донья Консоласьон.

По знаку альфереса денщик ответил:

— Да, сеньора, он ушел.

Она ликуяще захохотала и отодвинула засов. Муж медленно приподнялся, дверь приоткрылась...

Крик, шумное падение тела, проклятья, вопли, ругательства, удары,— кто может знать, что произошло в этой темной спальне?

Войдя в кухню, денщик многозначительно посмотрел на повара, который заметил ему:

— Достанется тебе за это.

— Мне? Всеми городу достанется, это да! А я что? Она ведь только спросила, ушел ли он, а не спросила, вернулся ли обратно!

XL

ПРАВО И СИЛА

Десять часов вечера. Последние петарды лениво взмывают в темное небо, где все еще светятся, подобно каким-то псеводным звездам, бумажные шары, надутые дымом и теплым воздухом. Некоторые из них, снабженные запалом, взрываются, угрожая поджечь дома, и поэтому на крышах стоят люди, вооружившиеся длинными пестами с мокрыми тряпками на концах и ведрами с водой. Темные силуэты смутно вырисовываются на фоне ночного неба, словно призраки, которые явились из межзвездного пространства наблюдать за тем, как веселятся люди. Множество фейерверков самых диковинных форм — колеса, замки, быки, буйволы — было зажжено в этот вечер; по красоте и величию зрелище превзошло все, что видели когда-либо жители Сан-Диего.

Теперь толпы народа устремились к площади, чтобы посмотреть последнее театральное представление. Тут и там вспыхивают бенгальские огни, освещая кучки веселых людей; мальчишки при свете факелов ищут в траве перазорвавшиеся петарды и прочие трофеи, которые еще могут пригодиться. Но вот прозвучала музыка, и все поспешили к театральному помосту.

Огромная сцена ярко освещена. Многочисленные фонарики обвивают столбы, свисают с потолка, усеивают пол. За освещением присматривает альгуасил, и, когда он выходит вперед, чтобы поправить огоньки, толпа начинает свистеть и кричать: «Вот он! Вот он!»

Перед сценой оркестранты настраивают инструменты, что-то паиграывают. Рядом с оркестром открытая ложа, о которой писал корреспондент в своем письме: сановные особы, испанцы и приезжие богачи сидят на расставленных в ряд стульях. Простой народ, люди без титулов и чинов заполняют пространство позади них. Некоторые принесли с собой скамейки не для того, чтобы сидеть, а чтобы взобраться на них. Это вызывает протесты тех, у кого нет скамеек, и нарушителей стаскивают вниз, однако они тут же снова оказываются на скамейках как ни в чем не бывало.

Нескопчаемая суета, восторженные крики, взрывы смеха, шелест серпантина, шипение петард — все сливается в общем шуме. Вот подломилась ножка у одной из скамеек, и те, кто стоял на ней, свалились на землю под хохот толпы. Эти зрители пришли издалека, чтобы посмотреть спектакль, а теперь сами оказались вдруг в центре внимания. Тут ссорятся и спорят из-за мест, там слышится звон разбитого стекла — это Анденг, которая разбросит прохладительные и спиртные напитки, бережно поддерживая обеими руками поднос, наткнулась на своего возлюбленного, и он попытался воспользоваться случаем...

Лейтенант-майор доп Филипо — высший представитель власти в театре, ибо префект предпочитает игру в карты. Доп Филипо беседует со стариком Тасно.

— Что я могу поделать? Алькальд не пожелал принять моей отставки. Он спросил меня: «Разве у вас не хватает власти для выполнения ваших обязанностей?»

— Что же вы ему ответили?

— «Сеньор алькальд, — ответил я, — как ни мала власть лейтенант-майора, опа, подобно всякой иной власти, дается свыше. Король получает власть от народа, а народ — от бога. Да, именно ее мне не хватает, сеньор алькальд». Но он и слушать не захотел, сказав, что можно побеседовать об этом после праздника.

— Да поможет вам бог, — сказал старик, собираясь уйти.

— Вы не хотите посмотреть представление?

— Благодарю вас, не хочу. У меня у самого голова полна всякого вздора, — ответил мудрый старец, саркастически усмехнувшись. — Но позвольте спросить вас — не случалось ли вам задумываться над характером нашего

народа? Мы народ мирный, но любим воинственные представления и кровавые бои; мы демократичны, но обожаем императоров, королей и принцев; мы не религиозны, но разоряемся на пышные церковные празднества. Наши женщины, мягкие по натуре, приходят в неистовый восторг, когда видят, как принцесса потрясает копьём. Знаете, с чем это связано? Вот с чем...

Приход Марии-Клары и ее друзей положил конец разговору. Дон Филиппо встретил их и провел на отведенные для них места. Вскоре явился отец Сальви с еще одним францисканцем и несколькими испанцами. За монахами следовало несколько горожан, вменивших себе в обязанность повсюду сопровождать святых отцов.

— Да вознаградит их господь и в жизни ипой, — пробормотал старик Тасио, уходя прочь.

Спектакль начался выступлением Чананай и Марианито в сценке «Криспино и кума». Все, затаив дыхание, смотрели и слушали, один отец Сальви, казалось, припел сюда только для того, чтобы глядеть на Марию-Клару. Печаль сообщила ее прелестному облику красоту, столь возвышенную и неземную, что легко было понять, почему на нее смотрят с восхищением. Но глаза францисканца, ввалившиеся и воспаленные, не выражали восхищения. В его мрачном взгляде читалось безнадежное отчаяние, — такими глазами, должно быть, Каин издали взирал на рай, прелести которого ему рисовала его мать!

Первая пьеса уже закончилась, когда вошел Ибарра. Его появление вызвало ропот в зале. Внимание зрителей сосредоточилось на нем и на священнике. Но молодой человек, казалось, ничего не замечал, он спокойно поздоровался с Марией-Кларой и ее подругами и сел подле них.

Одна только Синанг заговорила с ним.

— Вы видели фейерверк? — спросила она.

— Нет, дружок, мне пришлось уехать с генерал-губернатором.

— Ох, какая жалость! С нами был падре, и он рассказывал нам истории об осужденных на муки грешниках. Вообразите! Пугать нас, чтобы мы не могли веселиться! Нет, вы только вообразите!

Священник встал и подошел к дону Филиппо, с которым у него, видимо, завязался бурный спор. Первый говорил возбужденно, второй — спокойно, вполголоса.

— Весьма сожалею, но я не могу уступить вашему преподобию, — говорил дон Филипо. — Сеньор Ибарра — один из наших самых видных жертвователей, и он имеет право быть здесь, если только не нарушает порядка.

— Но разве смущать своим присутствием добрых христиан — это не нарушение порядка? Все равно что пустить волка в овчарню! Вы ответите за это перед богом и властями!

— Я всегда отвечаю за действия, которые совершаю по собственной воле, падре, — ответил дон Филипо, слегка поклонившись. — Но моя весьма ограниченная власть не дает мне права вмешиваться в дела религии. Те, кто хочет избежать общения с сеньором Ибаррой, не должны к нему обращаться: он никому не навязывается.

— Но опасность этим не устраняется, а тот, кто ищет опасности, погибает.

— Я не вижу никакой опасности, падре. Алькальд и генерал-губернатор, мои начальники, беседовали с ним весь день, и не мое дело поучать их.

— Если вы не выведете отсюда его, уйдем мы.

— Очень сожалею, но я никого не могу вывести.

Священник тотчас же раскаялся в своей угрозе, но отступить было поздно, поэтому он кивнул своему спутнику, который с сожалением покинул свое место, и оба удалились. Некоторые последовали их примеру, бросая на Ибарру взгляды, полные ненависти.

В публике усилился ропот, слышались возгласы возмущения. Многие подходили к молодому человеку и говорили.

— Мы не оставим вас, не обращайтесь на них внимания.

— На кого это «на них»? — спросил удивленный Ибарра.

— На тех, что ушли, чтобы не встречаться с вами.

— Ушли, чтобы не встречаться со мной?

— Да, они говорят, что вас отлучили от церкви.

Юноша онемел от изумления. Он оглянулся и увидел, что Мария-Клара прикрыла лицо веером.

— Но разве это возможно? — воскликнул он наконец. — Разве мы живем в средние века? Хорошо же...

Он подошел к молодым девушкам и уже другим тоном сказал:

— Извините, я совсем забыл, что у меня деловое свидание. Я скоро вернусь и провожу вас домой.

— Оставайтесь, — сказала Синанг. — Еенг будет танцевать «ла каландрия». Она чудесно танцует.

— Не могу, дружок, но я вернусь.

Шум нарастал.

На сцене появилась Еенг в красочном паряде и сказала: «Вы позволите?» Карвахаль ответил ей: «Выходите, пожалуйста». В это время два жандарма подошли к доцу Филипо и попросили его прекратить представление.

— Почему? — удивленно спросил лейтенант-майор.

— Потому что альферес и его супруга подрались, и теперь не могут уснуть.

— Скажи альфересу, что у нас есть разрешение старшего алькальда и никто в городе не имеет права его отменить, даже сам префект, а он мой единственный начальник.

— Надо прекратить представление! — повторили гражданские гвардейцы.

Дон Филипо повернулся к ним спиной, и они удалились.

Чтобы не нарушать спокойствия, дон Филипо не сказал никому ни слова об этом инциденте.

После отрывка из сарсуэлы, имевшего большой успех, появился принц Вильярдо, он вызывал на бой мавров, взявших в плен его отца. Герой грозил снести им головы одним ударом и забросить их на луну. К счастью для мавров, готовившихся к бою под звуки гимна Риго *, вдруг возникла какая-то суматоха. Оркестранты перестали играть и, побросав инструменты, устремились на сцену.

Храбрый Вильярдо не ожидал нападения с этой стороны; приняв оркестрантов за союзников мавров, он бросил щит и шпагу и пустился наутек. Видя, что грозный христианин бежал, мавры без стеснения последовали его примеру. Послышались крики, возгласы, богохульные ругательства. Люди толкали и давили друг друга, огни погасли, в воздух полетели светильники и другие предметы. «Тулисаны! Тулисаны!» — кричали одни. «Пожар! Разбойники!» — кричали другие. Женщины и дети плакали, скамейки опрокидывались, зрители падали — кругом царил неразбериха, шум стоял невообразимый.

Что же произошло?

Два жандарма накинулись с палками на музыкантов и потребовали прекратить спектакль, однако лейтенант-

майор и местные стражники, вооруженные старыми саблями, сумели утихомирить жандармов.

— Ведите их в суд! — крикнул дон Филипо. — Да смотрите, чтоб не удрали!

Ибарра оглядывался по сторонам, ища Марию-Клару. Насмерть перепуганные девушки, дрожащие и бледные, уцепились за него; тетушка Исабель читала молитвы по-латыни.

Понемногу оправившись от страха и сообразив, что произошло, все страшно возмутились.

Град камней обрушился на двух жандармов, которых вели под конвоем стражники: кто-то предлагал поджечь казарму и спалить донью Консоласьон вместе с альфересом.

— Делать нечего им больше! — вопила какая-то женщина, потрясая кулаками. — Только мутят народ! Одних честных людей и преследуют! Сами они тулисаны и мошенники! Спалить жандармскую казарму!

Кто-то, ощупывая свое плечо, просил, чтобы его исповедали; из-под опрокинутых скамеек неслись жалобные стоны: там лежал один из несчастных музыкантов. На помосте толпились артисты и народ, все громко говорили разом, перебивая друг друга. Чананай в костюме Леопоры из «Трубадура» последними словами честила виновников переполоха, обращаясь к Ратна, одетому школьным учителем; Еенг в шелковой шали стояла рядом с принцем Вильярдо; Бальбино и мавры утешали пострадавших музыкантов *. Несколько испанцев ходили от одних к другим, успокаивая и увещевая.

Группа юношей открыто выражала свое недовольство. Дон Филипо, угадав их намерение, старался удержать их от решительных действий.

— Не нарушайте порядка! — кричал он. — Завтра попросим выолпнить наши требования и обратимся к правосудию! Я отвечаю за то, что суд будет справедливым.

— Нет! — отвечали некоторые. — Так было и в Каламбе *, обещали то же самое, но алькальд ничего не сделал! Мы сами свершим суд! К казарме!

Напрасно убеждал их лейтенант-майор: мятежные призывы звучали все громче. Дон Филипо огляделся вокруг в поисках помощи и увидел Ибарру.

— Сеньор Ибарра, пожалуйста, задержите их, пока я схожу за стражниками!

— Но что я могу сделать? — в изумлении спросил юноша, однако лейтенант-майор был уже далеко.

Ибарра, в свою очередь, оглядел находившихся поблизости людей — на кого он может положиться? По счастью, он заметил Элиаса, который невозмутимо наблюдал за происходящим. Ибарра подбежал к нему, схватил за руки и проговорил по-испански:

— Ради бога! Сделайте что-нибудь, если можете; я тут бессилен!

Рулевой, видимо, понял, — он тотчас же скрылся в толпе.

Послышались горячие споры, восклицания; затем малопомалу толпа начала расходиться, люди несколько успокоились. Это случилось вовремя, ибо показались солдаты с ружьями наперевес.

А что тем временем делал священник?

Отец Сальви не ложился спать. Прижавшись лбом к жалюзи, он неподвижно стоял и смотрел на площадь; иногда из его груди вырывался приглушенный стон. Если бы лампа светила не так тускло, пожалуй, можно было бы увидеть, что глаза его заволакиваются слезами. Так прошел почти час.

Из оцепенения его вывели крики, несшиеся с площади. Он с любопытством наблюдал, как беспорядочно сповали взад и вперед люди. Прибежавший с улицы слуга, с трудом переводя дыхание, сообщил ему, что произошло.

Внезапная мысль мелькнула в уме священника: в суете и неразберихе насильники обычно пользуются пугливостью и слабостью женщин. Все бегут, ища спасения, никто не думает о своих ближних. Крики тонут в шуме, женщины пытаются бежать, падают, страх и ужас заглушают голос целомудрия, и в темноте... и если они попадают в объятия любимого!.. Ему представился Крисостомо, юноша несет на руках лишившуюся чувств Марию-Клару и исчезает в темноте.

Отец Сальви бегом спустился по лестнице и как безумный, без шляпы, без палки, поспешил на площадь.

Он увидел испанцев, бравших солдат, взглянул на те места, где сидела Мария-Клара с подругами, но там уже никого не было.

— Отец священник! Отец священник! — кричали ему вслед испанцы, но отец Сальви, не отвечая, бежал к дому капитана Тьяго. Там он наконец облегченно вздохнул:

в открытом окне, за прозрачной занавеской, виднелись нежный, изящный силуэт Марии-Клары и тень тетушки, несшей чашки и рюмки.

— Прекрасно! -- пробормотал он. — Кажется, она все-го-навсего больна!

Тут тетушка Исабель закрыла окно, и дивный силуэт исчез.

Священник пошел прочь, не замечая людей. Ему грезились прекрасная девичья грудь, тихо вздымающаяся во сне; веки, затененные длинными, красиво изогнутыми ресницами, как у мадонн Рафаэля; маленький улыбающийся рот, лицо, дышащее целомудрием, чистотой, невинностью, — сладостное видение на фоне белых покрывал постели, словно головка херувима среди облаков.

В его воображении рисовались и другие картины... Но кто в состоянии описать все причудливые грезы разгоряченного ума? Может быть, только корреспондент, который закончил описание праздника и событий этого дня следующим образом: «Тысячу раз возблагодарим его, принесем бесконечную нашу благодарность преподобному отцу Бернардо Сальви за своевременное и деятельное вмешательство. Презирая опасность, он появился среди разъяренного народа, без шляпы, без палки, и утихомирил его гнев одними своими проникновенными словами, своим величием и авторитетом, присущим священнослужителю истинной религии. Добродетельный служитель бога, он с беспримерной самоотверженностью отказался от радостей сна, каковыми наслаждаются подобные ему люди с чистой совестью, дабы оградить свою паству от малейшего несчастья. Жители Сан-Диего не забудут, конечно, этого великодушного поступка своего героического пастыря и будут благодарны ему на веки вечные».

XLI

ДВА ПОСЕТИТЕЛЯ

Тревожное состояние духа мешало Ибарре уснуть. Чтобы немного рассеяться и отогнать грустные мысли, особенно одолевающие ночью, он сел работать в своем уединенном кабинете. Утро застало его за пробирками и колбами. Он измельчал стебли тростника и других расте-

ний и, подвергнув их воздействию разных веществ, помещал в пронумерованные флаконы, которые затем запечатывал сургучом.

Вошел слуга и доложил о приходе какого-то крестьянина.

— Пусть войдет, — сказал Ибарра, не поднимая головы.

В дверях показался Элиас и молча остановился на пороге.

— А! Это вы? — воскликнул Ибарра по-тагалски, узнав его. — Извините, что заставил вас ждать, я не слышал — ставил один очень важный опыт...

— Я не хочу вас отвлекать, — ответил Рулевой, — я пришел, чтобы узнать, не надо ли вам чего в провинции Батангас, куда я сейчас отправлюсь, а также, чтобы сообщить вам дурную весть...

Ибарра вопросительно взглянул на него.

— Дочь капитана Тьяго больна, — спокойно продолжал Элиас, — но не серьезно.

— Я этого опасался, — пробормотал Ибарра еле слышно. — Вы не знаете, что у нее?

— Лихорадка! А теперь, если у вас нет поручений...

— Спасибо, мой друг, желаю вам счастливого пути... Но прежде позвольте мне задать вам один вопрос; если он покажется вам нескромным, не отвечайте.

Элиас поклонился.

— Как вам удалось вчера успокоить бунтовщиков? — спросил Ибарра, пристально глядя на него.

— Очень просто! — ответил Элиас совершенно спокойно. — Те двое, что призывали к восстанию, — братья, отец их погиб, забитый насмерть жандармами. Однажды мне удалось вырвать этих братьев из тех же рук, что погубили их отца, и они оба благодарны мне за это. К ним я обратился вчера вечером, и они быстро уговорили толпу разойтись.

— Но эти два брата, чей отец убит...

— Кончат так же, как их отец, — тихо ответил Элиас. — Если несчастье однажды коснулось семьи, все ее члены должны погибнуть: когда молния поражает дерево, оно все обращается в пепел.

И Элиас, видя, что Ибарра не отвечает, откланялся.

Юноша в присутствии Рулевого крепился, а оставшись один, потерял самообладание, лицо его исказилось от боли.



— Это я ее так терзаю, я! — прошептал Ибарра.

Он быстро оделся и сбежал вниз по лестнице. Когда он переступил порог, перед ним вырос какой-то человек в трауре, с большим пирамом на левой щеке и смиренно поклонился ему.

— Что вам угодно? — спросил его Ибарра.

— Сеньор, меня зовут Лукас, я брат того мастера, который погиб вчера.

— А! Весьма соболезную... И что же?

— Сеньор, я хочу знать, сколько вы намерены заплатить семье моего брата?

— Заплатить? — переспросил купопа с невольной досадой. — Поговорим об этом позже. Приходите сегодня вечером, сейчас я очень спешу.

— Скажите все же, сколько вы намерены заплатить? — настаивал Лукас.

— Я сказал вам, что поговорим об этом в другой раз, сейчас мне некогда! — сказал Ибарра, теряя терпение.

— Вам сейчас некогда, сеньор? — с горечью спросил Лукас, преграждая ему путь. — Вам некогда заниматься делами мертвых?

— Приходите сегодня вечером, добрый человек! — повторил Ибарра, еле сдерживаясь. — Я должен сейчас повидать одну больную.

— А! Из-за больной вы пренебрегаете мертвыми? Вы думаете, если мы бедны...

Ибарра метнул на него быстрый взгляд и, оборвав его на полуслове, сказал:

— Не испытывайте моего терпения! — и поспешил своей дорогой.

Лукас глядел ему вслед со злобной усмешкой.

— Сразу видно, что ты внук того, кто испек моего отца на солнце! — процедил он сквозь зубы. — Та же кровь! — И добавил, меняя тон: — Впрочем, если хорошо заплатишь, будем друзьями!

XLII

СУПРУГИ ДЕ ЭСПАДАНЬЯ

Вот и прошел праздник. Как и в прежние годы, жители городка обнаружили, что их кошелек стал легче, что хлопот, трудов, бессонных ночей было много, а развлечений мало, что новых друзей они не приобрели, — одним словом, дорого заплатили за шум и беспокойство. Однако то же самое повторится и через год, и через сто лет, так уж заведено издавна.

В доме капитана Тьяго царит довольно унылое настроение: все окна закрыты, слуги ходят на цыпочках, и только на кухне осмеливаются говорить громко. Мария-Клара, душа семьи, лежит в постели; по поведению домашних можно судить о состоянии ее здоровья, как по лицу человека можно узнать о его душевных переживаниях.

— Как ты думаешь, Исабель, сделать мне подношение кресту в Тунасане или кресту в Матаонге? — спрашивает шепотом опечаленный отец. — Крест в Тунасане растет, зато крест в Матаонге потеет. Какой из них, по-твоему, более чудотворный?

Тетушка Исабель задумывается, качает головой и бормочет:

— Расти... расти — чудо более великое, чем потеть: мы все потеем, но не все растем.

— Что верно, то верно, Исабель, но замечь, ведь потеет... потеет-то простое дерево, из которого делают ножки к скамейкам, а это немалое чудо... Ладно, самое лучшее — поднести дары обоим крестам, ни один из них не будет в обиде, и Мария-Клара быстрее поправится... Комнаты прибраны? Ты ведь знаешь, что с доктором к нам придет незнакомый сеньор, дальний родственник отца Дамасо; надо, чтоб все было в порядке.

В другом конце столовой находятся обе кузины, Синанг и Виктория; они пришли посидеть с больной. Анденг помогает им вытирать серебряный чайный сервиз.

— Ты знакома с доктором Эспаданьей? — с любопытством спрашивает Викторину молочная сестра Марии-Клары.

— Нет! — отвечает та. — Знаю только, что берет он дорого, так говорит капитан Тьяго.

— Значит, умеет лечить! — говорит Анденг. — Тот лекарь, который распорол живот донье Марии, много взял; потому он и считается мудрецом.

— Глупая! — восклицает Спинанг. — Не всякий, кому много платят, мудрец. Помнишь доктора Гевару? Он не сумел принять роды и оторвал голову младенцу, а вдовец все-таки выложил ему пятьдесят песо... Денежки брать мудрости у него хватает.

— А ты откуда про все знаешь? — спрашивает кузина, подтолкнув ее локтем.

— Как же мне не знать? Ведь муж покойной, дровосек, не только потерял жену, но и дома своего лишился, потому что алькальд, приятель доктора, заставил его заплатить... Как же мне не знать? Ведь мой отец одолжил бедняге деньги, чтоб он смог уехать в Санта-Крус...¹

Перед домом остановился экипаж, и разговоры оборвались.

Капитан Тьяго в сопровождении тетупки Исабель спустился бегом по лестнице встретить гостей — доктора дона Тибурсио де Эспаданья, его супругу, докторшу донью Викторину де лос Рейес де Де Эспаданья и молодого испанца с симпатичным лицом и приятными манерами.

На докторше было шелковое платье, вышитое цветами, и шляпа с большим, изрядно помятым попугаем, который выглядывал из-под синих и красных лент; дорожная пыль, смешавшись с пудрой на ее щеках, оттеняла множество морщин. Так же, как и тогда, в Маниле, она вела под руку своего хромого мужа.

— Имею удовольствие представить вам нашего кузена дона Альфонсо-Линареса де Эспаданья! — сказала донья Викторина, указывая на юношу. — Он — приемный сын родственника нашего отца Дамасо, личный секретарь всех министров...

Юноша отвесил изящный поклон; капитан Тьяго едва не поцеловал ему руку.

¹ Подобный случай в самом деле произошел в Каламбе. (Прим. автора.)

Пока тащат наверх многочисленные сундуки и сакvojaжи, пока капитан Тьяго показывает гостям их апартаменты, расскажем кое-что об этой чете, с которой мы так бегло познакомились в первых главах.

За плечами доньи Викторины были все сорок пять августов, что, по ее арифметическим подсчетам, равняется тридцати двум апрелям. В молодости докторина была хороша собой, обладала роскошным телом, — как она выражалась, — но, упоенная созерцанием собственной красоты, она с большим презрением глядела на своих многочисленных поклонников-филиппинцев, — ее устремления были направлены к мужчинам другой расы. Она никак не решалась отдать кому-нибудь свою маленькую белую руку, — вовсе не из-за недоверия, ибо не раз уже вверяла несравнимо более ценные сокровища авантюристам всякого рода, местным и иностранным.

За шесть месяцев до начала нашей истории исполнилась мечта всей ее жизни: донья Викторина вышла замуж, презрев лесть молодых обожателей и даже клятвы в вечной любви капитана Тьяго, которые он когда-то нашептывал ей на ухо или изливал в серенадах. Правда, мечта исполнилась довольно поздно, но донья Викторина, хотя и плохо говорила по-испански, была больше испанкой, чем сама Августина Сарагосская*, и знала поговорку «лучше поздно, чем никогда», — она утешилась, повторив себе эти слова. «Нет полного счастья на земле» — была ее вторая, втайне любимая поговорка, ибо ни та, ни другая никогда не слетали с ее губ в присутствии других людей.

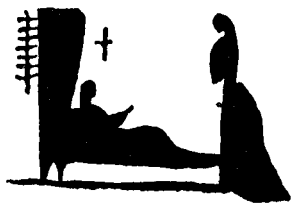
Донья Викторина провела первую, вторую, третью и четвертую молодость, расставляя сети, чтобы выловить в море людском предмет своих вожделений, но в конце концов должна была удовлетвориться тем, что уготовила ей судьба. Если бы бедняжке минуло не тридцать два апреля, а, скажем, тридцать один — весьма существенная разница для ее исчислений, — она вернула бы судьбе предлагаемый дар, чтобы дожидаться другого, более соответствующего ее вкусам. Но так как человек предполагает, а необходимость располагает, и муж был ей уже просто необходим, — ей пришлось удовольствоваться неким беднягой, которого вышвырнула Эстремадура и который после шести или семи лет странствий по свету — современный Улисс — нашел наконец на острове Лусон госте-

приимство, деньги и увядшую Калипсо *, свою искомую половинку апельсина... Ох, и горькой же оказалась эта половинка! Несчастливого звали Тибурсио Эспаданья, и хотя ему стукнуло тридцать пять лет и на вид он казался уже стариком, он был все-таки моложе доньи Викторины, которой было только тридцать два. Почему это так — понять легко, но высказывать вслух опасно.

Тибурсио Эспаданью отправили на Филиппины чиновником таможенной охраны, но ему не повезло: во-первых, на море его сильно укачало, во-вторых, во время путешествия он сломал ногу, а кроме того, через две недели после приезда он получил отставку, приказ о которой прибыл с кораблем «Спасительница», когда он уже сидел без гроша в кармане.

Напуганный перспективой еще раз вкусить прелести моря, он не захотел возвращаться в Испанию, не попытав тут счастья, и решил заняться каким-нибудь делом. Испанская гордость не позволяла ему браться за физическую работу: бедняга с удовольствием бы трудился, чтобы вести честную жизнь, но это подорвало бы престиж испанцев, хотя, сказать по правде, престиж не спасал его от нужды.

Сначала Тибурсио жил за счет некоторых своих соотечественников, но так как он был чистец, чужой хлеб ему казался горьким, и, вместо того чтобы толстеть, он худел. У него не было ни знаний, ни денег, ни рекомендаций, и соотечественники, чтобы избавиться от него, посоветовали ему поехать в провинцию и выдать себя за доктора. Он сперва отверг эту мысль, ибо, хоть ему и пришлось однажды прислуживать в больнице Сан-Карлос, врачеванию он там не научился: его обязанностью было выбивать пыль из матрацев, разжигать жаровни, да и продолжалась эта служба недолго. Но пужда стояла за плечами, а добрые друзья старались рассеять его сомнения, и Тибурсио наконец послушался их, поехал в провинцию и начал посещать больных, взимая умеренную мзду, как подсказывала ему совесть. Но, подобно юному философу, о котором рассказывает Саманиего *, он кончил тем, что повысил таксу за свои визиты, а посему его вскоре стали считать знаменитым врачевателем. Он, наверное, нажил бы состояние, если бы в медицинском совете Манилы не прослышали о его сногсшибательных гонорах и не испугались конкуренции.



За него, однако, вступились частные и официальные лица. «Послушайте! — говорили ретивому главе совета доктору С. — Дайте ему сколотить капиталец, наберет он тысяч шесть-семь песо и сможет вернуться на родину, зажить там спокойно. Чем он вам мешает? Тем, что обманывает глупых туземцев? Так пусть будут умнее. Он несчастный человек, не лишайте его куска хлеба, будьте добрым испанцем!»

Доктор С. был добрым испанцем и согласился смотреть на дела «доктора» сквозь пальцы. Однако в народе пошла слухи, и самозванцу перестали доверять. Вскоре дон Тибурсио Эспадапья потерял клиентуру и снова был вынужден едва ли не просить милостыню. В эту пору он прослышал от одного своего друга — и одновременно приятеля доña Викторины, — в каком затруднении находилась эта сеньора, узнал о ее патриотических чувствах и добром сердце. Дон Тибурсио увидел тут перст божий и попросил друга представить его.

Доña Викторина и дон Тибурсио свиделись. «*Tarde venientibus ossa!*»¹ — воскликнул бы он, если бы знал латинский. Она была уже не только не съедобна, но почти съедена. Некогда роскошная прическа превратилась в жалкий пучок, не больше головки чеснока, как говорила ее служанка; морщины избороздили лицо, зубы начали шататься, зрение тоже ухудшилось, и весьма заметно, — ей приходилось щуриться, когда надо было глядеть вдаль. Единственное, что не изменилось — это характер.

Получасовой беседы оказалось им достаточно, чтобы понять и оценить друг друга. Она предпочла бы, конечно, испанца не такого хромого, не такого косноязычного, не такого лысого и беззубого, который при разговоре не брызгал бы слюной и обладал большим «лоском и блеском», как она выражалась; но подобного рода испанцы никогда не обращались к ней с предложением руки и сердца. Она не раз слышала, что «случай рисуют лысым», и искренне поверила в то, что дон Тибурсио и есть этот счастливый случай, ибо из-за всех своих невзгод он начал преждевременно лысеть. Какая женщина не станет рассудительной в тридцать два года?

Что касается дона Тибурсио, то он впал в некоторую меланхолию при мысли о медовом месяце. Он страдаль-

¹ Приходящему поздно достаются кости! (лат.)

чески улыбался и призывал на помощь призрак голода. Никогда не отличался он ни тщеславием, ни требовательностью. Вкусы его были просты, кругозор — ограничен, но сердце, до сих пор неискушенное, лелеяло мечту о совсем ином кумире. В далекой юности, когда он, усталый от работы, после скудного ужина укладывался на жесткое ложе, чтобы переварить холодную похлебку, он засыпал, мечтая о «ней», ласковой и улыбающейся. Затем, когда еще большие невзгоды и лишения обрушились на его голову, а годы шли и поэтический идеал не появлялся, дон Тибурсio стал мечтать просто о хорошей жене, работающей, трудолюбивой, которая принесла бы ему скромное приданое, утешала бы в трудах и время от времени бранила, — да, он мечтал о брани, как о счастье! Но когда ему пришлось порядком поскитаться из страны в страну в поисках уже не фортуны, а хотя бы возможности сносно дожить оставшиеся годы, и он, окрыленный рассказами земляков, возвращавшихся из-за моря, направился на Филиппины, жена-хозяйка в его грезах уступила место великоленной метиске или прекрасной индианке с большими черными глазами, одетой с ног до головы в шелка и прозрачные ткани, усыпанной брильянтами и золотом, с радостью отдающей ему свою любовь и свои экипажи. Прибыв на Филиппины, он подумал было, что его мечта свершается, ибо девушки, которые в украшенных серебром экипажах посещали Лунету и Малекон, смотрели на него с известным любопытством. Но вскоре его уволили со службы; тогда образ метиски или туземки покинул его воображение, и он скрепя сердце парисовал себе идеал вдовы, но вдовы приятной. Когда же дон Тибурсio увидел реальное воплощение своей мечты, ему стало грустно. Однако он не был лишен известной рассудительности и сказал себе: «То были мечты, а на земле нельзя жить одними мечтами!» Все решалось просто. Донья Викторина употребляет рисовую пудру? Ну так что же? После свадьбы он постарается, чтобы она этого не делала. У нее много морщин? Но зато на его сюртуке много дырок и заплат. Она требовательна, властна и упряма. Но ведь голод еще более требователен, еще более страшен и упрям. К тому же у дона Тибурсio нежная душа, а ласка меняет женский характер. Она плохо говорит по-испански, но он тоже в нем не силен, как сказал начальник таможни, уведомляя его об отставке. И кроме

того, что за беда, если она немолода, уродлива и смешна? Ведь он тоже хром, беззуб и пленив! Дон Тибурсио считал, что лучше уж ухаживать за другими, чем самому свалиться с голодухи и принимать помощь из чужих рук. Когда кто-нибудь из друзей смеялся над ним, он отвечал: «Накорми меня и тогда зови дураком».

Дон Тибурсио был человеком, который, как говорится, мухи не обидит: скромный, незлобивый, — в старые времена быть бы ему миссионером. Жизнь на Филиппинах не смогла внушить ему уверенности в собственном превосходстве, в своей чрезвычайной ценности и неоспоримом значении, — той уверенности, которую большая часть его соотечественников приобретает здесь за несколько недель. Сердце его не успело ожесточиться, ему еще не довелось встретить ни одного флибустьера. Он видел только несчастных, которых приходилось обирать, чтобы самому не стать еще более несчастным. Когда ему вменили в вину незаконное врачевание, он не досадовал, не жаловался, а признал справедливость обвинения и только повторял: «Жить-то ведь нужно!»

Итак, поженились они с охотой, — точнее, после охоты друг за другом, — и отправились в Санта-Апа провести свой медовый месяц. Но в свадебную ночь у доньи Викторины сильно расстроился желудок, и дон Тибурсио, воздав хвалу богу, показал себя заботливым и услужливым мужем. На вторую ночь, однако, дон Тибурсио был вынужден вести себя, как подобает порядочному супругу, и утром, взглянув на свое лицо в зеркало и обнажив голые десны, меланхолично улыбнулся: он постарел по крайней мере лет на десять.

Донья Викторина осталась очень довольна своим супругом; она заказала ему хорошую вставную челюсть, приличное платье у лучших портных города; купила новые коляски и шарабаны, выписала из Батангаса и Альбая цегольскую упряжь и даже заставила дона Тибурсио приобрести двух лошадей для предстоящих скачек.

Преображая своего мужа, она не забывала и о себе: сменила шелковую юбку и рубашку на европейскую одежду, скромную прическу филиппинок на фальшивые локоны, и своими платьями, которые сидели на ней удивительно плохо, возмутила покой мирного и тихого городка.

Муж доньи Викторины, который никогда не ходил пешком — ибо она не желала, чтобы заметили его хро-

моту, — к великой ее досаде, ездил с ней на прогулки в уединенные места. А ей так хотелось появиться вместе с супругом на самых многолюдных бульварах! Но она помалкивала из уважения к медовому месяцу.

Этот месяц был уже на ущербе, когда муж попытался заговорить о рисовой пудре, утверждая, что это средство фальшивое и противоестественное. Донья Викторина нахмурила брови и впушительно посмотрела на его вставную челюсть. Он смолк, а она узнала его слабое место.

Скоро она возомнила, что станет матерью, и поделилась новостью со всеми своими друзьями.

— В будущем месяце я и де Эспадастья поедem в Испанию; я не хочу, чтобы наш сын родился здесь и его обзывали революционером.

Она прибавила «де» к фамилии мужа; это «де» не стоило денег и придавало «блеск» его имени. Она подписывалась так: Викторина де лос Рейес де Де Эспадастья. Второе «де» было ее манией; ни тот, кто делал ей визитные карточки, ни супруг так и не смогли ее образумить.

— Если я поставлю только одно «де», подумают, что ты не имешь своего, дурень! — сказала она мужу.

Она без умолку говорила о приготовлениях к отъезду и выучила наизусть названия всех портов, куда заходит корабль; одно удовольствие было слушать, как она говорит: «Я увижу перешеек Суэцкого канала; де Эспадастья считает, что это самое прелестное место на земле, а де Эспадастья объездил весь свет. Я, наверное, не вернусь больше в эту дикую страну. Я не рождена для того, чтобы жить здесь; мне больше подошел бы Адеп или Порт-Саид, я еще ребенком так думала...» Донья Викторина, исходя из своих собственных представлений о географии, делила весь мир на Филиппины и Испанию, в отличие от тех чудаков, которые делят его на Испанию и Америку или Испанию и Китай.

Муж знал, что многое в ее болтовне было просто чушью, однако помалкивал, лишь бы она не визжала и не попрекала его косноязычием. Чтобы еще более упрочить иллюзию своего материнства, донья Викторина сделала редкость капризной, стала одеваться в яркие одежды, украшать себя цветами и лентами и разгуливать в халате по Эскольте, но — какое разочарование! — прошли три месяца, и мечты рассыпались в прах. Так как теперь уже не было причин беспокоиться, что сын про-

слывет революционером, она отказалась от путешествия. Начались консультации с докторами, повитухами, знахарями, но все было напрасно. Когда-то она, к великому неудовольствию капитана Тьяго, смеялась над святым Паскуалем Байлоном и теперь тоже не хотела просить ни о чем никаких святых. По этому поводу один из приятелей ее мужа сказал:

— Поверьте мне, сеньора, у вас, у единственной «крепкий дух» в этой скучной стране!

Она заулыбалась, не поняв, что такое «крепкий дух», и вечером, когда подошло время сна, спросила об этом своего мужа.

— Душа моя, — ответил он, — самый «крепкий д...дух», как мне известно, имеет нашатырь. Мой приятель выразился рр...риторически.

С тех пор при каждом удобном случае она говорила:

— Я единственный нашатырь в этой скучнейшей стране, выражаясь риторически. Так сказал сеньор N. де N., чистокровный испанец, весьма почтенный человек.

Все, о чем она говорила, всегда приводилось в исполнение. Ей удалось полностью подчинить себе мужа и, не встречая с его стороны большого сопротивления, превратить в своего рода компанью собачку. Если она дулась на него, то не выпускала из дому, а когда по-настоящему приходила в ярость, вырывала у него вставную челюсть, и бедняга день-другой ходил уродом.

Ей пришло в голову, что муж должен обязательно стать доктором медицины и хирургом; так она и заявила.

— Душа моя, ты хочешь, чтобы меня арестовали? — спросил он с испугом.

— Не будь идиотом, я все устрою. Тебе не придется никого лечить, но я хочу, чтобы тебя называли доктор, а меня докторша, вот и все!

На следующий день Родореда получил заказ выгравировать на черной мраморной плите: «Доктор де Де Эспаданья, специалист по всем болезням».

Слугам было приказано величать хозяев по-повому, а на их госпоже значительно увеличилось число фальшивых локопов, стал толще слой рисовой пудры, умножились ленты и побрякушки, и донья Викторина с еще большим презрением стала поглядывать на своих бедных и незадачливых соотечественниц, чьи мужья были не столь великолепны. Ей казалось, что с каждым днем она стано-

вится все более достойной почитания, поднимается все выше и выше, — еще год, и она, пожалуй, припишет себе божественное происхождение.

Подобные возвышенные мысли не мешали ей, однако, стареть с каждым днем и делаться все более смешной. Всякий раз, когда капитан Тьяго встречал ее и вспоминал о своих тщетных ухаживаниях, он тотчас посылал в церковь одно песо, чтобы отслужили благодарственный молебен. Несмотря на это, капитан Тьяго очень уважал ее супруга за титул специалиста по всем болезням и с вниманием выслушивал скупые фразы, которые тот, заикаясь, выдавливал из себя. Поэтому, а также и потому, что доктор де Эспаданья не врачевал всех смертных без разбора, как другие доктора, капитан Тьяго избрал его для лечения своей дочери.

Что касается юного Линареса, то он появился тут следующим образом. Когда замышлялось путешествие в Испанию, донья Викторина, не доверяя филиппинцам, задумала найти управителя-испанца. Муж ее вспомнил об одном своем кузене в Мадриде, который учился на адвоката и считался самым смысленым в семье. Ему написали, оплатив заранее проезд, а когда мечты о путешествии развеялись, юноша был уже в дороге.

Таковы три osoby, прибывшие в дом капитана Тьяго.

Во время обеда пришел отец Сальви, и супруги, уже знакомые с ним, представили ему, с перечислением всех титулов, покрасневшего от смущенья молодого Линареса.

Разумеется, говорили о Марии-Кларе, а девушка тем временем спала. Говорили также о путешествии. Донья Викторина блистала красноречием, понося обычаи провинциалов, их дома из ниш, мосты из тростника и не забывая упоминать при священнике о своей дружбе с капитаном таким-то, с алькальдом таким-то, с советником, с интендантом, в общем, с особами все сплошь выдающимися и относящимися к ней с огромным уважением.

— Если бы вы приехали двумя днями раньше, донья Викторина, — заметил капитан Тьяго, воспользовавшись краткой паузой, — вы бы встретились с его превосходительством генерал-губернатором: он сидел вон там.

— Что? Как? Здесь был его превосходительство? В вашем-то доме? Вранье!

— Я же вам говорю, что он сидел вон там! Если бы вы приехали два дня назад...

— Ах, как жаль, что Кларита не заболела раньше! — воскликнула она с искренним сожалением и прибавила, обращаясь к Линаресу: — Слышишь, кузен? Здесь был его превосходительство! Видишь, прав был де Эспаданья, когда говорил тебе, что ты едешь в гости не к какому-нибудь жалкому туземцу! Вы ведь знаете, дон Сантьяго, что наш кузен был в Мадриде другом министров и герцогов и обещал у графа Кампанарио.

— У герцога де ла Торре, Викторина, — поправил ее муж.

— Все равно. Ты еще будешь мне!..

— Застану ли я сейчас отца Дамасо в его селении? — прервал ее Линарес, обращаясь к отцу Сальви. — Мне сказали, что он где-то тут, неподалеку.

— Он как раз в городе и скоро придет, — ответил священник.

— Как я рад! У меня есть письмо к нему, — воскликнул юноша. — Если бы не эта счастливая случайность, которая привела меня сюда, я бы специально приехал, чтобы повидать его.

Между тем «счастливая случайность» проснулась.

— Де Эспаданья, — промолвила донья Викторина, заканчивая трапезу, — пойдем проведем Клариту? — И, повернувшись к капитану Тьяго, прибавила: — Только ради вас, дон Сантьяго, только ради вас! Мой супруг никого, кроме выдающихся личностей, не лечит, и тем не менее! Мой супруг не такой, как здешние... в Мадриде он посещал только выдающихся особ.

Они перешли в комнату больной.

В спальне царил почти полный мрак, окна были закрыты во избежание сквозняка, и только слабо мерцали свечи, горевшие перед образом святой девы де Антиполо.

Молодая девушка покоилась на кровати из камагона под пологом из хуси и пиньи, на голове ее лежал платочек, смоченный одеколоном, а сама она была заботливо укутана в белые простыни, обрисовывавшие ее девичьи формы. Волосы, окаймляя овальное личико, оттеняли его прозрачную бледность; большие печальные глаза лихорадочно блестели. Около больной сидели обе подруги и Анденг с букетом белых лилий.

Де Эспаданья пощупал пульс, попросил показать язык, задал несколько вопросов и сказал, покачивая головой:

— Она б...больна, но вылечить м...можно!

Донья Викторина с гордостью посмотрела на окружающих.

— Настойку мха на м...молоке по утрам, питье из алтея и две пилюли синюгласа, — распорядился де Эспаданья.

— Не падай духом, Кларита, — сказала донья Викторина, подходя ближе, — мы приехали, чтобы вылечить тебя... Я представлю тебе нашего кузена.

Линарес ничего не видел, кроме дивных глаз, которые, казалось, кого-то искали, и не слышал доньи Викторины, назвавшей его имя.

— Сеньор Линарес, — промолвил священник, подталкивая замершего в экстазе юношу, — пришел отец Дамасо.

Действительно, вошел отец Дамасо, бледный и чем-то опечаленный; встав с постели, он прежде всего поспешил навестить Марию-Клару. Это уже не был прежний отец Дамасо, здоровяк и говорун, — теперь он был молчалив и как бы стеснителен.

XLIII

ПРОЕКТЫ

Не обращая ни на кого внимания, монах направился прямо к постели больной и взял ее за руку.

— Мария! — проговорил он с неопишуемой нежностью, и слезы показались у него на глазах. — Мария, дочь моя, ты не должна умереть!

Мария-Клара открыла глаза и посмотрела на него с некоторым удивлением.

Никто из тех, кто знал францисканца, не подозревал, что он способен на такие нежные чувства; никто не думал, что у этого грубого, неотесанного монаха есть сердце.

Отец Дамасо не смог больше произнести ни слова и отошел от девушки, рыдая, как ребенок. Он поплелся на веранду, к любимым выюнкам Марии-Клары, чтобы дать волю своему горю.

«Как он любит крестницу!» — подумали все.

Отец Сальви неподвижно и молча наблюдал за ним, слегка покусывая губы.

Когда отец Дамасо немного успокоился, донья Викто-

рина представила ему молодого Линареса, приблизившегося с благоговейным видом.

Отец Дамасо в молчапье оглядел юношу с ног до головы, взял письмо, которое тот ему вручил, и проглядел бумагу, видимо ничего не поняв, ибо спросил:

— Ну, так кто вы такой?

— Альфонсо Линарес, крестник вашего шурина... — пробормотал юноша.

Отец Дамасо откинулся назад, снова внимательно посмотрел на Линареса; его физиономия прояснилась, он встал.

— Так, значит, ты крестник Карликоса! — воскликнул он, протянув юноше руки. — Дай-ка я тебя обниму! Несколько дней назад я получил его письмо... Так это ты! Я тебя не знал... Ну, конечно, ты еще не родился, когда я уехал из Испании. Я тебя не знал!

И отец Дамасо сжал в своих грубых объятьях молодого человека, который побагровел — то ли от смущения, то ли от удущья. Отец Дамасо, казалось, совсем забыл о своем горе.

После первых излияний чувств и первых вопросов о Карликосе и о Пепе отец Дамасо спросил:

— Ну, чего же хочет Карликос? Что мне надо для тебя сделать?

— Я думаю, в письме об этом говорится... — снова пробормотал Линарес.

— В письме? Поглядим! И то правда! Он хочет, чтоб я нашел тебе место и жену! Хм! Место... это нетрудно. Умеешь читать и писать?

— Я получил диплом адвоката в университете.

— Карамба! Значит, ты крючоктвор? По виду не скажешь! Скорей похож на барышню, ну, тем лучше! А вот подыскать жену... хм! хм! Жену...

— Падре, я с этим не очень тороплюсь, — сказал смущенно Линарес.

Но отец Дамасо разгуливал по веранде, бормоча:

— Жену, жену!

Его лицо не выражало ни радости, ни печали; он был теперь очень серьезен и, казалось, о чем-то размышлял. Отец Сальви наблюдал издали эту сцену.

— Не думал, что для меня это будет так трудно! — пробормотал, вздохнув, отец Дамасо. — Но из двух зол выбирают меньшее.

И, подойдя к Линаресу, сказал громко:

— Иди сюда, пойдем-ка поговорим с Сантьяго.

Линарес побледнел и покорно последовал за священником, который шагал погруженный в раздумье.

Отец Сальви тоже вышел на веранду; он бродил из угла в угол, как всегда о чем-то размышляя.

Ход его мыслей прервал чей-то голос, пожелавший ему доброго здоровья; он поднял голову и увидел Лукаса, который смиренно ему кланялся.

— Чего тебе надо? — вопрошали глаза священника.

— Падре, я брат того, кто погиб в день праздника! — ответил жалобным голосом Лукас.

Отец Сальви отступил назад.

— И что же? — прошептал он чуть слышно.

Лукас, сделав усилие, пустил слезу и стал тереть глаза платком.

— Падре, — говорил он, всхлиывая, — я ходил к дону Крисостомо, просил возместить мне деньгами... Сперва он чуть не выгнал меня, сказал, что ничего не хочет платить, потому что, мол, сам подвергался смертельной опасности по вине моего любимого несчастного брата. Вчера я снова пошел поговорить с ним, но он уже уехал в Манилу, оставив, словно милостыню, пятьсот песо. И мне велено больше не приходить. Ах, падре, пятьсот песо за моего бедного брата, пятьсот песо! Ах, падре!..

Священник поначалу слушал его с изумлением и вниманием, но мало-помалу его губы искривила усмешка, полная такого презрения и сарказма при виде этого притворства, что если бы Лукас ее заметил, то, наверное, пустился бы наутек.

— И чего же ты сейчас хочешь? — спросил отец Сальви, поворачиваясь к Лукасу спиной.

— Ах, падре, скажите, ради бога, что мне делать, ведь падре всегда дает хорошие советы.

Кто тебе это сказал? Ты ведь не здешний...

— Вас, падре, знают по всей провинции!

Отец Сальви подошел ближе, его глаза гневно сверкали; указав пальцем на улицу, он сказал оторопевшему Лукасу:

— Иди домой и благодари дона Крисостомо, что он тебя не отправил в тюрьму! Вон отсюда!

Лукас забыл о своем притворстве и пробормотал:

— Я ведь думал...

— Вон отсюда! — крикнул раздраженно отец Сальви.

— Я хотел бы повидать отца Дамасо...

— Отец Дамасо занят! Вон отсюда! — повелительно вскричал священник.

Лукас спускался вниз по лестнице, бормоча:

— Этот тоже переменится... Если не заплатит!.. Кто больше заплатит...

Крик священника слышали все, даже отец Дамасо, капитан Тьяго и Линарес.

— Бессовестный бродяга, из тех, что кланчат милостыню и не желают работать! — сказал отец Сальви, беря шляпу и палку, чтобы направиться в монастырь.

XLIV

ОЧИЩЕНИЕ СОВЕСТИ

Прошло немало долгих дней и печальных ночей, пока больной не стало лучше. Тотчас же после исповеди Мария-Клара снова впала в забытие и в бреду повторяла лишь имя матери, которой не знала. Ее подруги, отец и тетюшка молились, заказывали мессы и делали пожертвования всем чудотворным статуям. Капитан Тьяго дал обет подарить золотой жезл Айтипольской мадонне. И вот наконец жар начал спадать медленно, но верно.

Доктор де Эспаданья был немало изумлен дивными свойствами настойки из алтея и варева из мха: его первоначальное предписание так и не менялось. Донья Викторина была очень довольна своим мужем, и когда он однажды наступил на подол ее халата, она не применила высшее наказание и не вырвала у него челюсть, а ограничилась замечанием:

— Если б ты не хромал, наверное, наступал бы мне прямо на корсет! (Который она, кстати сказать, не носила!)

Как-то вечером, когда Синанг и Виктория сидели у постели приятельницы, в столовой за чашкой чая беседовали отец Сальви, капитан Тьяго и семейство доньи Викторины.

— Очень сожалею, — говорил доктор. — Отец Дамасо тоже будет очень огорчен.

— И куда, вы говорите, вас переводят? — спросил Линарес священника.

— В провинцию Тайябас! — ответил тот небрежно.

— Кто будет печалиться, так это Мария, когда узнает, — сказал капитан Тьяго, — она вас любит, как отца.

Отец Сальви взглянул на него искоса.

— Я думаю, надре, — продолжал капитан Тьяго, — ее болезнь вызвана волнением в день праздника.

— Я того же мнения, и вы хорошо сделали, что не позволили сеньору Ибарре говорить с нею; ей стало бы хуже.

— А если бы не мы, — прервала донья Викторина, — Клари́та была бы уже на небе и возносила бы там хвалы господа богу.

— Аминь! — счит своим долгом сказать капитан Тьяго.

— Ваше счастье, что моему мужу не подвернулся более важный больной, не то вам пришлось бы звать другого лекаря, а здешние все неучи; мой муж...

— Я убежден, что мое предположение верно, — прервал ее в свою очередь священник. — Только исповедь привела Марию-Клару к этому благоприятному перелому и спасла ей жизнь. Чистая совесть сильнее лекарств; конечно, нельзя отрицать силы науки, и прежде всего хирургии, но чистая совесть... Почитайте душевспасительные книги, и вы увидите, сколько исцелений произошло в результате одной лишь искренней исповеди.

— Вы простите меня, — возразила уязвленная донья Викторина, — но силой одной исповеди... Попробуйте, вылечите сейчас жену альфереса исповедью!

— Ранение, сеньора, это не та болезнь, которая связана с совестью, — сурово молвил отец Сальви. — Однако чистосердечная исповедь могла бы впредь оградить ее от потрясений, подобных утреннему.

— Так ей и надо! — добавила донья Викторина, словно и не слыша того, что говорил отец Сальви. — Эта женщина страшно нахальна! В церкви она просто не сводит с меня глаз! Сразу видно, она из этих самых... В воскресенье я хотела спросить ее, что это она так гримасничает, но стоит ли унижать себя разговорами с людьми без роду и племени?

Однако священник, тоже будто не слыша ее разглашествований, продолжал:

— Поверьте мне, дон Сантьяго, для того чтобы ваша дочь совсем поправилась, ей надо причаститься завтра утром; я ее причащу... Думаю, что ей не в чем больше

исповедоваться, однако... если она захочет покаяться сегодня вечером...

— Не понимаю,— встала тотчас же донья Викторина, воспользовавшись паузой,— не понимаю, как могут разумные люди жениться на таких чудовищах, как эта женщина; за сто шагов видно, что она за птица; ясно как день,— она от зависти подыхает, не иначе! Да и что получает какой-то альферес!

— Так вот, дон Сантьяго, скажите вашей кузине, чтобы она завтра утром приготовила большую к причастию, а сегодня вечером я приду отпустить ей грехи...

И, видя, что тетушка Исабель выходит, сказал ей по-тагалски:

— Приготовьте вашу племянницу к исповеди сегодня вечером; утром я причащу ее, и она быстро поправится.

— Но, падре,— осмелился робко возразить Линарес,— разве ей грозит смерть?

— Не извольте беспокоиться,— ответил тот, не взглянув на него.— Я знаю, что делаю; мне довелось спасти очень многих больных. Кроме того, она сама скажет, хочет или нет принять святое причастие, и увидите, она на все согласится.

А пока на все согласился капитан Тьяго.

Тетушка Исабель вошла в спальню больной.

Мария-Клара, очень бледная, лежала в постели; рядом с ней сидели обе ее подруги.

— Прими еще пилюльку,— тихо сказала Синанг, подавая больной белую пилюлю, которую она вынула из маленького стеклянного флакончика.— Доктор говорит, если у тебя будет шум или звон в ушах, то лекарство не пей.

— Он больные не писал тебе? — тихо спросила Мария-Клара.

— Нет, наверное, очень занят.

— И не поручал мне ничего передать?

— Он сказал только, что будет хлопотать, чтобы архиепископ не признал отлучения и...

Разговор оборвался с приходом тетушки.

— Падре хочет, чтобы ты приготовилась к исповеди, дочь моя,— сказала она.— Оставьте ее, ей надо очистить совесть.

— Но ведь и недели еще не прошло, как она испове-

довалась! — запротестовала Спнанг. — Я не больная, и то так часто не грешу.

— Ну-ну! Слышала, что говорит священник? И праведник грешит семь раз на день. Ладно, хочешь я тебе принесу «Якорь», или «Венец», или «Прямой путь на небо»?

Мария-Клара не отвечала.

— Ну, хорошо, не утомляйся, — прибавила добрая тетушка, стараясь ее утешить. — Я тебе почитаю вслух, чтобы пробудить твою совесть, а ты только припомнишь свои грехи.

— Наниши ему, пусть не думает больше обо мне! — прошептала Мария-Клара на ухо Спнанг, когда прощалась с нею.

— А?

Но тут вошла тетя, и Спнанг должна была удалиться, так и не поняв, что ей сказала подруга.

Добрая тетушка придвинула стул к свету, надела очки на кончик носа и сказала, раскрывая книгу:

— Будь внимательна, дочка, я начну с десяти заповедей. Читать буду медленно, чтобы ты могла собраться с мыслями. Если чего-нибудь не расслышишь, скажи мне, и я повторю. Ты ведь знаешь, трудиться ради блага твоего я никогда не устану.

И она принялась читать монотонным и гнусавым голосом заповеди и рассуждения о них. В конце каждой заповеди она выдерживала долгую паузу, чтобы дать время девушке вспомнить свои грехи и раскаяться.

Мария-Клара глядела куда-то в пространство. Прочитав первую заповедь о любви к богу, которая должна быть превыше всего, тетушка Исабель посмотрела на девушку поверх очков и осталась довольна ее сосредоточенным и печальным видом. Она каплянула раз-другой и после долгого молчания перешла ко второй заповеди. Добрая старушка читала с усердием и, закончив душеспасительные комментарии, снова взглянула на племянницу, которая медленно повернула голову в сторону.

«Да, — подумала тетушка Исабель. — Бедняжка вряд ли согрешила против этой заповеди, с чего бы ей клясться именем господа. Перейдем к третьей».

Третья заповедь была также подробно разобрана и прокомментирована; прочитав обо всех возможных нарушениях, старушка снова посмотрела в сторону кровати, но

вдруг подняла на лоб очки и широко открыла глаза: она увидела, как ее племянница прикрыла платком лицо, словно желая вытереть слезы.

— Хм,— промолвила тетушка,— кхм! Верно, бедненькой случилось разок заснуть во время проповеди.

И, снова сдвинув очки на кончик носа, сказала себе:

— Посмотрим, почитала ли она отца с матерью, раз уж не почтила святой праздник.

И тетушка Исабель стала читать четвертую заповедь еще более протяжным и гнусавым голосом, стараясь произносить слова по возможности торжественнее, как это делают — она сама слышала — многие монахи. Старушка никогда не видела, как читает проповедь квакер, иначе она тоже начала бы трястись всем телом.

Между тем молодая девушка несколько раз приложила платок к глазам, и ее дыхание участилось.

«Что за добрая душа! — подумала про себя старушка. — Такая послушная и смиренная! Я куда больше грешила, а вот никогда не могла заплакать по-настоящему».

И она начала читать пятую заповедь, — делая еще более долгие паузы и безупречно гнусавя, — с таким жаром, что не слышала приглушенных рыданий племянницы. Только во время паузы, после рассуждения об убийстве с применением оружия, она расслышала стоны грешницы. Тогда торжественное звучание ее голоса достигло апогея, и тетушка прочитала конец заповеди тоном, которому постаралась придать оттенок угрозы. Видя, что племянница продолжает плакать, она сказала, наклонившись к ней:

— Плачь, дочка, плачь. Чем больше ты плачешь, тем скорее простит тебя бог. Лучше скорбеть в раскаянии, чем скорбеть во грехах. Плачь, дочка, плачь! Ты не знаешь, как я радуюсь при виде твоих слез! Ударь себя еще в грудь, но не сильно — ты ведь все-таки больная.

Но, вероятно, есть такая скорбь, для которой пужны одиночество и тайна; Мария-Клара, увидев, что за ней наблюдают, мало-помалу перестала вздыхать и вытерла слезы, однако не промолвила ни слова в ответ.

Старуха продолжала читать, но так как рыдания публики прекратились, ее энтузиазм иссяк, последние заповеди нагнали на нее сон и зевоту, а это заметно нарушало гнусавость и монотонность чтения, оно то и дело прерывалось.

«Если б своими глазами не увидела,— не поверила бы! — подумала добрая старушка.— Эта девочка нагрешила, как солдат, против первых пяти заповедей, а с шестой по десятую — ни одного даже легкого грешка! В наше-то время как раз наоборот бывало! До чего мир нынче переменялся!»

И она зажгла большую свечу у статуи пресвятой девы Антипольской да две маленьких, у статуи пресвятой девы дель Росарио и пресвятой девы дель Пилар*. При этом она спрятала в угол распятие из слоновой кости, давая ему понять, что свечи зажжены не для него. Статуя пресвятой девы Делароша — какой-то неизвестной иностранки — тоже была оставлена без внимания. Тетушке Исабель еще не довелось слышать, чтобы она сотворила хоть одно чудо.

Мы не подслушивали, что говорилось на исповеди тем вечером: мы уважаем тайнства. Исповедь была долгой, и тетушка, издали наблюдавшая за племянницей, заметила, что священник, вместо того чтобы повернуть к больной ухо, обратил к ней лицо и, казалось, хотел прочитать в прекрасных глазах девушки все ее мысли или отгадать их.

Бледный, с поджатыми губами вышел отец Сальви из комнаты. При виде его нахмуренного лба, усыпанного капельками пота, можно было подумать, что исповедовался он сам и при этом не получил отпущения грехов.

— Иисус, Мария, старец Иосиф! — проговорила тетушка, крестясь, чтобы отогнать дурные мысли.— Кто поймет нынешних девушек?

XLV ГОНИМЫЕ

Сквозь густую листву деревьев сочился слабый свет луны. Какой-то человек неторопливо и осторожно шел по лесу. Время от времени, чтобы не сбиться с пути, он останавливался и начинал насвистывать песенку. Затем умолкал и напряженно вслушивался в тишину. В чаще леса звучала та же мелодия: она служила ему своеобразным ориентиром.

Наконец, преодолев множество препятствий, которые встречаются ночью в лесной чаще, он выбрался на

полянку, залитую светом молодого месяца. Вокруг вздымались скалы, увенчанные пальмами, похожие на разрушенный амфитеатр. Недавно поваленные деревья и обугленные стволы громоздились на поляне рядом с каменными глыбами, которые природа кое-где прикрыла мантией из зеленых листьев.

Едва неизвестный шагнул дальше, из-за большой скалы внезапно вынырнула фигура, блеснул ствол пистолета.

— Кто идет? — повелительно крикнул по-тагальски дозорный, взводя курок.

— Старый Пабло здесь? — спросил спокойно пришелец, не отвечая на вопрос и не выказывая страха.

— Ты спрашиваешь капитана? Да, он тут.

— Тогда скажи ему, что его ищет Элиас, — сказал незнакомец, оказавшийся не кем иным, как таинственным Рулевым.

— Это вы, Элиас? — спросил часовой; в его голосе звучало уважение, но пистолета он не опустил. — Проходите...

Элиас последовал за ним.

Они пропикли в пещеру, служившую входом в подземелье. Проводник, который хорошо знал дорогу, предупредил Рулевого, где следует спускаться, пагиваться или ползти; путь был недолог, и вскоре они попали в некое подобие зала, скудно освещенного смоляными факелами. Там находилось около дюжины вооруженных людей с мрачными лицами, в грязных одеждах. Одни сидели, другие лежали, изредка перебрасываясь словами. Облокотившись на камень, который служил столом, и задумчиво глядя в огонь, дававший мало света и много дыма, сидел старик с печальным лицом. Его голова была обернута пропитанным кровью бинтом. Если бы мы не знали, что это пещера тулисанов, мы сказали бы при виде искаженного отчаянием лица старика, что это Башня голода в канун того дня, когда Уголино пожрал своих сыновей *.

При появлении Элиаса и его проводника люди привстали, но по знаку последнего снова успокоились и лишь испытующе глядели на безоружного Рулевого.

Старик медленно повернул голову и увидел суровое лицо Элиаса, а тот, сняв шляпу, смотрел на него в упор с грустью и любопытством.

— Это ты? — спросил старик, и взгляд его при виде юноши немного прояснился.

— Я вижу, вам очень тяжело! — проговорил вполголоса Элиас, покачивая головой.

Старик понурился и подал знак своим людям; те встали и удалились, с подозрением косясь на крепкую фигуру пришельца.

— Да, тяжело! — сказал старик Элиасу, когда они остались одни. — Шесть месяцев назад, когда я укрывал тебя в своем доме, мне приходилось жалеть тебя, а теперь судьба изменилась, и тебе приходится жалеть меня. Однако садись и расскажи, как ты попал сюда.

— Около двух недель назад, когда мне сообщили о постигшей вас беде, — медленно и тихо отвечал юноша, глядя в огонь, — я тотчас же пустился в путь и стал искать вас в горах и лесах; я исходил вдоль и поперек почти две провинции.

— Чтобы не проливать невинной крови, я должен был бежать. Мои враги боялись встречаться со мною в открытую и посылали против меня жалких наемников, но те не причинили мне никакого зла.

Последовало краткое молчание, во время которого Элиас глядел на сумрачное чело старика, пытаясь прочитать его мысли; затем сказал:

— Я пришел кое-что предложить вам. Напрасно потратив время, я так и не отыскал никого из той семьи, которая доставила столько страданий моим близким, и решил теперь уехать из этой провинции, отправиться на север и поселиться среди языческих независимых племен. Не хотите ли расстаться с этой жизнью и уйти со мною? Я буду вам вместо родного сына, ведь вы потеряли своих, а у меня тоже нет семьи. Вы станете моим отцом.



Старик покачал головой и сказал:

— Если человек в моем возрасте принимает какое-нибудь отчаянное решение, значит, иного выхода нет. Тот, кто, как я, провел свою молодость и зрелые годы, трудясь ради своего будущего и будущего своих сыновей; тот, кто подчинялся всем прихотям хозяев, честно выполнял тяжелые работы, терпел все, лишь бы жить в мире и покое, — если такой человек, кровь которого охладило время, стоя на краю могилы, зачеркивает все свое прошлое и ничего не ждет от будущего, значит, он твердо убежден: покой — не самое высшее благо. К чему доживать горькие дни на чужбине? У меня были два сына, дочь, очаг, небольшое состояние, меня уважали и почитали. Теперь я как дерево с обрубленными ветвями, беглый бродяга, за которым охотятся, как за зверем в лесу, — и все это отчего? Оттого, что кто-то обесчестил мою дочь, оттого, что ее братья хотели свести с обидчиком счеты за позор, и оттого, что этот человек поставлен над другими, ибо носит сан священнослужителя. И все же я, отец, опозоренный на старости лет, простил ему надругательство, принудил себя отнестись снисходительно к страстям молодости и слабостям плоти. Ведь зло было непоправимо, и что мне оставалось делать как не молчать и спасти то, что еще уцелело? Но преступник боялся неминуемой мести и искал гибели моих сыновей. Знаешь ли, что он сделал? Нет? Знаешь ли ты, что он заявил об ограблении монастыря и в число обвиняемых попал мой младший сын? Второго не удалось привлечь, потому что его тут не было. Знаешь, каким пыткам были подвергнуты обвиняемые? Это тебе известно, ведь пытки одни и те же во всех селениях! Я, я сам видел своего сына, подвешенного за волосы, я слышал его крики, слышал, как он звал меня, а у меня, труса, привыкшего к покойной жизни, не хватило силы духа ни убить, ни умереть! Знаешь ли ты, что обвинение в краже не подтвердилось, что клевета обнаружилась и священник в наказание был переведен в другой город, а мой сын скончался от пыток? Второй сын не был трусом, как его отец, и душегуб испугался, как бы он не отомстил ему за смерть брата, — и вот, под предлогом, что у сына как-то не оказалось при себе удостоверения о местожительстве*, его арестовали жандармы, избивали, изругали последними словами и довели издевательствами до самоубийства. А я, я пережил

весь этот позор. Но если у меня, отца, не хватило мужества защитить своих детей, я найду его, чтобы отомстить за них! Под моим началом объединились все недовольные. Враги сами содействуют росту моего отряда, и в тот день, когда у меня будет достаточно сил, я спущусь на равнину, предам все огню и, свершив свою месть, погибну! Этот день придет, или нет бога на земле!

Старик в волнении поднялся, глаза его сверкали, голос звучал глухо; он начал рвать на себе волосы, восклицая:

— Пусть проклятье, проклятье падет на мою голову за то, что я удержал мстящую руку моих сыновей; я их сам загубил! Надо было, чтобы преступник умер, надо было меньше верить в правосудие божье и людское, и я сохранил бы сыновей. Может быть, им пришлось бы стать беглецами, но они не погибли бы под пытками! Нет, видно, я не рожден быть отцом, и потому их у меня отняли! Будь я проклят за то, что, я, старый человек, не понимал, где живу! Но огнем и кровью, своей собственной смертью я отомщу за детей!

Несчастный отец в порыве отчаяния сорвал с головы повязку, обнажив кровоточащую рану на лбу.

— Я разделяю ваше горе, — проговорил Элиас, — и считаю вашу месть справедливой; я в таком же положении, как и вы, но я боюсь покарать заодно и невинных, а потому предпочитаю забыть о своих несчастьях.

— Ты можешь забыть, потому что ты молод и не лишился сыновей, не лишился последней надежды! Но я клянусь, что не трону ни одного невинного. Видишь эту рану? Чтобы не убить беднягу стражника, который только выполнял свой долг, я позволил себя подстрелить.

— Но подумайте, — сказал Элиас, немного помолчав, — подумайте, на какие чудовищные беды вы обрекаете наши несчастные селения. Если вы свершите свое возмездие, враги жестоко отплатят за это, но не вам, не тем, кто вооружен, а народу, который, как обычно, окажется во всем виновен; сколько же тогда свершится неправых дел!

— Пусть народ учится защищаться, пусть каждый стоит за себя!

— Вы сами понимаете, что это невозможно! Сеньор, я знал вас в другое время, когда вы были счастливы. Тогда вы мне давали мудрые советы; разрешите же и теперь спросить вас...

Старик скрестил руки на груди и приготовился внимательно слушать.

— Сеньор, — продолжал Элиас, взвешивая каждое слово, — мне выпало счастье оказать услугу одному богатому юноше, человеку добросердечному и благородному, любящему свою страну. Говорят, у него есть друзья в Мадриде. Я этого не знаю, но зато могу вас уверить, что он друг генерал-губернатора. Что вы скажете, если мы попросим его стать нашим заступником, если мы привлечем его на сторону обездоленных?

Старик покачал головой.

— Ты говоришь, он богат? Богатые думают только о том, чтобы умножить свое богатство. Гордыня и тщеславие их ослепляют, они живут в роскоши, особенно если имеют влиятельных друзей, и никто из них не станет утруждать себя заботами о бедняках. Я это знаю, я сам был некогда богат!

— Но тот, о ком идет речь, не похож на остальных. Над памятью его отца надругались, а кроме того, в скором времени он женится, а потому его должно интересоваться его собственное будущее и будущее его детей.

— Значит, он — человек, который скоро будет счастлив; а наше дело — не для счастливых людей.

— Но это дело всех честных людей!

— Дай-то бог! — промолвил старик, садясь. — Возможно, он и согласится донести наши слова до генерал-губернатора, возможно, он найдет поддержку в кортесах депутатов, готовых вступить за нас, но надеешься ли ты на то, что справедливость восторжествует?

— Испробуем эту возможность, прежде чем решать вопрос кровью, — ответил Элиас. — Вам кажется странным, что я, такой же несчастный, как и вы, только молодой и крепкий, предлагаю вам, старому и слабому, использовать мирные средства; но я видел столько горя, причиненного и нами и тиранами... а ведь за все это расплачиваются безоружные.

— А если мы ничего не добьемся?

— Чего-нибудь добьемся, верьте мне. Не все правители несправедливы. Если же мы ничего не добьемся, если наши голоса не будут услышаны, если мы убедимся в том, что человек стал глух к жалобам себе подобных, тогда распоряжайтесь мною, как хотите!

Старик порывисто обнял юношу.

— Я принимаю твое предложение, Элиас; знаю, что ты выдержишь слово. Ты придешь ко мне, и я помогу тебе отомстить за твоих близких, а ты мне поможешь отомстить за сыновей, — они были так похожи на тебя!

— А до тех пор, сеньор, вы обещаете избегать всяких насильственных мер.

— Ты расскажешь, в чем нуждается народ, ты хорошо это знаешь. Когда я получу от тебя ответ?

— Через четыре дня пришлите ко мне человека на берег у Сан-Диего, и я вам передам слова того, на кого так надеюсь... Если он согласится помочь нам, будем ожидать справедливого решения, а если не согласится, я первый паду в борьбе, которую мы начнем.

— Элиас не умрет, Элиас будет вождем, когда капитан Пабло погибнет, успокоив свое сердце мстью, — сказал старик.

И он проводил юношу до самого выхода из пещеры.

XLVI

ПЕТУШИНЫЕ БОИ

Воскресными вечерами филиппинцы обычно посещают петушинные бои, подобно тому как испанцы — бой быков. Увлечение петушинными боями, проникшее в страну век назад и превратившееся в доходный промысел, стало пагубной страстью всего народа, оно распространилось здесь более широко, чем опиум среди китайцев. На арену идет и бедняк, чтобы рискнуть последними грошами в надежде разбогатеть, не надрывая живота. На арену идет и богач, чтобы развлечься на деньги, оставшиеся от пиршеств и благодарственных месс. Но здесь ключ к счастью, за которым они гонятся, находится в их собственных руках, — обучению петуха уделяют, пожалуй, больше внимания, чем воспитанию собственного сына, будущего своего преемника в этой азартной игре, — а потому мы не станем их осуждать.

Правительство разрешает петушинные бои и чуть ли не поощряет их, предписывая, что они должны проводиться только в «публичных местах» и в «праздничные дни» (не затем ли, чтобы побольше зрителей могло увлечься заразительным примером?), «после большой мессы до темно-

ты» (в течение восьми часов!). Что ж, отправимся и мы на это любопытное зрелище, а заодно поищем знакомых.

Здание, где происходят петушинные бои в Сан-Диего, не отличается от подобных ему зданий в других городках, если не считать некоторых мелочей. Оно состоит из трех помещений. Первое, вестибюль, — большой прямоугольник метров двадцати в длину и четырнадцать в ширину. С одной стороны — входная дверь, которая обычно охраняется женщиной, взимающей плату за вход. Из общего сбора правительство получает свою часть — несколько сот тысяч песо в год; говорят, что на эти деньги, которыми пагубная страсть откупает свою свободу, возводятся великоленные школы, строятся мосты и дороги, учреждаются поощрительные премии за развитие сельского хозяйства и торговли... Да благословит бог это порочное увлечение, приносящее столь прекрасные плоды!

Здесь же стоят торговки, продающие буйо, сигары, сласти, пиццарию, мальчишки, которые приходят с отцами или дядями, заботливо приобщающими их к таинствам жизни.

Это помещение сообщается с другим, немного больших размеров, своего рода фойе, где собирается публика перед солтадой. В этом фойе держат петухов; они привязаны к воткнутому в землю костяным или деревянным колышку. Сюда сходятся опытные игроки, любители, мастера по прикреплению стальных шпор, здесь заключают сделки, гадают об исходе боя, просят займы, ругаются, божатся, хохочут. Один ласкает своего петуха, глядя рукой его блестящие перья; другой щупает и считает чешуйки на петушиных лапах, третий рассказывает о подвигах пернатых героев. Тут же вы увидите и людей с печальными лицами, волочащих за ноги мертвых оципанных петухов. Любимец и надежда хозяина, многие месяцы хохлившего и лелеявшего его, теперь всего-навсего труп и будет продан за одну песету, чтобы быть сваренным с имбирем и съеденным в тот же вечер: «*Sic transit gloria mundi!*»¹ Проигравший возвращается с пустым карманом и без петуха домой, где его с тревогой ждут оборванные детишки и жена. От радужной мечты, от всех многодневных хлопот с зари до зари, от всех трудов и стараний остается одна песета — маленькая горстка пепла от большого костра надежд.

¹ Так проходит слава мирская! (лат.)



В этом фойе даже невежды высказывают свое мнение, даже люди легкомысленные и те придирчиво изучают петухов, рассматривают и взвешивают их, растягивают крылья, щупают мускулы. Одни приходят разодетые, в сопровождении толпы поклонников их петухов; другие — в лохмотьях, с изможденными лицами, отмечены печатью порока. Они жадно следят за каждым жестом богачей, за каждой ставкой, ибо кошелек может и опустеть, но страсть не иссякает. Здесь нет равнодушных лиц; здесь филиппипец уже не вял, не апатичен, не молчалив: он весь — движение, страсть, азарт. Люди словно испытывают неустойчивую жажду, как те, кто пытается утолить ее болотной водой.

Из этого помещения выходят на арену, которая называется «руэда». Арена окружена бамбуковой оградой, и пол здесь немного приподнят по сравнению с полом в двух других помещениях. От арены вверх, почти до потолка, ярусами расположены скамьи для зрителей, или игроков, — различие между ними установить невозможно. Во время боя скамьи заполняются мужчинами и детьми, которые кричат, улюлюкают, свистят, толкают друг друга и бранятся; к счастью, здесь почти не бывает женщин. На самой руэде размещаются богачи, важные особы, крупные игроки, хозяин и судья. На отлично утрамбованной площадке дерутся петухи, и отсюда судьба посылает семьям радость или слезы, пиршества или голод.

В этот час мы встречаем тут префекта, капитана Пабло, капитана Басилио и Лукаса — человека со шрамом на лице, того, что горюет о своем погибшем брате.

Капитан Басилио подходит к одному местному жителю:

— Ты не знаешь, каков петух у капитана Тьяго?

— Не знаю, сеньор; сегодня утром ему доставили двух, один из них ласак, который побил консульского талисаина.

— Ты думаешь, мой булик может с ним драться?

— Еще бы! Ставлю на вашего свой дом и последнюю рубашку!

В это время появляется капитан Тьяго. Он одет, как все крупные игроки: рубашка из кантонского полотна, шерстяные панталоны и широкополая соломенная шляпа.

Сзади шествуют слуги, несущие ласака и огромного белого петуха.

— Синанг мне сказала, что Мария поправляется! — обратился к нему капитан Басилио.

— Да, жар уже спал, но она еще очень слаба.

— Вы проиграли вчера вечером?

— Немножко; вы-то, я знаю, выиграли. Попробую сегодня отыграться.

— Хотите выпустить ласака? — поинтересовался капитан Басилио, беря петуха у слуги и разглядывая его.

— Пожалуй, если найдется противник.

— Сколько ставите на своего?

— Меньше, чем на две, не играю.

— Вы видели моего булика? — спросил капитан Басилио и подозвал человека, державшего небольшого петушка.

Капитан Тьяго оглядел его, взвесил на руке, потрогал шпоры и вернул.

— Сколько ставите? — спросил он.

— Столько же, сколько вы.

— Я — две пятьсот.

— А три?

— Идет!

— Следующая сольтада наша!

Любопытные и игроки громогласно возвестили о предстоящей схватке двух знаменитых петухов; каждый из них был опытным бойцом и пользовался заслуженной славой. Все горело желанием взглянуть на этих знаменитостей; каждый высказывал свое мнение о противниках и старался предугадать исход состязания.

Между тем шум, гам, суэта усиливаются, арена заполняется людьми, скамьи берутся с боя. Служители выносят на арену двух петухов, белого и рыжего; на их лапы уже надеты стальные шпоры, но пока в чехлах. Слышатся крики: «На белого! На белого!» — и отдельные возгласы: «На рыжего!» Белый был «любимчик», а рыжий — «новичок».

В толпе снуют гражданские гвардейцы. Они не в мундирах своего доблестного корпуса, но и не в штатском. Штаны из гингона с красной бахромой, рубахи с голубыми пятнами от слинявших мундиров, форменные шапки; такой пестрый наряд соответствовал их поведению: они участвовали в игре и одновременно следили за порядком, вносили сумятицу и призывали к спокойствию.

В то время как зрители кричат, тянут руки с монетами, пересчитывают деньги, выворачивают карманы в поисках последней монеты или, не найдя ее, просят, чтобы им поверили на слово, обещая, если понадобится, продать своего буйвола, будущий урожай, — двое юношей, по-видимому, братья, жадными глазами следят за игроками, подходят к ним и что-то робко шепчут, но их никто не слушает. Лица юношей становятся все мрачнее, они смотрят друг на друга с досадой и тоской. Лукас исподтишка наблюдает за ними: вот он злобно ухмыляется и, позвякивая серебряными песо, проходит мимо братьев. Бросив быстрый взгляд на арену, Лукас выкрикивает:

— Ставлю пятьдесят, пятьдесят против двадцати на белого.

Братья взволнованы.

— Я же тебе говорил, — проворчал старший, — чтобы ты не ставил всех денег сразу; послушался бы меня, у нас хватило бы на рыжего!

Младший робко приблизился к Лукасу и тронул его за руку.

— Это ты? — воскликнул Лукас, оборачиваясь и притворяясь изумленным. — Твой брат принимает мое предложение или ты сам хочешь поставить?

— Как же нам ставить, если мы все проиграли?

— Значит, принимаете?

— Он не хочет! Если бы ты одолжил нам немножко денег, ты ведь говоришь, что нас знаешь...

Лукас почесал голову, одернул рубашку и сказал:

— Да, я вас знаю; вы — Тарсило и Бруно, молодые и сильные парни. Знаю, что ваш храбрый отец умер, получив от этих солдат сто ударов бичом; знаю, что вы не собираетесь мстить за него...

— Не вмешивайтесь в наши дела, это приносит несчастье, — прервал его Тарсило, старший брат. — Не будь у нас сестры, нас бы уже давным-давно повесили!

— Повесили? Вешают только трусов да тех, у кого нет ни денег, ни покровителей. Ведь горы-то недалеко.

— Сто против двадцати, ставлю на белого! — прокричал кто-то, проходя мимо.

— Одолжите нам четыре песо... три... два... — взмолился младший. — Мы потом вернем вам вдвойне, — сольтада сейчас начнется.

Лукас снова почесал затылок.

— Хм! Деньги-то ведь не мои, мне их дал дон Крисостомо для тех, кто хочет ему служить. Но, вижу, не в отца вы пошли; тот был настоящий храбрец, а у кого не хватает смелости, тому нечего искать развлечений.

И он отошел от них, правда, недалеко.

— Давай согласимся, что тут такого? — сказал Бруно. — Не все ли равно, повесят нас или расстреляют? Беднякам нет иного выхода.

— Ты прав, но подумай о нашей сестре.

Между тем очистили круг, вот-вот должен был начаться бой. Крики стихли, два солтадора с мастером по прикреплению шпор остались в центре. По знаку судьи мастер обнажил шпоры петухов: угрожающе сверкнули острые стальные иглы.

Оба брата молча, уныло подошли к кругу и стали смотреть, прижавшись лбом к ограде. К ним приблизился какой-то человек и шепнул:

— Приятель, сто против десяти, ставлю на белого!

Тарсило недоуменно взглянул на него. Бруно оттолкнул незнакомца локтем, на что тот ответил хриплым смешком.

Солтадоры держали петухов с величайшей осторожностью, чтобы не пораниться. Вокруг царил торжественная тишина. Казалось, все присутствующие, кроме двух солтадоров, превратились в какие-то страшные восковые куклы. Солтадоры сближали петухов, придерживая им головы и по очереди подставляя каждого под удары клюва противника, чтобы бойцы рассвирепели в одинаковой мере: во всякой дуэли права должны быть равны, дерутся ли парижские петухи или филиппинские. Затем бойцам позволяют увидеть друг друга, сталкивают их вместе, чтобы бедные птицы знали, кто их клевал и с кем надо драться. Перья на шеях взъерошиваются, бойцы пристально глядят друг на друга, искры ярости сверкают в их круглых глазках. Итак, время наступило: их опускают на землю на расстоянии нескольких шагов и предоставляют свободу действий.

Петухи медленно сближаются. Слышно постукивание лапок по сухой земле. Публика замерла, затаила дыхание. Наклоняя и поднимая голову, словно примериваясь, бойцы издают какие-то звуки, выражающие угрозу и презрение. Они увидели сверкающие шпоры, холодные голубоватые отблески стали. Опасность возбуждает бойцов, и

вот они решительно идут на сближение, но вдруг останавливаются и, пригнув головы, глядят друг на друга; снова топорщатся веером перья на шее. В этот миг кровь ударяет в их маленькие головы, и петухи с присущим им пылом в неистовстве бросаются один на другого: сталкиваются, сцепляются клювами, сшибаются грудью, бьют друг друга крыльями, шпорами. Однако удары искусно отражаются, и бойцы теряют всего лишь несколько перьев. Они снова примериваются. Вдруг белый взлетает вверх, сверкает смертоносный клинок. Но рыжий успевает подогнуть ноги, спрятать голову, и белый только рассекает воздух. Опустившись на землю, он быстро поворачивается, чтобы противник не ударил его в спину, и приготавливается к защите. Рыжий яростно атакует, но белый искусно обороняется — недаром он любимец публики. Все с волнением и тревогой следят за ходом схватки, лишь иногда невольный крик вырывается из чьей-то груди. Земля покрывается красными и белыми перьями, кровавыми пятнами, но бой не прекращается. У филиппинцев, строго соблюдающих предписания правительства, бой считается оконченным только тогда, когда один из противников либо оказывается забитым насмерть, либо спасается бегством.

Кровь орошает землю, удар следует за ударом, но еще трудно сказать, на чьей стороне победа. Наконец, сделав героическое усилие, белый бросается вперед, чтобы нанести последний удар рыжему, вонзает шпору ему в крыло, но не может вытащить ее обратно. Сам белый тоже ранен — в грудь. Оба врага, истекающие кровью, обессиленные, задыхающиеся, застывают в неподвижной позе, как бы прикованные друг к другу. Но вот белый падает, из клюва у него хлещет кровь, он судорожно дергает лапами. Рыжий так и остается прикованным к противнику, лапы его медленно подгибаются, глаза заволакивает пленкой.

Судья, следуя правительственным предписаниям, объявляет победителем рыжего петуха. Решение встречается диким воплем, который отдается эхом во всех концах городка. Всякий, заслышав его издалека, понимал, что бой выиграл «новичок», иначе ликование не было бы столь продолжительным. Так бывает и в истории народов: если малому удастся победить великого, такую победу воспевают и прославляют в веках.

— Ну, видишь? — презрительно кивнул Бруно своему брату. — Послушал бы ты меня, и мы выиграли бы сто песо, а из-за тебя остались без единого медяка.

Тарсило ничего не ответил, растерянно оглядываясь, словно высматривая кого-то.

— Он там, с Педро разговаривает, — добавил Бруно, — дает ему деньги. Ой, сколько денег!

В самом деле, Лукас опускал серебряные монеты в протянутую мужем Сисы руку. Они шепотом обменялись несколькими словами и разошлись, по-видимому, довольные друг другом.

— Не иначе как Педро с ним договорился; вот это решительный человек! — вздохнул Бруно.

Тарсило был сумрачен и задумчив, рукавом рубахи он вытирал пот, струившийся по лбу.

— Брат, — сказал Бруно, — если ты не решаешься, я пойду один: примета верная, ласак должен выиграть, и нам нельзя упустить такой случай. Я хочу играть в следующем бою. Чем черт не шутит? Отомстим за отца.

— Постой! — сказал Тарсило и взглянул ему в глаза. Оба брата были бледны как полотно. — Я иду с тобой, ты прав: отомстим за отца.

Однако он все еще не трогался с места, продолжая утирать пот.

— Ну, что стоишь? — нетерпеливо спросил Бруно.

— А ты знаешь, кто дерется в следующем бою? Стоит ли?..

— Да разве ты не слышал? Булик капитана Басилио против ласака капитана Тяго. По всему, должен выиграть ласак.

— Ах да, ласак! Я бы тоже поставил... но сначала посмотрим на него.

Бруно с досадой махнул рукой, однако последовал за братом; тот осмотрел петуха, ощупал, взвесил на руке, подумал, расспросил кое о чем, — бедняга колебался. Бруно стал нервничать.

— Ну, разве не видишь, какая у него крепкая кожа, вон там, у шпор? Не видишь, какие лапы? Что тебе еще надо? Смотри, какие когти, растяни-ка крылья! А чешуйки-то в два слоя: над широкими — помельче, видишь!

Тарсило, не слушая брата, продолжал разглядывать петуха; до его ушей долетал звон золотых и серебряных монет.

— Посмотрим теперь на булика,— сказал он сдавленным голосом.

Бруно топнул ногой от злости, заскрипел зубами, но повиновался.

Они приблизились к другой группе. Там вооружали петуха: выбирали ему шпоры, готовили для подвязывания красные шелковые шнурки, натирали их воском.

Тарсило уставился на петуха равнодушным, мрачным взглядом: казалось, он не птицу видит, а какую-то картину из своего будущего. Потом провел рукой по лбу.

— Ты готов? — глухо спросил он брата.

— Я? Давным-давно; не надо было и смотреть на них!

— Но ведь... наша бедная сестра...

— Брат, говорят же тебе, что командовать будет дон Крисостомо! Разве ты не видел, как он разгуливал с генерал-губернатором? Чего же нам бояться?

— А если нас убьют?

— Ну и что ж? Нашего отца забили насмерть.

— Ты прав!

Братья пошли разыскивать Лукаса, с трудом протискиваясь в толпе. Когда они его заметили, Тарсило остановился.

— Нет, уйдем отсюда, мы погубим себя! — воскликнул он.

— Уходи, если хочешь, я сам договорюсь!

— Бруно!

К несчастью, в этот миг к ним приблизился какой-то человек и сказал:

— Поставим? Я — на булика.

Братья не отвечали.

— Давайте!

— Сколько? — спросил Бруно.

Человек начал пересчитывать монеты по четыре песо. Бруно, не дыша, следил за ним.

— У меня двести; пятьдесят против сорока!

— Нет! — решительно сказал Бруно. — Прибавьте...

— Ладно, пятьдесят против тридцати!

— Удвойте ставку!

— Ладно, булик — птица моего хозяина, и я уже выиграл на нем; сто против шестидесяти.

— По рукам! Подождите, я раздобуду денег.

— Но хранить их буду я,— сказал тот, не слишком полагаясь на честность Бруно.

— Как угодно! — ответил Бруно, вполне полагаясь на свои кулаки. И, повернувшись к брату, сказал: — Если ты не хочешь, я пойду один.

Тарсило размышлял; он любил игру и любил брата, он не мог оставить Бруно и прошептал:

— Будь по-твоему!

Они подошли к Лукасу, при виде их тот ухмыльнулся.

— Дядюшка! — сказал Тарсило.

— Чего вам!

— Сколько дадите? — спросили оба.

— Я уже сказал: если вы приведете других, чтоб напасть на казармы, я дам по тридцать песо каждому из вас и по десять вашим приятелям. Если все сойдет удачно, каждый из них получит по сотне, а вы — вдвойне: дон Крисостомо — богатый человек.

— Согласны! — воскликнул Бруно. — Давайте деньги.

— Я знал, что вы такие же храбрецы, как ваш отец! Отойдем в сторонку, чтобы его убийцы нас не услышали! — сказал Лукас, кивая на жапдармов. И, отведя братьев за угол, прибавил, отсчитывая монеты: — Завтра придет дон Крисостомо и привезет оружие; послезавтра вечером, к восьми, приходите на кладбище, и я вам сообщу его последние распоряжения. У вас еще есть время поискать себе товарищей.

Они расстались. Братья, казалось, поменялись ролями: Тарсило был спокоен, Бруно встревожен.

XLVII

ДВЕ ДАМЫ

В то время как капитан Тяго выпускал на круг своего ласака, донья Викторина прогуливалась по городку, желая обозреть дома и сады этих лепивых индейцев. Она оделась как могла элегантней, нацепила на шелковое платье все свои ленты и цветы, чтобы поразить провинциалов и показать им, сколь велика дистанция между ними и ее высокой особой. Под руку со своим хромым супругом она важно дефилировала по улицам городка мимо остолбеневших от изумления жителей. Кузен Линарес остался дома.

— Что за ужасные дома у этих индейцев! — ворчала донья Викторина, морща нос. — Не представляю, как можно в них жить: для этого надо быть дикарем. А как они плохо воспитаны и как чванливы! Идут мимо и шляпы не снимут. Стукни их по голове, как делают священники и жандармские офицеры, научи их вежливости.

— А если они сами меня стукнут? — спросил доктор де Эспаданья.

— На то ты и мужчина!

— Нн... но я же хромой!

Донья Викторина мало-помалу приходила в дурное расположение духа: улицы не были вымощены брусчаткой, и шлейф ее платья вывалился в пыли. Кроме того, ей встречалось много девушек, которые, проходя мимо нее, опускали глаза и не восхищались, как это следовало, ее роскошным нарядом. Кучер Спинанг, везший девушку вместе с ее кузиной в изящной открытой коляске, имел наглость крикнуть ей «с дороги!» таким зычным голосом, что ей осталось лишь посторониться и пробурчать: «Смотрите-ка на эту свинью кучера! Вот скажу его хозяину, чтобы лучше воспитывал своих слуг!»

— Пошли домой! — приказала она мужу.

Тот, чтобы избежать бури, подчинился и повернул обратно, опираясь на свой костыль.

Они повстречались с альфересом, раскланялись, и эта встреча еще более ухудшила дурное настроение доньи Викторины: служака не только не сделал комплимента по поводу ее туалета, но даже как будто окинул ее насмешливым взглядом.

— Тебе не следовало подавать руку простому альфересу, — сказала она мужу, когда жандарм удалился. — Он едва притронулся к козырьку, а ты снял шляпу. Унижаешь себя!

— Но он здесь на... начальство!

— А нам что за дело? Разве мы — индейцы?

— Ты права! — покорно согласился он.



Они проходили мимо дома альфереса. Донья Консоласьон стояла у окна, дымя сигаретой, одетая, как обычно, во фланелевую рубашу. Так как окно находилось невысоко над землей, женщины увидели друг друга. Жавдармская Муза спокойно оглядела донью Викторину с головы до ног, оттопырила пижнюю губу,



выразительно сплюнула и отвернулась. Это вывело донью Викторину из себя; она высвободила руку, вследствие чего муж лишился всякой опоры, и встала перед женой альфереса, выпятив грудь, дрожа от гнева, не в силах слова вымолвить. Донья Консоласьон опять не спеша повернула голову, спокойно оглядела докторшу и сплюнула еще более выразительно. — Что вам угодно, сударыня? — спросила супруга альфереса.

— Скажите мне, сеньора, почему вы на меня так уставились? Может, завидуете? — смогла наконец проговорить донья Викторина.

— Я? Завидую? Это вам-то? — спросила, усмехаясь, Медуза. — Да, завидую вашим кудряшкам!

— Пойдем, жена! — сказал доктор. — Не обрррр...рацай внимания!

— Не мешай мне поучить уму-разуму эту бесстыжую грубиянку! — ответила супруга, так толкнув мужа, что тот едва не ударился лбом о землю, и снова повернулась к донье Консоласьон.

— Помните, с кем говорите! — сказала она. — Я не какая-нибудь провинциалка или солдатская девка! В мой дом, в Маниле, альфересов не пускают, они ждут у дверей.

— Ого, высокочтимая сеньора Фря! Альфересов-то не пускают, да хромоногим вход открыт, таким, как этот! Ха-ха-ха!

Если бы не румяна, можно было бы заметить, как покраснела донья Викторина. Она хотела броситься на противницу, но ей помешал часовой. Между тем улица наполнилась любопытными.

— Послушайте, вы! Я унижаюсь уже тем, что говорю с вами; мы люди из высшего общества... Не хотите ли выстирать мое белье? Я хорошо заплачу! Думаете, мне неизвестно, что вы были прачкой?

Донья Консольсон гневно выпрямилась, слово «прачка» задело ее.

— А вы думаете, мы не знаем, кто вы такая и кого с собой таскаете? Все знаем! Мой муж мне все рассказал! Я, сеньора, по крайней мере всегда принадлежала одному, а вы-то? Надо с голоду подышать, чтобы связаться с такой уродиной, с такой шлюхой!

Удар попал в самое сердце доньи Викторины, она засучила рукава, сжала кулаки и процедила сквозь зубы:

— Выйди только из дому, старая свинья, я заткну твой поганный рот! Полковая девка, прирожденная проститутка!

Медуза отскочила от окна и тут же показалась в дверях, размахивая хлыстом своего мужа.

Напрасны были мольбы дона Тибурсио, — не появись тут альферес, дамы схватились бы врукопашную.

— Сеньоры, что вы!.. Дон Тибурсио!

— Воспитывайте лучше свою жену да купите ей платье поприличней, а если у вас нет денег, ограбьте жителей, на то у вас и солдаты! — кричала донья Викторина.

— Вот я и здесь, сеньора! Что ж ваша милость мне рот не затыкает? Только и можете язык распускать да слюной брызгать, донья Задавака!

— Сеньора! — проревел альферес. — Скажите спасибо, что я еще не забыл, что вы женщина, иначе я бы выставил вас отсюда взаперть со всеми вашими кудряшками и лентами!

— Се...сеньор альферес!

— Помалкивайте, вы, душегуб! Туда же еще, голоштанник!

Посыпались угрозы, крики, брань и оскорбления; на свет божий было вытащено самое грязное белье. Все четверо кричали разом и разглашали такие тайны, которые порочат высшие слои общества, хотя многое в том, что говорилось, было правдой, — а потому мы отказываемся

воспроизводить здесь их перебранку. Любопытные, даже не понимая всего, что говорилось, развлекались на славу и с нетерпением ждали, когда же дело дойдет до драки. К сожалению, появился священник и стал восстанавливать мир.

— Сеньоры! Сеньоры! Какой стыд! Сеньор альферес!

— А вы что вмешиваетесь, лицемер, карлист несчастный!

— Дон Тибурсио, заберите свою супругу! Сеньора, придержите язычок!

— Вы лучше заткните рот этим обиралам!

Наконец исчерпался запас эпитетов, завершился обзор грехов и не потребств каждой четы, и с угрозами и руганью они разошлись в разные стороны. Отец Сальви увещевал то тех, то других, внося еще большее оживление в эту бурную сцену. Вот если бы тут присутствовал наш друг корреспондент!

— Сегодня же уедем в Манилу и пойдем прямо к генерал-губернатору! — заявила мужу обозленная дочь Викторина. — Ты не мужчина; не тебе бы штаны носить!

— Нн...но, моя милая, а жандармы? Я ведь хромой!

— Ты должен вызвать его драться на пистолетах или на саблях, иначе... иначе... — И дочь Викторина посмотрела на его вставную челюсть.

— Детка, я же никогда не брался за...

Дочь Викторина не дала ему закончить фразу: великодушным жестом она вырвала челюсть, швырнула ее на мостовую и растоптала. Домой супруги явились в расстроенных чувствах: он чуть не плакал, она метала громы и молнии.

Линарес в это время беседовал с Марией-Кларой, Сианг и Викторией; ничего не зная о происшедшей ссоре, он немало встревожился при виде своих родственников. Мария-Клара, полулежавшая в кресле среди подушек и одеял, очень удивилась, увидев изменившуюся физиономию доктора.

— Кузен, — сказала дочь Викторина, — ты сейчас же вызовешь альфереса на дуэль, иначе...

— А за что? — спросил изумленно Линарес.

— Ты сейчас же его вызовешь, или я всем тут расскажу, кто ты есть.

— Но, дочь Викторина!

Три подружки переглянулись.

— Ты меня понял? Альферес нас оскорбил, обозвал тебя последними словами! Старая ведьма хлыстом махала, а этот вот, этот позволил, чтобы его оскорбляли... И это мужчина!

— Ох! — сказала Синанг. — Они там сцепились, а мы и не видели!

— Альферес выбил доктору зубы, — добавила донья Викторипа. — Сегодня же мы уезжаем в Манилу, а ты, ты останешься здесь и вызовешь его на дуэль. Если не сделаешь этого, я скажу дону Сантьяго, что все, что ты ему наговорил, — ложь, я скажу...

— Но, донья Викторипа, донья Викторина! — прервал ее Липарес, побледнев и подскочив к ней. — Успокойтесь, не вынуждайте меня напоминать... — И шепотом прибавил: — Не делайте глупостей именно сейчас.

Пока разыгрывалась эта сцена, вернулся с петушиных боев капитан Тьяго; он был печален и подавлен, его ласак погиб.

Донья Викторина не дала ему повздыхать вволю; в немногих словах, пересыпанных ругательствами, она рассказала о том, что произошло, постаравшись, разумеется, выставить себя в наилучшем свете.

— Липарес вызовет его на дуэль, вы слышите? Если нет, не разрешайте ему жениться на вашей дочери, не разрешайте! Если он трус, он не стоит Клариты.

— Значит, ты выходишь замуж за этого сеньора? — спросила Синанг, и ее веселые глаза наполнились слезами. — Я думала — ты скромница, а ты воп какая ветреная.

Мария-Клара, бледная как полотно, привстала в кресле и устремила испуганный взор на своего отца, потом на донью Викторину и Липареса. Юноша покраснел, капитан Тьяго опустил глаза, а сеньора прибавила:

— Кларита, заруби себе на носу: не выходи замуж за человека, штаны на котором для одного виду надеты; тебя вечно все будут оскорблять, даже собаки.

Девушка ничего не ответила и, обратившись к подругам, сказала:

— Отведите меня в мою комнату, я не могу идти одна.

Подруги помогли Марии-Кларе подняться и, поддерживая за талию, повели ее в спальню; она тихо шла, уронив голову на плечо красавицы Виктории.

В тот же вечер супруги уложили свои чемоданы, передали капитану Тьяго счет на кругленькую сумму в несколько тысяч и следующим утром с зарей отправились в хозяйской коляске в Манилу. Застенчивому Линаресу они поручили роль мстителя.

XLVIII ЗАГАДКА

Еще вернутся темные ласточки...

*Бекер **

Как сказал Лукас, Ибарра в самом деле приехал на следующий день. Прежде всего он направился в дом капитана Тьяго, чтобы увидеть Марию-Клару и сообщить ей, что архиепископ не отлучил его от церкви: Ибарра привез рекомендательное письмо священнику, собственноручно написанное его преосвященством. Тетупка Исабель немало этому порадовалась, она любила юношу, и брак ее племянницы с Линаресом был ей не по душе. Капитана Тьяго дома не оказалось.

— Входите, — сказала тетупка на ломаном испанском языке. — Мария, дону Крисостомо возвращена божья милость; архиепископ «прилучил» его к церкви.

Но молодой человек не мог двинуться с места, улыбка застыла у него на губах, он забыл о том, что хотел сказать. На веранде рядом с Марией-Кларой стоял Линарес и плел гирлянды из цветов и листьев вьюнка; на полу были разбросаны розы и ветки жасмина. Мария-Клара, бледная, задумчивая, печальная, поклонилась в кресле, обмахиваясь веером из слоновой кости, который был не белее ее точеных пальчиков.

При появлении Ибарры Линарес побледнел, а щеки Марии-Клары зарумянились. Она попыталась подняться, но снова без сил повалилась в кресло, закрыв глаза и уронив веер. Несколько секунд царила напряженная тишина. Наконец Ибарра приблизился к девушке и сказал дрожащим голосом:

— Я только что приехал и сразу побежал проведать тебя... Ты выглядишь лучше, чем я ожидал.

Мария-Клара словно лишилась дара речи, она не произнесла ни слова и не подняла опущенных глаз.

Ибарра смерил Линареса взглядом, который этот застенчивый юноша выдержал, приняв надменный вид.

— Я вижу, меня здесь не ждали,— медленно проговорил Ибарра.— Мария, прости, что я не известил тебя о своем приходе; когда-нибудь я тебе объясню свое поведение. Мы еще увидимся... непременно.

Последние слова сопровождались взглядом в сторону Линареса. Девушка подняла на Ибарру свои прекрасные глаза, такие чистые и печальные, такие молящие и красноречивые, что он смущенно остановился.

— Могу я прийти завтра?

— Ты же знаешь, что для меня ты всегда желанный гость,— едва слышно прошептала она.

Ибарра удалился внешне спокойный, но ум его был в смятении, а сердце оледенело. То, что он сейчас пережил и увидел, было непостижимо: неверие ли это в него, охлаждение или измена?

— О, женщина остается женщиной! — повторял он.

Невольно юноша направился к тому месту, где строилась школа. Дело заметно продвинулось. Ньор Хуан с отвесом и рулеткой расхаживал среди работавших людей. Увидев Ибарру, он побежал ему навстречу.

— Дон Крисостомо, наконец-то вы пришли, мы все вас ждем. Посмотрите, каковы стены, они уже метр десять в высоту, а через два дня будут в человеческий рост. Я применял только молаве, дуингон, ипиль и лангиль, а для внутренней отделки затребовал тингало, малатапай, сосну и нарра. Хотите осмотреть подвал?

Рабочие почтительно кланялись Ибарре.

— А вот и канализация, которую я себе позволил провести,— говорил Ньор Хуан.— Эти подземные трубы поведут к своеобразному резервуару в тридцати пасах отсюда. Там будут накапливаться удобрения для сада; этого в плане не было. Вы не сердитесь?

— Напротив, я одобряю и поздравляю вас с удачной мыслью. Вы — настоящий архитектор, у кого вы учились?

— У самого себя,— скромно ответил старик.

— Да, чтобы не забыть; пусть знают все сомневающиеся,— если кто-нибудь боится говорить со мною,— что

я уже не отлученный; сам архиепископ приглашал меня к обеду.

— Э, сеньор, да мы и не смотрим на всякие там отлучения! Мы все уже отлученные, да и сам отец Дамасо тоже, а он все толстеет, и ничего его не берет.

— Как так?

— Да так; год тому назад он стукнул палкой викария, а ведь викарий такой же священник, как и он сам. Кто смотрит на эти отлучения, сеньор?

Среди работающих Ибарра увидел Элиаса; тот поклонился ему, как и все остальные, и взглядом дал понять, что хочет с ним поговорить.

— Ньор Хуан, — сказал Ибарра, — принесите мне, пожалуйста, список рабочих.

Ньор Хуан удалился, а Ибарра подошел к Элиасу, который нес к тачке большой камень.

— Если вы, сеньор, можете уделить мне несколько часов, приходите вечером к берегу озера и садитесь в мою лодку, мне надо поговорить с вами о важном деле, — прошептал Элиас. Увидев, что юноша кивнул головой в знак согласия, он тут же скрылся.

Ньор Хуан принес списки, но Ибарра напрасно перелистывал их: имя Элиаса там не значилось.



XLIX

ГЛАС ГОНИМЫХ

Еще до захода солнца Ибарра спустился к берегу озера и сел в лодку Элиаса. Казалось, он был чем-то расстроен.

— Извините меня, сеньор, — сказал с грустью в голосе Элиас, увидев юношу, — извините, что я осмелился просить

вас об этой встрече. Мне хотелось поговорить с вами на свободе, а здесь у нас не будет свидетелей; через час-другой мы сможем вернуться.

— Вы ошибаетесь, друг мой Элиас, — ответил Ибарра, пытаясь улыбнуться, — вам придется отвезти меня воп в то селение, колокольня которого виднеется вдаль. Злой рок гонит меня туда.

— Злой рок?

— Да. Представьте себе, я сейчас встретил альфереса, и он пытался навязать мне свое общество. Я подумал о вас: он мог бы вас узнать, — и, чтобы отделаться от него, сказал, что иду в то селение и пробуду там до самого вечера. Он собрался навестить меня завтра днем.

— Благодарю вас за внимание, но вы могли бы пригласить его сюда, — ответил спокойно Элиас.

— Как же так? А вы?

— Альферес меня не узнал бы; в тот единственный раз, когда он меня видел, ему и невдомек было, что это я.

— Мне в голову не пришло! — вздохнул Ибарра, думая о Марии-Кларе. — Что вы хотели сказать мне?

Элиас огляделся по сторонам. Они уже отплыли далеко от берега. Солнце село, и так как в этих широтах сумерек почти не бывает, тотчас начал сгущаться мрак и засверкал диск полной луны.

— Сеньор, — заговорил Элиас, голос его звучал сурово, — я говорю с вами от имени сотен несчастных.

— Несчастных? Что это значит?

Элиас передал ему в нескольких словах свой разговор с предводителем тулисанов, умолчав о сомнениях старика и о его угрозах. Ибарра внимательно слушал, и когда Элиас закончил свой рассказ, воцарилось долгое молчание. Ибарра первый нарушил тишину.

— Итак, они хотят...

— Радикальных реформ — военной, церковной и судебной; иначе говоря, они просят, чтобы правительство глянуло на них материнским оком.

— В чем должны состоять эти реформы?

— Ну, например, в большем уважении человеческого достоинства, большей свободе личности, ограничении власти военных и их привилегий, которыми они часто злоупотребляют.

— Элиас, — ответил юноша, — я не знаю, кто вы, но догадываюсь, что не простой крестьянин; вы мыслите и

действуете иначе, чем другие. Вы меня поймете, если я скажу вам следующее: нынешнее положение дел оставляет желать лучшего, но если оно изменится, будет еще хуже. Я мог бы заставить заговорить об этом моих друзей в Мадриде, заплатив им, мог бы сам побеседовать с генерал-губернатором, но и те ничего не добьются, и у этого нет достаточной власти, чтобы вводить подобные новшества. Да и я не сделаю ни шага в этом направлении, ибо прекрасно понимаю, что хотя эти институты и имеют недостатки, они все же необходимы; это, что называется, неизбежное зло.

Элиас, пораженный, поднял голову и с изумлением посмотрел на Ибарру.

— Вы тоже верите в неизбежное зло, сеньор? — спросил он слегка дрогнувшим голосом. — Верите, что путь к добру ведет через зло?

— Я верю в это, как в сильно действующее средство, к которому мы прибегаем, когда хотим излечиться от болезни. Наша страна — это организм, страдающий тяжким недугом, и чтобы избавиться от него, правительство вынуждено применять средства суровые и, если угодно, жестокие, но полезные и необходимые.

— Плох тот врач, сеньор, который старается только облегчить приступы и заглушить боль, не стремясь выявить причину зла, или тот, кто, зная причину, боится устранить ее. У жандармов одна цель: подавление «преступных» вспышек силой и террором; но цель эта достигается лишь от случая к случаю. Надо помнить, что общество может поступать сурово со своими членами только в том случае, если оно предоставляет им необходимые условия для нравственного совершенствования. Но в нашей стране, по сути, нет общества, ибо народ и правительство не составляют единого целого, и нашему правительству надлежит быть снисходительным не только потому, что человек нуждается в снисхождении, но и потому, что здешний житель, лишенный заботы и внимания со стороны правителей, не может в полной мере отвечать за свои поступки, ибо недостаточно развит. Кроме того, — я продолжу ваше сравнение, — методы, применяемые для лечения недугов нашей страны, пагубно влияют на здоровые части организма, понижая их жизнедеятельность. Не разумнее ли укреплять больной организм, отказавшись от сильно действующего лекарства.

— Отказаться от жандармов — это значит поставить под угрозу безопасность селений.

— Безопасность селений! — воскликнул с горечью Элиас. — Скоро будет пятнадцать лет, как в этих селениях появились жандармы, и что же?! Тулисаны не перевелись, мы то и дело слышим о набегах на деревни, по-прежнему продолжается разбой на дорогах, часто случаются кражи, но виновников не обнаруживают. Подлинные преступники пользуются свободой, чего не скажешь про мирных жителей селений. Спросите любого честного человека, считает он жандармерию благом, защитой, дарованной ему правительством, или бременем, орудием деспотизма, который приносит вреда больше, чем злодейства преступников. Да, бывают ужасные преступления, однако они редки, и от них каждый имеет право оградить себя. Меж тем против притеснений властей нельзя слова сказать, и если эти притеснения и не столь жестоки, зато они постоянны и узаконены. Как отражается присутствие жандармов на жизни палких селений? Оно парализует передвижение по стране, потому что все боятся подвергнуться оскорблениям и арестам по ничтожному поводу; ведь жандармы больше смотрят на формальности, чем на суть дела, а это первый признак косности. Достаточно забыть дома удостоверение личности, и тебя могут связать и избить, даже если ты честный и всеми уважаемый человек. Начальники считают, что все жители обязаны снимать перед ними шляпу — хочешь этого или нет, даже в почной темноте. А начальникам подражают их подчиненные, чтобы притеснять и обирать крестьян, и предлогов для этого хватает. У нас нет неприкосновенности очага: недавно в Каламбе жандармы, забравшись через окно, разграбили дом мирного жителя, который в свое время оказал услугу их начальнику. Не охраняется свобода личности: если надо сделать уборку в казарме или в доме начальника, жандармы идут и хватают каждого, кто не может сопротивляться, и заставляют его работать целый день. Угодно еще? Извольте, во время последних празднеств они попустительствовали запрещенным играм, но самым грубым образом прекратили представление, разрешенное законом. Вы видели, как отнесся к этому народ. Что он получил от того, что сдержал свой гнев и поверил в людское правосудие? Эх, сеньор, и это вы называете поддержанием порядка!..

— Я согласен, что творится немало зла,— возразил Ибарра,— но надо мириться с этим злом ради добра, которое ему сопутствует. Согласен, жандармерии присущи недостатки, но, поверьте, внушая страх, она препятствует росту числа преступников.

— Скажите лучше, что страх умножает число преступников,— поправил его Элиас.— До того, как здесь появились жандармы, причиной почти всех преступлений был голод; люди грабили и воровали, чтобы прокормиться, но как только положение с продовольствием улучшалось, дороги снова становились безопасными. Для защиты вполне хватало наших скромных, но храбрых сельских стражников с их пехитрым оружием, стражников, которых так оклеветали те, кто писал о нашей стране, а ведь стражники пользуются одним правом — умирать, имеют одну обязанность — сражаться, в награду же получают лишь насмешки. Теперь у нас есть тулисаны, и они останутся тулисанами до конца дней своих. Какая-либо провинность, какое-либо преступление, за которое они понесли в свое время страшное наказание, какое-либо сопротивление произволу властей или страх перед зверскими пытками навсегда изгоняют их из общества. Они вынуждены либо убивать, либо умирать. Жандармский террор закрывает перед ними пути к раскаянию, и так как тулисаны сражаются и обороняются в горах лучше, чем жандармы, над которыми они лишь смеются, получается, что мы не в силах искоренить зло, порожденное нами самими. Вспомните о мудром поступке генерал-губернатора де ла Торре: * помилование им этих отверженных доказало, что там, в горах, бьются человеческие сердца и только ждут прощения. Режим насилия и угроз был бы уместен лишь в том случае, если бы все люди были рабами, если бы в горах не было пещер, если бы власти поставили за каждым деревом по часовому и если бы в теле раба не имелось ничего, кроме желудка да кишок. Но если несчастный, который борется за свою жизнь, чувствует, что рука его крепка, что в груди его бьется сердце и горечь заливают его душу, можно ли тогда террором погасить пожар, террором же раздуваемый?

— Своими речами вы смутили меня, Элиас; я поверил бы в вашу правоту, если бы не имел собственных убеждений. Обратите внимание на одно обстоятельство,— прошу, не обижайтесь на меня, ибо вас я в виду не

имею,— посмотрите, кто те люди, что ратуют за эти реформы? Почти все они преступники или готовы ими стать!

— Да, преступники или будущие преступники — однако почему? Потому что их лишили мирной жизни и счастья, поирали их самые возвышенные чувства и нежные привязанности, а когда они пытались искать защиты у правосудия, то убедились, что можно рассчитывать только на самих себя. Но вы, сеньор, ошибаетесь, если думаете, что реформ просят одни преступники. Пройдите по селениям, зайдите в дома, послушайте жалобы людей, и вы убедитесь, что зло, от которого нас оберегают жандармы, не больше, если не меньше, того зла, которое сами они изо дня в день причиняют. Следует ли из этого, что все жители — преступники? Тогда для чего защищать их от тех, других? Почему бы не расправиться со всеми?

— Здесь кроется какая-то ошибка, но я сейчас не могу ее уловить, какой-то теоретический просчет, который выявляется на практике, ибо в Испании жандармерия приносит и уже принесла очень большую пользу.

— Не сомневаюсь; возможно, жандармы там лучше обучены, удачнее подобраны люди; или, может быть, Испания нуждается в жандармах, а Филиппины — нет. О нашем образе жизни и наших обычаях, на которые ссылаются, когда хотят лишить нас какого-либо права, всякий раз забывают, когда нам хотят что-нибудь насильно навязать. И еще скажите мне, сеньор, почему эту форму жандармской организации не ввели другие страны, ближайшие соседи Испании? А ведь они, вероятно, имеют с Испанией больше общего, нежели Филиппины? Может быть, именно поэтому у них меньше грабежей на железных дорогах, меньше бунтов, меньше убийств и в их столицах не так часто всаживают кинжал в спину?

Ибарра опустил голову, словно размышляя, затем встал и ответил:

— Этот вопрос, друг мой, требует серьезного изучения. Если я установлю, что жалобы ваши основательны, я напишу друзьям в Мадрид, так как у нас нет своих депутатов. А пока, верьте мне, правительству, для того чтобы заставить себя уважать, нужна такая корпорация, которая имела бы огромную силу и власть.

— Она нужна там, сеньор, где правительство находится в состоянии войны с народом; но для блага самого же правительства мы не должны внушать народу, что он не в ладах с властями. А если бы так было, если бы мы предпочли силу авторитету, нам следовало бы наблюдать за тем, кому дается эта огромная сила, эта власть. Такая сила в руках людей невежественных, обуреваемых страстями, людей сомнительной честности, без всяких моральных устоев, — все равно что ружье в руках безумца среди безоружной толпы. Я допускаю и хочу верить вместе с вами, что правительство нуждается в таком оружии, но пусть оно выбирает себе более достойных служителей; и если оно предпочитает навязывать свою власть, а не добиваться, чтобы народ признал ее добровольно, то пусть хотя бы покажет, что умест ею пользоваться.

Элиас говорил страстно, горячо; глаза его сверкали, голос звенел и срывался. Наступила торжественная тишина; лодка, не подгоняемая веслами, тихо покачивалась на воде; луна величественно сияла на сапфировом небе; вдали на берегу мерцали огоньки.

— Что они еще просят? — спросил Ибарра.

— Церковной реформы, — ответил устало и грустно Элиас. — Несчастные просят защиты от...

— От духовных орденов?

— От угнетателей, сеньор.

— Разве Филиппины забыли, чем они обязаны монашеским орденам? Разве забыли, что должны вечно быть благодарны тем, кто вывел их из тьмы заблуждений и дал веру, кто оберегает их от деспотизма гражданских властей? Вся беда в том, что здесь плохо знают историю родины!

Элиас, пораженный, едва верил своим ушам.

— Сеньор, — возразил он сурово, — вы обвиняете народ в неблагодарности; позвольте же мне, сыну этого народа-страдальца, защитить его. Чтобы добрые дела заслуживали благодарности, они должны быть бескорыстными. Не будем говорить избитые фразы о миссии духовенства, о христианском милосердии. Умолчим об исторических фактах и не будем спрашивать, что сделала Испания с еврейским народом, который дал Европе святую книгу, религию и бога; что она сделала с арабским народом, который дал ей культуру, терпимо относился к ее религии и разбудил в ней чувство национальной гордости,

приглушенное, почти раздавленное в эпоху римского и готского владычества. Вы говорите — монахи дали нам веру, вывели нас из тьмы заблуждений. И вы называете верой эти показные обряды; религией — эту торговлю четками и ладанками; истиной — эти сказки, которые мы слышим каждый день? В них ли состоит учение Иисуса Христа? Ради этого ему не стоило бы идти на крестные муки, а нам — отвечать на них вечной благодарностью: суеверия ведь существовали издревле, надо было лишь усовершенствовать их, а также повысить цену на реликвии. Вы скажете, что наша нынешняя религия, хотя и имеет изъяны, лучше той, что была у нас прежде; я согласен, но она слишком дорого нам обошлась, ибо ради нее мы отказались от нашей национальной самобытности, от независимости; ради нее мы отдали ее служителям лучшие селения, поля, отдаем последние гроши, тратя их на покупку предметов религиозного культа. К нам ввезли товар иноземного производства, мы хорошо платим за него и миримся с этим. Если вы мне скажете, что покровительство церкви защищает нас от энкомендеро *, я отвечу, что оно, напротив, отдает нас во власть этих энкомендеро. Я признаю, что первыми миссионерами, прибывшими к нашим берегам, руководили истинная вера и истинная гуманность; признаю, что мы должны воздать должное их благородным сердцам; я знаю, что в Испании того времени было немало героев, как в религии, так и в политике, на гражданской службе и на военной. Но если предки были доблестны, означает ли это, что мы должны терпеть произвол их выродившихся потомков? Если нам сделали однажды великое благо, можно ли винить нас за то, что мы противимся, когда нам хотят сделать зло? Страна не просит отменить все законы, а просит только реформ, которые отвечали бы новым условиям и новым потребностям.

— Я так же люблю свою родину, как способны любить ее вы, Элиас; я понял, в общем, чего вы желаете, со вниманием выслушал вас, и все же, друг мой, мне думается, что мы рассуждаем несколько пристрастно; здесь, как мне кажется, меньше, чем где бы то ни было, нуждаются в реформах.

— Возможно ли, сеньор? — воскликнул Элиас, протягивая в отчаянии руки. — Вы не видите необходимости в реформах, вы, чья семья так пострадала...

— О, я забываю о себе и собственных бедах во имя счастья Филиппин, во имя интересов Испании! — с живостью прервал его Ибарра. — Чтобы сберечь Филиппины, надо оставить монахов в покое; благо нашей страны — в ее союзе с Испанией.

Ибарра кончил говорить, но Элиас, казалось, ждал продолжения; лицо его было печально, глаза потускнели.

— Нашу страну завоевали миссионеры, это верно, — наконец проговорил он. — И вы полагаете, что именно монахи спасут Филиппины?

— Да, только они; так полагают все, кто писал о Филиппинах.

— Ох! — воскликнул Элиас, бросив с досадой весло в лодку. — Не думал я, что вы так плохо знаете правительство и нашу страну. Стоит ли их тогда уважать? Что бы вы сказали о семье, мирно живущей лишь благодаря вмешательству посторонних? Что это за страна, которая подчиняется только потому, что ее обманывают! Что это за правительство, которое может управлять страной только с помощью обмана и не умеет внушить любовь и уважение! Простите меня, сеньор, но я думаю, что ваше правительство — тупоумно, и при этом оно радуется собственному тупоумию, роя себе же яму. Благодарю вас за оказанную мне любезность. Куда мне вас теперь отвезти?

— Нет, — возразил Ибарра, — продолжим наш спор; надо выяснить, кто прав в этом важном вопросе.

— Простите, сеньор, — ответил Элиас, покачав головой, — я недостаточно красноречив, чтобы убедить вас. Правда, я получил некоторое образование, но я — индеец, и моя жизнь вам мало понятна, мои речи кажутся вам подозрительными. Испанцы высказывают противоположное мнение, но они — испанцы, и потому, какие бы пошлости и глупости ни говорили, их тон, титулы и происхождение придают их словам такой вес, такую святость, что я решительно отказываюсь спорить. Кроме того, когда я вижу, что вы, человек просвещенный и любящий свою страну, вы, чей отец покоится в этих безмятежных водах, вы, втянутый в ссору, оскорбленный и подвергаемый гонениям, продолжаете отстаивать подобные взгляды, я сам начинаю сомневаться в своих убеждениях и готов допустить, что народ ошибается. Я должен сказать этим несчастным, которые возлагали надежду на людей, чтобы

отныне они надеялись лишь на бога или на собственные руки. Еще раз благодарю вас; укажите, куда вас отвезти.

— Элиас, ваши горькие речи ранят меня в самое сердце и порождают сомнения. Что поделаешь? Я воспитывался не в народной среде и, возможно, не знаю нужд народа, — детство мое прошло в школе иезуитов, юность — в Европе. Книжки сформировали мой ум, а в них я читал лишь то, что могло быть напечатано, то же, о чем не принято говорить, о чем не пишут писатели, остается от меня сокрытым. И все же я люблю нашу родину, как и вы, и не только потому, что долг каждого человека любить страну, которой он обязан существованием и в которой, может быть, найдет свой последний приют; не только потому, что мой отец учил меня этому, что моя мать была туземка и все мои самые дорогие воспоминания связаны с этой страной; я люблю родину еще и за то, что обязан ей своим счастьем в настоящем и в будущем!

— А я люблю ее за то, что обязан ей своим несчастьем, — прошептал Элиас.

— Да, мой друг, я знаю, как вы страдаете, как вы несчастны. Это и заставляет вас видеть будущее в мрачном свете и влияет на ваш образ мыслей. Поэтому я отнесь к вашим жалобам с некоторым предубеждением. Если бы я мог взвесить причины, узнать хоть немного о вашем прошлом...

— Источник моих несчастий совсем иной, и если бы я верил, что это принесет пользу, я рассказал бы вам о них. Я не стараюсь скрывать их, мои беды известны многим.

— Может быть, узнав о них, я изменю свои суждения; признаюсь, теперь я не слишком полагаюсь на теории и больше доверяю фактам.

Элиас в задумчивости помолчал.

— Хорошо, сеньор, — сказал он наконец. — Я расскажу вам вкратце свою историю.

L

СЕМЬЯ ЭЛИАСА

— Лет шестьдесят тому назад жил в Маниле мой дед, он вел конторские книги в магазине богатого купца-испанца. Дед был тогда очень молод, имел жену и сына. Однажды ночью, неизвестно отчего, магазин загорелся; по-

жар охватил весь дом, и пламя перебросилось на соседние здания. Убытки были неисчислимы; стали искать виновного, и купец обвинил в поджоге моего деда. Напрасно тот протестовал; его приговорили к публичной порке и протащили по улицам Манилы, так как он был беден и не смог взять для своей защиты известных адвокатов. Позорное наказание, которому его подвергли, существовало до недавнего времени и называлось в народе «конь и коро́ва»; оно в тысячу раз хуже самой смерти. Мой дед, покинутый всеми, кроме своей молодой жены, был привязан к лошади, и на каждом углу его били на глазах у жестокой толпы, его братьев во Христе под сенью многочисленных храмов бога-миротворца. А когда несчастный был навеки опозорен и жажда мести была утолена его кровью, страданиями и криками, деда сняли с лошади, ибо он уже потерял сознание, и — лучше бы он тогда умер! — вернули ему свободу. Однако эта свобода была лишь утонченно жестокой пыткой. Его бедная жена, беременная, напрасно обивала пороги, прося работы или милостыни, чтобы выхаживать больного мужа и прокормить маленького сына. Кто доверится жене поджигателя и опозоренного человека? И она стала продажной женщиной!

Ибарра привстал с места.

— О, не волнуйтесь! Это уже не было бесчестием ни для нее, ни для ее мужа: честь и стыд не существовали для них более. Оправившись от ран, муж вместе с женой и сыном укрылся в горах этой провинции. Здесь жена родила жалкого заморыша, который, к счастью, вскоре умер. Здесь они прожили несколько месяцев, нищие, одинокие, всеми презираемые, всеми покинутые. Мой дед был не в силах смотреть на больную жену, лишенную всякой помощи и ухода, он не смог перенести несчастья и, менее стойкий духом, чем она, повесился. Труп разлагался на глазах у маленького сына, который, как умел, ухаживал за больной матерью; дурной запах привлек внимание жапдармов. Мою бабушку притянули к ответу и судили за то, что не сообщила властям о самоубийстве мужа: ее обвинили в его смерти, и все поверили этому. Ведь от жены подлеца, от проститутки можно всего ожидать! Если она клянется, ее называют клятвопреступницей; если плачет, говорят, что притворяется; если взывает к богу, говорят, что богохульствует. Однако ей оказали снисхождение, отложили порку и дали родить. Вы ведь знаете,

монахи распространяют мнение о том, что с индейцами можно разговаривать лишь с помощью палки: почитайте писания августина отца Гаспара *. Приговоренная к позорной пытке женщина, наверное, проклинала тот день, когда ее сыну предстояло появиться на свет: кроме новых телесных мук, это несло новые страдания материнскому сердцу. К несчастью, роды прошли благополучно, и, тоже к несчастью, родился крепкий мальчуган. Два месяца спустя приговор был приведен в исполнение, к великому удовольствию людей, которые думали, что отдадут дань справедливости. Не имея покоя даже в горах, она бежала со своими двумя сыновьями в соседнюю провинцию, и там они жили, как звери: презираемые и несправедливо. Старший брат, из сознания которого никакие беды не смогли вытравить память о счастливом детстве, едва подрос, сделался тулисаном. Вскоре кровавое имя Балат стало греметь по всем провинциям и наводить ужас на селения, ибо в своей местности он не знал пощады и все предавал огню и мечу. Младший, которого природа наградила добрым сердцем, смирился со своей судьбой и позором и остался с матерью. Они ели то, что давал им лес, одевались в отрепья, которые бросали им путники. Имени женщины никто не знал, ее называли «преступница», «проститутка», «битая». Младшего брата знали только как «сына своей матери»; характер у него был кроткий, и люди не верили, что он — сын преступника, ведь правдивность индейцев — вещь сомнительная. Но вот знаменитый Балат попал наконец в руки правосудия, и те, кто никогда не учил его добру, потребовали с него ответа за преступления. Как-то утром младший брат, разыскивая мать, упавшую в лес за грибами, нашел ее мертвой у обочины дороги под деревом. Лицо ее было обращено вверх, глаза вылезли из орбит, пальцы рук, застывшие, скрюченные, казалось, еще впились в землю, забрызганную кровью. Глаза юноши последовали за неподвижным взглядом матери. На ветке висела корзина, а в ней лежала окровавленная голова его брата!

— Боже мой! — воскликнул Ибарра.

— Так же мог воскликнуть и мой отец! — продолжал холодно Элиас. — Люди четвертовали разбойника и похоронили туловище, но руки, ноги и голова были отрезаны и повешены в разных селениях. Если когда-нибудь вы пойдете из Каламбы в Санто-Томас, вы еще увидите ствол

того злосчастливого ломбоя, на котором долго висела, разлагаясь, нога моего дяди: природа прокляла это дерево, оно больше не растет и не приносит плодов. То же самое сделали и с руками, а голову, благороднейшую часть человеческого тела, ту, по которой его легче всего опознать, подвесили неподалеку от хижины матери!

Ибарра опустил голову.

— Юноша бежал, словно спасаясь от проклятья, — продолжал Элиас, — бежал из селения в селение, скрывался в горах и долинах и лишь там, где, по его мнению, никто его не знал, нанялся работником в дом одного богача в провинции Таябас. Трудолюбием и приветливостью он заслужил уважение окружающих, не знавших о его прошлом. Упорно работая, собирая по крохам, он сумел накопить немного денег. Нищета осталась позади, он был молод, и ему захотелось найти свое счастье. Приятная внешность, молодость, известная обеспеченность снискали ему любовь одной девушки из селения, но он не отваживался просить ее руки, опасаясь, что может раскрыться его прошлое. Но любовь победила страх, оба забыли о благоразумии. Мужчина, чтобы спасти честь женщины, пошел на все и предложил ей выйти за него замуж; стали разыскивать его бумаги, и тут тайное стало явным. Отец девушки, человек богатый, добился того, чтобы юношу судили; тот и не пытался защищаться, во всем признался и был отправлен на каторгу. Молодая женщина родила мальчика и девочку, которые воспитывались вдали от людей; детей убедили, что их отец умер, — это было нетрудно, так как еще в раннем детстве они увидели, как умерла их мать, и вообще мало думали о своей генеалогии. Дед наш был богат, и детство проходило счастливо; мою сестру и меня воспитывали вместе, мы любили друг друга так, как могут любить только близнецы, не знающие родительской ласки. Мальчиком меня отправили в школу иезуитов, а сестру, чтобы не разлучать со мной, поместили в пансион де ла Конкордия *. Но учение наше скоро кончилось, так как мы хотели заниматься хозяйством и вернулись в деревню, чтобы вступить во владение усадьбой нашего деда. Некоторое время мы жили счастливо, нам улыбалось будущее. У нас было много слуг, поля приносили хороший урожай, и моя сестра была помолвлена с одним юношей, которого обожала и который отвечал ей взаимностью. Но вот, в каких-то денежных делах, — а харак-

тера я был тогда заносчивого,— я поступил вопреки воле одного нашего дальнего родственника, и однажды он бросил мне в лицо слова о моем темном происхождении, о моих покрытых позором предках. Я обвинил его во лжи и потребовал сатисфакции. Могила, где покоилось столько грязных тайн, открылась, и правда вышла наружу, чтобы разрушить всю мою жизнь. Несчастья на этом не кончились. В нашем доме уже много лет жил старый слуга, он потакал всем моим капризам и не отходил от нас ни на шаг, только плакал и вздыхал, безропотно снося насмешки других слуг. Не знаю, как об этом проведал мой родственник, но он вызвал старика в суд и заставил его сказать правду. Старый слуга оказался нашим отцом, который нанялся работником к своим дорогим детям. А я-то сколько раз его обижал. Наше счастье развеялось как дым, я бросил на произвол судьбы все имущество, сестра потеряла жениха, и мы вместе с отцом покинули селение, чтобы отправиться куда-нибудь в другое место. Мысль о том, что он содействовал нашему несчастью, сократила дни старца, поведавшего мне о печальном прошлом. Мы с сестрой остались одни на свете.

Сестра часто плакала. Даже в горе, что на нас обрушилось, она не могла изгнать из сердца любовь. Она никогда не жаловалась, она не сказала ни слова, когда узнала, что ее бывший жених женился на другой, но стала таять на моих глазах, и я ничем не мог ее утешить. Однажды она исчезла. Напрасно я искал ее повсюду, напрасно спрашивал о ней. Только шесть месяцев спустя я услышал, что после разлива озера, когда сошла вода, на рисовом поле близ Каламбы нашли труп молодой девушки, утонувшей или убитой. Говорили, что в ее груди торчал кипжал. Местные власти оповестили о случившемся жителей соседних селений, но никто не явился, чтобы забрать труп, во всей округе не исчезла ни одна девушка. По приметам, которые мне сообщили позже, — по платью, украшениям, красоте лица и роскошным волосам, — я понял, что утопленница — моя сестра. С тех пор я брожу из провинции в провинцию. Слава обо мне и рассказы о моей судьбе передаются из уст в уста, мне приписывают и то, чего не было, но я не обращаю внимания на молву и иду своим путем. Вот вкратце моя история, а также история одного суда людского.

Элиас умолк и снова взялся за весла.

— Я начинаю верить, что в ваших словах есть доля истины,— проговорил тихо Крисостомо,— когда вы говорите, что правосудие должно вести к добру, вознаграждая добродетель и исправляя преступников. Только... это невозможно, это утопия. Откуда взять столько денег, столько чиновников?

— А для чего священнослужители, которые разглагольствуют о своей миссии мира и милосердия? Неужто окропить голову ребенка водой и дать ему отведать соли большая заслуга, чем пробудить уснувшую совесть преступника, зажечь в его душе огонек, данный богом каждому человеку, чтобы он мог найти путь к добру? Неужто более гуманно провожать приговоренного к виселице, чем сопровождать его по каменистой тропе, ведущей от порока к добродетели? И разве мало платят шпионам, палачам и жандармам? А ведь их работа не только грязна — она стоит больших денег.

— Друг мой, как бы мы ни желали перемен, ни вы, ни я ничего не добьемся.

— Одни мы действительно ничего не значим, но вступитесь за народ, примкните к народу, внемлите его гласу, подайте пример остальным, покажите на деле, что такое родина!

— То, о чем просит народ, невыполнимо, надо подождать.

— Ждать! Ждать — значит страдать!

— Если бы я стал просить обо всем этом, меня бы подняли на смех.

— А если бы народ поддержал вас?

— О нет! Я никогда не буду тем человеком, который поведет за собой толпу, чтобы силой добиваться реформ, неуместных по мнению правительства. Нет! И если когда-нибудь я увидел бы вооруженных мятежников, я встал бы на сторону правительства против них, ибо бунтующая толпа — для меня еще не вся родина. Я желаю добра народу и поэтому строю школу, я хочу повести его по пути образования и прогресса; без света нельзя идти вперед.

— Без борьбы не обрести свободы! — ответил Элиас.

— Но я не хочу такой свободы!

— А без свободы не будет света, — с горячностью возразил Рулевой. — Вы говорите, что мало знаете свою страну, охотно верю. Вы не знаете, что предстоит борьба, не видите туч на горизонте. Битва начинается в сфере

идей, чтобы затем спуститься на землю, которая обагрится кровью. Я слышу глас божий, и горе тем, кто его ослушается! Не про них пишется история!

Элиас преобразился; он стоял выпрямившись, с обнаженной головой; выражение его мужественного лица, освещенного луной, было необычным. Он тряхнул своими густыми волосами и продолжал:

— Вы не видите, как все пробуждается? Сон длился века, но вот ударила молния и, разрушив старое, вызвала к жизни новое *. Иные устремления овладели умами; правда, новых идей много, но когда-нибудь из них родится одна, ибо людей направляет бог. Бог не оставил другие народы, он не оставит и нас: дело свободы — святое дело.

После его слов наступила торжественная тишина. Между тем лодка, незаметно подгоняемая волнами, приближалась к берегу. Элиас первым нарушил молчание.

— Что мне сообщить тем, кто меня послал? — спросил он другим тоном.

— Я вам уже сказал: я очень сочувствую им, но пусть они подождут; зло не искореняется с помощью другого зла, и все мы по-своему виновны в нашем несчастье.

Элиас больше не возражал. Опустив голову, он медленно греб и, приблизившись к берегу, сказал Ибарре на прощанье:

— Благодарю вас, сеньор, за оказанное мне снисхождение. Ради вашего же блага прошу вас впредь забыть обо мне и не узнавать меня, где бы мы с вами ни встретились.

Сказав это, он повернул лодку и стал грести вдоль берега к густым зарослям, видневшимся дальше. Плыть пришлось довольно долго, и все это время Элиас молча глядел перед собой и, казалось, ничего не видел, кроме тысяч алмазов, которые он вычерпывал веслом и снова швырял в озеро, где они таинственно исчезали в темно-синих волнах.

Наконец он добрался до места. Какой-то человек вышел из зарослей и приблизился к нему.

— Что передать капитану?

— Передай ему, что Элиас сдержит слово, если прежде не погибнет, — прозвучал печальный ответ.

— И когда ты присоединишься к нам?

— Когда капитан скажет, что пробил решающий час.

— Хорошо, прощай!

LI

ПЕРЕМЕНЫ

Застенчивый Линарес был задумчив и полон беспокойства; он только что получил письмо от доньи Викторины, которое гласило следующее:

«Уважаемый кузен: через три дня надеюсь узнать убил ли тебя алферес или ты его. Не хочу ждать больше ни одного дня пока эта животное ни будет наказано. Если срок пройдет и ты его ище не вызовешь на дуэль я раскажу дону Сантьяго что ты никогда не был ни спклетарем и ни каким рожном у Капобаса и никада не обедал с генералом доном Мартинесом. Я скажу Кларите что это все враки и не дам тебе ни полупки. Если его вызовешь я тебе все обещаю что хочешь иметь но если ни вызовешь я придуриждаю что ни остапавлюсь ни передчем.

Лубящая тебя всем сердцем твоя кузина

Викторина де лос Рейес де Де Эспаданья.
Сампалок понидельник в 7 ч. вечера».

Положение становилось серьезным: Линарес знал характер доньи Викторины, знал, на что она способна. Приводить ей разумные доводы — все равно что говорить о чести и порядочности карабинеру-таможеннику, когда ему представляется случай объявить контрабандой какой-нибудь товар. Умолять ее бесполезно, обмануть — и того хуже. Остается только дуэль.

— Но как его вызвать? — говорил сам с собой Линарес, прохаживаясь в пустой комнате. — А если он спустит меня с лестницы? А если я повстречаю его супругу? Кто будет моим секундантом? Священник? Капитан Тьяго? Будь проклят тот час, когда я послушался ее советов! Старая болтунья! Кто заставлял меня рисоваться, плести небылицы, пускать пыль в глаза! Что скажет обо мне эта сеньорита?.. Секретарь всех министров! Теперь это для меня что камень на шее!

Печальный монолог доброго Линареса был прерван приходом отца Сальви. Францисканец в самом деле выглядел более худым и бледным, чем обычно, но глаза его блестели, и губы кривила странная усмешка.

— Сеньор Линарес, вы в одиночестве? — кивнул юноша священник, направляясь в зал, откуда через полуоткрытую дверь доносились звуки фортепьяно.

Линарес попытался изобразить улыбку.

— А где дон Сантьяго? — спросил священник.

В этот момент появился капитан Тьяго, поцеловал священнику руку и взял у него шляпу и палку, блаженно улыбаясь.

— Идемте, идемте, — говорил отец Сальви, входя в зал в сопровождении Линареса и капитана Тьяго. — У меня хорошие новости, интересные для всех. Я получил из Манилы письма, которые подтверждают послание, переданное мне вчера сеньором Ибаррой... Таким образом, дон Сантьяго, недоразумение уладилось.

Мария-Клара, сидевшая у фортепьяно между двумя своими подругами, приподнялась, но тут же в изнеможении снова опустилась на стул. Линарес побледнел и взглянул на капитана Тьяго; тот опустил глаза.

— Этот юноша начинает мне нравиться, — продолжал священник. — Вначале я обошелся с ним сурово, он... несколько горяч по натуре, но потом он так хорошо сумел загладить свой проступок, что на него больше нельзя сердиться. Если бы не отец Дамасо...

И отец Сальви быстро взглянул на Марию-Клару; она слушала, но не сводила глаз с нот, несмотря на тайные пики Сипанг, которая таким способом выражала свою радость и, паверное, пустилась бы в пляс, если бы была одна.

— Отец Дамасо?.. — переспросил Линарес.

— Да, отец Дамасо сказал, — продолжал священник, не отрывая взора от Марии-Клары, — что... как крестный отец, он не может разрешить... Однако, я полагаю, если сеньор Ибарра вымолит у него прощение, все, без сомнения, уладится.

Мария-Клара встала, попросила извинить ее и удалилась вместе с Викторией в свою комнату.

— А если отец Дамасо его не простит? — спросил тихо капитан Тьяго.

— Тогда... Мария-Клара сама решит... ведь отец Дамасо ее отец... духовный; но я думаю, что они договорятся.

В эту минуту послышались шаги, и вошел Ибарра в сопровождении тетюшки Исабель; его приход произвел на

присутствующих весьма различное впечатление. Юноша приветливо поздоровался с капитаном Тьяго, не знавшим, смеяться ему или плакать, и низко поклонился Линаресу. Отец Сальви поднялся со своего места и с таким благоволением протянул ему руку, что Ибарра не мог скрыть изумления.

— Не удивляйтесь, — сказал отец Сальви, — я только что хвалил вас.

Ибарра поблагодарил и подошел к Синанг.

— Где ты прятался весь день? — зашебетала она. — Мы все гадали: куда задевалась эта душа, прошедшая через чистилище? И каждая из нас кое-что сказала на твой счет.

— Можно узнать что?

— Нет, это секрет, но я уж тебе скажу, только на ухо. А сейчас говори, где ты был, чтобы мы знали, кто из нас угадал.

— Нет, это тоже секрет, но я тебе шепну на ушко, если эти сеньоры позволяют.

— Да, конечно, конечно! Что за церемонии! — сказал отец Сальви.

Синанг потащила Крисостомо в другой конец зала; она была в восторге, что с ней поделится тайной.

— Скажи мне, дружок, — спросил Ибарра, — Мария сердится на меня?

— Я не знаю, но она говорит, что лучше бы ты ее забыл, и при этом плачет. Капитан Тьяго хочет, чтобы она вышла замуж за того сеньора, отец Дамасо — тоже, а она не говорит ни да, ни нет. Сегодня утром, когда мы толковали про тебя и я сказала: «А вдруг он влюбился в другую и пошел к ней?» — она ответила: «Ну и пусть!» — и заплакала.

Ибарра помрачнел.

— Скажи Марии, что я хочу поговорить с ней наедине.

— Наедине? — спросила Синанг, нахмурив брови и взглянув на него.

— Нет, не совсем наедине, но чтоб не было вон того...

— Это трудно сделать, но ты не беспокойся, я ей передам.

— А когда я получу ответ?

— Завтра, приходи пораньше. Мария не любит оставаться одна, мы всегда с ней; одну ночь Виктория, а другую — я; завтра моя очередь. Но, послушай, а где же тайна? Главного ты ведь еще не сказал!

— Верно! Я был в селении Лос Бальос; хочу заняться кокосовыми орехами и думаю построить фабрику, а твой отец будет моим компаньоном.

— И больше ничего? Ну уж и тайна! — громко воскликнула Синанг тоном обманутого ростовщика. — А я-то думала...

— Тише! Я не разрешаю тебе разглашать секрет!

— Очень надо! — ответила Синанг, сморщив нос. — Было бы что-нибудь поважнее, я бы рассказала подругам, а то кокосы! Скупать кокосы! Кокосы! Кому нужны кокосы?

И она помчалась разыскивать приятельниц.

Минутой позже Ибарра отклонялся, видя, что компания совсем расстроилась; капитан Тьяго сидел с кислосладкой улыбкой на лице, Линарес молча глядел на других, священник с напускной веселостью пытался говорить о всяких пустяках. Ни одна из девушек больше не показывалась.

ЛП

КАРТЫ И ТЕНИ

Тучи скрыли луну; холодный ветер, предвестник наступающего декабря, гнал сухие листья и поднимал пыль на узкой тропке, что вела на кладбище.

Три тени шептались у кладбищенских ворот.

— Ты говорил с Элиасом? — спросил один голос.

— Нет, ты же знаешь, он очень скрытный и осторожный, но, наверное, будет заодно с нами, ведь дон Крисостомо спас ему жизнь.

— Поэтому и я пошел на такое, — сказал первый голос. — Дон Крисостомо помог мне определить жену к лекарю в Маниле. Я теперь займусь монастырем и сведу счеты со священником.

— А мы направимся в казармы, пусть знают эти солдафоны, что у нашего отца остались сыновья.

— Сколько вас всех?

— Пять, пятерых хватит. Но слуга дон Крисостомо говорит, что нас будет двадцать.

— А если дело провалится?

— Т-сс! — сказал кто-то, и голоса смолкли.

В полумраке показалась еще одна тень, она скользила вдоль ограды и время от времени останавливалась, будто озираясь. И не без причины. Сзади на расстоянии двадцати шагов кралась другая тень, чуть повыше первой и более темная; она легко касалась земли и тотчас же исчезала, словно проваливаясь в преисподнюю, всякий раз, как только первая останавливалась и оглядывалась назад.

— За мной следят! — прошептала первая тень. — Не жандармы ли? Неужто отец эконоом обманул?

— Говорят, встреча будет здесь, — тихо промолвила вторая тень. — Не иначе, замышляется что-то дурное, раз оба брата ничего мне не сказали.

Первая тень добралась наконец до ворот кладбища. Трое, стоявшие там, вышли навстречу.

— Это вы?

— А это вы, сеньор?

— Надо разойтись, за мной следят! Завтра дадут вам оружие, и к вечеру будьте готовы. Общий пароль — «Да здравствует дон Крисостомо». Идите!

Три тени скрылись за оградой. Вновь прибывший притаился в нише.

— Посмотрим, кто за мной следит! — пробормотал он.

Вторая тень осторожно подошла и остановилась, оглядываясь по сторонам.

— Я опоздал! — сказала тень вполголоса. — Но, может быть, они еще возвратятся.

Заморосил частый дождик, непогода грозила затянуться, и эта тень тоже скользнула в нишу. Здесь второй пришел, конечно, столкнулся с первым.

— О! Вы кто? — спросил второй, голос его звучал мужественно.

— А вы кто такой? — спокойно ответил первый.

Минутное молчание; оба пытались узнать друг друга по голосу и различить впотьмах черты лица.

— Вы чего здесь ждете? — спросил человек с мужественным голосом.

— Жду, когда пробьет восемь и мертвецы укажут

карту; я хочу выиграть сегодня ночью, — ответил без колебания другой. — А вы зачем пришли?

— За т... тем же самым.

— Вот как! Очень рад, что не останусь в одиночестве. Я взял с собой колоду карт; с первым ударом колокола выну карты, со вторым ударом — сдам. Те, которые перевельнутся, — это карты мертвецов, и их надо вытащить. Вы тоже принесли колоду?

— Нет!

— Как же так?

— Очень просто; вы сдадите им, а они, я надеюсь, — мне.

— А если мертвецы не захотят сдать?

— Что поделаешь? Мертвецов пока еще нельзя заставить играть...

Они помолчали.

— Вы при оружии? А вдруг придется драться с мертвецами?

— На то есть кулаки, — ответил более рослый из двух.

— Ох, черт, совсем забыл! Мертвецы указывают карту только одному живому, а нас двое.

— Правда? Но я не собираюсь уходить.

— И я тоже, мне нужны деньги, — ответил низенький. — А мы вот что сделаем — сыграем друг с другом, и тот, кто проиграет, уйдет.

— Ладно, — без особой охоты согласился другой.

— Тогда начнем... У вас есть спички?

Они вошли на кладбище, отыскиали в полумраке удобное местечко у ниши и сели на камень. Низенький вынул из своего салакота карты, другой зажег спичку.

При вспышке огня оба взглянули друг на друга, но, судя по выражению их лиц, они не были знакомы.

Тем не менее мы можем узнать в более высоком человеке с мужественным голосом Элиаса, в низкорослом со прапом на лице — Лукаса.

— Снимите! — сказал Лукас, не спуская глаз с партнера. Он смахнул кости, лежавшие на камне, и сдал туза и валета. Элиас жег спички одну за другой.

— На валета! — сказал он и, чтобы отметить карту, положил на нее позвонок.

— Играю! — сказал Лукас, сбросил три-четыре карты и вытащил туза. — Вы проиграли, — добавил он, — теперь оставьте меня одного попытать счастья.

Элиас, не говоря ни слова, исчез, растворившись во мраке.

Через несколько минут часы на церкви пробили восемь, и колокол возвестил о наступлении часа молитвы за упокой, но Лукас никого не приглашал сыграть в карты, не призывал, как велело поверье, мертвецов. Он обнажил голову и забормотал молитвы, крестясь с таким усердием, что мог бы затмить самого главу братства Сантисимо Росарио.

Дождь все моросил. В девять часов на улицах уже стало темно и пусто. Масляные фонари, которые полагалось вывешивать жителям, едва освещали круг радиусом не больше метра: казалось, их зажгли для того, чтобы окружающая мгла была еще непроглядней.

Два жандарма прохаживались по улице из одного конца в другой, неподалеку от церкви.

— Холодно! — сказал один из них по-тагалски с вискайским акцентом*. — Никакого дьявола мы не схватим, некого прятать в альфересов курятник... Смерть того бандита кое-чему их научила; скука адская.

— Ты прав, скучно, — ответил другой. — Никто не крадет, не бунтует. Но, слава богу, говорят, Элиас сейчас в городе. Альферес обещал, кто его поймает, того не бьют сечь целых три месяца.

— Вот как! Ты знаешь его приметы? — спросил висаец.

— Еще бы! Альферес говорит, что он высокого роста; отец Дамасо — что среднего; кожа темная, глаза черные, нос — правильный, рот — правильный, бороды нет, волосы черные...

— Ну, а особые приметы?

— Рубаха черная, штаны черные, дровосек.

— Ага! Не удерет, — вижу его как на ладони.

— Не спутай его с кем другим, похожим.

И оба стража продолжали обход.

При тусклом свете фонарей мы снова можем различить две тени, осторожно крадущиеся одна за другой. Их остановил громкий возглас: «Кто идет?» Первый прохожий дрожащим голосом ответил: «Испания!»

Солдаты схватили его и потащили к фонарю, что-

бы лучше рассмотреть. Это был Лукас, но стражи еще колебались и вопросительно глядели друг на друга.

— Альферес не говорил, что у него шрам, — сказал висаец вполголоса. — Ты куда идешь?

— Заказать мессу на утро.

— Ты не видел Элиаса?

— Я его не знаю, сеньор, — ответил Лукас.

— Тебя не спрашивают, знаешь ли ты его, дурак! Мы его тоже не знаем. Тебя спрашивают, не видел ли ты его?

— Нет, сеньор.

— Слушай внимательно, я тебе скажу его приметы. Ростом бывает высокий, бывает средний; волосы и глаза черные, все остальное — правильное, — сказал висаец. — Теперь ты его представляешь себе?

— Нет, сеньор! — ответил Лукас, совсем сбитый с толку.

— Тогда ты осел! Осел! — И ему дали пинка.

— А знаешь, почему для альфереса Элиас высокий, а для священника — низкий? — задумчиво спросил тагал висайца.

— Нет.

— Потому что альферес лежал в капаве, когда смотрел на него, а священник стоял.

— Правда! — воскликнул висаец. — Ну и голова! И почему ты жандарм?

— Я не всегда был жандармом, я был контрабандистом, — с гордостью ответил тагал.

Но тут их внимание привлекла другая тень; они крикнули: «Кто идет?» — и потащили прохожего к свету. На этот раз перед ними оказался сам Элиас.

— Куда идешь?

— Я гонюсь, сеньор, за человеком, который покалечил моего брата и хотел его убить; у этого человека шрам на лице и зовут его Элиас...

— Ох! — воскликнули оба стража и испуганно переглянулись.

В следующий миг они бросились бежать к церкви, в дверях которой несколько минут назад исчез Лукас.

С утра по селению разнеслась весть, что накануне вечером на кладбище видели много огоньков.

Глава VOG² говорил, что это были зажженные свечи, описывал их размер и форму, но затруднялся назвать точное число, — по его словам, свечей было больше двадцати. Сестра Сипа из братства Сантисимо Росарио не могла стерпеть того, что кто-то из соперничающего братства похвастается хотя бы тем, что видел этот знак божий; сестра Сипа жила, правда, не близко оттуда, но зато она слышала жалобы и стоны и даже, по ее словам, узнала голоса некоторых особ, с которыми она когда-то... но христианское милосердие велело ей не только прощать, но и молиться за них, умалчивая об именах, за что люди прозвали ее святой блудницей. Сестра Руфа, по правде сказать, не обладала таким острым слухом, но и она не могла стерпеть того, что сестра Сипа что-то слышала, а она нет. По этой причине ей привиделся сон, в котором ей явились многие души, и мертвецов и живых людей; страждущие души просили сестру Руфу уделить им несколько из ее индульгенций, аккуратно ею переписанных и бережно хранимых. Она могла бы даже сообщить их имена заинтересованным семьям и за это просила лишь сделать небольшое пожертвование в пользу папы.

Пастушок, который отважился утверждать, что видел только один огонек и двух человек в салакотах, едва избежал розог. Напрасно он клялся, что с ним были его буйволы и они могут подтвердить правдивость его слов.

— Ты что, больше знаешь, чем глава ордена и сестры? Греховодник, еретик! — кричали ему со злостью.

Священник поднялся на кафедру и снова начал вещать о чистилище; снова прихожане стали вытаскивать монеты из тайников, чтобы заказать мессу.

Но оставим в покое скорбящие души и послушаем беседу дона Филиппо и старого Таспо, который был болен и лежал в своем пустом доме. Уже несколько дней философ — или безумец — не вставал с постели, одолеваемый

¹ Хороший день узнается по утру (*итал.*).

² Высочтимый орден терциариев.

какой-то слабостью, которая с каждым днем увеличивалась.

— По правде говоря, не знаю, стоит ли поздравлять вас с отставкой; раньше, когда префект так нагло презирал мнение большинства, просить об отставке было разумно; но теперь, когда вы вступили в борьбу с жандармами, это некстати. Во время войны надо оставаться на своем посту.

— Но не в том случае, если сам генерал подкуплен, — ответил дон Филиппо. — Вы же знаете, что на следующее утро префект выпустил на свободу жандармов, которых я арестовал, и отказался отдать их под суд. А без согласия начальства я ничего не могу сделать.

— Один вы ни на что не способны, но вместе с другими могли бы сделать многое. Вам следовало использовать это событие, чтобы подать пример остальным городам. Право народа выше смехотворного авторитета префекта; это могло бы послужить началом хорошего урока, но вы упустили возможность.

— Что я мог бы предпринять против этого представителя мракобесия? Вот сеньор Ибарра, он ведь тоже склонился перед сувереном толпы. Вы думаете, он в самом деле верит в формальное отлучение?

— Положение ваше не одинаково: сеньор Ибарра хочет сеять, а для того чтобы сеять, надо склоняться к самой земле и подчиняться ее законам; ваша миссия — сотрясать, для того же, чтобы сотрясать, нужны сила и порыв. Кроме того, борьба должна вестись не против одного префекта, а я бы сказал — против всех, кто злоупотребляет своей силой, кто возмущает общественное спокойствие, кто изменяет своему долгу; и вы не остались бы в одиночестве, ибо страна наша теперь не та, какой она была двадцать лет назад.

— Вы так думаете? — спросил дон Филиппо.

— А вы этого не чувствуете? — ответил старец, приподнимаясь на постели. — О, я вижу, вы не знаете прошлого, не думали над тем, к чему привела иммиграция европейцев, поездки нашей молодежи в Европу и знакомство с новыми книгами. Изучайте и сравнивайте. Разумеется, еще существует королевский и папский университет святого Томаса со своим ученым советом магистров, где изощряются в формулировании всяких тонкостей и занимаются схоластическими хитросплетениями. Но где

вы теперь пойдете ту воспитанную на метафизике молодежь моего времени, которая получала средневековое образование, туманившее мозги, и в конце концов умирала где-нибудь в глуши, запутавшись в софизмах, так и не постигнув атрибутов «сущего», не решив вопроса о «сущности» и «существовании», этих возвышенных понятиях, заставляющих нас забывать о главном — о нашем собственном существовании и значении. Посмотрите на нынешних детей! С энтузиазмом глядят они на открывающиеся перед ними более широкие горизонты, изучают историю, математику, географию, литературу, естественные науки, языки, — предметы, одни названия которых приводили нас в ужас, словно ересь; самые свободомыслящие люди моего времени заявляли, что они стоят ниже категорий Аристотеля и законов логики. Ныне человек наконец понял, что он человек, и перестал дивиться божеству, думать о том, что недоступно зрению и осязанию, перестал выводить законы из химер, порождаемых его воображением. Человек понял, что его владения — это обширный мир и что он способен постичь его. Устав от бесполезных и суетных усилий, он обратил взор к земле и приглядывается к тому, что его окружает. Посмотрите, какие ныне рождаются поэты; музы природы постепенно открывают нам свои сокровищницы и начинают улыбаться нам, воодушевляя на труд. Научные эксперименты уже дали первые плоды, и со временем наука разовьется еще больше. Новые правоведы опираются на новые основы философии права. Некоторые из них начинают блистать во мраке, окружающем нашу судейскую трибуну, и предвещают изменения, которые с годами произойдут. Послушайте, что говорит молодежь, посетите аудитории, и вы услышите другие имена в стенах, где мы слышали только о святом Фоме, Суаресе, Амате, Санчесе* и других кумирах моей эпохи. Напрасно монахи с амвонов сетуют на упадок нравов, как рыботорговцы — на жадность покупателей, не замечая того, что их товар уже протух и негоден. Напрасно протягивают монастыри свои щупальца, вливаются корнями в землю, чтобы задушить в городах ростки нового. Время богов прошло; корни дерева могут истощить льнувшие к нему растения, но они не в состоянии лишить жизни другие существа, которые, как птицы, устремляются ввысь.

Философ говорил с воодушевлением, его глаза сверкали.

— Однако ростки нового еще слабы; если все ополчаться на прогресс, который так дорого нам обходится, их смогут задушить, — с сомнением заметил дон Филиппо.

— Задушить?.. Кто же их задушит? Разве человек, этот жалкий пигмей, способен задушить прогресс — мощное дитя времени и мирового развития? Разве когда-нибудь это ему удавалось? Догма, эшафот и костер, стараясь остановить прогресс, лишь ускоряют его. «Е риг si muove»¹, — сказал Галилей, когда доминиканцы вынуждали его объявить, что земля не движется. То же можно сказать и о прогрессе человечества. Да, будет сломлена воля многих людей, многие падут жертвой, но это неважно: прогресс не остановишь, и на крови павших поднимутся новые, мощные всходы. Смотрите! Даже пресса, как ни тщится она быть ретроградной, тоже сделала шаг вперед. Сами доминиканцы не могут противостоять этому закону и подражают иезуитам, своим непримиримым врагам: устраивают в монастырях празднества, спектакли, сочиняют стихи, ибо, хотя им кажется, будто они живут еще в пятнадцатом веке, у них хватает разума понять, что иезуиты поступают правильно и примут участие в формировании будущего тех молодых народов, которые они воспитали.

— По-вашему, иезуиты идут в ногу с прогрессом? — удивленно спросил дон Филиппо. — Тогда почему на них нападают в Европе?

— Я вам отвечу словами одного старого схоласта, — ответил философ, снова опустившись на подушку. Лицо его приняло насмешливое выражение. — С прогрессом можно идти тремя способами: впереди него, рядом и сзади. Первые ведут, вторые дают себя вести, третьих тащат насильно, — к ним-то и принадлежат иезуиты. Они предпочли бы указывать направление прогрессу, однако они понимают его мощь и разнообразие его тенденций, а потому капитулируют перед ним. Они согласны следовать сзади, лишь бы не быть раздавленными и не застрять на полпути во мраке. А мы, на Филиппинах, отстаем по крайней мере на три века от колесницы прогресса: мы едва выходим из средневековья. Поэ-

¹ А все-таки она движется (итал.).

тому иезуиты, которые для Европы являются прошлым, у нас знаменуют прогресс. Филиппины обязаны им введением начатков просвещения, изучением естественных наук — этой души девятнадцатого века, так же как обязаны доминиканцам схоластикой, наукой уже мертвой, несмотря на усилия папы Льва Тринадцатого: никакой папа не воскресит того, что осуждено общественным мнением... Но о чем мы говорили? — спросил старик, меняя тон. — А, о современном положении Филиппин... Да, теперь у нас начинается эпоха борьбы, точнее, у вас: наше поколение близится к закату, мы уходим. Борьба идет между прошлым, которое с проклятиями цепляется за шатающийся феодальный замок, и будущим, триумфальная песнь которого, несущая добрые вести из других стран, слышится вдаль, в сиянии занимающейся зари... Кто же надет и будет погребен под обломками?

Старик замолчал и, видя, что доп Филиппо задумчиво смотрит на него, прибавил, улыбувшись:

— Я, кажется, догадываюсь, о чем вы думаете.

— Правда?

— Вы думаете, что я вполне могу ошибаться, — сказал он, печально улыбаясь. — У меня сегодня лихорадка, да и кто из нас непогрешим. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», — сказал Теренций*. Но если порой разрешаешь себе помечтать, почему не предаться приятным мечтам в последние часы жизни? К тому же я всегда жил только мечтами! Вы правы, это мечты! Наши юноши думают лишь о любовных интрижках и развлеченьях, они тратят больше времени и трудов на то, чтобы обмануть и обесчестить девушку, чем на то, чтобы позаботиться о благе родины. Наши женщины отдают все помыслы дому господню и святому семейству, забывая о своем доме и о своем семействе. Наши мужичины деятельны только в разврате и отважны в грязных похождениях. Дети начинают жизнь среди мрака и рутины; юноши в расцвете сил не имеют никаких идеалов, а люди зрелого возраста ни к чему не способны, разве что своим примером разлагать юношество... Я рад, что умираю... «Claudite jam rivos, pueri...»¹

¹ Последний стих эклоги Виргилия: «Остапovите воду, дети, (поля уже утолили жажду)». Здесь в смысле: «Довольно, хватит...»

— Дать вам какое-нибудь лекарство? — спросил дон Филиппо, чтобы переменить тему разговора, который опечалил больного.

— Умирающим не нужны лекарства, они нужны вам, остающимся. Скажите дону Крисостомо, чтобы он навещал меня завтра, мне надо сказать ему нечто важное. Через несколько дней я уйду. Филиппины — во мгле!

Поговорив еще несколько минут с больным, дон Филиппо, мрачный и задумчивый, покинул его дом.

LIV ЗАГОВОР

*Quidquid latet, adparebit, nil inultum remanebit*¹.

Церковный колокол возвестил о вечерней службе. Все остановились, бросили свои дела и обнажили головы: землепашец, возвращавшийся верхом с поля, оборвал песню, которую пел в такт размеренной поступи буйвола, и зашептал молитву; женщины стали осенять себя крестным знаменем посреди улицы и быстро зашевелили губами, дабы никто не усомнился в их благочестии; мужчина перестал гладить петуха и забормотал «ангелюс»*, чтобы судьба была к нему милостива. В домах молились во весь голос... Все шумы стихли, их заглушила «Аве Мария».

К возмущению многих старух, сам священник поспешно шел по улице в шляпе и — что совсем уж возмутительно! — направлялся к дому альфереса. Усердные богомолки хотели было дать губам передышку и приложиться к руке отца Сальви, но он не обратил на них внимания; сегодня ему не доставляло никакого удовольствия совать свою костлявую руку под христианский нос, чтобы потом позволить ей соскользнуть непароком (как замечала донья Консоласьон) на грудь хорошенькой девушки, наклонившейся испросить благо-

¹ «Все, что было сокрыто, станет явным, ничто не останется безнаказанным» (лат.). Из текста католической заупокойной мессы.

словения. Видно, какое-нибудь важное дело заставило его забыть о собственных интересах и интересах церкви!

Действительно, в большой спешке поднялся он по лестнице и постучал в дверь к альфересу, который вышел с нахмуренными бровями в сопровождении своей мрачно ухмылявшейся половины.

— А, отец настоятель, я как раз собирался сейчас к вам; этот ваш роконосец...

— У меня дело чрезвычайной важности...

— Я не позволю позорить мой дом... Я пущу ему пулю в лоб, если он вернется!

— Если вы сами доживаете до завтрашнего дня! — проговорил священник, с трудом переводя дыхание, и направился в зал.

— Что? Вы думаете, этот сопляк меня убьет? От одного моего пинка он полетит вверх тормашками!

Отец Сальви попятился и невольно взглянул на ноги альфереса.

— Вы о ком говорите? — спросил он, вздрогнув.

— О ком же, как не об этом дуралее, который предложил мне стреляться на пистолетах в ста шагах?

— А! — облегченно вздохнул священник и добавил: — Я пришел поговорить с вами по весьма срочному делу.

— Какие там еще дела! Хватит мне тех двух мальчишек!

Если бы свет масляной лампы был поярче, а стекло на ней не так грязно, альферес заметил бы, как побледнело лицо священника.

— Сейчас речь идет о жизни или смерти всех нас! — вполголоса ответил отец Сальви.

— Смерти? — бледнея, повторил альферес. — Разве этот юнец так метко стреляет?..

— Я не о нем говорю.

— А о ком же?

Монах кивнул на дверь, и альферес захлопнул ее своим привычным способом — ударом ноги. Альферес считал, что руки — лишняя принадлежность тела, и, по-видимому, ничего не потерял бы, перестав быть двуруким. Из-за двери донеслось громкое проклятие и шум.

— Скотина! Ты мне лоб расшиб! — вскричала супруга альфереса.

— А теперь выкладывайте! — сказал спокойно хозяин дома отцу Сальви.

Тот молча поглядел на него, затем спросил гнусавым и монотонным голосом проповедника:

— Вы видели, как я спешил к вам?

— Черт побери! Я думал, вас понос прохватил!

— Да, — сказал священник, не обращая внимания на грубость альфереса, — когда я настолько забываю о своем сале, значит, на то есть серьезные причины.

— Ну и что дальше? — спросил альферес, топнув ногой.

— Спокойствие!

— Тогда чего же вы так бежали?

Священник приблизился к нему и таинственно прошептал:

— Вы еще ничего не знаете?

Альферес пожал плечами.

— Итак, вы говорите, что совершенно ничего не знаете?

— Вы хотите сообщить мне об Элиасе, которого вчера вечером спрятал ваш отец эконо́м? — спросил тот.

— Нет, речь пойдет не об этих баснях, — с досадой ответил священник, — а о большой опасности.

— Черт! Да говорите же наконец!

— Хорошо! — медленно и с некоторым презрением сказал монах. — Вы еще раз убедитесь, какую важную роль играем мы, священнослужители: последний послушник стоит целого полка жандармов, а уж священник... — И, понизив голос, продолжал таинственно: — Я раскрыл большой заговор!

Альферес подскочил и обалдело уставился на священника.

— Страшный, искусно подготовленный заговор! Мятежники выступают этим вечером.

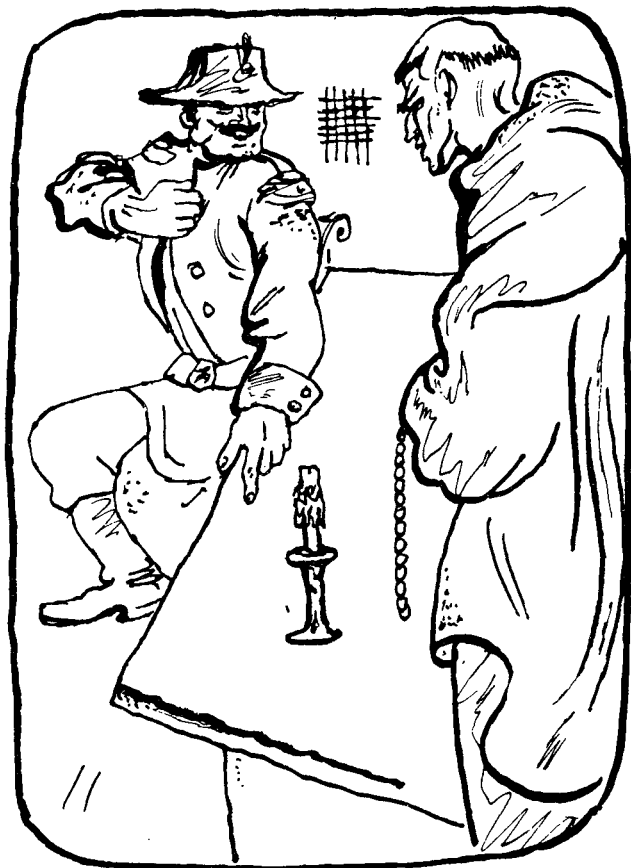
— Этим вечером! — воскликнул альферес, оттолкнув священника и бросаясь к револьверу и сабле, висевшим на стене.

— Кого хватать? Кого хватать? — кричал он.

— Успокойтесь! Благодаря моей расторопности еще есть время до восьми.

— Всех расстреляю!

— Послушайте! Сегодня вечером одна женщина, чье



имя я не могу назвать — это тайна исповеди, — подошла ко мне и все рассказала. В восемь часов внезапно атакуют казармы, разграбят монастырь, захватят полицейский катер и перебьют всех нас, испанцев.

Альферес был ошеломлен.

— Женщина не сказала больше ничего, — добавил священник.

— Большие ничего? Я ее арестую!

— Не советовал бы делать этого: исповедаल्या — ступень к трону самого господа бога.

— Нечего тут толковать о боге да милосердии! Схватить ее!

— Вы совсем потеряли голову. Прежде всего нам надо подготовиться; вооружите потихоньку солдат и устройте засаду; пришлите мне в монастырь четырех жандармов и предупредите тех, что на катере.

— Катера нет здесь! Я попрошу подкрепления из других частей!

— Нельзя, это привлечет внимание, и заговорщики откажутся от своего замысла. Самое важное — схватить их живьем, и тогда уж они попляшут у нас, я хочу сказать, у вас. Мне, как священнику, не приличествует вмешиваться в эти дела. Вот где вы можете заработать кресты и звезды; только прошу вас упомянуть, что именно я первый предупредил вас.

— Будет упомянуто, падре, будет, и вам, чего доброго, достанется митра! — ответил сияющий альферес, поглядывая на рукава своего мундира.

— Значит, вы пришлете мне четырех переодетых жандармов, да? Будьте осмотрительны, и вечером на вас посыплются звезды и кресты.

В это время по дороге к дому Крисостомо бежал какой-то человек. Поспешно поднявшись по лестнице, он спросил слугу:

— Сеньор Ибарра дома? — Судя по голосу, то был Элиас.

— Работает в своем кабинете.

Ибарра, с нетерпением ожидавший часа, когда он сможет объясниться с Марией-Кларой, пытался занять себя работой в своей лаборатории.

— А, это вы, Элиас? — воскликнул он. — Я думал о вас: вчера я забыл спросить у вас имя того испанца, в доме которого жил ваш дед.

— Сейчас речь не обо мне, сеньор...

— Посмотрите-ка, — продолжал Ибарра, не замечая волнения юноши и поднося к огню стебель тростника. — Я сделал важное открытие: этот тростник не воспламеняется...

— Сейчас, сеньор, не до тростника; вам надо собрать ваши бумаги и скрыться ровно через минуту.

Ибарра в изумлении посмотрел на Элиаса и, увидев его мрачное лицо, выронил тростник.

— Сожгите все, что могло бы вас скомпрометировать; через час вам уже надо быть в более безопасном месте.

— Но почему? — спросил тот наконец.

— Спрячьте самые ценные вещи...

— Но почему?

— Сожгите все письма, написанные вами или адресованные вам: самое невинное из них могут истолковать вам во вред...

— Однако почему я должен это сделать?

— Почему? Потому что я сейчас раскрыл заговор, который приписывается вам, чтобы вас погубить.

— Заговор? Кто же эти пегодяи?

— Мне не удалось узнать имени зачинщика; я только что говорил с одним из несчастных, подкупленных для бунта, но не смог его разубедить.

— А он не сказал вам, кто ему заплатил?

— Сказал, но потребовал, чтобы я хранил тайну; он сообщил, что деньги дали вы.

— Боже милостивый! — воскликнул пораженный Ибарра.

— Сеньор, поверьте, нельзя терять времени, мятеж может вспыхнуть сегодня же вечером!

Широко раскрыв глаза и обхватив руками голову, Ибарра, казалось, не слышал его слов.

— Выступление не предотвратить, — продолжал Элиас, — я прибыл слишком поздно, не знаю никого из руководителей... Спасайтесь, сеньор, сохраните себя для родины!

— Но куда бежать? Этим вечером меня ждут в одном доме! — воскликнул Ибарра, думая о Марии-Кларе.

— В любой другой город, в Манилу, в дом какого-нибудь сановного лица, но только не оставайтесь здесь, чтобы не сказали, что вы руководите мятежом!

— А если я сам сообщу о заговоре?

— Сообщите, вы? — воскликнул Элиас, взглянув на него и отступив на шаг. — Вы станете предателем и трусом в глазах заговорщиков и малодушным в глазах всех других; люди скажут, что вы устроили им западню, чтобы выслужиться, скажут, что...

— Но что же мне делать?

— Я уже сказал вам: уничтожить бумаги, имеющие к вам прямое или косвенное отношение, бежать и ожидать дальнейших событий...

— А Мария-Клара? — вздохнул юноша. — Нет, лучше смерть!

Элиас скрестил руки на груди и сказал:

— Хорошо, по крайней мере отведите первый удар, подготовьтесь к аресту!

Ибарра обескураженно огляделся по сторонам.

— Тогда помогите мне; там, в тех бьюарах, переписка нашей семьи; отберите письма моего отца; может быть, именно они могут меня скомпрометировать. Читайте подписи.

И юноша в отчаянии растерянно открывал и запирал ящики, перебирал бумаги, бегло просматривал письма, рвал одни, откладывал другие, вытаскивал книги, перелистывал их и т. д. Элиас делал то же самое, — не в таком волнении, но с немалым усердием. Вдруг он остановился, удивленно подняв брови, повертел в руках какую-то бумагу и спросил дрогнувшим голосом:

— Вапа семья была знакома с доном Педро Эибаррамендия?

— Еще бы! — ответил Ибарра, открывая ящик и вытаскивая ворох бумаг. — Это мой прадед!

— Дон Педро Эибаррамендия — ваш прадед? — переспросил Элиас, изменившись в лице и страшно побледнев.

— Да, — рассеянно отвечал Ибарра. — Мы только сократили его фамилию — она слишком длинна.

— Он был из басков? — снова спросил Элиас, подойдя ближе.

— Из басков. Но что с вами? — удивился Ибарра.

Элиас сжал кулак, поднес его ко лбу и посмотрел в упор на Крисостомо, который попытлся, пануганный выражением его лица.

— Знаете, кто был дон Педро Эибаррамендия? — проговорил Элиас сквозь зубы. — Дон Педро Эибарра-

мендия был тот подлец, который оклеветал моего деда и послужил причиной всех наших несчастий. Я везде искал его потомков, и вот бог свел меня с вами! Теперь расплачивайтесь за наши страдания!

Крисостомо глядел на него, потрясенный; но Элиас схватил его за руку и прорычал голосом, в котором звучали горечь и ненависть:

— Взгляните на меня, взгляните, как я страдаю, а вы живете, любите, вы богаты, у вас есть дом, вас уважают, вы живете... живете!

Вне себя, он кинулся к маленькой коллекции оружия, но, схватив два кинжала, тут же их выронил и безумным взглядом посмотрел на Ибарру, который стоял неподвижно.

— Что я делаю? — прошептал Элиас и выбежал из компании.

LV

КАТАСТРОФА

Капитан Тьяго, Линарес и тетюшка Исабель ужинали в столовой, откуда доносился звон тарелок и приборов. Мария-Клара сказала, что у нее нет аппетита, и села к фортепьяно; около нее пристроилась хохотушка Сипанг, которая что-то шептала ей с таинственным видом на ухо. Отец Сальви беспокойно прохаживался из одного конца зала в другой.

Мария-Клара ушла из-за стола вовсе не потому, что не хотела есть; нет, она просто ждала одного человека и воспользовалась этим предлогом, чтобы избежать присутствия ее аргуса; * пропустить ужин Линарес не мог.

— Вот увидишь, это чучело проторчит здесь до восьми, — прошептала Сипанг, показывая на священника. — А в восемь должен прийти он. Священник тоже влюблен не меньше Линареса.

Мария-Клара с ужасом взглянула на подругу. Та, ничего не заметив, продолжала трещать:

— А я знаю, почему он не уходит, несмотря на мои намеки: не хочет жечь масло в монастыре! Знаешь? Как только ты заболела, те две лампы, что он там зажигал, больше не светятся... Но посмотри, какие у него глаза, какое лицо!



В этот момент часы в зале пробили восемь. Священник вздрогнул и сел в углу.

— Он идет! — сказала Синанг, уцепившись Марию-Клару. — Слышишь?

Зазвонил ангелус, и все приготовились к молитве. Отец Сальви начал читать слабым и дрожащим голосом, но все были погружены в собственные мысли, и никто не обратил на это внимания.

Едва кончили молиться, как появился Ибарра. На юноше не только был траурный костюм, — выражение его лица тоже было траурным, и это так бросалось в глаза, что Мария-Клара поднялась, сделала шаг ему навстречу, желая спросить, что с ним, как вдруг прогремел ружейный выстрел. Ибарра остановился, глаза его потемнели, язык словно одеревенел. Священник спрятался за колонной. Новые выстрелы, новые залпы раздались со стороны монастыря, слышались крики и топот. Капитан Тьяго, тетушка Исабель и Линарес вбежали в зал криками: «Тулисаны, тулисаны!» За ними следовала Анденг; размахивая вертелом, она подскочила к своей молочной сестре.

Тетушка Исабель упала на колени и, плача, забормотала: «*Kirie eleyson*»¹. Бледный и дрожащий капитан Тьяго протягивал статуе пресвятой девы Антипольской вилку, на которой красовалась куриная печенка. Линарес замер с полным ртом, держа в руке ложку; Сипанг и Мария-Клара бросились друг другу в объятия. Единственный, кто не тронулся с места, был Крисостомо; он был бледен как полотно.

¹ Господи, помилуй (греч.).

Шум и крики нарастали: со стуком захлопывались окна, то и дело слышался пронзительный свист, гремели выстрелы.

— Господи помилуй! Видишь, Сантьяго, пророчество исполняется... Закрой окна! — стонала тетушка Исабель.

— Пятьдесят больших петард и две благодарственные мессы! — ответил капитан Тьяго. — Oga pro nobis! ¹

Воцарилась зловещая тишина... Но вот послышался голос запыхавшегося альфереса:

— Отец священник! Отец Сальви! Где вы?

— Альферес хочет исповедаться! — вскричала тетушка Исабель.

— Альферес ранен? — с трудом проговорил Линарес. — Ох!

Только теперь он заметил, что еще не проглотил того, что держал во рту.

— Отец священник, где вы! Уже нечего бояться! — продолжал кричать альферес.

Отец Сальви решил наконец выйти из своего убежища и направился к лестнице.

— Тулисаны убили альфереса! Мария, Сишанг, по комнатам! Запирайте двери! Господи помилуй!

Ибарра тоже направился к лестнице, невзирая на крики тетушки Исабелли.

— Не выходи, ты ведь не исповедовался, не выходи!

Добрая старушка была большой приятельницей его матери.

Но Ибарра вышел на улицу; ему казалось, что все завертелось вокруг, что земля колеблется. В ушах звенело, ноги были словно палиты свинцом, шаг неровен; перед глазами то проплывали кровавые волны, то разливался свет, то сгущался мрак.

Хотя на небе ярко светила луна, юноша спотыкался о камни и бревна, лежавшие на мостовой. Улица была пустынна и безмолвна.

Возле казарм он увидел солдат, на ружьях поблескивали штыки. Солдаты что-то горячо обсуждали и не заметили Ибарру.

Из здания суда слышались удары, крики, стоны, проклятия; среди них выделялся голос альфереса.

¹ Молись за нас! (лат.)

— Колодки! Надеть наручники! Кто пошевелится — стрелять! Сержант, вам поручается охрана! Сегодня никто не сбежит, даже сам бог! Капитан, не дремать!

Ибарра ускорил шаг, направляясь к своему дому; там его с нетерпением ждали слуги.

— Оседлайте мне лучшего коня и идите спать! — приказал он.

Юноша вошел в кабинет, собираясь быстро уложить вещи. Открыв кованный железом ларец, он взял оттуда все деньги и сунул их в мешок. Собрал все ценности, снял со стены портрет Марии-Клары и, вооружившись кинжалом и двумя револьверами, направился к шкафу, где находились его инструменты.

В этот момент раздался три сильных удара в дверь.

— Кто там? — угрюмо спросил Ибарра.

— Именем короля откройте, сейчас же откройте, или мы выломаем дверь! — ответил по-испански властный голос.

Ибарра бросил быстрый взгляд на окно; глаза его сверкнули, он взвел курок, но, тут же передумав, положил оружие и пошел открывать; слуги уже сбежались к двери.

Три жандарма тотчас его схватили.

— Именем короля вы арестованы! — сказал сержант.

— За что?

— Там скажут; нам запрещено об этом говорить.

Ибарра секунду подумал и, не желая обпаружить перед солдатами следы приготовлений к бегству, взял шляпу и сказал:

— Я в вашем распоряжении! Надеюсь, что меня задержат недолго.

— Если вы обещаете не делать попыток к бегству, мы не наденем на вас наручники. Альферес оказывает вам эту милость, но если вы попытаетесь...

Ибарра пошел с ними, пораженные слуги глядели ему вслед.

Что же случилось между тем с Элиасом?

Покинув дом Крисостомо, Элиас бросился бежать как одержимый, сам не зная куда. Он пересек поля и в страшном волнении добрался до леса; он бежал от людей, от света — даже луна ему мешала — и наконец углубился в таинственный мрак лесной чащи. Юноша то останавливался, то брел по незнакомым тропкам, в

изнеможении прислонился к вековым деревьям, пробирался через кустарник и глядел вниз на залитый лунным светом городок, раскинувшийся на берегу озера. Вспархивали потревоженные птицы и громадные петухи, с ветки на ветку перелетали совы и филины, пронзительно ухая и глядя на него своими круглыми глазами. Элиас не слышал и не замечал их. Ему казалось, что за ним по пятам гонятся гневные тени его предков. На каждой ветви ему виделась корзина с окровавленной головой Балата, в точности как рассказывал отец. Ему казалось, что под каждым деревом он натывается на труп женщины, что во мраке раскачивается зловонный скелет опозоренного деда... И скелет, и женщина, и голова кричат ему: трус, трус!

Элиас спустился с горы, побежал к озеру и заметался по берегу; но вот ему почудилось, что вдалеке, где от лунного света по воде пролегла мерцающая дорожка, поднимается, колеблется призрак его сестры с окровавленной грудью, с развевающимися по ветру волосами.

Элиас упал на колени в песок.

— И ты тоже? — прошептал он, протягивая руки.

Потом, не сводя глаз с лунной дорожки, он медленно поднялся и вошел в воду, словно следуя за кем-то по отлогому дну песчаной отмели. Вот он уже далеко от берега, вода доходит ему до пояса, а он все идет, идет дальше, будто околдованный маящим призраком. Вода ему уже по грудь... Но вдруг прогремел ружейный залп, видение рассеялось, и Элиас очнулся. В ночной тишине даже на большом расстоянии выстрелы звучали громко и отчетливо. Он остановился, огляделся, заметил, что стоит в воде; озеро было спокойно, на берегу мерцали огоньки рыбацких хижин.

Элиас вернулся на берег и направился к городку. Зачем? Он сам не знал.

Городок казался вымершим; все дома были заперты; даже собаки, которые обычно лают ночь напролет, в страхе попрятались. Серебристый свет луны наполнял душу чувством тоски и одиночества.

Боясь встретить жандармов, Элиас углубился в сады и огороды, в одном из которых заметил неясные очертания двух людей. Но он продолжал свой путь и, перепрыгивая через плетни и каменные ограды, с трудом добрался до другого конца городка и повернул к дому

Ибарры. У ворот толпились слуги, обсуждая печальное происшествие и жалея хозяина.

Узнав о случившемся, Элиас отошел в сторону, обогнул дом, перепрыгнул через ограду, влез в окно и очутился в кабинете, где еще горела свеча, зажженная Ибаррой.

Элиас увидел разбросанные бумаги и книги, оружие и мешочки с деньгами и драгоценностями. В его воображении возникла картина того, что произошло, и он решил собрать документы, которые могли скомпрометировать Ибарру, а затем выкинуть их в окно и закопать.

Взглянув в сад, Элиас при свете луны заметил двух жандармов, направлявшихся к дому с каким-то человеком; в темноте поблескивали штыки и козырьки их фуражек.

Тогда он принял другое решение: быстро свалил в кучу одежду и бумаги посреди кабинета, облил керосином из лампы и поджег. Револьверы он поспешно сунул за пояс и, заметив портрет Марии-Клары, на секунду замигался... Но затем спрятал его в один из мешочков и, прихватив их, выпрыгнул из окна.

В это самое время жандармы уже входили в дом.

— Пропустите, нам надо взять бумаги вальего хозяина! — сказал секретарь префекта, пришедший с жандармами.

— А у вас есть разрешение? Если нет, не впускаю, — ответил старик слуга.

Солдаты растолкали слуг прикладами, поднялись по лестницам, но густой дым уже наполнял весь дом, и гигантские огненные языки, вырываясь из зала, лизали окна и двери.

— Пожар! Пожар! Горим! — закричали все. Слуги бросились спасать имущество, но тут огонь добрался до лаборатории, и взорвались какие-то вещества. Жандармы вынуждены были отступить, пламя двигалось прямо на них, пожирая и разрушая все на своем пути. Напрасно слуги таскали воду из колодца, напрасно кричали, звали на помощь, никто им не внимал. Огонь распространялся все дальше, к небу вздымались огромные клубы дыма. Весь дом был объят пламенем, от него тянуло страшным жаром. Прибежало несколько крестьян, но лишь для того, чтобы посмотреть на огромный костер, на гибель того старого дома, который так долго щадили стихии.

ЧТО ГОВОРЯТ И ЧЕМУ ВЕРЯТ

Наконец бог послал утро замершему в страхе городку.

На улице, где помещались казармы и суд, было еще тихо и пустошно; в домах — ни единого признака жизни. Но вот со скрипом открылся один деревянный ставень, и показалась детская головка; покрутившись туда-сюда, она высунулась из окна, любопытные глазенки забегали по сторонам. «Шлеп!» Этот звук возвестил о грубом прикосновении дубленого ремня к нежной детской коже; рот ребенка искривился, и глаза закрылись; головка исчезла, ставень захлопнулся.

Пример, однако, был подан; стук открывшегося и закрывшегося окна, видимо, услышали, ибо приотворилось соседнее окно, и из него осторожно высунулась голова беззубой, морщинистой старухи — это была та самая сестра Путэ, что подняла такой шум во время проповеди отца Дамасо. Дети и старики — самые любопытные существа на свете: первым хочется все узнать, вторым — оживить свои воспоминания.

Старуху, вероятно, некому было шлепнуть; она спокойно стояла у окна и, хмуря брови, глядела вдаль, затем пожевала ртом, смачно сплюнула и перекрестилась. В доме напротив тоже робко раскрылось окошечко, и оттуда выглянула сестра Руфа — та, что не любила ни обманывать, ни быть обманутой. Обе поглядели друг на друга, улыбнулись, кивнули и перекрестились.

— Иисусе! Это было похоже на мессу в день престольного праздника, настоящий фейерверк! — сказала сестра Руфа.

— С той ночи, когда в наш городок ворвался Балат, я не видела ничего подобного, — ответила сестра Путэ.

— Стреляли-то как! Говорят, на нас напал старый Пабло.

— Тулисаны? Не может быть! Говорят, стражники выступили против жандармов. За это и арестовали дона Филипо.

— Ходят слухи, что было не меньше четырнадцати убитых.

Начали открываться другие окна; жители обменивались приветствиями и мнениями.

При свете занимавшегося утра, которое обещало чудесный день, вдали смутно виднелись суетившиеся гражданские гвардейцы — маленькие, пепельно-серые силуэты.

— Вон песут еще одного мертвеца, — сказал кто-то.

— Одного? Я вижу двух.

— И я тоже... Но кто же в конце концов знает, что случилось? — спросил мужчина с хитрой физиономией.

— Да, наверно, все это стражники затеяли.

— Нет, сеньор: бунт в казармах!

— Какой бунт? Священник против альфереса?

— Ничего подобного, — сказал тот, кто первый задал вопрос. — Это китайцы подняли мятеж, — и затворил свое окно.

— Китайцы! — повторили все в великом изумлении.

— Потому-то их и не видно!

— Не иначе как все перебиты.

— Я так и знал, что они затевают дурное дело. Вчера...

— Я так и думала. Вчера вечером...

— Очень жаль, — заметила сестра Руфа. — Неужто все они погибли и не придут на пасху с подпошениями? Подождали хотя бы до Нового года...

Улица мало-помалу оживлялась. Сперва появились собаки, куры, свиньи и голуби, — они открыли движение. Вслед за ними вылезло несколько обтрепанных мальчишек, которые, взявшись за руки, боязливо приблизились к казармам. Потом вышли старухи в платках и с массивными четками в руках, делая вид, что молятся, чтобы солдаты их не задерживали. Когда стало ясно, что можно ходить по улице, не рискуя получить пулю в спину, показались мужчины. Сначала они с безразличным видом топтались возле дома, поглаживая своих петухов; затем, шаг за шагом, то и дело останавливаясь, добрались до здания суда.

Через четверть часа распространился другой слух: Ибарра со своими слугами хотел похитить Марию-Клару, а капитан Тьяго отстоял ее с помощью жандармов.

Убитых, как говорили, оказалось уже не четырнадцать, а тридцать; капитан Тьяго был ранен и спешно выехал с семьей в Манилу.

Появление двух стражников, тащивших на носилках нечто похожее на человеческое тело и сопровождаемых жандармом, вызвало величайшее волнение. Стало известно, что они шли из монастыря; по свисавшим с носи-

лок ногам кто-то попытался угадать, кто бы это мог быть. Немного позже уже знали наверняка, кто этот несчастный. Еще некоторое время спустя один убитый превратился в трех,— повторилось таинство святой троицы. А потом произошло нечто, подобное чуду с хлебами и рыбами,— убитых уже стало тридцать восемь.

В половине восьмого, когда прибыли жандармы из соседних селений, стали доподлинно известны все подробности происшествия.

— Я только что вернулся из суда, где видел арестованных дона Филипо и дона Крисостомо, — сообщал какой-то мужчина сестре Путэ, — и разговаривал с одним из стражников, стоящих на часах. Так вот, Бруно, сын того, которого забили насмерть, вчера вечером обо всем разболтал. Как вы слышали, капитан Тьяго выдает свою дочь замуж за одного молодого испанца. Дон Крисостомо, оскорбленный, хотел отомстить — убить всех испанцев, даже священника. Вечером напали на монастырь и казармы, но, к счастью, по божьей милости, священник был у капитана Тьяго. Говорят, многие скрылись. Жандармы снайпили дом дона Крисостомо, и если бы его не арестовали раньше, то и его бы сожгли.

— Снайпили его дом?

— Всех слуг арестовали. Глядите, еще дымок виднеется! — продолжал рассказчик, приближаясь к окну. — Все, кто приходит оттуда, приносят печальные вести.

Слушатели посмотрели в сторону дома Ибарры; в самом деле, легкий столбик дыма медленно поднимался к небу. Раздались возгласы — кто жалел Ибарру, а кто и осуждал.

— Бедный юноша! — воскликнул старик, супруг сестры Путэ.

— Конечно, — ответила жена, — но вчера он не заказал мессы за упокой души своего отца, который в этом нуждается более, чем кто-либо другой.

— Да что ты, жена, неужто тебе не жаль?..

— Жалеть отлученного? Грешно жалеть врагов господа — грех, говорят священники. Вспомните только! Он по кладбищу разгуливал как по скотному двору!

— Но скотный двор и кладбище так схожи, — возразил старик. — Разница только в том, что на скотном дворе собирают животных одной породы...

— Ты еще скажешь! — прикрикнула на него сестра Путэ. — Уж не будешь ли защищать того, кого бог так явно покарал? Увидишь, тебя тоже заберут. Скала рушится — подальше держись!

Этот аргумент заставил супруга умолкнуть.

— Ишь каков! — продолжала старуха. — Сперва прибил отца Дамасо, потом захотел убить отца Сальви.

— Но ты не можешь отрицать, что в детстве он был хороший мальчик.

— Да, был хороший, — подхватила старуха, — но потом отправился в Испанию. Все, кто ездит в Испанию, возвращаются еретиками, говорят священники.

— Ох ты! — возразил муж, увидев возможность реванша. — А сам священник? А вообще все священники, и архиепископ, и папа, и сама пречистая дева — разве они не из Испании? Ага! Может, они тоже еретики?

К счастью для сестры Путэ, вбежала взволнованная, бледная служанка, и спор прервался.

— В огороде у соседа — повешенный! — проговорила она, задыхаясь.

— Повешенный! — поразились все.

Женщины осемили себя крестным знаменем; никто не мог двинуться с места.

— Да, да, — продолжала перепуганная служанка. — Пошла я собирать горох... Поглядела в огород к соседу, нет ли его там, — и вдруг вижу: человек качается; я подумала, что это Тео, слуга, он мне всегда... Я подошла, чтоб... чтобы нарвать гороха, и увидела — это не он, а другой — мертвец; я как припущусь, как припущусь бежать п...

— Пойдемте посмотрим на него, — сказал старик, поднимаясь. — Веди нас.

— Не ходи! — закричала сестра Путэ, схватив его за рубашку. — Накличешь беду. Он повесился? Тем хуже для него!

— Пусти меня, жена. А ты, Хуан, беги сообщи в суд. Может, он еще жив.

И старик отправился в огород в сопровождении служанки, прятавшейся за его спиной. Женщины и сама сестра Путэ тащились сзади, полные страха и любопытства.

— Вон там, сеньор, — сказала служанка, указывая пальцем.

Женщины остановились на почтительном расстоянии, и старик пошел дальше один. Человеческое тело, висевшее на ветви сантоля, тихо покачивалось от ветра. Старик некоторое время рассматривал окоченевшие ноги, руки, грязную одежду и опущенную голову.

— Нам нельзя трогать его до прихода судебных властей, — громко сказал старик. — Он успел остыть; давно уже умер.

Женщины робко подошли ближе.

— Это тот, который жил вон там, в домике; он приехал две недели назад. Видите, шрам на лице?

— Пречистая дева! — воскликнула одна из женщин.

— Помолимся за его душу? — спросила какая-то девушка, оглядев труп со всех сторон.

— Дура, еретичка! — набросилась на нее сестра Пута. — Разве не знаешь, что говорил отец Дамасо? Молиться за самоубийцу — это испытывать терпение господа; самоубийцы обрекают себя на вечное проклятие. Поэтому их и не хоронят на кладбище. — И добавила: — Я так и думала, что этот человек плохо кончит; мне все никак не удавалось узнать, чем он живет.

— Я видела раза два, как он беседовал с отцом экономом, — заметила девушка.

— Уж наверное, не для того, чтобы исповедаться или заказать мессу!

Подшли другие горожане, и вскоре многочисленная толпа окружила труп, все еще висевший на дереве. Через полчаса прибыли альгусил, секретарь префекта и два стражника; стражники сняли мертвеца и положили на носилки.

— Народ спешит помирать, — сказал со смехом секретарь, вытаскивая из-за уха перо. Он начал всем задавать каверзные вопросы, выслушал показания служанки, которую постарался совсем запутать, то подозрительно глядя на нее, то угрожая, то приписывая ей слова, каких она не говорила. Думая, что ее уже отправляют в тюрьму, она разревелась и призналась, что шла вовсе не за горохом, а... и призвала в свидетели Тео.

В это самое время какой-то крестьянин в широкополом салакте и с большим пластырем на шее осматривал труп и веревку.

Лицо покойника было не более синим, чем остальные части тела; около веревки на шее виднелись две ссади-

ны и два маленьких кровоподтека; там, где веревка терлась о шею, крови не было. Внимательно оглядев рубашку и штаны, любопытный крестьянин заметил, что одежда запылена и местами порвана. Но особенно привлекли его внимание семена травы «суровая любовь», облепившие рубаху до самого ворота.

— Чего ты там смотришь? — спросил его секретарь.

— Я смотрел, сеньор, не из знакомых ли кто, — пробормотал тот, чуть приподнимая шляпу, вернее надвигая ее на лоб.

— Разве ты не слышал, что это Лукас? Заснул, что ли?

Все вокруг захохотали. Крестьянин смутился, что-то пробурчал и, опустив голову, медленно побрел прочь.

— Эй! Ты куда пошел? — крикнул ему старик. — Там нет выхода, там дом покойника!

— Парень еще ото сна не очнулся! — насмешливо проговорил секретарь. — Его надо водой окатить.

Окружающие снова громко расхохотались.

Но крестьянин уже был далеко от этого места, где он так опростоволосился. Он направился в церковь и, зайдя в ризницу, попросил позвать отца эконома.

— Спит еще! Не знаешь разве, что вчера вечером было нападение на монастырь? — грубо ответили ему.

— Я подожду, пока он проснется.

Церковные служки глядели на него с наглым презрением людей, которые сами привыкли терпеть дурное обращение.

Одноглазый эконом спал в темном углу на длинной скамье. Очки его были сдвинуты на лоб и прикрыты прядями длинных волос; тощая, впалая грудь была открыта и равномерно вздымалась.

Крестьянин сел поблизости, приготовившись терпеливо ждать, но вдруг выронил монету и со свечой в руке полез под скамью, на которой спал отец эконом. И тут опять заметил семена «суровой любви» — на этот раз на штанах и на рукавах рубахи спящего, который наконец проснулся, протер свой единственный глаз и со злостью стал бранить невежу.

— Я хотел бы заказать мессу, сеньор! — отвечал тот извиняющимся голосом.

— Сегодня уже кончились все мессы, — ответил, немного смягчившись, одноглазый. — Если хочешь, можно на завтра... Это за души в чистилище?

— Нет, сеньор, — ответил крестьянин, давая отцу эконому песо. — За человека, который скоро умрет.

Затем крестьянин вышел из ризницы.

— Я мог бы вчера вечером захватить его на месте преступления, — со вздохом сказал он себе. Сорвав пластырь и выпрямившись, он снова обрел лицо и фигуру Элиаса.

LVII

«VAE VICTIS!»¹

Моя радость на дне колодца *.

Несколько жандармов прохаживались с суровыми лицами перед дверями суда, грозя ружейными прикладами дерзким мальчишкам, которые вставали на цыпочки или взбирались на плечи друг другу, чтобы разглядеть что-нибудь через решетку.

Зал заседаний уже не имеет такого привлекательного вида, как в ту пору, когда здесь обсуждалась программа праздника. Теперь он мрачен и неуютен. Чуть слышно переговариваются жандармы и стражники, роняя отрывистые слова. Секретарь префекта, два писца и несколько солдат что-то строчат, сидя за столом. Альферес прохаживается по залу, свирепо поглядывая на дверь, — сам Фемистокл на олимпийских играх после сражения при Саламине* не был, наверное, так горд собой. Донья Консоласьон зевает в углу, раскрывая во всю ширь черную пасть и показывая гнилые зубы. Ее холодный, мрачный взор устремлен на дверь тюремной камеры, размазанную непристойными рисунками. Она добилась от мужа, которого победа сделала более уступчивым, разрешения присутствовать на допросе и, возможно, на последующей экзекуции. Гиена чуяла трупный запах, облизывалась и скучала в ожидании пыток.

¹ «Горе побежденным!» (лат.)

Префект отсутствовал, он был слишком удручен: его кресло, огромное кресло под портретом его величества, пустовало, словно поджидая кого-то другого.

Около девяти часов вошел нахмуренный, бледный священник.

— Однако вы не заставляете себя ждать! — сказал альферес.

— Я предпочел бы вообще не присутствовать, — тихо ответил отец Сальви, не обращая внимания на колкость. — У меня слабые нервы.

— Так как все заняты по службе и не могли явиться, я счел, что ваше присутствие... Вы же знаете, сегодня они будут отправлены.

— Молодой Ибарра и лейтенант-майор?..

Альферес кивнул головой на камеру.

— Их там восемь человек, — сказал он. — Бруно умер ночью, но его показание записано.

Священник поклонился доные Консоласьон, которая ответила ему зевком — ааа! — и уселась в кресло под портретом его величества.

— Можем начинать! — заметила она.

— Тащите тех двух, что в колодках! — грозно приказал альферес и, подойдя к священнику, уже другим тоном прибавил: — Их через две дырки воткнули!

Для тех, кто не знаком с этим орудием пыток, мы сообщим, что колодки, или сено, — одно из самых мягких наказаний. Отверстия в бревне, куда просовываются ступни заключенного, отстоят одно от другого примерно на четверть метра. Если ступни узника помещены «через две дырки», то есть в отверстия, отстоящие друг от друга почти на метр, то он стоит в весьма неудобном положении и испытывает страшную ломоту в икроножках. Но вполне понятно, от этого так сразу не умирают.

Тюремщик вместе с четырьмя солдатами отодвинул засов и приоткрыл дверь. Из камеры потянуло тошнотворным запахом, сыростью, спертым воздухом, в темноте слышались стоны и всхлипывания. Один из солдат зажег спичку, но огонек погас в этой душной, зловонной атмосфере, и пришлось ждать, пока воздух освежится.

Мерцающее пламя свечи осветило несколько человеческих фигур: одни сидели, обхватив руками колени и уткнув в них голову, другие лежали на спине или стояли



лицом к стене. Послышались стук и скрежет, сопровождаемые проклятиями: отпирали сено.

Донья Консоласюн подалась вперед, жилы на ее щеке вздулись, выпученные глаза устремились к полуоткрытой двери.

Наконец два солдата вывели сумрачного Тарсило, брата Бруно. Он был в наручниках; сквозь рваную одежду проглядывало мускулистое тело. Тарсило дерзко взглянул на жену альфереса.

— Вот этот защищался храбрее всех и приказал бежать своим сообщникам, — сказал альферес отцу Сальви.

Сзади плелся другой узник, весьма жалкого вида, охая и всхлипывая, как ребенок; он хромал, штаны его были запачканы кровью.

— Сжальтесь, сеньор, сжальтесь! Я больше никогда не войду во двор! — кричал он.

— Ишь пройдоха, — заметил альферес священнику. — Хотел удрать, да его ранили в ляжку. Эти двое — единственные, кого удалось живьем схватить.

— Как тебя звать? — спросил альферес Тарсило.

— Тарсило Аласиган.

— Что вам обещал дон Крисостомо за нападение на казармы?

— Дон Крисостомо никогда с нами не говорил.

— Не ври! Ведь из-за него вы и задумали погубить нас.

— Ошибаетесь: вы забили насмерть нашего отца, мы мстим за него, вот и все. Лучше поищите ваших двух приятелей.

Альферес с удивлением взглянул на сержанта.

— Они в пропасти, мы их туда сбросили вчера, там они и сгниют. А теперь убейте меня: вы больше ничего не узнаете.

Наступило краткое молчание.

— Ты скажешь, кто твои сообщники? — крикнул альферес, замахиваясь хлыстом.

Презрительная усмешка искривила губы узника.

Альферес шепотом посоветовался со священником и обратился к солдатам.

— Покажите ему трупы! — приказал он.

В углу двора на старой повозке были свалены в кучу пять трупов, наполовину прикрытых рваной, грязной

рогожей. По двору из конца в конец прогуливался солдат, то и дело слезывая.

— Ты их знаешь? — спросил альферес, приподнимая рогожу.

Тарсило не ответил; он увидел труп мужа безумной и два других: труп своего брата, исколотый штыками, и тело Лукаса с петлей на шее. Глаза пленника потемнели, и из его груди вырвался приглушенный стон.

— Ты их знаешь? — снова спросили его.

Тарсило молчал.

В воздухе просвистел хлыст и опустился на плечи юноши. Он вздрогнул, все его мускулы напряглись. Удары следовали один за другим, но Тарсило не шевелился.

— Дать ему палок — сдохнет или заговорит! — взревел альферес.

— Не упрямься, — сказал секретарь, — все равно тебя убьют.

Тарсило опять ввели в зал, где второй узник, стуча зубами и трясясь, призывал на помощь всех святых.

— А этого ты знаешь? — спросил его отец Сальви.

— Впервые вижу! — ответил Тарсило, взглянув на того с некоторым состраданием.

Альферес ударил его кулаком и пнул ногой.

— Привязать к скамье!

Тарсило привязали к деревянной скамье, не снимая обгоревших кровью паручников. Несчастный огляделся по сторонам, будто ища кого-то, и, увидев донью Консоласьон, презрительно усмехнулся. Присутствующие удивленно посмотрели в направлении его взгляда; супруга альфереса сидела, покусывая губы.

— В жизни не встречал такой уродины! — воскликнул Тарсило среди всеобщего молчания. — Лучше уж лежать на этой скамье, как я лежу сейчас, чем рядом с нею, как альферес.

Муза побледнела.

— Вы меня забьете насмерть, сеньор альферес, — продолжал он, — но сегодня ночью ваша жена, обнимая вас, отомстит за меня.

— Заткните ему глотку! — крикнул альферес, дрожа от гнева.

Тарсило, казалось, только этого и ждал: когда ему заткнули рот кляпом, в его глазах сверкнула радость.

По знаку альфереса жандарм с хлыстом в руке при-

ступил к своей печальной обязанности. Тело юноши напряглось. Послышался глухой, продолжительный стон, хотя рот его был завязан. Тарсило припал лбом к скамье, на его одежде показались пятна крови.

Отец Сальви был бледен, глаза его блуждали; медленно поднявшись, он махнул рукой и неверными шагами вышел из зала. На улице он увидел девушку, которая стояла, прислонясь спиной к стене, прямая и неподвижная. Она напряженно прислушивалась, устремив взор в пространство; ее вытянутые в стороны руки судорожно цеплялись за старую стену. Солнце заливало девушку ярким светом. Казалось, она застав дыхание считает отрывистые, глухие удары и душераздирающие стоны. Это была сестра Тарсило.

Между тем в зале представление продолжалось. Несчастный Тарсило, обессилев от боли, смолк и ждал, пока устанут его палачи. Наконец солдат, отдуваясь, бросил хлыст, и альферес, побелевший от изумления и гнева, подал знак развязать веревки.

Тогда дочь Консоласьон встала и шепнула мужу несколько слов. Он кивнул головой в знак согласия.

— В колодец его! — сказал он.

Филиппинцы хорошо знают, что это такое; по-тагальски эта пытка называется «тимбаин». Мы не знаем, кто ее изобрел, но полагаем, что она достаточно древнего происхождения. Поговорка об истине, выходящей на свет со дна колодца, возможно, лишь саркастическое толкование этой пытки.

Посреди двора перед зданием суда возвышались живописные закраины колодца, кое-как сложенного из булыжника. Нехитрое приспособление из тростника служило рычагом, с помощью которого черпали вязкую, грязную, вонючую воду. В колодец бросали черепки, мусор, сливали нечистоты, — он был подобен самой тюрьме, где сосредоточивается все, что общество выбрасывает или считает ненужным. Что туда попадет, — пусть оно прежде представляло некоторую ценность, — погибло навсегда. Однако колодец не замуровывали: напротив, узников нередко приговаривали к работам по его углублению — и не потому, что думали извлечь пользу из этого наказания, а потому, что работа была очень трудна и вредна: кто хоть раз спускался в колодец, заболел лихорадкой, почти всегда приводившей к смерти.

Тарсило наблюдал за приготовлениями, не сводя глаз с суетившихся около него людей... Он был страшно бледен, губы его дрожали; видимо, он шептал молитву. Гордое мужество отчаяния, казалось, покинуло его или по меньшей мере поколебалось. Порой он склонял высоко поднятую голову и устремлял взор в землю, как бы смиряясь с предстоящими страданиями.

Его подвели к краю колодца, куда подошла и улыбавшаяся донья Консоласьон. Несчастный бросил взгляд, полный зависти, на груды трупов, и из его груди вырвался стон.

— Не упрямься, — снова повторил секретарь, — все равно тебя повесят; по крайней мере умрешь без таких мучений.

— Отсюда тебя поведут на казнь, — сказал ему один из стражников.

У Тарсило выпули изо рта кляп и подвесили за ноги. Его должны были опустить в колодец головой вниз и продержать некоторое время под водой, как это делают с ведром, с той лишь разницей, что голова человека остается под водой несколько дольше.

Альферес пошел взять часы для отсчитывания минут.

Тем временем Тарсило висел вниз головой, его длинные волосы развевались по ветру, глаза были полужакрыты.

— Если вы христиане, если у вас есть сердце, — умоляюще прошептал он, — ударьте меня об дно или разбейте мне голову о стену, чтобы я сразу умер. Бог наградит вас за доброе дело... Кто знает, может, и вас когда-нибудь постигнет такая же участь!

Альферес возвратился с часами в руках и распорядился начать экзекуцию.

— Тише! Тише! — кричала донья Консоласьон, прощая несчастного взглядом. — Осторожно!

Конец рычага медленно опускался; Тарсило ударялся о выступавшие камни, сдирал телом вонючую плесень, покрывавшую расщелины. Но вот движение рычага приостановилось; альферес начал отсчитывать секунды.

— Поднимай! — резко приказал он через полминуты сержанту.

Мелодичный, серебристый звон падающих капель возвестил о возвращении преступника на свет божий. Противовес на другом конце рычага был тяжелей, поэ-

тому подъем шел быстро. Мелкие камни отрывались от стенок колодца и с шумом падали вниз.

Взорам притихших зрителей предстало мокрое тело, с которого струилась вода, лицо в ранах и ссадинах, волосы и лоб, облепленные отвратительным илом; дул порывистый ветер, и узника бил озноб.

— Будешь говорить? — спросили его.

— Позаботься о моей сестре! — прошептал несчастный, умоляюще глядя на одного из стражников.

Снова заскрипел тростниковый рычаг, и осужденный скрылся в колодце. Донья Консоласьон отметила про себя, что поверхность воды очень быстро успокоилась. Альферес отсчитал минуту.

Когда Тарсило появился над колодцем, все увидели, как исказилось и помертвело его лицо. Застывшие, налитые кровью глаза глядели на присутствующих.

— Будешь говорить? — хмуро спросил альферес.

Тарсило отрицательно качнул головой, и его опять стали опускать. Веки юноши медленно закрывались, но зрачки были устремлены к небу, где плыли белые облака; он выгнул шею, чтобы дольше видеть солнце, но тут же погрузился в воду, и грязная завеса скрыла от него светлый день.

Прошла минута; Муза, неотступно наблюдавшая за водой, заметила, что со дна поднимаются большие пузыри.

— Он хочет пить! — сказала она со смехом.

Но вот поверхность воды снова стала гладкой.

На этот раз альферес подал знак поднимать через полторы минуты.

Лицо Тарсило уже не было сведено судорогой, из-под полуоткрытых век виднелись белки глаз, изо рта текла мутная вода, смешанная с кровью; по-прежнему дул холодный ветер, но тело арестанта уже не вздрагивало.

Присутствующие молча переглянулись, они были бледны и подавлены. Альферес махнул рукой, чтобы Тарсило отвязали, и, нахмутив брови, отошел в сторону. Донья Консоласьон ткнула несколько раз горящим концом своей сигары в голые пятки юноши, но он не шевельнулся, а сигара погасла.

— Он сам себя прикончил! — прошептал один стражник. — Смотрите, как он язык подвернул, будто проглотить хотел.

Второй арестант смотрел на происходящее, дрожа и обливаясь холодным потом; глаза его блуждали как у безумного.

Альферес поручил секретарю вести допрос.

— Сеньор, сеньор! — простонал узник. — Я скажу все, что вы хотите.

— Ладно, посмотрим. Как тебя зовут?

— Андонг, сеньор!

— Бернардо... Леонардо... Рикардо... Эдуардо... Ну, как?

— Андонг, сеньор! — повторил дурашливый парень.

— Запишите, «Бернардо» или что-нибудь в этом роде, — решил альферес.

— Фамилия?

Парень в ужасе уставился на него.

— Какое еще имя прибавляют тебе к имени Андонг?

— А, сеньор! Андонг Дурачок, сеньор!

Окружающие не могли удержаться от улыбки; сам альферес, расхаживавший по двору, замедлил шаг.

— Занятие?

— Сборщик кокосов, сеньор, и работник у тещи.

— Кто приказал вам напасть на казармы?

— Никто, сеньор!

— Как никто? Не лги, или тебя бросят в колодец! Кто вами командовал? Говори правду!

— Правду, сеньор!

...

— Кто?

— Кто, сеньор!

— Я тебя спрашиваю, кто вас подговорил делать революцию?

— Какую революцию, сеньор?

— Да вот эту, ты же был вчера вечером во дворе казарм.

— Ах, сеньор! — покраснев, воскликнул Андонг. — Моя теща, сеньор!

Его слова были встречены взрывом смеха. Альферес остановился и взглянул, не очень сурово, на несчастного, который, думая, что произвел хорошее впечатление, продолжал, приободрившись:

— Да, сеньор: теща дает мне на обед одно гнилье да отбросы. Вчера вечером шел я домой, а у меня вдруг живот схватило; увидел я поблизости двор казармы и гово-

рю себе: уже темно, никто не увидит. Вошел... а когда присел, услышал выстрелы; я стал завязывать штаны...

Сильный пинок прервал его на полуслове.

— В тюрьму! — приказал альферес. — Сегодня после полудня отправить в столицу!

LVIII

ПРОКЛЯТЫЙ

Вскоре по селению распространилась весть, что арестантов увезут. Сперва все онемели от ужаса, потом слышались причитания и слезы.

Родственники арестантов бежали как сумасшедшие от монастыря к казармам, от казарм к зданию суда и, не находя нигде сочувствия, громко кричали и стонали. Священник заперся, сказавшись больным. Альферес выставил усиленную охрану, и солдаты отгоняли прикладами моливших о милосердии женщин. Префект, это ничтожное существо, казался еще более глупым и беспомощным, чем обычно. Перед тюрьмой метались те женщины, у которых еще были силы. Другие в изнеможении опускались на землю, шепча дорогие имена.

Солнце палило немилосердно, но никто из этих несчастных не думал уходить. Дорай, некогда счастливая и веселая супруга дона Филипо, бродила в полном отчаянии, держа на руках маленького сына и плача вместе с ним.

— Уходите, — говорили ей, — вашего сыншку хватит солнечный удар.

— Зачем ему жить, если у него не будет отца, который бы о нем заботился? — в отчаянии отвечала женщина.

— Ваш муж невиновен; может быть, он еще вернется!

— Да, но мы-то до этого не доживем.

Капитанша Тинай лила слезы и звала своего сына Антонио; мужественная капитанша Мария смотрела на маленькое решетчатое окошко, за которым томились обе ее близнеца, ее единственное утешение.

За решеткой была и теща сборщика кокосов; она не плакала, а разгуливала с засученными рукавами и говорила окружающим:

— Видали что-либо подобное? Арестовать моего Андонга, пустить в него пулю, засадить в сепо и отправить в столицу только за то... что у него новые штаны? Это им так не пройдет! Жандармы злоупотребляют своей властью! Клянусь, если кто-нибудь из них опять будет искать укромное местечко в моем саду, как это не раз бывало, я его изуродую, изуродую! Или... пускай меня изуродуют!

Но лишь немногие вторили по-мусульмански мстительной теще.

— Во всем виноват дон Крисостомо, — вздохнула одна женщина.

Школьный учитель тоже бродил как потерянный в толпе. Ёор Хуан уже не потирал руки, не размахивал отвесом и метром: он был во всем черном, так как до него дошли дурные вести, и, верный своей привычке смотреть на будущее как на совершившееся, он надел траур по Ибарре.

В два часа дня открытая повозка, запряженная двумя быками, остановилась перед зданием суда.

Люди окружили быков и хотели отпрячь их, а повозку разбить.

— Не делайте этого, — сказала капитанша Мария. — Хотите, чтобы они шли пешком?

Ее слова охладили пыл родственников. Вышли двадцать солдат и оцепили повозку. Затем появились арестанты.

Первым шел связанный дон Филипо; он, улыбнувшись, кивнул жене. Дорай горько зарыдала и бросилась вперед, чтобы обнять мужа; два жандарма с трудом удержали ее. Антонио, сын капитанши Тинай, всхлипывал, как ребенок, отчего крики матери стали еще отчаяннее. Дурачок Андонг залился слезами при виде тещи, виновницы его несчастий. Альбино, бывший семинарист, тоже шел со связанными руками, как и оба близнеца капитанши Марии. Все трое были строги и молчаливы. Последним вышел Ибарра, на нем не было наручников, но по обе стороны от него шли два жандарма. Юноша был бледен, он искал глазами друзей.

— Это он виноват! — раздались многочисленные голоса. — Он виноват, а его не связали!

— Мой зять ничего не сделал, а на нем наручники! Ибарра повернулся к жандармам.

— Свяжите меня, только покрепче, локоть к локтю! — сказал он.

— Нам это не приказано.

— Связывайте!

Солдаты повиновались.

Появился альферес верхом на коне, вооруженный до зубов; за ним следовало еще десятка полтора солдат.

У каждого арестанта были в толпе родственники, которые просили за него, плакали по нем или называли его самыми нежными именами. Только о Ибарре никто не сокрушался: даже Ньор Хуан и школьный учитель исчезли.

— Что вам сделали мой муж и мой сын? — с плачем говорила Ибарре Дорай. — Взгляните на моего бедного сына! Вы его лишили отца.

Скорбь уступила место гневу. Все родственники пострадавших обрушились на юношу, упрекая его в том, что он — зачинщик мятежа. Альферес приказал увести заключенных.

— Ты трус! — кричала Ибарре теща Андонга. — Когда другие дрались за тебя, ты прятался, трус!

— Будь проклят! — сказал ему вслед какой-то старик. — Будь проклято золото, накопленное твоей семьей, чтобы нарушить нашу мирную жизнь! Проклятый! Проклятый!

— Чтоб тебя повесили, еретик! — кричала родственница Альбино; в неистовой ярости она схватила камень и швырнула его в Ибарру.

Ее примеру тут же последовали другие, и на несчастного юношу посыпался град камней и комьев земли.

Ибарра сохранял спокойствие; без возмущения, без жалоб сносил он справедливый гнев этих обезумевших от горя людей. Таково было налутствие, прощальное слово его города, где оставалось все, что было дорого его сердцу. Он опустил голову. Быть может, ему вспомнился человек, которого били на улицах Манилы, и старуха, упавшая замертво при виде головы своего сына; или, быть может, история Элиаса пронеслась в этот миг перед его глазами.

Альферес распорядился отогнать толпу, но камни и оскорбления по-прежнему сыпались со всех сторон. Одна только мать не мстила Ибарре за свои страдания: это была капитанша Мария. Сжав губы, неподвижно, молча

глядела она полными слез глазами, как увозят обоих ее сыновей, — истинная Ниобея, окаменевшая в немом горе *.

Повозка удалялась. Кое-где на ее пути раскрывались окна; больше всего сочувствовали юноше чужие или попросту любопытные люди. Все его друзья попрятались, даже сам капитан Басилло, строго-настрого запретивший своей дочери Синанг оплакивать его несчастную судьбу.

Ибарра увидел дымившиеся руины своего дома, дома, где жили его родители, где он родился, где прошли самые светлые дни его детства и отрочества. Долго сдерживаемые слезы брызнули из его глаз, он опустил голову и зарыдал, не имея даже возможности прикрыть лицо — руки у него были связаны за спиной — и не надеясь на чье-либо сострадание. Теперь у него не было ни родины, ни дома, ни любимой, ни друзей, ни будущего!

Какой-то человек — бледный, изможденный старец, кутавшийся в шерстяной плащ и тяжело опиравшийся на палку, наблюдал с холма за мрачным шествием. Это был старый философ Таско; узнав о случившемся, он встал с постели, чтобы пойти к зданию суда, но силы ему отказали. Старец провожал взглядом повозку, пока она не скрылась вдали. Некоторое время он еще стоял, в раздумье опустив голову, потом выпрямился и, с трудом передвигая ноги, останавливаясь на каждом шагу, побрел домой.

На следующий день пастухи нашли Таско мертвым на пороге его одинокого жилища.

LIX

ПАТРИОТИЗМ И ЛичНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Секретное сообщение о пропсшествии было передано по телеграфу в Манилу, а тридцать шесть часов спустя, уснадив его множеством таинственных намеков и немалым числом угроз, газеты напечатали это известие, раздутое, исправленное и искаженное цензурой. В то же время по монастырям распространялись разные слухи, которые быстро подхватывались, передавались из уст в уста и вселяли ужас в людей. Событие приукрашивалось на

все лады, и каждый верил рассказам в той степени, в какой дошедшая до него версия отвечала или противоречила его склонностям и образу мыслей.

Общественное спокойствие на первый взгляд не было нарушено, по крайней мере внешние, но домашние очаги уподобились водоемам, поверхность которых кажется зеркально гладкой, а на дне кишат, шныряют и преследуют друг друга безмолвные рыбы. Кресты, ордена, галуны, посты, звания, титулы, власть, влияние бабочками в дожде золотых монет замелькали перед глазами одних. Но для других собирались на горизонте темные тучи, на их свинцово-сером фоне рисовались черные силуэты решеток, цепей и даже зловещая перекладина виселицы. Повсюду, казалось, слышались допросы, приговоры, крики пытаемых; Марианские острова* и Багумбаян являлись взорам многих, подернутые рваной и окровавленной пеленой; в мутной воде смешались рыбаки и рыбы. Року было угодно изобразить это событие в воображении манильцев каким-то китайским веером: одна сторона — сплошь черная, другая — позолоченная, яркая, с птицами и цветами.

В монастырях царило страшное волнение. То и дело закладывались экипажи, приезжали священнослужители из провинций, устраивались тайные совещания. Монахи являлись во дворцы, чтобы предложить помощь «правительству, которому грозит страшная опасность». Снова заговорили о кометах, вещих снах, предсказаниях и т. д.

— Споемте «Te Deum! Te Deum!»¹, — говорил монах в одном монастыре. — На этот раз никто не будет обойден! Велика милость господа бога, показавшего всем именно сейчас, в наше грешное время, чего мы стоим!

— Этот маленький урок заставит генерала «Зловещего»* прикусить губу, — отвечал другой.

— Что стало бы с ним без наших орденов?

— И дабы лучше отпраздновать сие торжество, пусть за дело возьмутся брат повар и эконом! Будем пировать три дня подряд!

— Аминь! Аминь! Да здравствует отец Сальви! Ура!

В другом монастыре говорили иначе.

— Видите? Он — ученик иезуитов; из Атенео выходят одни флибустьеры! — заметил один монах.

¹ «Тебя, боже!» (лат.) — благодарственная молитва.



— И безбожники.

— Я давно повторяю: иезуиты губят страну, портят молодежь, но их терпят, ибо они рисуют какие-то крючки на бумаге, землетрясения предсказывают.

— Одному господу ведомо, как они это делают!

— Так-то оно так, а попробуйте их тронуть! Когда все вокруг шатается и почва колеблется под ногами, кто еще будет чертить каракули? Только отец Секки... *

И они презрительно усмехнулись.

— Ну, а ураганы? А багны? — иронически спросил другой. — Это ли не чудеса?

— Любой рыбак их предскажет!

— Да, если у власти — дурак... Скажи мне, что у тебя в голове, и я скажу, какие у тебя лапы! Вот увидите, рука руку моет: газеты чуть ли не вымаливают митру для отца Сальви.

— И он ее получит! Он ее выцаранает!

— Вы так думаете?

— Еще бы! Теперь митру за любую чепуху дают. Я знаю одного, кому она досталась за меньшие заслуги: сочинил какую-то дурацкую книжонку, доказал, что индейцы ни к чему иному, кроме ремесла, не способны... Одни избитые фразы!

— Что правда, то правда! Такие несправедливости только вредят религии! — воскликнул другой. — Если бы митры имели глаза и могли видеть, на чьи черепа...

— Если бы митры были как природа... — прогнусавил третий. — *Natura abhoret vacuum...*¹

— Потому они и прирастают к таким головам: их притягивает пустота! — заметил еще кто-то.

Это и многое другое говорилось в монастырях, но мы избавим наших читателей от прочих комментариев, политических, философских или просто пикантных. Мы лучше поведем читателя в дом частного лица, и так как в Машиле у нас мало знакомых, пойдем к капитану Тинонгу, гостеприимному человеку, который так настойчиво просил Ибарру почтить его дом своим присутствием.

В обширном, богато обставленном зале собственного дома в Тондо собралось все семейство капитана Тинонга. Убитый горем хозяин сидел в глубоком кресле, растерянно потирая лоб и затылок, а его жена, капитанша Тинонг, плакала и поучала мужа в присутствии двух дочек, которые слупали, забившись в угол, неподвижные, ошеломленные, немые.

— Ай, пресвятая дева де Антиполо! — кричала женщина. — Ай, пресвятая дева дель Росарио и де ла Корреа! Ай-яй-яй! Пречистая дева де Новаличес!

— Мама! — укоризненно прошептала младшая дочь.

— Я тебе говорила! — продолжала мать назидательным тоном. — Я тебе говорила! Ай, пресвятая дева дель Кармен, ай!

— Но ты же мне ничего не говорила! — осмелился возразить капитан Тинонг плачущим голосом. — Напротив, ты мне говорила, что хорошо бы почаще бывать у Тьяго и поддерживать с ним дружбу, потому что... потому что он богат... И ты мне говорила...

— Что? Что я тебе говорила? Я тебе этого не говорила, я тебе ничего не говорила! Ах, если бы ты меня слушал!

— Теперь ты все сваливаешь на меня! — с горечью возразил он, хлопнув ладонью по подлокотнику кресла. — Разве ты мне не говорила, что я правильно сделал, что пригласил его отобедать с нами, потому что он богат... Ты же говорила, что мы должны завязывать дружбу только с богатыми! Охо-хо!

— Да, я говорила тебе так, потому что... потому что уже нечего было делать: ты только и знал, что восхвалял

¹ Природа не терпит пустоты... (лат.)

его; дон Ибарра тут, дон Ибарра там, дон Ибарра на каждом слове. Боже мой! И я тебе вовсе не советовала встречаться и говорить с ним тогда, на вечере у капитана Тьяго; этого ты не можешь отрицать.

— Я случайно узнал, что он там будет.

— А ты должен был заранее знать об этом!

— Каким образом? Я ведь не был даже знаком с ним!

— А ты должен был с ним познакомиться!

— Но, Тинанг, я там впервые увидел его и услышал о нем!

— А ты должен был раньше видеть его и слышать о нем! На то ты мужчина и носишь штаны и читаешь «Вестник Манилы»! * — невозмутимо отпарировала супруга, бросив на него устрашающий взгляд.

Капитан Тинонг не пашелся что ответить. Капитанша Тинонг, не удовлетворенная победой, решила вконец уничтожить супруга и приблизилась к нему со сжатыми кулаками.

— Для того ли я трудилась все годы, на всем экономила, чтобы ты из-за своей дурости пустил по ветру плоды моих трудов? — накинулась она на мужа. — Теперь вот придут, чтоб отправить тебя в ссылку, отберут все наше добро, как у жены того... Ох, если бы я была женщиной!..

И, видя, что муж опустил голову, снова принялась всхлипывать, повторяя:

— Ох, если бы я была женщиной, если бы я была женщиной!

— Ну, а если бы ты была женщиной, — спросил наконец муж, задетый за живое, — что бы ты сделала?

— Что? Я... я... я сегодня же пошла бы к генерал-губернатору и заявила, что хочу драться с мятежниками! Сюю же минуту!

— А ты не читала, что сообщает «Вестник»? Почитай-ка! «Подлый и грязный заговор раскрыт, восстание подавлено энергично и беспощадно, и вскоре мятежные враги родины и их сообщники испытают на себе всю тяжесть и суровость закона...» Видишь? Мятеж был да слыл.

— Неважно, ты должен явиться, как это сделали люди в семьдесят втором году, и они спаслись *.

— Да-да! Так же поступил и отец Бург...*

Но ему не удалось закончить — подскочила жена и зажала ему рот.

— С ума сошел! Произнеси это имя, и завтра же тебя повесят в Багумбаяне! Разве не знаешь, что достаточно назвать его вслух, чтобы тебя казнили без всякого следствия? Не знаешь? Скажи!

Если бы капитан Тинонг и захотел ответить, он бы не смог: жена, упершись головой в спинку кресла, обеими руками зажимала ему рот, и бедняга, наверное, совсем бы задохся, не появившись в этот момент новое лицо.

Это был его кузен, дон Примитиво, тот, что знал наизусть «Амат», элегантно одетый человек лет сорока, довольно полный, с брюшком.

— *Quid video?* — воскликнул он, входя. — Что случилось? *Quare?*¹

— Ох, кузен! — вскричала женщина, с плачем бросившись ему навстречу. — Это я тебя позвала, я не знаю, что с нами будет... Что ты посоветуешь? Скажи нам, ты ведь учил латынь и знаешь, как поступать...

— Но скажите прежде *quid quaeritis? Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu; nihil volitum quin praecognitum*². — И он спокойно сел.

Латинские фразы действовали как успокоительное лекарство; супруги перестали лить слезы и подошли ближе, глядя ему в рот и ожидая совета, подобно грекам, чьим-то некогда услышать от оракула спасительные слова, которые должны были освободить их от персидских завоевателей.

— Почему вы плачете? *Ubinam gentium sumus?*³

— Ты же знаешь о восстании...

— *Alzamentum Ibarrae ab alferesio guardiae civilis destructum? Et nunc?*⁴ Ну и что? Дон Крисостомо вам остался что-нибудь должен?

— Нет, но знаешь, ведь Тинонг приглашал его обедать и как-то поздоровался с ним на мосту Испании... При всем честном народе! Еще скажут, что он его друг!

— Друг? — воскликнул изумленный латинянин, вставая. — *Amice, amicus Plato sed magis amica veritas!*⁵

¹ Что я вижу? Почему? (лат.)

² О чем идет речь? Разум отражает лишь то, что прошло через чувства; нельзя желать того, чего не знаешь (лат.).

³ Где мы находимся? (лат.)

⁴ Мята; Ибарры, подавленный жандармским альфересом? Что еще? (лат.)

⁵ Друзья, Платон мне друг, но истина дороже! (лат.)

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! *Malum est negotium et est timendum rerum istarum horrendissimum resultatum*¹.

Капитан Тинонг страшно побледнел, услышав столько слов на «им»; этот звук предвещал недоброе. Его супруга умоляюще сложила руки и сказала:

— Кузен, не говори с нами сейчас по-латыни; ты же знаешь, что мы не такие философы, как ты; разговаривай с нами по-тагальски или по-испански, но только дай совет.

— Очень жаль, что вы не понимаете латыни, кузина: латинские истины в переводе на тагальский оказываются ложью. Например: «*Contra principia negantem fustibus est arguendum*»². По-латыни это такая же бесспорная истина, как Ноев ковчег; я ее применил на практике по-тагальски и был сам избит. Поэтому очень жаль, что вы не знаете латыни. С латынью можно все уладить.

— Мы знаем, конечно, *ogenus, parcenobis* и *Agnus Dei Catolis*³, но сейчас мы все равно ничего не поймем. Посоветуй что-нибудь Тинонгу, чтобы его не повесили!

— Ты поступил дурно, очень дурно, кузен, не надо было заводить дружбу с этим юношей! — ответил латинянин. — Праведники расплачиваются за грешников; я бы посоветовал тебе позаботиться о завещании... *Vae illis! Ubi est ignis! Similis simili gaudet; atque Ibarra ahorcatur ergo ahorcaberis*⁴. — И он неодобрительно покачал головой.

— Сатурнино, что с тобой! — вдруг закричала в ужасе капитанша Тинанг. — Ох, боже мой! Он умер! Лекаря! Тинонг! Тинонгой!

Подбежали обе дочери, и все трое начали причитать над капитаном.

— Это всего лишь обморок, кузина, обморок. Я был бы рад, если бы... если бы он... Но, к несчастью, это только обморок. *Non timeo mortem in catre sed super espaldonem Bagumbayanis*⁵. Принесите воды!

¹ Дела плохи, и следует бояться страшных последствий (лат.).

² Того, кто отрицает принципы, можно убедить палкой (лат.).

³ Названия молитв (искаж. лат.).

⁴ Горе им! Нет дыма без огня! Каждый ищет себе пару; Ибарру повесят, а потом повесят тебя (лат.).

⁵ Не страшусь смерти в постели, а страшусь ее у парашета Багумбаяна (лат.).

— Не умирай! — рыдала жена. — Не умирай, а то придут арестовать тебя! Ох, если ты умрешь и придут солдаты! Ой-ой!

Кузен обрызгал лицо капитана Типонга водой, и несчастный пришел в себя.

— Не надо плакать! *Inveni remedium* — я нашел выход. Давайте перенесем его в постель. Ну-ка! Мужайтесь! Ведь с вами я и вся премудрость древних... Позовите лекаря, а ты, кузина, сейчас же иди к генерал-губернатору и отнеси ему подарок, золотую цепь или кольцо... *Dadivae quebrantant penas*¹, скажешь, что это, мол, рождественский подарок. Заприте окна, двери, и каждому, кто спросит о моем кузене, говорите, что он тяжело болен. А в это время я сожгу все письма, бумаги и книги, чтобы потом ничего не нашли, как это сделал дон Крисостомо. *Scripti testes sunt! Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat, quod ferrum non sanat, ignis sanat*².

— Да, бери, кузен. Жги все! — сказала капитанта Типонг. — Вот тебе ключи, вот письма капитана Тьяго, сожги их! Чтоб ни одной европейской газеты не осталось, они все опасные. Вот тут эти самые «Таймс», которые я хранила, чтобы заворачивать мыло и белье. А здесь книги.

— Иди к генерал-губернатору, кузина, — говорил дон Примитиво. — Оставь меня одного *in extremis extrema*³. Дай мне власть римского диктатора, и увидишь, я спасу роди... я хочу сказать, моего кузена.

И он стал отдавать приказания налево и направо, выгребать книги из шкафов, рвать письма и бумаги. Скоро в кухне занялся большой костер. Рубили старые ружья, швыряли в отхожее место заряженные револьверы. Служанка, хотевшая припрятать дуло одного ружья для раздувания огня в печке, получила нагоняй.

— *Conservare etiam sperasti, perfida?*⁴ В огонь его!

И аутодафе продолжалось.

Вдруг он увидел старую рукопись на пергаменте и прочитал название:

¹ Дары рушат горы (лат.).

² Все написанное — свидетель! Что не излечивают лекарства, излечивает железо, что не излечивает железо — излечивает огонь (лат.).

³ В критический момент нужны крайние средства (лат.).

⁴ Изменница, ты его хотела уберечь? (лат.)

— «Круговороты небесных тел. Коперник». Фу! *Ite maledicti, in ignem salanis*¹, — воскликнул он, швырнув ее в пламя. — Круговороты, перевороты, Коперник! Преступление за преступлением! Не подоспей я вовремя... «Свобода на Филиппинах» *. Та-та-та! Ну и книжки! В огонь!

Сжигались и вполне невинные сочинения, написанные бесталанными авторами. Даже «Капитану Хуану», этой глупенькой книжонке, не удалось спастись. Кузен Прimitиво был прав: праведники расплачивались за грешников.

Пятью-шестью часами позже на одном званом вечере в доме, расположенном в центре города, гости обменивались мнениями по поводу недавних событий. Там были старухи и старые девы на выданье, жены и дочери чиновников в длинных платьях. Они обмахивались веерами и зевали. Среди мужчин, лица которых, как и лица женщин, говорили об их образовании и происхождении, был пожилой одорукий сеньор невысокого роста; все обращались к нему с глубоким почтением, а он хранил презрительное молчание.

— Раньше я, по правде говоря, терпеть не могла монахов и жандармов, они так плохо воспитаны! — говорила одна толстая дама. — Но теперь я пошла их заслуги и всю их пользу; я даже готова выйти замуж за любого из них. Я — патриотка.

— Вполне с вами согласна! — подхватила тощая дама. — Как жаль, что нет с нами прежнего генерал-губернатора: он бы очистил страну, как луковку!

— И с флибустьерскими бандами было бы покончено!

— Ведь говорят, что еще есть много незаселенных островов. Почему бы не выслать туда этих сумасшедших туземцев? Будь я генерал-губернатором...

— Сеньоры, — сказал одорукий, — генерал-губернатор знает свой долг; он, говорят, сейчас весьма разгневан, ведь этот Ибарра был осыпан его милостями.

— Осыпан милостями! — повторила тощая, яростно обмахиваясь веером. — Вы посмотрите, какие неблагоприятные твари эти индейцы. Можно ли с ними обращаться, как с людьми? Господи Иисусе!

— А знаете ли вы, что я слышал? — спросил один офицер.

¹ Горите, проклятые, в огне горнила (лат.).

— Что такое? Что еще говорят?

— Достойные доверия особы утверждают,— сказал офицер при всеобщем молчании,— что весь этот шум с постройкой школы был чистойшей сказкой.

— Иисусе! Вы сами видели? — воскликнули женщины, уже поверив в сказку.

— Школа была только предлогом; он хотел возвести крепость, чтобы обороняться, если бы мы его атаковали...

— Иисусе! Какой позор! Только индеец способен на такую гнусную затею! — воскликнула толстуха. — Будь я генерал-губернатором, уж вы увидели бы... увидели бы...

— Я то же самое говорю! — воскликнула тощая, обращаясь к однорукому. — Я засадила бы за решетку всех адвокатишек, студентчишек, купчишек и без всякого следствия изгнала бы их или на каторгу отправила. Зло надо вырывать с корнем!

— Но говорят, что этот флибустьер — сын испанца! — заметил однорукий, ни на кого не глядя.

— Вот-вот! — ничуть не смущаясь, воскликнула толстая дама. — В таких делах всегда замешаны креолы! Сами-то индейцы ничего не смыслят в революциях! Вскорми ворона... вскорми ворона!..¹

— Знаете ли вы, что я слышала? — спросила одна креолка, прервав разговор. — Жена капитана Тинонга... Помните? Того самого, в чьем доме мы веселились и ужинали на празднике в Тондо...

— У которого две дочери? Ну и что?

— Его супругу сегодня подарила генерал-губернатору кольцо в тысячу песо!

Однорукий повернул голову.

— В самом деле? А по какому поводу? — спросил он, и глаза его блеснули.

— Она сказала, это, мол, рождественский подарок...

— До рождества-то еще целый месяц.

— Боятся, не свалилась бы беда на голову... — заметила толстуха.

— И старается прикрыться, — добавила тощая.

— Кто щедр сверх меры, тому нет веры.

¹ Вскорми ворона, и он выклюет тебе глаза (*испанская поговорка*).

— Я тоже об этом подумала, вы не в бровь, а в глаз попали.

— Надо разобраться,— задумчиво промолвил однорукий.— Боюсь, что здесь-то и зарыта собака.

— Зарыта собака, вот именно, я это и хотела сказать,— повторила тощая.

— И я тоже,— перебила ее толстуха.— Ведь жена капитана Тинонга ужасно скупая... Нам она еще ничего не подарила, а мы ведь бывали у нее в доме. Уж если такая мелочная скряга швыряет подарочек в тысячу несо...

— А это правда? — спросил однорукий.

— Еще бы! Суцая правда! Моей кузине сообщил ее жених, адъютант его превосходительства. Я даже думаю, что это то самое кольцо, которое было на их старшей дочери в день праздника. Она всегда увешана брильянтами!

— Ходячая витрина!

— Выставляет себя напоказ, как для рекламы! Можно не покупать журнал мод и не глядеть на манекенов, а... Однорукий под каким-то предлогом покинул общество.

Два часа спустя, когда все уже спали, кое-кто из жителей Тондо получил приглашение, врученное солдатами... Власти не могли допустить, чтобы некоторые влиятельные и богатые особы спали в домах, столь небрежно охраняемых и дурно проветриваемых: в крепости Сантьяго* и других государственных зданиях их сон будет более спокойным и освежающим. В число этих благодетельствованных попал и несчастный капитан Тинонг.

LX

МАРИЯ-КЛАРА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

Капитан Тьяго был очень доволен. В это страшное время он не привлек к себе внимания: его не арестовали, не посадили в одиночку, не подвергли допросам, не пытали электричеством, не заставили стоять по колено в воде в подземных камерах и не сыграли с ним никаких других шуток, хорошо известных людям, которые называют себя «цивилизованными». Его друзья, то есть

бывшие друзья (ибо он отверг дружбу своих приятелей-филиппинцев, узнав, что они на подозрении у правительства), вернулись домой после того, как побывали «на кашикулах» в государственных заведениях. Капитан-генерал сам распорядился, чтобы их убрали из его владений, не считая филиппинцев достойными пребывания там, к великому неудовольствию однорукого, который хотел отпраздновать близившееся рождество в большой и благородной компании.

Капитан Тинонг вернулся домой бледный, опухший, больной — прогулка не пошла ему впрок; он сильно переменялся — ни с кем не разговаривал, даже не поздоровался с своими домашними, которые, обезумев от радости, плакали, смеялись и говорили все разом. Бедняга совсем перестал выходить из дому, чтобы, унаси боже, снова не пожать руку флибустьеру. Даже кузен Прimitиво со всей премудростью древних не мог вернуть ему дара речи.

— *Crede, prime*¹, — говорил кузен, — если бы я не сжег все твои бумаги, тебя бы наверняка повесили, а вот если бы я сжег весь дом, тебя и пальцем бы не тронули. *No quod eventum, eventum; gratias agamus Domino Deo quia non in Marianis Insulus es camotes semipando*².

Капитан Тяго не остался в неведении относительно временной отлучки капитана Тинонга и других. Душу его переполняла признательность, но он не знал, комунести благодарения за столь явную милость. Тетушка Исабель приписывала это чудо пресвятой деве Антипольской, или пресвятой деве дель Росарио, или в крайнем случае пресвятой деве дель Кармен, и только в самом, самом крайнем случае пречистой деве де ла Корреа: она не допускала, чтобы такое чудо могла сотворить какая-либо другая из чудотворных статуй. Капитан Тяго чуда не отрицал, но прибавлял:

— Я согласен с тобой, Исабель, и все же одна пресвятая дева Антипольская не сумела бы этого сделать. Мне, наверно, еще помогли друзья, например, мой будущий зять, сеньор Линарес. Ведь он, ты знаешь, на приятельской ноге с самим сеньором Антонио Кановасом, тем самым,

¹ Поверь, кузен (лат.).

² То, что случилось, случилось; возблагодарим бога за то, что ты не сажаешь бататы на Марианских островах (лат.).

чьи портреты мы видим в журнале,— и всегда в профиль, ибо ему не угодно показать публике все лицо целиком.

И добряк не мог сдержать довольную улыбку всякий раз, когда слышал что-нибудь новое о происшедшем событии. А новостей было немало. Люди исподтишка шептались, что Ибарру повесят,— если прежде для осуждения не хватало доказательств, то теперь нашлось такое, которое полностью подтвердило его вину: как признали эксперты, школьное здание действительно могло служить бастионом или крепостью, хотя и не очень надежной,— но чего ожидать от невежественных индейцев. Эти слухи успокаивали капитана Тьяго и вызывали на его устах улыбку.

Друзья дома, подобно капитану Тьяго и его кузине, расходились в мнениях и делились на две партии: «чудотворную» и «правительственную», причем последняя была незначительна. Партия «чудотворцев» имела фракции: старший причетник из Бинондо, продащица свечей и глава братства видели в ниспосланной милости десницу божью, направляемую пресвятой девой дель Росарио, а китаец, торговец свечами, снабжавший капитана этим товаром, когда тот ездил в Антиполо, говорил, обмахиваясь всером и покачивая ногой:

— Не буньте дулаком, святая дева де Антипула белезет вас! Она мозет больсе всех, не буньте дулаком!

Капитан Тьяго весьма уважал китайца, который слыл провидцем, лекарем и т. д. Изучая ладонь покойной капитанини, когда та была на шестом месяце беременности, китаец предсказал: «Если не бунет мальсик и если он не умлет, то бунет холосая девоська».

И во исполнение пророчества этого язычника на свет появилась Мария-Глара.

Но капитан Тьяго, человек разумный и осторожный, не мог так быстро сделать выбор, как это сделал троянец Парис; * он не мог отдать предпочтение ни одной из статуй мадонны, ибо страшился обидеть других, что, несомненно, повлекло бы за собой серьезные последствия. «Благоразумие прежде всего! — говорил он себе. — Надо действовать не торопясь».

Его мучительные раздумья были прерваны приходом «правительственной» партии в составе доньи Викторины, дона Тибурсио и Линареса.

Донья Викторина принялась тараторить за себя и за трех мужчин сразу: упомянула о визитах Линареса к генерал-губернатору и намекнула несколько раз на то, как полезно иметь родственника «с весом».

— Вот,— заключила она,— как мы говорим: покровителя найдешь и от палки не уйдешь.

— Н...н...наоборот, жена! — поправил ее доктор.

Несколько дней назад она вдруг задумала прослыть андалузийкой и стала произносить «т» вместо «д» и «ш» вместо «с». Никто не смог бы заставить ее отказаться от этой бредовой идеи, она скорее отказалась бы от фальшивых локонов.

— Та-та,— прибавила она, говоря про Ибарру,— он швое зашлужил; я уже показала, как увителя его в первый раз: это флибуштьер. Кузен, что тебе показал генерал? А что ты ему показал? Что шообщил ему об Ибарре?

И, видя, что кузен медлит с ответом, она продолжала, обращаясь к капитану Тьяго:

— Верьте мне,— ешли его приговорят к шмерти, то только благотаря моему кузену.

— Что вы, сеньора! — запротестовал Линарес.

Но она прервала его:

— Ах, каким ты штал тинломатом! Мы же знаем, что ты штал поветником генерала, что он жить без тебя не может... А, Кларита, как мы раты тебя витье!

Мария-Клара была бледна, хотя уже несколько оправилась от болезни. Ее длинные волосы были схвачены голубой шелковой лентой. Грустно улыбаясь, она робко поздоровалась со всеми и приблизилась к донье Викторине для традиционного поцелуя.

После обычных приветственных фраз новоявленная андалузийка продолжала:

— Мы приехали проветать ваш; вы шпаншлись благотаря вашим швязам! — И она многозначительно посмотрела на Линареса.

— Бог хранил моего отца,— ответила чуть слышно девушка.

— Та-та, Кларита, но времена чудеш прошли; мы, ишпанцы, говорим: «На мать божью не натеяся, та шам не плошай».

— Н...н...наоборот!

Капитан Тьяго, до сих пор не имевший возможности вставить слово, отважился спросить, с волнением ожидая ответа:

— Значит, вы, донья Викторина, думаете, что пресвятая дева...?

— Мы как раз и приехали, чтоб поговорить и с вами о «теве»,— ответила она, с таинственным видом кивнув в сторону Марии-Клары,— nato поговорить о телах.

Девушка поняла, что ей следует удалиться; она вышла из комнаты под каким-то предлогом, опираясь рукой на спинки кресел и стульев.

Разговор о делах был очень тихим и очень кратким, и мы предпочитаем не передавать его. Достаточно сказать, что при расставании все были веселы, а капитан Тьяго сказал потом тетушке Исабель:

— Предупреди в гостинице, что завтра мы даем званый обед! Подготовь Марию, скоро мы выдадим ее замуж!

Тетушка Исабель в ужасе взглянула на него.

— Вот увидишь! Когда сеньор Линарес станет нашим зятем, мы все дворцы насквозь пройдем; нам будут завидовать, все просто умрут от зависти!

На следующий день, в восемь часов вечера, дом капитана Тьяго снова наполнился гостями, но теперь здесь были одни лишь испанцы и китайцы; прекрасный пол был представлен испанками — местными и приезжими.

Большая часть приглашенных — наши старые знакомые: отец Сибила и отец Сальви в кругу францисканцев и доминиканцев; старый жандармский лейтенант сеньор Гевара, еще более угрюмый, чем раньше; альферес, в сотый раз повествующий о своем недавнем сражении и свысока поглядывающий на всех, словно он — сам дон Хуан Австрийский;* теперь он стал лейтенантом и занял пост коменданта; де Эспаданья, который взирает на него с почтением и страхом, избегая встречаться с ним глазами, и, наконец, раздосадованная донья Викторина. Линарес еще не приехал; как герой дня, он должен явиться позже остальных,— бывают на свете великие люди со столь безупречной репутацией, что даже опоздание на час ей не вредит.

В кругу женщин предметом обсуждения была Мария-Клара; девушка их учтиво приветствовала, но лицо ее было печально.

— Фи! — сказала одна девица. — Гордячка...

— Она миленькая,— отозвалась другая,— но он мог бы выбрать кого-нибудь и не с таким грустным лицом.

— Все дело в золоте, дорогая; этот милый юноша продает себя.

В другом углу тоже злословили:

— Выходит замуж, когда первого жениха не сегодня-завтра повесят!

— Вот что значит быть предусмотрительной: всегда имей под рукой замену.

— Да, но на случай вдовства, а не...

Мария-Клара, которая сидела неподалеку и поправляла цветы в вазе, наверное, слышала эти пересуды; она вздрагивала, бледнела и порой кусала себе губы.

В кружке мужчины разговаривали громко, и речь шла, естественно, о последних событиях. Говорили все, даже дон Тибурсио; лишь отец Сибилы хранил презрительное молчание.

— Я слышал, отец Сальви, что ваше преподобие покидаете наш город? — спросил новоиспеченный лейтенант, которого лишняя звездочка сделала более любезным.

— Мне тут больше нечего делать; я должен обосноваться в Маниле... а вы?

— Я тоже уезжаю,— ответил тот, выпрямившись.— Правительство поручает мне командование летучим отрядом для очистки провинций от флибустьеров.

Отец Сибилы быстрым взглядом смерил его с головы до ног и повернулся к нему спиной.

— Уже известно, что сделают с их главарем? С этим флибустьеринкой? — спросил один чиновник.

— Вы говорите о Крисостомо Ибарре? — переспросил другой.— Вероятнее всего, и это было бы самым справедливым, что его повесят, как тех, в семьдесят втором году.

— Он будет выслан! — сухо сказал старый лейтенант.

— Выслан! Всего только выслан! Но, конечно, в пожизненную ссылку! — воскликнуло несколько человек разом.

— Если бы этот юноша,— продолжал лейтенант Гевара громким и строгим голосом,— был более осмотрителен, если бы он меньше доверял некоторым из тех, с кем вел переписку, если бы наши следователи не так усердствовали в толковании написанного им, этот юноша без сомнения был бы освобожден.

Заявление старого лейтенанта и его тон огорошили присутствующих, они не знали, что сказать. Отец Саль-

ви смотрел в сторону — возможно, чтобы не видеть устремленного на него мрачного взора старика. Мария-Клара уронила цветы и застыла в неподвижности. Отец Сибила, умевший хранить молчание, оказался единственным, кто смог теперь нарушить тишину.

— Вы говорите о письмах, сеньор де Гевара? — спросил он.

— Я говорю о том, что мне сказал защитник, который взялся за дело с душой и усердием. Кроме нескольких непонятных строк, написанных юношей одной женщине перед отъездом в Европу, строк, в которых следовательно разглядел злой умысел и угрозу правительству и от которых обвиняемый не отрекся, ему нечего более вменить в вину.

— А предсмертное показание того разбойника?

— Защитник опроверг его, ибо, по словам самого разбойника, они никогда не общались с Ибаррой, а виделись только с Лукасом; последний же был, как это удалось доказать, его врагом, и, возможно, покончил с собой из-за угрызений совести. Установлено также, что бумаги, найденные на трупе, были поддельные; буквы написаны так, как писал сеньор Ибарра семь лет назад, и не сходны с его нынешним почерком, а это заставляет полагать, что образцом при подделке служило упомянутое старое письмо. Более того, защитник сказал, что если бы сеньор Ибарра не захотел признать письмо, можно было бы значительно облегчить его участь; но, увидев этот документ, он побледнел, растерялся и признал все, что там написано.

— Вы говорите, — спросил один францисканец, — письмо было адресовано женщине, но как же оно попало в руки следователя?

Лейтенант не ответил; он бросил быстрый взгляд на отца Сальви и отошел в сторону, нервно покручивая кончик своей седой бородки. Оставшиеся обменивались мнениями.

— В этом видна десница божья, — заметил кто-то, — даже женщины его ненавидят.

— Желая спастись, он сжег свой дом, но позабыл о госте, то есть о любовнице, о «бабай», — прибавил, громко смеясь, другой. — Воля божья! «Сантьяго, и рази, Испания»!¹

¹ Боевой клич испанцев в борьбе против мавров.

Между тем старый воин перестал шагать по залу и на миг остановился подле Марии-Клары, которая сидела, не шелохнувшись и прислушиваясь к разговорам; у ног ее валялись цветы.

— Вы очень дальновидная девушка, — сказал ей тихо старый лейтенант, — вы правильно сделали, отдав письмо... Этим вы обеспечили себе и своей семье спокойное будущее.

Она посмотрела ему вслед безумным взглядом и прикусила губу. К счастью, мимо проходила тетушка Исабель. Мария-Клара нашла в себе силы дернуть ее за платье.

— Тетя! — прошептала она.

— Что с тобой? — спросила та, с испугом взглядываясь в лицо девушки.

— Проводи меня в мою комнату! — умоляюще проговорила Мария-Клара, повиснув на руке старухи.

— Ты больна, дитя мое? На тебе лица нет! Что с тобой?

— Мне дурно... столько людей... яркий свет... мне надо отдохнуть. Скажи отцу, что я посплю.

— У тебя руки как лед! Хочешь чаю?

Мария-Клара отрицательно покачала головой, заперла на ключ дверь спальни и, рыдая, бессильно рухнула на колени перед статуей мадонны.

— Мама, мама, мама!

В окно и дверь, выходившую на террасу, лился яркий свет луны.

Из зала неслись звуки веселого вальса; даже здесь, в спальне, слышен был смех и шум голосов; несколько раз из-за двери ее окликали отец, тетушка Исабель, донья Викторина и сам Линарес, но Мария-Клара не шевелилась: глухие стоны вырывались из ее груди.

Прошло несколько часов; окончилось веселое пиршество, смолкли песни, стихла музыка; свеча догорела и потухла, но девушка все еще лежала на полу, у образа богоматери, озаренная светом луны.

Дом постепенно погружался в тишину, погасли огни; тетушка Исабель снова постучала в дверь.

— Крепко же уснула! — громко промолвила старушка. — Молода еще, забот не знает, вот и спит как убитая.

Когда все стихло, Мария-Клара медленно поднялась и осмотрелась; в печальном лунном свете она увидела террасу, беседки, увитые виноградом.

— Забот не знает! Спит как убитая! — с горечью прошептала она и вышла на террасу.

Городок спал; только порой слышался стук колес экипажа, проезжавшего по деревянному мосту через реку; на ее спокойных водах поблескивала лунная дорожка.

Девушка подняла глаза к темно-синему чистому, как сапфир, небу; она медленно сняла кольца, серьги, вынула булавки, гребень из волос, положила все на перила и посмотрела на реку.

Лодка, доверху нагруженная сакаге, остановилась у причала, какие устроены у каждого дома, стоящего на берегу реки. Один из двух гребцов поднялся по каменным ступеням, перепрыгнул через ограду, и секунду спустя его шаги послышались на лестнице, ведущей на террасу.

Заметив Марию-Клару, он на мгновение замер, но тут же снова стал медленно подниматься. В трех шагах от девушки он остановился. Мария-Клара отпрянула назад.

— Крисостомо! — в ужасе прошептала она.

— Да, я Крисостомо! — ответил сурово юноша. — Мой враг, человек, который имеет все основания ненавидеть меня, Элиас, спас меня из тюрьмы, куда я попал из-за друзей.

За этими словами последовало тягостное молчание. Мария-Клара опустила голову, ее руки повисли, как плети.

Ибарра продолжал:

— Над телом моей матери я поклялся сделать тебя счастливой, как бы ни сложилась моя судьба! Ты можешь изменить своей клятве, ты клялась не своей матери; но для меня, ее сына, память о ней священна. Презирая опасность, я пришел сюда, чтобы выполнить свой долг, и случай помог мне увидеть тебя. Мария, мы больше никогда не встретимся. Ты молода и, возможно, когда-нибудь в тебе заговорит совесть... Прежде чем уехать, я пришел сказать, что простил тебя. А теперь, будь счастлива и прощай!

Ибарра хотел удалиться, но девушка его остановила.

— Крисостомо! — сказала она. — Бог послал тебя, чтобы спасти меня от отчаяния... Выслушай меня и будь мне судьей!

Ибарра попытался мягко отвести ее руки.

— Я вовсе не собирался просить у тебя отчета... Я пришел, чтобы успокоить тебя.

— Я не хочу успокоения, которое ты мне даришь! Я сама найду себе успокоение! Ты меня презираешь, и твое презрение будет мучить меня до самой смерти!

Видя, как страдает и терзается бедная девушка, Ибарра спросил, чего она хочет.

— Чтобы ты верил, что я тебя всегда любила!

Крисостомо горько усмехнулся.

— Ах, ты сомневаешься во мне, сомневаешься в подруге детства, хотя я никогда не утаила от тебя ни одной мысли! — с болью воскликнула молодая девушка. — Я понимаю тебя! Но когда ты узнаешь мою историю, печальную историю, которую мне поведали во время болезни, ты сжалишься надо мной и не будешь терзать мне душу своей усмешкой. Почему я не умерла на руках невежественного лекаря? Это было бы счастьем для нас обоих!

Мария-Клара на секунду умолкла, затем продолжала:

— Ты желал бы этого, ты сомневаешься, что моя мать простила бы меня! Но в одну из тяжких ночей, когда я лежала больная, некий человек открыл мне имя моего настоящего отца и запретил думать о тебе... Если только сам отец мой не простит тебе оскорбление, которое ты ему нанес!

Ибарра, ошеломленный, отступил назад, не сводя с нее глаз.

— Да, — продолжала она, — этот человек сказал мне, что не может согласиться на наш союз, так как совесть ему не позволяет, и грозился огласить имя отца, хотя это может повести к большому скандалу... Ведь мой отец...

И она шепнула на ухо юноше имя так тихо, что только он один его расслышал.

— Что мне было делать? Должна ли я была пожертвовать ради любви памятью моей матери, честью моего мнимого отца и добрым именем отца истинного? Могла

ли я это сделать? Ведь ты сам стал бы презирать меня...

— Но где доказательства? Он дал тебе доказательства? Ты должна была потребовать доказательств! — воскликнул прерывающимся голосом Крисостомо.

Девушка вынула из корсажа два листка бумаги.

— Вот два письма моей матери, два письма, написанные в те горестные дни, когда она носила меня под сердцем! Возьми, прочти их, и увидишь, как она меня проклинала, как желала моей смерти... Напрасно старался мой отец сгубить меня лекарствами! Эти письма он забыл в доме, где жил прежде, а тот человек их нашел, сберег и отдал мне в обмен на твое письмо... Чтобы быть уверенным, как он сказал, что я не выйду за тебя замуж без согласия отца. С тех пор как я ношу их с собой вместо твоего письма, я ощущаю холод на сердце. Я пожертвовала тобой, пожертвовала своей любовью... Кто не сделает этого ради умершей матери и двух живых отцов? Разве думала я, что так злоупотребятся твоим письмом!

Ибарра стоял ни жив ни мертв. Мария-Клара заговорила снова:

— Что мне оставалось делать? Могла ли я сказать тебе, кто мой отец, сказать, чтобы ты попросил у него прощения, у того, кто причинил столько страданий моему отцу? Могла ли я сказать своему отцу, чтобы он тебя простил, сказать ему, что я его дочь, ему, кто так желал моей смерти? Мне оставалось только страдать, хранить свою тайну и умереть, страдая!.. Теперь, друг мой, теперь, когда ты знаешь печальную историю твоей Марии, будешь ли ты снова так презрительно усмехаться, глядя на нее?

— Мария, ты святая!

— Я счастлива, раз ты мне веришь...

— Однако, — прибавил юноша изменившимся голосом, — я слышал, ты выходишь замуж...

— Да, — простонала девушка, — отец требует от меня такой жертвы... Он ведь любил и кормил меня, а это вовсе не было его долгом. Я плачу ему за это благодарностью, новое родство поможет ему жить спокойно, но...

— Но?

— Но я не забуду клятву верности, данную тебе.

— Что ты задумала? — спросил Ибарра, пытливо глядя ей в глаза.

— Будущее покрыто мраком, и судьба неведома! Я не знаю, что мне делать; но помни, любить я могу только раз и без любви не буду принадлежать никому. А ты? Что станет с тобой?

— Я всего лишь беглец... Мой побег скоро обнаружат, Мария...

Мария-Клара обхватила голову юноши обеими руками, поцеловала его несколько раз в губы, обняла и затем резко оттолкнула от себя.

— Беги, беги! — сказала она. — Беги, прощай!

Ибарра глядел на нее горящим взором; но, повинаясь ее знаку, повернулся и пошел прочь, шатаясь, будто пьяный... Перескочив через ограду, он сел в лодку. Мария-Клара, опершись на перила, смотрела, как лодка удаляется.

Элиас снял шляпу и низко ей поклонился.

LXI

ОХОТА НА ОЗЕРЕ

— Послушайте, сеньор, что я задумал, — сказал Элиас, сосредоточенно гребя в направлении Сан-Габриеля. — Я спрячу вас в доме моего друга в Мандалуйонге и привезу туда все ваши деньги, которые мне удалось спасти и зарыть у подножья балити, близ таинственной могилы вашего деда; затем вы уедете из нашей страны...

— За границу? — прервал Ибарра.

— Да, в покое доживать свою жизнь. У вас есть друзья в Испании, вы богаты и сможете добиться помилования. Во всяком случае, чужбина будет для вас лучшей родиной, чем ваша собственная.

Крисостомо не ответил, он молча размышлял.

Меж тем они добрались до Паснга, и лодка поплыла против течения. По мосту Испании проскакал всадник, послышался долгий, пронзительный свист.

— Элиас, — ответил Ибарра, — во всех ваших бедах

повинна моя семья. Вы дважды спасли мне жизнь, и я вам должен отплатить не только благодарностью, но и помочь вам найти счастье. Вы советуете мне жить за границей — так поедemте же со мной и будем жить, как братья. Ведь и вы здесь несчастны.

Элиас печально покачал головой и ответил:

— Это невозможно! Я действительно не могу любить и быть счастливым в своей стране, но я могу страдать и умереть в ней и, может быть, за нее, а это уже немало. Пусть несчастья моей родины будут моими несчастьями, и хотя мы не объединены одним благородным устремлением, хотя наши сердца не бьются согласно, я по крайней мере связан с моими соотечественниками общими бедами, плачу с ними вместе над нашими общими горестями, одна и та же мука гложет наши души!

— Тогда зачем же вы советуете уехать мне?

— Потому что в других краях вы можете быть счастливы, а я нет; потому что вы не созданы для страданий и возненавидите нашу страну, если станете из-за нее несчастны; а ненавидеть родину — это самое большое горе.

— Вы несправедливы ко мне! — воскликнул с горьким упреком Ибарра. — Вы забыли, что сразу по приезде сюда я стал делать для родины все, что было в моих силах...

— Не обижайтесь, сеньор, я вовсе не упрекаю вас: дай бог, чтобы все были на вас похожи! Но я не могу требовать от вас невозможного, и не обижайтесь, если я скажу, что ваше сердце вас обманывает. Вы любили свою родину потому, что так учил вас отец; любили ее потому, что с ней были связаны ваша любовь, счастье, юность; здесь все вам улыбалось, ваша родина никогда не причинила вам горя. Вы любили ее так, как все мы любим то, что дает нам счастье. Но в тот день, когда вы оказались бы бедняком, голодным, гонимым, обвиненным и преданным вашими же соотечественниками, в этот день вы отреклись бы от самого себя, от своей родины и ото всех.

— Ваши слова меня оскорбляют, — сказал Ибарра, досадливо хмурясь.

Элиас опустил голову, подумал и ответил:

— Я хочу, чтобы вы не тешили себя иллюзиями, сеньор, хочу оградить вас от грядущих печалей. Вспом-

ните о нашем разговоре в этой же лодке, при свете этой же луны, около месяца тому назад. Тогда вы были счастливы. Мольба угнетенных не доходила до вашего сердца, вы отвергали их жалобы, ибо то были жалобы преступников; вы охотней слушали их врагов и, несмотря на все мои доводы и просьбы, приняли сторону угнетателей. От вас зависело тогда, превратиться ли мне в преступника или погибнуть ради исполнения данного слова. Бог не допустил этого, ибо старый вождь тулисанов умер... Прошел лишь месяц, и теперь вы мыслите иначе!

— Вы правы, Элиас, но ведь человек — раб обстоятельств, тогда я был слеп, раздражен... Что поделать! Ныне беды сорвали повязку с моих глаз. Одиночество и тюрьма многому научили меня. Теперь я вижу страшную болезнь, рак, который подтачивает это общество, вгрызается в его тело и требует жестокой операции. Они сами открыли мне глаза, обнажили свои язвы и заставили стать преступником! И раз они этого хотят, я буду флибустьером, но флибустьером настоящим; я созову всех обездоленных, всех, у кого в груди бьется смелое сердце, кто посылал вас ко мне... Нет, я не буду преступником, никогда им не будет тот, кто борется за свою родину, напротив! Уже три века мы протягиваем им руку, просим любви, жаждем называть их нашими братьями, но чем они нам отвечают? Бранью и насмешкой, даже не признавая нас людьми. Нет бога, нет надежд, нет человечности; нет ничего, кроме права сильных!

Ибарра был взволнован, он дрожал всем телом.

Они проплывали мимо дворца генерал-губернатора и заметили, как суетятся и бегают солдаты.

— Уж не обнаружен ли побег? — прошептал Элиас. — Ложитесь на дно, сеньор, я прикрою вас сакате, мы проезжаем мимо порохового погреба, и часовому может показаться подозрительным, что нас двое.

Лодка представляла собой легкое и узкое каноэ, она не рассекала воду, а скользила по поверхности.

Как Элиас и предвидел, часовой остановил лодку и спросил, откуда едет гребец.

— Из Манилы, возил сакате судьям и священникам, — ответил Элиас, подражая говору жителей Пандана.

Подошел сержант и спросил, что случилось.

— Сулунг! — сказал он. — Предупреждаю, чтоб ты никого не пускал на берег, недавно сбежал один преступник. Если схватить его и передашь мне, получишь пару монет.

— Слушаю, сеньор, а его приметы?

— Ходит в сюртуке и говорит по-испански; итак, смотри в оба!

Лодка удалялась. Элнас обернулся и увидел фигуру часового на берегу у самой воды.

— Мы потеряем несколько минут, — сказал он тихо, — но нам надо войти в устье реки Беата, пусть думают, что я из Непья-Франсия. Вы увидите сейчас реку, которую воспел Франсиско Бальтасар.

Городок спал, освещенный луной. Крисостомо, поднялся, чтобы полюбоваться мирным пейзажем. На отлогих берегах неширокой реки тянулись поля сакате.

Элнас оставил груз на берегу, взял длинный шест и вытащил из-под травы несколько пустых мешков, сплетенных из пальмовых листьев. Затем они поплыли дальше.

— Вы вольны распоряжаться собой и своим будущим, сеньор, — обратился он к Крисостомо, который все еще молчал. — Но если разрешите, я выскажу свое мнение. Хорошенько подумайте, прежде чем действовать — ведь может разгореться настоящая война, ибо у вас есть деньги, разум, и к вам потянется множество рук: у нас, к несчастью, слишком много недовольных. Но в той борьбе, которую вы хотите начать, больше всех страдают беззащитные и невинные. Те же самые чувства, которые месяц тому назад заставили меня обратиться к вам и просить реформ, движут мною сейчас, когда я прошу вас подумать. Наша страна, сеньор, не замышляет отделиться от матери-родины. Она просит лишь немного свободы, справедливости и любви. Вас поддержат недовольные, преступники, отчаявшиеся люди, но народ не пойдет за вами. Вы ошибаетесь, если, видя только темные стороны нашей действительности, полагаете, что страна лишилась всякой надежды. Да, родина страдает, но она надеется, верит и восстанет только тогда, когда окончательно потеряет терпение, то есть, когда ее толкнут на это правители, а до этого еще далеко. Я сам не пошел бы с вами; я никогда не прибегну к таким крайним

средствам, пока не увижу, что у людей не погасла надежда.

— Тогда я пойду без вас! — решительно промолвил Крисостомо.

— Это ваше твердое решение?

— Твердое и единственное, клянусь памятью моего отца! Я не смирюсь с тем, что у меня отняли мир и счастье, у меня, который желал лишь добра, питал ко всему уважение и сносил все из любви к лицемерной религии, из любви к родине. А чем мне на это ответили? Тем, что бросили меня в грязный застенок и продали другому мою будущую жену. Нет, месть — не преступление. Сносить все — значит поощрять новые беззакония! Нет, было бы трусостью и малодушием стонать и плакать, если в жилах течет кровь, если ты еще жив! Можно стерпеть оскорбления и угрозы, но не прямую расправу. Я обращаюсь к нашему пребывающему в невежестве народу, заставлю его увидеть свою нищету. Пусть он не думает о «братьях во Христе», есть только волки, пожирающие друг друга. Я скажу им, что в борьбе против гнета на их стороне вечное право человека на свободу!

— Пострадает много невинных!

— Тем лучше. Вы можете отвести меня в горы?

— Я с вами, пока вы не будете в безопасности! — ответил Элиас.

Лодка снова вошла в русло Пасига. Ибарра и Элиас обменивались время от времени короткими фразами.

— Санта Анна! — прошептал Ибарра. — Вы узнаете этот дом?

Они проплывали мимо загородной резиденции незуитов.

— Я провел здесь много веселых и счастливых дней! — вздохнул Элиас. — В то время мы приезжали сюда каждый месяц... Тогда я был таким, как все: у меня было состояние, была семья, я мечтал и надеялся на будущее. Сестра жила тогда в соседнем колледже, она дарила мне вышитые ее руками вещи... А с ней вместе всегда была ее подруга, красивая девушка. Все прошло, как сон.

Они молчали до самого «Малапад набато»¹. Кто плыл

¹ По-тагалски «Широкий камень». Так зовется скала, вдающаяся в реку. Напротив скалы находился пост карабинеров, наблюдавших за провозом товаров по Пасигу.

по водам Пасига ночью, волшебной филиппинской ночью, когда сияние луны в прозрачной синеве неба навевает меланхолию и поэтические грезы, когда сумрак скрывает людскую нищету, а тишина поглощает жалкие звуки голосов, когда говорит только природа, — тот поймет, о чем думали оба юноши.

У «Малапад пабато» карабинер дремал на своем посту; заметив, что лодка пуста и поживиться печем, он — согласно традициям его собратьев и обычаям этого поста — пропустил ее без всякой задержки.

Речной жандармский патруль тоже ничего не заподозрил и не остановил лодку.

Стало уже светать, когда они подплыли к озеру, тихо-му и спокойному, как огромное зеркало. Луна побледнела, а восток окрасился в розовый цвет. Вдали беглецы заметили неясные очертания какой-то серой массы, медленно двигавшейся им навстречу.

— Катер идет, — прошептал Элиас. — Ложитесь, я прикрою вас мешками.

Силуэт судна становился все более ясным и отчетливым.

— Он вклипывается между нами и берегом, — с тревогой сказал Элиас. Он изменил направление и стал грести к Бипангонану, но с изумлением увидел, что катер тоже лег на другой курс. Его окликнули с борта.

Элиас бросил грести и стал прикидывать: берег еще далеко, они вскоре могут очутиться на расстоянии ружейного выстрела от катера. Значит, надо вернуться в русло Пасига: лодка ведь быстроходнее судна. Но — злой рок! — другая лодка уже приближалась со стороны Пасига, на ней поблескивали штыки и козырьки жандармских фуражек.

— Мы окружены! — прошептал Элиас, бледнея.

Он посмотрел на свои мускулистые руки и, приняв единственно возможное решение, принялся изо всех сил грести к острову Талим. Солнце между тем уже поднялось.

Лодка быстро скользила по воде; Элиас увидел на берегу, который начал теперь разворачиваться, нескольких человек, подававших ему какие-то знаки.

— Вы умеете управлять каное? — спросил он Ибарру.

— Да, но зачем это?

— Мы погибли, если я не прыгну в воду и не отвлеку

их внимание. Они станут меня преследовать, но я хорошо плаваю и ныряю... Я уведу их от вас, а вы потом постараетесь спастись сами.

— Нет, останьтесь, и мы дорого продадим нашу жизнь.

— Бесполезно, у нас нет оружия; они подстрелят нас, как птиц.

В этот момент послышалось легкое шипенье, словно в воду упал какой-то раскаленный предмет, и тотчас же прозвучал выстрел.

— Видите? — сказал Элиас, положив весло в лодку. — В сочельник увидимся у могилы вашего деда. Спасайтесь!

— А вы?

— Бог спасал меня и от больших опасностей.

Элиас снял рубаху, пуля пробила ее у него в руках, раздался два выстрела. Не теряя присутствия духа, он пожал руку Ибарре, который лежал на дне лодки, затем встал во весь рост и прыгнул в воду, оттолкнув погони легкое каноэ.

Раздался крики, над водой показалась голова Элиаса, и тут же снова скрылась.

— Там, он там! — закричали жандармы, и снова зашвырнули пули.

Катер и лодка начали преследовать беглеца; направление его движения указывала дорожка легкой ряби, все более удалявшаяся от каноэ, которое покачивалось на волнах, словно в нем никого не было. Как только пловец высовывал голову из воды, по нему стреляли жандармы и солдаты с катера.

Охота продолжалась; челнок Ибарры был уже далеко; пловец приближался к берегу, видневшемуся в каких-нибудь пятидесяти саженьях. Гребцы устали, но и Элиас, видимо, терял силы; он часто появлялся на поверхности, все время меняя направление, чтобы сбить с толку преследователей. Предательская дорожка уже не отмечала путь пловца. В последний раз его увидели в нескольких саженьях от берега и открыли огонь... Прошло несколько минут. Ничто не показывалось над спокойной и пустынной поверхностью озера.

Полчаса спустя одному из солдат почудилось, будто на воде у самого берега видны следы крови, но его товарищи покачали головами, — это могло означать и «да» и «нет».

ОТКРОВЕНИЯ ОТЦА ДАМАСО

Напрасно заваливали стол дорогими свадебными подарками. Ни брильянты на голубом бархате футляров, ни вышивки на пинье, ни шелковые ткани не привлекали взора Марии-Клары. Молодая девушка певидящими глазами смотрела на газету, не различая букв: там сообщалось о смерти Ибарры, утонувшего в озере.

Вдруг Мария-Клара почувствовала, как чьи-то две руки прикрыли ей глаза, и за ее спиной раздался веселый голос, голос отца Дамасо:

— Ну-ка, кто я такой? Кто я?

Мария-Клара вздрогнула и в страхе обернулась.

— Испугалась, глупышка, да? Не ждала меня? Я приехал из провинции, чтобы присутствовать на твоей свадьбе.

И с довольной улыбкой он протянул ей руку для поцелуя. Мария-Клара, дрожа, наклонилась и почтительно поднесла ее к губам.

— Что с тобой, Мария? — спросил с тревогой францисканец, веселая улыбка сбежала с его уст. — У тебя холодные руки, ты бледна... Не больна ли ты, дочка?

И отец Дамасо с нежностью, которой никто бы не мог подозревать в нем, взял обе руки девушки и пытливо взглянул ей в глаза.

— Ты уже не доверяешь своему крестному? — спросил он с упреком. — Пойдем-ка сядем, и ты расскажешь мне о своих маленьких неприятностях, как тогда, когда ты была девочкой и приходила ко мне попросить свечку, чтобы делать куклы из воска. Ты же знаешь, я всегда тебя любил... я никогда не бранил тебя...

Голос отца Дамасо утратил резкость и звучал почти ласково. Мария-Клара разрыдалась.

— Ты плачешь, дочь моя? Отчего ты плачешь? Поссо-рилась с Линаресом?

Мария-Клара заткнула себе уши.

— Не говорите о нем... теперь! — вскричала она.

Отец Дамасо глядел на нее с изумлением.

— Ты не хочешь поверить мне свои секреты? Разве я не старался всегда угождать малейшим твоим капризам?



Девушка подняла к нему полные слез глаза, взглянула на него и снова горько заплакала.

— Не плачь так, дочь моя, твои слезы терзают мне душу! Расскажи мне о своих горестях; ты увидишь, как твой крестный тебя любит!

Мария-Клара медленно приблизилась, упала перед ним на колени и, подняв к нему лицо, залитое слезами, сказала еле слышно:

— Вы меня еще любите?

— Дитя мое!

— Тогда... заступитесь за меня перед отцом и расстройте мой брак!

И девушка рассказала ему о своем последнем свидании с Ибаррой, утаив, что ей известно все о ее происхождении.

Отец Дамасо не верил собственным ушам.

— Пока он был жив, — продолжала она, — я хотела бороться, надеяться, верить во что-то, хотела жить, чтобы слышать, как о нем говорят... Но теперь, когда его убили, теперь мне незачем жить и страдать.

Последние слова она произнесла тихим голосом, медленно, спокойно, без слез.

— Но, глупышка, разве Линарес не лучше в тысячу раз, чем...

— Когда он был жив, я могла выйти замуж... а потом скрыться... Ведь мой отец хотел только этого родства! Теперь он мертв, и никто другой не назовет меня своей супругой... Когда он был жив, я могла пойти на это унижение, я утешалась бы мыслью, что он существует и, может быть, думает обо мне. Теперь он мертв... и мне остается монастырь или могила.

В голосе молодой девушки слышалась такая решимость, что отец Дамасо окончательно утратил веселое настроение и сделался очень серьезен.

— Ты так сильно его любила? — пробормотал он.

Мария-Клара не ответила. Отец Дамасо склонил голову на грудь и задумался.

— Дочь моя! — вдруг воскликнул он прерывающимся голосом. — Прости меня, я сделал тебя несчастной, не желая того. Я думал о твоём будущем, хотел для тебя счастья. Как мог я позволить тебе выйти замуж за кого-то из местных, чтобы видеть тебя потом несчастной супругой

и страдающей матерью? Я не мог выбить из твоей головы эту любовь, по всеми силами, всеми средствами старался поменшать этому браку, — ради тебя, только ради тебя. Став его женой, ты лила бы слезы из-за своего мужа, который подвергался бы всяческим притеснениям и не мог бы защитить себя, а став матерью, оплакивала бы судьбу своих детей: ведь если бы ты дала им образование, то уготовила бы им печальное будущее — они стали бы врагами церкви и были бы повешены или высланы, а если бы они остались певеждами, их бы тиранили и унижали! И я не мог примириться с этим! Потому-то я искал для тебя мужа, способного сделать тебя матерью счастливых детей, которым предстоит властвовать, а не подчиняться, карать, а не страдать... Я знал, что твой друг детства был добрым юношей, я любил его, любил и его отца, но я возненавидел их, когда понял, что они могут стать причиной твоего несчастья, ибо я обожаю тебя и люблю, как можно любить только родную дочь. Для меня твоя ласка дороже всего, на моих глазах ты выросла, не проходит и часа, чтобы я не думал о тебе, ты все время предо мной, ты моя единственная радость...

И отец Дамасо зарыдал, как ребенок.

— Но если вы любите меня, не делайте меня навеки несчастной. Его уже нет в живых, я хочу стать монахиней.

— Стать монахиней, монахиней! — повторил он, подперев голову рукой. — Ты не знаешь, дочь моя, жизни, не знаешь всех тайн, скрытых за стенами монастыря. Ты ничего не знаешь! Я предпочитаю тысячу раз увидеть тебя несчастной в миру, чем в монастыре... Здесь твои жалобы могут быть услышаны, а там тебя будут окружать одни стены... Ты красива, очень красива, и не рождена для того, чтобы быть невестой Христовой. Поверь, дочь моя, время все сглаживает. Позже ты забудешь обо всем, полюбишь своего мужа... Линареса.

— Или монастырь, или... смерть! — повторила Мария-Клара.

— Монастырь, монастырь или смерть! — воскликнул отец Дамасо. — Мария, я уже стар, я не смогу долго охранять тебя и твой покой... Избери иной путь, найди новую любовь, другого юношу, кто бы он ни был, только не иди в монастырь.

— Монастырь или смерть!

— Боже мой, боже мой, — стонал священник, схватившись за голову, — ты меня караешь, пусть будет так, но храни дочь мою!.. — И, обратившись к девушке, сказал: — Хочешь быть монахиней? Ты будешь ею; я не хочу, чтобы ты умерла.

Мария-Клара взяла его руки, сжала их и, опустившись на колени, покрыла поцелуями.

— Крестный, крестный отец мой! — повторяла она.

Отец Дамасо вышел из комнаты печальный, с опущенной головой.

— Господи боже, — вздохнул он, — ты есть, ибо ты караешь! Так покарай же меня и не казни невинную; спаси дочь мою.

LXIII СОЧЕЛЬНИК

Высоко наверху, на склоне горы, у водопада притаилась за деревьями хижина, построенная на сваях. По кровле из когона, стелилась широколистная тыква, ее толстые стебли были усыпаны цветами и плодами. Простую деревенскую хижину украшали оленьи рога и кабаньи черепа, — некоторые из них с длинными клыками. Там жила тагальская семья, занимавшаяся охотой и рубкой леса.

В тени дерева сидел старик и вязал из пальмовых листьев метлы, а девушка складывала в корзину куриные яйца, лимоны и овощи. Двое детей, мальчик и девочка, играли около сидевшего на поваленном древесном стволе мальчугана, бледного, вялого, с большими печальными глазами. По чертам его исхудалого лица мы узнаем в нем сына Сисы и брата Криспина — Басилио.

— Когда у тебя совсем поправятся ноги, — говорила ему девочка, — мы будем играть в прятки и в домики, а я буду мамой.

— Ты тогда влезешь с нами вместе на вершину горы, — прибавил мальчик. — Вот будешь пить оленью кровь с лимонным соком, станешь здоровым, и я научу тебя прыгать со скалы на скалу через водопад.

Басилио грустно улыбнулся, посмотрел на свою изувеченную ногу и перевел взор на солнце, сверкавшее нестерпимо ярко.

— Продай эти метлы, — сказал старик девушке, — и купи что-нибудь детям, ведь сегодня праздник.

— Хлопушки, я хочу хлопушки! — закричал мальчик.

— А мне голову для моей куклы! — закричала девочка, дергая сестру за юбку.

— А ты что хочешь? — спросил старик у Василио.

Мальчуган с трудом поднялся и подошел к старику.

— Сеньор, — сказал он, — я, значит, болею больше месяца?

— С тех пор как мы напili тебя без памяти, израненного, сменилось две луны. Мы думали, ты умрешь...

— Бог вас отблагодарит, мы ведь очень бедны! — ответил Василио. — Но сегодня сочельник, и я хочу пойти в город повидать мать и братишку. Они, наверное, ищут меня.

— Но ты, сынок, еще не совсем оправился, а твой город далеко. Не попадешь туда и к полуночи.

— Ничего, сеньор. Мать и братишка, наверное, очень скучают, мы ведь всегда проводили этот праздник вместе... Прошлый год мы втроем ели одну рыбку... Мать небось ждет меня и плачет.

— Ты не доберешься живым до города, мальчик! Сегодня на ужин у нас будет курица и кабанья нога. Мои сыновья спросят, где ты, когда вернутся с поля...

— У вас много сыновей, а у моей матери только мы двое; она, может, думает, что я умер. Сегодня вечером я хочу ее порадовать, принести рождественский подарок — ее сына.

Старик почувствовал, как слезы застилают ему глаза; он погладил мальчика по голове и сказал ему с волнением:

— Ты рассуждаешь как взрослый. Иди, ищи свою мать, принеси ей божий подарок... как ты сказал. Знай я, как зовется твой городок, я пришел бы туда, когда тебе было плохо. Иди, сын мой, да хранит тебя бог. Лусия, моя племянница, проводит тебя до ближайшего селения.

— Как? Ты уходишь? — спросил внук старика у Василио. — Там внизу солдаты и много бандитов. Ты не хочешь посмотреть на мои хлопушки? Пум-пум, ба-бах!

— Ты не хочешь играть в слепую курицу и в прятки? — спросила девочка. — Ты когда-нибудь прятался? Правда, интересно прятаться, когда за тобой гонятся?

Басилио улыбнулся; он взял свою палку и сказал со слезами на глазах:

— Я скоро вернусь, приведу к вам братишку, вы будете с ним играть; он ростом такой, как ты.

— А он тоже хромает? — спросила девочка. — Тогда, как станем играть в домики, он будет мамой.

— Не забывай нас, — сказал ему старик. — Возьми эту кабанью ногу и отпеси своей матери.

Дети проводили его до тростникового мостика, перекинутого через бурлящий поток.

Лусия заставила его опереться на ее руку, и скоро они оба исчезли из виду.

Басилио шел легко, несмотря на перевязанную ногу.

Свистел северный ветер, и жители Сан-Диего дрожали от холода.

Наступил сочельник, но народ не веселился. Ни один бумажный фонарь не висел перед окнами, ни в одном доме не было слышно шума и веселых голосов, как в прежние годы.

У оконной решетки в нижнем этаже дома капитана Басилио вели разговор хозяин и дон Филипо (несчастье, случившееся с доном Филипо, сделало их друзьями), а у другого окна стояли и смотрели на улицу Синанг, ее кухня Виктория и красавица Идай. На горизонте заблестел серп луны и посеребрил тучи, деревья и дома, от которых пролегли по земле длинные, причудливые тени.

— Вам изрядно повезло, ведь в наше время редко кого выпускают! — сказал капитан Басилио дону Филипо. — Сожгли, правда, ваши книги, но другие лишились большего.

Какая-то женщина приблизилась к решетке и заглянула внутрь дома. На ее изможденном лице, в рамке растрепанных волос дико сверкали глаза; при свете луны она казалась привидением.

— Сиса! — изумленно воскликнул дон Филипо и спросил капитана Басилио, кивнув на удаляющуюся фигуру безумной: — Разве она не в доме лекаря? Или уже вылечилась?

Капитан Басилио горько усмехнулся.

— Лекарь испугался, что его обвинят в дружбе с доном Крисостомо и выгнал ее из своего дома. Вот она и бродит, распевая песни, безумная, как и прежде; живет в лесу...

— Что нового произошло в городке с тех пор, как мы его оставили? Я знаю, у нас новый священник и новый альферес...

— Страшные времена, человечество идет назад! — прошептал капитан Басилио, думая о недавних событиях. — Так вот, на следующий день после вашего отъезда нашли труп отца эконома, он висел на чердаке своего дома. Отец Сальви очень горевал и забрал все его бумаги. Да! Философ Тасио тоже умер и похоронен на китайском кладбище.

— Бедный дон Анастасио! — вздохнул дон Филиппо. — А его книги?

— Сожжены верующими, они думали этим умиловать бога. Мне ничего не удалось спасти, даже книги Цицерона... Префект пальцем не шевельнул при виде пожара.

Оба замолчали.

В это время послышалось грустное, заунывное пение безумной.

— Не знаешь, когда будет свадьба Марии-Клары? — спросила Идай у Сипанг.

— Не знаю, — ответила та. — Я получила письмо от нее, но не решаюсь вскрыть конверт. Бедный Крисостомо!

— Говорят, если бы не Линарес, то капитана Тяго могли повесить. Что тогда было бы с Марией-Кларой? — заметила Виктория.

Мимо прошел, хромая, мальчик. Он ковылял к площади, откуда доносилось пение Сисы. Это был Басилио. Он нашел на месте своего дома одни развалины и после долгих расспросов смог лишь узнать, что мать его сошла с ума и бродит по городу; о Криспине никто ничего не слышал.

Басилио проглотил слезы, постарался скрыть свое горе и, отдохнув, отправился на поиски матери. Он пришел в город, стал спрашивать о ней и вдруг услышал ее пение. Его охватила дрожь, подгибались колени, но он бросился за матерью, желая поскорей обнять ее.

Безумная уже ушла с площади и остановилась перед домом нового альфереса. Как и прежде, у дверей стоял часовой. Из окна высунулась голова женщины, но это была уже не Медуза, а другая, молодая; слова «альферес» и «неудачник» — не синонимы.

Сиса принялась петь перед домом, глядя на луну, которая величественно плыла по синему небу среди серебряных туч. Басилио видел мать, но не решался подойти, ожидая, должно быть, пока она уйдет оттуда. Прихрамывая, он ходил взад и вперед, стараясь не приближаться к казармам.

Молодая женщина, внимательно слушавшая пение безумной, велела часовому привести ее наверх.

Сиса, увидев солдата и услышав его голос, охваченная ужасом, бросилась бежать со всех ног, — известно, как быстро бегают безумные! Басилио следовал за ней и, боясь потерять ее из виду, бежал, позабыв о больных ногах.

— Глядите, как мальчишка гонится за сумасшедшей, — воскликнула с возмущением служанка, стоявшая на улице, схватила камень и швырнула его в догонку Басилио.

— Вот тебе! Жаль, что собака на привязи!

Басилио почувствовал острую боль в голове, но не остановился и продолжал бежать дальше. Собаки лаяли на него, гуси гоготали; кое-где открывались окна, высывались головы любопытных, другие, наоборот, затворяли окна, боясь повторения той тревожной ночи.

Городок остался позади. Сиса замедлила бег, но между нею и ее преследователем по-прежнему оставалось большое расстояние.

— Мама! — кричал он издали.

Безумная, услышав его голос, снова побежала быстрее.

— Мама, это я! — кричал в отчаянии мальчик.

Безумная не слышала; сын, задыхаясь, следовал за ней. Они пересекли поле, лес был уже недалеко.

Басилио увидел, как мать скрылась за деревьями, и тоже последовал туда. Оба с трудом пробирались через заросли, колючие кустарники, спотыкались о корни деревьев. Мальчик старался не терять из виду силуэт матери, то исчезающий во мраке, то появлявшийся в полосах лунного света, который проникал сквозь ветви и листву. Это был таинственный лес, принадлежавший семье Ибарры.

Мальчик не раз падал, натыкаясь на коряги, но тут же вскакивал и шел дальше. Он не чувствовал боли, вся его воля была сосредоточена на том, чтобы не потерять мать из виду.

Так, следуя за матерью, он миновал журчащий ручей; острые камышины, упавшие в прибрежную грязь, впились в босые ноги Басилио, но он не останавливался, чтобы вытащить занозы.

С удивлением увидел он, что его мать углубилась в заросли, окружавшие могилу старого испанца у подножья балити, распахнула деревянную дверцу ограды и скрылась внутри.

Басилио тоже хотел войти туда, но дверца перед ним закрылась. Безумная изо всех сил придерживала ее своими иссохшими руками и головой, стараясь никого не впустить.

— Мама, это я, я, Басилио, твой сын! — закричал мальчик и в изнеможении упал.

Но безумная не слушала; упершись ногами в землю, она налегла на дверцу всем телом.

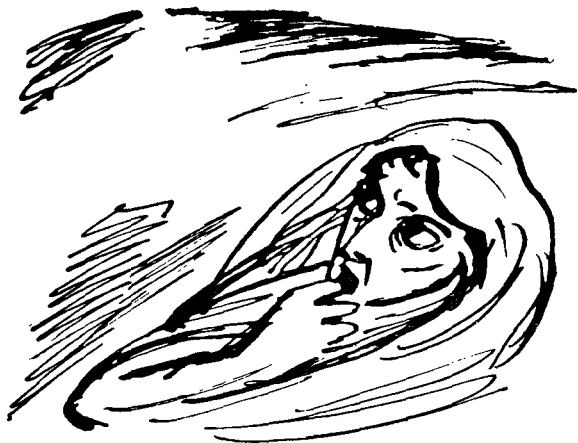
Басилио стучал в дверцу кулаками, бился о нее окровавленной головой, плакал, но все напрасно. Тогда он с трудом поднялся, осмотрел ограду — нельзя ли перелезть через нее, но не обнаружил ни одного выступа. Он обошел ограду кругом и увидел, что одна ветвь злосчастного балити сплелась с ветвью соседнего дерева. Мальчик вскарабкался по стволу: сыновняя любовь творила чудеса. Перебираясь с ветви на ветвь, он очутился на балити и увидел внизу мать, все еще подпиравшую головой створки двери.

Шум в ветвях привлек внимание Сисы, она повернулась и хотела бежать, но сын, упав с дерева, обнял ее, осыпал поцелуями и тут же лишился чувств.

Сиса увидела залитый кровью лоб мальчика, нагнулась над ним; она глядела на него широко раскрытыми глазами, и вид этого бледного лица пробудил что-то в ее дремавшем мозгу. словно искра озарила ее сознание; она узнала своего сына и, вкрикнув, повалилась на бесчувственное тело мальчика, обнимая и целуя его.

Мать и сын неподвижно лежали рядом...

Когда Басилио пришел в себя, он увидел мать, не подававшую признаков жизни. Он звал ее, называл самыми нежными именами, но она не дышала и не приходила в себя. Тогда он встал, пошел к ручью, зачерпнул немного воды в свернутый банановый лист и побрызгал водою бледное лицо матери. Но безумная не пошевелилась, глаза ее не открылись.



Басилио с ужасом смотрел на мать. Он приложил ухо к ее сердцу, но впалая, иссохшая грудь была холодна и сердце не билось. Он дотронулся губами до ее губ, но не уловил дыхания. Несчастный обнял труп матери и горько зарыдал.

На небе торжественно сияла луна, тихо вздыхал ветерок, в траве трещали сверчки.

Наступила ночь, ночь радости и веселья для стольких детей, которые празднуют в теплом кругу семьи этот праздник, навевающий сладостные воспоминания и прославляющий тот миг, когда небеса впервые с любовью обратили свой взгляд на землю. Это была ночь, когда во всех христианских семьях пируют, пьют, танцуют, поют, смеются, играют, шутят, целуются; ночь, полная тайны для детей северных стран, где водружают осыпанную огнями, увешанную игрушками, конфетами и серебряными нитями елку, на которую глядит столько блестящих, круглых наивных глазенок, — эта ночь принесла Басилио только сиротство. Кто знает, быть может, некогда в семье молчаливого отца Сальви тоже плясали дети, может быть, и там пели песенку:

Сочельник приходит,
Сочельник уходит...

Долго плакал и стонал мальчик, а когда он поднял голову, то увидел перед собой человека, молча смотревшего на него. Незнакомец тихо спросил:

— Ты ее сын?

Мальчик кивнул головой.

— Что думаешь делать?

— Похоронить ее!

— На кладбище?

— У меня нет денег, да и священник не позволит.

— Ну и как же?

— Если бы вы мне помогли...

— Я очень слаб,— ответил незнакомец, медленно опускаясь на землю и упираясь в нее руками.— Я ранен... не ел и не спал два дня... Никто не приходил сюда этой ночью?

Человек задумался, глядя на выразительное лицо мальчика.

— Послушай! — продолжал он слабым голосом.— Я тоже умру раньше, чем наступит день... В двадцати шагах отсюда, на том берегу ручья, лежит груда дров. Принеси их, сложи костер, втащи на него наши тела, прикрой поленьями и подожги; пусть полыхает большой огонь, пока мы не превратимся в пепел...

Басилио слушал.

— А потом, если никто не придет... копай вот здесь, и найдешь много золота... все будет твое. Запомни!

Голос незнакомца уже был едва слышен.

— Иди за дровами... Я хочу помочь тебе.

Басилио ушел. Незнакомец повернул лицо к востоку и зашептал, словно молясь:

— Я умираю, не увидев рассвета над моей родиной! Вы, кому суждено увидеть зарю, приветствуйте ее; не забывайте тех, кто пал темной ночью!

Он поднял глаза к небу, губы его зашевелились, будто шепча молитву, затем голова его опустилась, тело вытянулось на земле...

Два часа спустя сестра Руфа совершала в баталане своего домика утреннее омовение перед тем, как идти к мессе. Благочестивая старуха взглянула на ближайший лес и увидела поднимавшийся из него столб дыма; она нахмурила брови и, преисполненная святого негодования, воскликнула:

— Кто этот еретик, который в день праздника занимается расчисткой леса? Вот откуда все несчастья! Попробуй-ка попади в чистилище и увидишь, как я тебя оттуда выставлю, дикарь эдакий!

Многие из наших героев еще живы, а других мы потеряли из виду, поэтому написать настоящий эпилог невозможно. На благо человечеству мы с удовольствием прикончили бы всех наших персонажей, начиная с отца Сальви и кончая доньей Викториной, но это не в наших силах... Пусть живут! Ведь в конце концов не нам, а стране приходится их кормить...

С тех пор как Мария-Клара ушла в монастырь, отец Дамасо оставил селение и переехал в Манилу, как и отец Сальви, который, в ожидании вакантной митры, читал проповеди в церкви монастыря св. Клары, где он занимал высокий пост. Не прошло и нескольких месяцев, как отец Дамасо получил приказ от церковных властей отправиться в приход, находящийся в одной из отдаленных провинций. Рассказывают, он этим так огорчился, что на следующий день его нашли мертвым в спальне. Одни говорят, что он умер от апоплексии, другие говорят — от кошмарных сновидений, но лекарь рассеял все сомнения, сказав, что он скончался «внезапно».

Никто из наших читателей не узнал бы капитана Тьяго, если бы его увидел. За несколько недель до того, как Мария-Клара дала монашеский обет, он впал в такое удрученное состояние, что начал худеть и грустить, стал задумчивым и нелюдимым, как его бывший друг, несчастный капитан Тинонг. Едва только двери монастыря закрылись за дочерью, он приказал своей безутешной кузине, тетушке Исабель, взять все вещи, оставшиеся от его дочери и покойной жены, и уехать в Малабон или Сан-Диего, так как отныне он хотел жить один. Дни и ночи стал проводить капитан Тьяго за игрой в лиампо и на петушиных боях, пачал курить опиум. Он не ездил больше в Антиполо, не заказывал мессы; донья Патросинио, его давняя соперница, благочестиво отпраздновала свой триумф и принялась снова похрапывать на проповедях. Если вы когда-нибудь после полудня пройдетесь по главной улице Санто-Кристо, то увидите в лавке одного китайца маленького, желтого, тощего, согбенного человека с ввалившимися тусклыми глазами, с черными губами и ногтями, глядящего на людей невидящим взором. С наступлением сумерек вы заметите, как он с трудом поднимается и, опираясь на

палку, заковыляет к узкой улочке и войдет в грязный домишко, над дверью которого большими красными буквами выведено: «Публичная курильня опиума». Этот человек и есть некогда знаменитый капитан Тьяго, ныне забытый даже старшим причетником.

Донья Викторина к своим фальшивым локонам и мании «обапдалузивания», если можно так выразиться, прибавила новую причуду, — ей захотелось самой править лошадьми, и дон Тибурсио должен отныне тихо сидеть на заднем сиденье коляски. Так как из-за слабости ее зрения произошло много несчастных случаев, она носит пенсне, которое придает ей еще больше очарования. Доктора теперь никто уже не приглашает к больным, а слуги частенько видят его без вставной челюсти, что, как знают наши читатели, является дурным признаком.

Линарес, единственный защитник несчастного лекаря, уже давно почит на кладбище в Пако, пав жертвой дизентерии и дурного обращения своей кузины.

Победоносный альферес отправился в Испанию в чине лейтенанта и в должности коменданта, бросив свою милую супругу, облаченную все в ту же фланелевую рубаху неопишуемого цвета. Эта бедная покинутая Ариадна посвятила себя, подобно дочери Миноса, культу Бахуса* и табака и стала пить и курить с такой страстью, что ее боялись теперь не только девушки, но и старухи, и малые дети.

Другие наши знакомые из Сан-Диего, наверное, еще живы, если они не отдали богу душу при взрыве парохода «Липа», совершавшего рейс в провинции. Так как никто не позаботился узнать, кто были несчастные, погибшие при этой катастрофе, и кому принадлежали руки и ноги, разбросанные по острову Конвалесенсия и по берегам реки, мы не имеем никаких сведений о том, были ли среди них люди, известные нашим читателям. Но мы уж тем довольны, — как были довольны тогда правительство и пресса, — что единственный монах, плывший на пароходе, спасся, и большего не требуем. Самое важное для нас это жизнь добродетельных священнослужителей, да продлит господь их владычество на Филиппинах на благо душам нашим.

О Марии-Кларе никто больше не слышал; поговаривают, правда, что ее уже нет в живых. Мы спраши-

вали о ней разных влиятельных лиц в монастыре св. Клары, но никто не соизволил обмолвиться ни единым словом, даже те болтливые святоши, что лакомятся великолепным жарким из куриной печенки и еще более великолепным соусом, который называется «монашеским» и готовится искусной кухаркой обители Христовых невест.

И тем не менее... Однажды сентябрьской ночью ревел ураган и хлестал своими огромными крыльями дома Манилы; ежесекундно грохотал гром, молнии озаряли картину разрушения и нагоняли ужас на жителей городка. С неба низвергались потоки воды. При свете змеевидных молний можно было видеть, как по воздуху летел то кусок кровли, то целое окно, которые затем падали на землю со страшным шумом. На улицах не было ни одного экипажа, ни одного прохожего. Когда гулкое эхо грома, стократ повторенное, смолкало вдали, слышалось завывание ветра, сливавшееся с шумом дождя, который барабанил по раковинам закрытых окон.

Два жандарма укрылись в сарае, стоявшем неподалеку от монастыря; один из них был солдат, другой — капрал.

— Что нам тут делать? — сказал солдат. — Все равно никто не ходит по улицам... Надо бы зайти куда-нибудь в дом; моя красотка живет на улице Архиепископа.

— Отсюда немалый конец, мы промокнем, — ответил другой.

— А лучше, если сюда молния ударит?

— Не беспокойся: монашки небось для своего спасения громоотвод поставили.

— Да, — сказал солдат, — но какой с него толк, если ночь такая темная.



И он устремил взор вверх, пытаясь что-нибудь разглядеть в темноте. В этот миг несколько раз подряд сверкнула молния и послышались страшные раскаты грома.

— Наку! Сусмариосеп!¹ — воскликнул солдат, крепясь и дергая товарища за полу. — Пойдем отсюда!

— Что с тобой?

— Идем, идем отсюда! — повторял тот, щелкая зубами от страха.

— Что ты увидел?

— На крыше... наверное, там монашка, которая по крышам бродит!

Капрал высунул голову и посмотрел.

Снова сверкнула молния, огненная жила прорезала небо; за ней последовал ужасающий треск.

— Иисусе! — воскликнул он и тоже перекрестился.

И точно, при яркой вспышке он увидел белую фигуру у самого конька крыши; она стояла там, обратив к небу лицо и воздев руки, словно моля о чем-то. Небо отвечало стрелами молний и ударами грома!

В громовых раскатах слышались заунывные стоны.

— Это не ветер, это привидение! — бормотал солдат, отвечая на пожатие руки товарища.

— О-о! О-о! — раздавалось в воздухе сквозь шум дождя; завывание ветра не могло заглушить молящий, жалобный, полный отчаяния голос.

Еще раз сверкнула яркая молния.

— Нет, это не привидение! — воскликнул капрал. — Я ее разглядел, она прекрасна, как святая дева... Пойдем сообщим куда следует!

Солдат не заставил дважды повторять приглашение, и оба исчезли.

Кто же стонал глубокой ночью, невзирая на ветер и грозу? Кто эта робкая девушка, Христова невеста, не убоявшаяся бушующих стихий и избравшая эту бурную ночь для того, чтобы под открытым небом со страшной высоты слать жалобы господу? Неужто творец наш покинул свой храм в монастыре и больше не внемлет молитвам? Или монастырские своды мешают устремлениям души долететь до престола всевышнего?

Буря бушевала почти всю ночь; ни одна звездочка не зажглась во мраке; отчаянные стенания, сливавшиеся со

¹ Ой! Иисус, Мария, Иосиф! (искаж. испанск.)

вздохами ветра, не смолкали, но природа и люди оставались к ним глухи, а бог был занят и не слышал.

На следующий день, когда исчезли темные тучи и на ясном небе снова заблестало солнце, озаряя омытую дождем природу, у дверей монастыря св. Клары остановился экипаж, и из него вышел человек, который отрекомендовался как представитель властей и захотел тотчас же поговорить с настоятельницей и повидать всех монахинь.

Говорят, что одна из монахинь явилась в мокрой изодранной одежде и со слезами просила у этого человека заступничества, поведав ему ужасные истории о насилиях, прикрываемых ханжеством. Говорят также, что она была прекрасна, что у нее были самые красивые и выразительные глаза, какие кто-либо когда-либо видел.

Представитель властей не оказал ей покровительства; он посоветался с настоятельницей и уехал, не вняв мольбам и слезам. Юная монахиня смотрела на дверь, закрывшуюся за этим человеком, как осужденный на вечные муки смотрит на закрывающиеся перед ним врата неба, если только небо бывает столь же бесчувственно и жестоко, как люди. Настоятельница сказала, что монахиня сошла с ума.

Представитель власти, наверное, не знал, что в Маниле есть дом для умалишенных, а может быть, он считал, что монастырь и есть убежище для безумных, хотя утверждают, что человек этот был порядочным тушпеем и вряд ли сумел бы определить — в своем уме такая-то особа или нет.

Рассказывают также, что генерал, сеньор Х., думал иначе, и, когда известие об этом дошло до него, он пожелал помочь безумной и попросил прислать ее к нему.

Однако на этот раз прекрасная беззащитная девушка не появилась, а настоятельница вовсе запретила посещать монастырь, сославшись на религиозные каноны и святыя уставы.

Больше об этом случае не говорили, как не говорили никогда и о несчастной Марии-Кларе.

Стр. 23. ...*капитан Тьяго*...— Во время испанского колониального режима на Филиппинах титул «капитан» не означал обязательно воинского звания. Нередко так называли представителей местной метисской или филиппинской верхушки (касики, или припсипалес; см. комментарий к стр. 273), исполнявших обязанности губернаторсильо (*исп.* — «маленький губернатор»), чиновников, стоявших во главе управления округами (*пуэблос*). Сами губернаторсильо предпочитали, чтобы их титуловали «капитан», так как официальный термин «губернадорсильо», изобретенный испанскими колонизаторами, носил несколько пренебрежительный оттенок.

Очевидно, Сантьяго в прошлом занимал пост губернаторсильо.

Стр. 24. ...*неподалеку от одного из рукавов Пасига*...— Пасиг — река, на которой расположена столица Филиппин — Манила.

Стр. 25. ...*Жемчужина Востока*...— так испанцы называли Филиппины.

Стр. 27. ...*Похож на герцога Альбу*...— Альба — испанский наместник в Нидерландах (1567—1572), известен как жестокий диктатор, политика которого вызвала одно из наиболее сильных народных восстаний 1572 г., уничтожившее его власть в нидерландских провинциях Голландии и Новой Зеландии.

...*молодой доминиканец*...— Доминиканец — испанский монах, член религиозного монашеского ордена св. Доминика, одной из наиболее влиятельных и богатых религиозных испанских корпораций на Филиппинах в период испанского колониального режима. Вместе с монахами-августинцами (орден св. Августина), францис-

канцами (орден св. Франциска) и иезуитами доминиканцы появились на Филиппинских островах в конце XVI в., сразу после завоевания их Испанией.

Сан Хуан де Летран — коллегия; среднее учебное заведение на Филиппинах, основанное доминиканцами в 1620 г.

...сыновья Гусмана... — монахи-доминиканцы, члены ордена, основанного св. Домиником де Гусман (1170—1221).

Стр. 28. *Кое-кто из гостей даже готов простить ему появление в зале без носков и не замечает его волосатых ног, которые принесли бы немалый доход Мендиете на празднике в Киано.* — Францисканцы, по обету, ходят в сандалиях на босу ногу. Киано — район в Маниле. Мендиета — популярный в Маниле во времена Рисаля импресарио детских театров.

...я хорошо разбираюсь в индейцах... — Индейцы (исп. — индио) — первоначальное название коренных жителей Америки. Впоследствии испанцы стали называть индейцами местных жителей всех своих колоний, в том числе и Филиппин. Название это имело пренебрежительный оттенок.

...тагальский язык... — На тагальском, или тагалогском, языке говорят тагалы (тагалоги) — одна из наиболее крупных народностей Филиппин, населяющая центральный Лусон и остров Миндоро. В настоящее время тагальский язык официально признан государственным языком Филиппинской республики.

Стр. 29. *...кое-кто из братьев-терциариев...* — Терциарии — члены светской католической организации (монашество в миру); католическая церковь приписывает ее создание св. Франциску Ассизскому в 1221 г., после того как он основал мужской монашеский орден и специальную францисканскую организацию для женщин. Отсюда и название «Третьи» (терциарии).

Стр. 31. *...так это однажды сделали наши братья с нечестивым губернатором Бустаменте...* — Фернандо Магуэль Бустильо де Бустаменте-и-Руэда — испанский генерал-губернатор на Филиппинах в 1717—1719 гг. В его правление особенно обострились противоречия между гражданскими и духовными властями. Предпринятые им попытки упорядочить колониальное управление и ограничить произвол орденов вызвали единодушную ненависть монахов. Несмотря на угрозу отлучения от церкви, Бустаменте арестовал епископа манильского, но в результате организованного монахами мятежа был убит в своем дворце.

Стр. 32. *...для нас не существует иного короля, кроме законного...* — Намек на тот факт, что испанские клерикальные группировки отказались в 1833 г. признать законной наследницей престола королеву Исабель II, выступив в поддержку ближайшего

наследника короля Фердинанда VII (отца Исабель) по мужской линии — дона Карлоса, его сторонники назывались карлистами.

Стр. 34. *Его избрал францисканец из нашего ордена, брат... как его там... Савальс, в... седьмом веке!* — «Ученым» разговором отца Дамасо и докторши об изобретении пороха Рисаль подчеркивает невежество монаха. Савальс — один из реакционных политических лидеров Испании (карлист), современник описываемых событий.

Стр. 39. *...Лукулл не пировал в доме Лукулла.* — Лукулл Луций Лициний (106—56 гг. до н. э.) — римский политический деятель и полководец. Лукулл славился своим богатством, роскошью и пирами (отсюда выражение: «Лукуллов пир»).

«*Benedicite*» — католическая молитва.

Стр. 40. *...бегло говорил на пиджин-инглиш...* — Пиджин-инглиш (искаж. *англ.* — business English) — англо-китайский жаргон, распространенный в азиатских колониях Англии.

Небесная империя — так называлась Китайская империя.

Стр. 41. *...я усердно изучал ее историю, так сказать, ее «Исход»...* — «Исход» — название второй книги Моисеевой (Библия), в которой рассказано об исходе евреев из Египта, то есть о древнейшем периоде истории еврейского народа.

Стр. 46. *...«ба, бе, би, бо, бу...»* — слоги, с которых начиналось обучение чтению по-испански.

Стр. 47. *Флибустьер* (от голланд. *vrijbuiter*) — мятежник, бунтовщик. Во времена Рисаля, в условиях роста всеобщего недовольства испанским колониальным режимом, представители колониальных властей называли так всех лиц из метисов или филиппинцев — не только активных противников существовавшей системы, но и выступавших с самой умеренной критикой колониальных порядков.

...пост алькальда... — Алькальд в Испании — мэр, городской голова, а в испанских Филиппинах — чиновник-испанец, стоявший во главе провинции. Алькальды, сосредоточивая в своих руках судебную и исполнительную власть, чувствовали себя полными хозяевами в провинциях. Как правило, это были малообразованные, ограниченные люди, рассматривавшие свое пребывание в колонии исключительно как средство личного обогащения за счет эксплуатации местного населения.

«*Эль Корreo де Ультрамар*» — испанская газета XIX в., занимавшаяся колониальными проблемами.

Стр. 48. *...поддерживает связь с тулисанами...* — Тулисан — разбойник (*тагал.*). На Филиппинах в описываемое время этот термин имел определенный социальный смысл. Тулисанами обычно

становились разорившиеся, задавленные налогами и феодальными повинностями крестьяне, которые убегали в малодоступные местности, создавали отряды и нападали на помещичьи и монастырские имения. Во второй половине XIX в. эта стихийная примитивная форма антифеодальной и антиколониальной борьбы получила очень широкое распространение. Как свидетельствуют источники того периода, по некоторым провинциям Лусона, главного острова архипелага, невозможно было проезжать без охраны специальных стражников, а помещичьи усадьбы и монастыри имели большие вооруженные отряды из слуг специально на случай нападения тулисанов.

Стр. 51. ...к полям Багумбаяна...— В описываемое время — площадь на окраине Манилы, традиционное место казни участников антииспанских выступлений. 30 декабря 1896 г. на Багумбянском поле был расстрелян Хосе Рисаль.

Стр. 52. Пампанга — одна из провинций Филиппин, расположенная в Центральном Лусоне.

Лагуна-де-Бай — провинция в Южном Лусоне.

Стр. 53. ...пресвятой деве Антипольской, Умиротворительнице и Покровительнице путников...— местное филиппинское изображение мадонны. В XVII в. считалась покровительницей моряков, плававших между Латинской Америкой и Филиппинами. В 1672 г. монахи-августинцы построили в ее честь специальную церковь в Маниле. По преданию, после этого пресвятая дева явилась верующим на вершине огромного хлебного дерева, называемого по-тагальски «антиполо». Отсюда и ее прозвище (Антипольская).

...это могли бы подтвердить... Людвик XIV и Людовик XVI, Филипп II и Амадей I...— Амадей I — король Испании в 1870—1873 гг., пришедший к власти в результате поражения 5-й испанской буржуазной революции 1868—1869 гг. Воцарение Амадея I вызвало новую вспышку революционных настроений среди народных масс. В условиях общего недовольства монархическим правлением Амадея I вынужден был отречься от престола, а в Испании была провозглашена федеральная республика.

Иронически замечая, что «многие люди больше любят абсолютных монархов, чем конституционных», Рисаль опровергает эту мысль, приводя имена четырех королей, прославившихся в истории Франции и Испании жестокостью и тиранией, а потому крайне непопулярных среди народа. Как известно, политические идеалы самого Рисаля ограничивались конституционной монархией. Даже политический строй современной ему Испании и бисмарковской Германии казались Рисалю благом, к которому должны стремиться Филиппины.

Стр. 54. *...скульпторов из Санта-Крус. ...художников из Пако и Эрмиты...*— Автор приводит названия различных церковных приходов старой Манилы и иронизирует над безвкусицей и неумением местных мастеров.

...святой Антоний Аббат... изображен вместе со свиньей...— католической святой. Св. Антоний Падуанский (Аббат) — годы жизни 1195—1231 — монах-францисканец, прославившийся как проповедник. Через год после смерти был канонизирован. Среди католиков считается покровителем животных и обычно изображается со свиньей.

Святой Франциск Ассизский, святой Винцент, святой Петр Мученик — христианские святые. Католическая церковь считает Франциска (годы жизни 1183—1226, после смерти причислен к лику святых) основателем ордена францисканцев (1208). Св. Петр Мученик — по христианским преданиям, ученик Христа, один из главных христианских апостолов и святых.

...отрубают ухо какому-то мавру, видимо, Малху...— Малх, по Евангелию, один из рабов первосвященника, принимавший участие в аресте Христа. Апостол Петр, защищая своего учителя, отрубил Малху ухо.

Стр. 55. *...плотничьих мастерских Паете...*— Паете — небольшой город в провинции Лагуна, славившийся изготовлением мебели.

...изображения Христовы при чтении Семи слов...— Семь слов — в католической церкви проповедь, основанная на так называемых «семи словах с креста», представляющих собой семь фраз, произнесенных, согласно христианским догматам, Христом во время его распятия.

Стр. 56. *...во время трех девяти...*— Девятина — заупокойные службы, совершаемые на девятый день после чьей-нибудь смерти.

Стр. 57. *...прошел в префекты...*— Префект в испанских Филиппинах — чиновник, стоявший во главе городского управления. Должность префекта, как правило, занимали представители местной городской верхушки — богатые метисы или филиппинцы.

Малаканьянг...— в старой Маниле пригородный район на берегу Пасига. В 1824 г. был куплен испанским генерал-губернатором в качестве загородной усадьбы. После землетрясения 1863 г., когда был разрушен губернаторский дворец в Маниле, туда была перенесена постоянная резиденция генерал-губернатора. В настоящее время — резиденция президента Филиппинской республики.

Стр. 58. *...процессии в честь Покровительницы мореплавателей...*— ежегодные празднества доминиканцев в честь покровительницы доминиканского ордена святой девы дель Росарио, вме-

шательству которой приписывалась победа испанского флота над голландцами во время их нападения на Филиппины в 1646 г.

Стр. 59. *Паулисты* — члены миссионерского общества св. апостола Павла, основанного в 1858 г. в Риме и Нью-Йорке при поддержке монахов-августинцев. Паулисты занимались распространением католической религии. На Филиппинах появились в 1862 г.

Стр. 61. ...*знавший наизусть «Amat»*... — схоластическое философское сочинение испанского теолога Амата.

Стр. 62. ...*чтобы читать во время богослужения свой «Якорь спасения»*... — «Якорь спасения» — специальный молитвенник для готовящихся к исповеди.

Стр. 68. ...*учился в Атенео*... — «Муниципальный Атенеум» — колледж в Маниле, открытый монахами-иезуитами в начале 60-х годов XIX в., одно из самых популярных учебных заведений на Филиппинах во времена Рисаля. В числе преподавателей Атенео были видные деятели филиппинского духовенства, боровшегося против колониального угнетения и всевластия монашеских орденов. Среди выпускников Атенео было немало представителей передовой филиппинской интеллигенции, в дальнейшем активных участников антииспанского национально-освободительного движения.

Стр. 69. ...*говорит наш поэт Бальтасар*... — Франсиско Бальтасар (Балагас; 1788—1862) — знаменитый филиппинский поэт, основоположник филиппинской литературы на тагалогском языке. Автор широко известной на Филиппинах поэмы «Флоранте и Лаура» (1838), в которой аллегорически изображены Филиппины, страдающие под колониальным гнетом.

Стр. 70. *Св. Рох* — католический святой, на Филиппинах считался покровителем Тондо — одного из предместий старой Манилы.

Стр. 72. *Эскольта* — в описываемое время одна из главных улиц в испанских кварталах Манилы.

Стр. 76. ...*кисти Риберы*... — Рибера Хосе (род. ок. 1591 г. — ум. 1652 г.) — выдающийся испанский живописец и гравер.

Стр. 82. *«Разделяйтесь и властвуйте» (Новый Макиавелли)*. — Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский мыслитель и писатель, один из виднейших идеологов буржуазии периода разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. Он выдвигал идею создания единого централизованного национального государства с неограниченной диктаторской властью абсолютного монарха. Макиавелли оправдывал любые методы в борьбе за установление сильной централизованной власти, вплоть до подкупов, предательств, убийств, использования римского принципа «разделяй и властвуй» в отношении противников

абсолютной монархии. Отсюда известное выражение «макиавеллизм» как характеристика хитрой, вероломной, циничной политики. Рисаль видоизменяет макиавеллевский принцип «разделяй и властвуй», показывая разделение и вражду светских и духовных властей на Филиппинах.

Стр. 83. ...что итальянский король в Квиринале...— Квиринал — дворец в Риме, построенный на холме того же названия. С 1871 г. являлся постоянной резиденцией итальянских королей.

Стр. 84. Альферес (исп.) — низший офицерский чин гражданской гвардии (жандармерии) на Филиппинах.

...к великой досаде соперничавшего с ним братства «Сантисимо Росарио». — В братство «Сантисимо Росарио» были объединены на Филиппинах монахи-доминиканцы. Братство получило свое название в честь святой девы дель Росарио — покровительницы доминиканцев на Филиппинах, образу которой поклонялись в церкви св. Доминика в Маниле.

Стр. 86. ...его ругали карлистом...— См. комментарий к стр. 32. Внутриполитическая борьба в Испании получила отражение на Филиппинах, где сторонниками карлистов выступали наиболее реакционные силы в колонии и испанские монашеские ордена и католическое духовенство.

Стр. 88. ...табличку с надписью INRI.— INRI — начальные буквы латинских слов на изображениях Христа. Эти слова означают: «Иисус Назарянин — царь иудейский».

Стр. 98. ...я уже более десяти лет предлагаю каждому новому капитану купить громоотвод. ...вы сами на следующий же день после моего предложения заказали литейщикам-китайцам колокол для святой Варвары... почему в семидесятом году, когда молния ударила в Бинъян, она попала как раз в башенку и разбила часы и алтарь? Где же был тогда колокол святой Варвары? — В этом эпизоде Рисаль выразил словами Тасио свои идеи о необходимости борьбы с предрассудками, наивную веру в возможность улучшить положение филиппинского народа с помощью просвещения и разумных мер со стороны испанской администрации. То же, что вместо предложения Тасио установить громоотвод вновь покупают колокол св. Варвары, якобы спасающей от гроз, означает еще одну победу суеверия и невежества, ненавистных Рисалю и сознательно поддерживаемых колонизаторами, в первую очередь монахами.

Стр. 100. ...Один из таких был Заратуштра, или Зороастро, который написал часть «Авесты»...— Заратустра — мифический пророк, которому предание приписывает основание особой религии — зороастризма и которого считает одним из авторов «Авесты» —

священной книги маздаизма (религии древнего Азербайджана и Мидии).

Стр. 102. *...единственное место, которое приводится из книги Маккавейской, неубедительно, тем паче что книга эта была объявлена Лаодикийским собором неканонической...*— Маккавейские книги — три книги Ветхого завета, написанные во 2—1 вв. до н. э., которые были приняты западной и греческой христианской церковью (канонические). Автор, очевидно, говорит о так называемой четвертой Маккавейской книге, содержащейся в александрийском кодексе греческой Библии и написанной на греческом языке значительно позже трех канонических книг. Она не была принята ни западной, ни греческой церковью.

...ни брамины, ни буддисты, ни египтяне, у которых Греция и Рим заимствовали Харона и озеро Аверно...— Харон в народных верованиях древних греков — старик перевозчик, переправлявший на челноке через реку Ахерон тени умерших в загробное подземное царство. Озеро Аверно — озеро в Италии близ Неаполя; по древнегреческим и римским преданиям, вход в подземное царство теней.

...св. Августин — очевидно, основатель ордена августинцев (354—433).

Стр. 104. *...благодетелей, подобных халифу Омару...*— Омар Ибн аль Хаттаб (род. ок. 580 г.— ум. 644 г.) — арабский халиф в 634—644 гг. В его правление арабами были завоеваны огромные территории, включавшие Палестину, Сирию, Ирак, Западную Персию, часть Египта. Эти области составили основу владений Арабского халифата. Упоминая о «благодетелях» халифа, Рисаль имел в виду распространенную версию о сожжении Омаром знаменитой Александрийской библиотеки в 642 г. во время штурма Александрии.

Стр. 115. *«Жизнь есть сон»* — драма знаменитого испанского драматурга Педро Кальдерона (1600—1681).

Стр. 133. *...катехизис отца Астете...*— сочинение испанского монаха и теолога Гаспара Астете «Catecismo de la Doctrina Cristiana», утвержденное в 1863 г. в качестве учебника для начальных школ на Филиппинах.

Стр. 136. *...после смерти святого Фомы Аквинского...* — Фома Аквинский (Аквинат; 1225—1274) — один из главных представителей средневековой схоластики, монах, член доминиканского ордена, создатель реакционной философско-теологической системы, направленной на упрочение власти католической церкви.

Стр. 139. *...ежедневно бросать в озеро двести жареных кур, сто фаршированных каплунов и пятьдесят поросят, как это делал Сулла...*— Сулла Луций Корнелий (138—78 гг. до н. э.) — римский

полководец, государственный деятель, первый неограниченный диктатор Рима. Был любителем чрезвычайно богатых пиршеств и различных увеселений.

Стр. 142. *«Марьянг Макилинг»* — филиппинская народная легенда о фантастической полунимфе, помогавшей беднякам и исчезнувшей навсегда из-за несчастной любви к местному крестьянскому юноше. На сюжет сказаний о Марии Макилинг Рисаль написал одноименную новеллу.

Стр. 162. *...трубач из Закингена...* — герой одного из стихотворений «Книги песен» Гейне.

Стр. 166. *...как говорит поэт Патерно.* — Педро Александрино Патерно (род. 1857 г. — ум. ?) — современник Рисаля, выходец из богатой манильской семьи, получивший хорошее образование в Испании. В литературе о Филиппинах Патерно более известен не как поэт, а как один из представителей буржуазно-либерального реформаторского движения.

Стр. 182. *...а один ученый доктор из Санто-Томаса привел как-то слова папы Иннокентия Третьего про устав этого ордена, который якобы более подходит для свиней, чем для людей.* — Санто-Томас — университет св. Фомы — старейшее учебное заведение на Филиппинах, основанное в 1611 г. доминиканцами. Иннокентий III — папа римский в 1198—1216 гг. Доктор из Санто-Томаса намекает на случай с Франциском Ассизским — основателем ордена францисканцев, упоминавшийся во многих легендах об этом святом. Францисканцы по уставу принимают обет нищеты. Они носят грубую одежду и обувь, подпоясываются веревками и т. п. Когда Франциск Ассизский явился к Иннокентию III просить об учреждении еще одного монастыря помимо уже существовавшего, папа был так поражен неряшливым видом Франциска, что отослал его к свиньям.

Стр. 183. *...о великодушии «католических королей».* — В истории Испании под именем «католических королей» известны король Арагона Фердинанд и королева Кастилии Изабелла, которые, вступив в династический брак в 1469 г., положили начало объединению Испании и созданию централизованной абсолютистской монархии; в период правления католических королей (1469—1512) были значительно урезаны права отдельных крупных феодалов, конфискованы обширные владения рыцарских орденов, католическая церковь подчинена королевской власти, усилилась роль мелкого дворянства и чиновничества. В годы их правления были сделаны важнейшие завоевания в Латинской Америке (эпоха Великих географических открытий) и заложены основы испанской колониальной империи.

Стр. 189. ...в форме «*Agnus Dei*»...— *Agnus Dei* (божественный агнец) — у католиков одно из символических изображений Христа.

Стр. 191. ...комедию... под названием «*Принц Вильярдо, или Пленники, спасенные из ужасной пещеры*». — Эта пьеса относилась к так называемым «моро-моро» — драматическим представлениям, длившимся иногда по нескольку дней. В них изображалась борьба христиан с маврами-мусульманами («моро» по-испански мавр).

Стр. 195. ...*Когда по возвращении*

Тебя с улыбкой встречают —

Поберегись!

То месть иль козни предвещает... —

строки из поэмы Бальтасара «Флоранте и Лаура».

Стр. 204. ...возможно даже — соратник *Магеллана* или *Легаспи*... — Мигель Лопес де Легаспи (1510—1572) — испанский конкистадор, руководитель военной экспедиции на Филиппинские острова в 1564 г., первый испанский генерал-губернатор Филиппин (1570—1572).

Стр. 206. ...идеи князя церкви, сеньора *Монесильо*... — испанский прелат, известный своей резкой оппозицией к кортесам, созванном в 1869 г. для выработки новой либеральной конституции, провозглашавшей, в частности, свободу совести. Рисаль критикует, говоря, что реакционные идеи этого «князя церкви» выражают мысли всех испанцев.

...второе издание свадебного пира в Кане или у Камачо... — Пир в Кане Галилейской — евангельский эпизод, в котором описывается первое чудо Христа — превращение воды в вино. Свадебный пир у Камачо — эпизод из романа «Дон-Кихот». Богатый человек по имени Камачо был обманут своей невестой, после того как приготовил великолепное свадебное пиршество.

Стр. 211. ...вот черты этого испанского *Боссюэ*... — Жак-Бенин Боссюэ (1627—1704) — французский писатель, историк, богослов, известный ораторским искусством.

Стр. 216. ...можно было поверить *Галену*... — Клавдий Гален (ок. 130 г. — ок. 200 г.) — знаменитый римский врач и естествоиспытатель, самый крупный после Гиппократов теоретик античной медицины.

Сехизмундо — персонаж драмы Кальдерона «Жизнь есть сон».

Стр. 218. ...бесстрашного *Гедеона*, храброго *Давида*, победоносного *Роланда*... — Гедеон — библейский персонаж. Давид, согласно библейской легенде, — будущий иудейский царь, победивший в единоборстве богатыря — филистимлянина Голиафа. В сказании о

Давиде и Голиафе отражена борьба древних евреев с соседним народом филистимлянами в 10 в. до н. э. Роланд — франкский маркиграф. В 778 г. героически погиб в сражении с басками в Ронсевальском ущелье, прикрывая отступление франкских войск. Сказания о Роланде легли в основу французского эпоса «Песня о Роланде», где в образе Роланда воспет идеал благородного и бесстрашного воина и патриота.

Стр. 220. *...изображающая святого Франциска, который одним лишь верием сдерживает нашествие китайцев в первые годы после открытия Филиппин.* — Речь идет о вторжении в Манилу в 1574 г. китайского морского пирата Лимахонга (Ли Ма хун), стоявшего во главе сильной флотилии, с большим трудом разбитой испанцами.

Стр. 223. *...была заимствована у великого писателя Синибальдо де Мас...* — Синибальдо де Мас — испанский дипломат середины XIX в. Был послан с дипломатической миссией на Восток, посетил Филиппины. В 1842 г. появилась его книга «Сообщение о положении на Филиппинских островах».

Стр. 227. *«Incarnatus»* — букв. «Воплощение» (лат.) — песнопение, соответствующее православному «Тебе поем...».

Стр. 234. *Хотите, чтобы я стал Хуаном Паломо...* — испанская поговорка: сам заваривает, сам и расхлебывает.

Стр. 241. *Сам Леонид при Фермопилах...* — Речь идет о битве при Фермопилах в 480 г. до н. э. против армии персидского царя Ксеркса, вторгшейся в Грецию во время греко-персидской войны 500—449 гг. до н. э. Спартанский царь Леонид и его отряд в триста воинов погибли в жестоких сражениях с персами.

Стр. 247. *Раньше, когда надо было огибать Мыс...* — Имеется в виду Мыс Доброй Надежды. До 1869 г., когда был открыт Суэцкий канал, этим путем плавали корабли, осуществлявшие связь Филиппин с метрополией.

Стр. 258. *...подобное мог написать один Деларош...* — Поль Деларош (1797—1856) — французский художник, автор полотен на исторические и библейские сюжеты.

Стр. 270. *Джовани Бернардоне...* — мирское имя Франциска Ассизского.

...увидишь лишь выродившихся Илий Кортонских... — Илия Кортонский, по преданиям, был главой группы недовольных, выступавших против Франциска Ассизского. Добивался изменения устава францисканского ордена и еще при жизни Франциска возглавлял орден.

Стр. 273. *...с трудом проникая снаружи сквозь грязные раковины...* — На Филиппинах описываемого времени в окна домов вме-

сто стекол вставлялись тонкие и прозрачные жемчужные раковины. Застекленные окна встречались лишь в домах европейцев и подражавших им местных богачей.

Франциско де Каньямаке — испанский политический деятель конца прошлого века, автор нескольких исторических сочинений о Филиппинах. Его книга «Воспоминания о Филиппинах», написанная в 1877—1880 гг., была запрещена на архипелаге, так как содержала многие факты, разоблачавшие систему управления колониями и особенно деятельность монашеских орденов.

...*за деревенского касика*...— Касик (casique) — испанский термин, широко применявшийся на Филиппинах и в Латинской Америке для обозначения местной чиповничье-аристократической верхушки, выполнявшей обязанности низших звеньев колониальной администрации.

Стр. 275. ...*чем Шамполиону иероглифы*...— Жак-Франсуа Шамполион (1790—1832) — крупнейший французский египтолог. Первым сделал попытку дешифровки египетского иероглифического письма.

Стр. 276. ...*Алонсо Сааведра дал это имя стране в честь инфанта дона Фелипе*...— Капрал имеет в виду Альваро Сааведра — испанского конкистадора, стоявшего во главе экспедиции на Молуккские острова в 1527 г. По пути на Молукки Сааведра заходил и на Филиппинские острова. Однако Филиппинами их назвал другой испанский военачальник — Руй Лопес де Вильялобос.

Стр. 287. ...*под звуки гимна Риго*...— Революционный гимн, написанный во время Второй буржуазной революции в Испании (1820—1823), возглавлявшейся полковником Рафаэлем де Риго-и-Нуњес (1785—1823). После разгрома революции Риго был казнен королевским правительством. В 1931 г. «Гимн Риго» стал официальным гимном Испанской республики.

Стр. 288. ...*Чананай в костюме Леонор из «Трубадура» последними словами честила виновников переполоха, обращаясь к Ратиа... Еенг в шелковой шали... Бальбино и мавра*...— Имена актеров, приведенные Рисалем, не вымышлены. Ратиа был хорошо известен не только на Филиппинах, но и в Испании. Он умер в Маниле в 1910 г.

Так было и в Каламбе...— Каламба — небольшой город в провинции Лагуна, родина самого Рисаля. Очевидно, автор имеет в виду одно из стихийных народных волнений, повсеместно вспыхивавших на Филиппинах.

Стр. 295. ...*чем сама Августина из Сарагосы*...— жительница Сарагосы, прославившаяся своими подвигами во время осады города войсками Наполеона в 1808—1809 гг.

Стр. 296. ...которого вышвырнула Эстремадура и который после шести или семи лет странствий по свету—современный Улисс—нашел наконец на острове Лусон гостеприимство... и увядшую Калипсо...—Эстремадура—одна из провинций Испании. Улисс, или Одиссей,—персонаж древнегреческих сказаний, мифический царь острова Итаки. О возвращении Улисса на родину после Троянской войны рассказывает знаменитая поэма Гомера «Одиссея». Прежде чем добраться до родины, Улиссу пришлось долго скитаться по свету. Во время своих странствий он попал на мифический остров Огиллия, где обитала нимфа Калипсо. Семь лет она тщетно добивалась любви Улисса. Наконец боги сжалились и послали ей хромоногого Гермеса, бога, покровительствующего торговле и разбойникам.

Саманиего—Феликс Мариа де Саманиего (ок. 1774 г.—ок. 1806 г.)—испанский поэт.

Стр. 313. ...пресвятой девы дель Пилар...—знаменитая статуя Мадонны, покровительницы Сарагосы в Испании, а на Филиппинах—покровительница округа Санта-Крус.

Стр. 314. ...это башня Голода в канун того дня, когда Уголино пожрал своих сыновей...—Легенда рассказывает, что Уголино делла Терардеска был тираном города Пиэзы. Недруги схватили его и заключили в башню Голода вместе с сыновьями, оставив умирать с голоду. Данте использовал эту легенду в своей «Божественной комедии».

Стр. 335. *Еще вернутся темные ласточки...* Бекер.—Густав Адольфо Бекер (1836—1870)—испанский поэт романтического направления.

Стр. 341. *Вспомните о мудром поступке генерал-губернатора де ла Торре...*—Карлос Мариа де ла Торре—генерал-губернатор Филиппин в 1869—1871 гг. В его правление на Филиппинах нашли отражение буржуазно-демократические идеи испанской революции 1868 г., приведшей к установлению в Испании конституционной монархии. Мероприятия Торре отличались значительной гибкостью и либерализмом. При нем впервые монашеским орденам пришлось отступить на второй план. Торре заявлял об уравнивании в правах местных жителей с испанцами, пытался сотрудничать с метисской и филиппинской верхушкой, рассчитывая использовать местные господствующие классы для поддержки пошатнувшегося колониального режима. Он предпринимал также некоторые меры для смягчения народного недовольства, в частности по борьбе с тулисанами. Отказавшись от обычных карательных экспедиций и арестов вожakov народных выступлений, Торре объявил в 1869 г. амнистию участникам «разбойничьих» отрядов. Элиас имеет в виду именно это мероприятие губернатора, преувеличи-

вая и идеализируя его значение. В действительности лишь некоторые руководители тулисанов сложили оружие и перешли со своими людьми на службу в гражданской гвардии. Народная борьба не затихала, особенно усилившись в годы реакции, последовавшие за губернаторством Торре.

Стр. 344. *...защищает нас от энкомендеро...*— Энкомендеро (исп.) — владеец земельного участка — энкомьенды. Вскоре после завоевания Филиппин Испанией (в конце XVI в.) испанские колонизаторы ввели систему так называемых энкомьенд, впервые возникшую в американских колониях Испании и состоявшую в передаче больших участков земли вместе с населением «под покровительство» испанским солдатам и колонистам. Часто в энкомьенду отдавались территории, еще не завоеванные испанцами. Население энкомьенд обязано было выполнять многочисленные феодальные повинности в пользу энкомендеро и правительства. Энкомендеро выступали как жестокие феодальные эксплуататоры, действовавшие с неограниченным произволом. Режим энкомьенд был постепенно ликвидирован к концу XVII в., когда вся территория колонии перешла под управление колониального правительства Филиппин.

Элиас использовал старый термин «энкомендеро», очевидно подразумевая помещиков и колониальных чиновников. Вместе с тем Элиас, выражая определенные взгляды автора, дает идеализированную оценку «первым миссионерам» и колониальной политике Испании в первые годы после захвата Филиппин. Как известно, завоевание Испанией колоний (Филиппины не составляют исключения) сопровождалось прямым истреблением и грабежом местного населения. Многочисленные монахи-миссионеры, хлынувшие в новые владения вслед за конкистадорами, являлись главными пособниками военщины, действуя с такой же алчностью и лишь иногда прикрывая откровенную грабительскую политику проповедями христианства.

Стр. 348. *...почитайте писания августинца отца Гаспара.*— Гаспар де Сан Агустин — испанский монах, живший на Филиппинах с 1668 г., автор ряда клеветнических сочинений о филиппинцах.

Стр. 349. *...пансион де ла Конкордия* — католическое учебное заведение для девушек в Маниле, основанное в 1868 г.

Стр. 352. *...ударил молния и, разрушив старое, вызвала к жизни новое...*— Вероятно, речь идет о восстании в Кавите в 1872 г.

Стр. 357. *...сказал один из них по-тагальски с висайским акцентом...*— На висайском языке говорят филиппинцы — жители Висаяс, группы островов Филиппинского архипелага. Существует не-

сколько диалектов висайского языка, например, себуанский и панаанский, на которых говорят жители островов Себу и Панаая.

Стр. 363. *...где мы слышали только о святом Фоме, Суаресе, Амате, Санчесе...*— Франсиско Суарес — испанский теолог конца XVI — начала XVII в.; Феликс Амаат — испанский церковник, живший в XVIII в.; Педро Антонио Санчес — испанский теолог XVIII в. Все они были причислены католической церковью к лику святых.

Стр. 365. *«Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», — сказал Теренций.*— Цитата из пьесы «Самоистязатель» знаменитого римского комедиографа Теренция (194—159 гг. до н. э.).

Стр. 366. *«Ангелус»* — относящаяся к «таинству пресуществления» католическая молитва «Angelus» (лат.), соответствующая православной «Ныне силы небесные». Так же называется колокол, обязательно звонящий во время молитвы.

Стр. 373. *...чтобы избежать присутствия ее аргуса...*— Аргус — в греческой мифологии великан, который постоянно бодрствовал благодаря тому, что обладал сотней глаз.

Стр. 385. *Моя радость на дне колодца* — испанская поговорка. *...Фемистокл... при Саламине...*— Битва при Саламине (480 г. до н. э.) — знаменитое морское сражение в период греко-персидской войны 500—449 гг. до н. э., в которой греческий флот одержал решающую победу над персидским. Сражение было выиграно по плану и под непосредственным руководством Фемистокла, известного политического деятеля, вождя афинской рабовладельческой демократии.

Стр. 397. *...истинная Ниобей, окаменевшая в немом горе.*— Ниобей, или Ниоба, — в античной мифологии жена фиванского царя Амфиона. Будучи матерью двенадцати или четырнадцати детей, насмеялась над богиней Лето (Латоной), имевшей всего двух детей (Аполлона и Артемиду), и запретила фиванским женщинам приносить Лето жертвы. В наказание за это Ниобей, по велению Лето, была лишена всех детей (сыновей ее убил Аполлон, а дочерей — Артемиды) и превращена в скалу, источающую слезы.

Стр. 398. *...Марианские острова* (или Ладронские острова) — архипелаг в Тихом океане. Во времена Рисаля принадлежал Испании и служил местом ссылки политических заключенных.

...заставит генерала «Зловещего» прикусить язык...— Генерал «Зловещий» — прозвище, данное монахами генерал-губернатору Филиппин в 1883—1885 гг. Ховельяру за его попытки подчинить монашеские ордена контролю гражданской власти.

Стр. 399. *...только отец Секки...*— известный итальянский астроном, член ордена иезуитов.

Стр. 401. *«Вестник Манилы»* — во времена Рисаля наиболее консервативная манильская газета.

...ты должен явиться, как это сделали люди в семьдесят втором году, и они спаслись. — Здесь Рисаль иронизирует по поводу «спасения» тех лиц, которые после восстания в городе Кавите в 1872 г. явились с повинной к испанским властям.

...так же поступил и отец Бург... — Капитан Тинонг хочет назвать священника Бургоса, явившегося после восстания 1872 г. с повинной и тем не менее казненного.

Стр. 405. *«Свобода на Филиппинах»* — сочинение Марсело дель Иллара (Пларидель; 1850—1896) — известного филиппинского журналиста и адвоката.

Стр. 407. *...в крепости Сантьяго...* — в период испанского господства тюрьма в Маниле для политических преступников.

Стр. 411. *...сам дон Хуан Австрийский...* — Дон Хуан Австрийский (1629—1679) — известный испанский политический и военный деятель, участник многих военных авантур в Европе в середине XVII в. В последние годы жизни при короле Карле II (1665—1700) фактически стоял во главе управления страной (1677—1679).

Стр. 438. *Эта бедная покинутая Ариадна посвятила себя, подобно дочери Миноса, культу Бахуса...* — Минос — мифический царь острова Крита, отец Ариадны. По греческому мифу, Ариадна помогла афинскому герою Тесею, спасшему остров Крит от чудовища Минотавра, выйти из Лабиринта, огромного дворца со множеством помещений и запутанных переходов. Полюбив Тесея, Ариадна бежала с ним, но на пути в Афины была им брошена. По одному из вариантов греческой легенды, Ариадна была отнята у Тесея богом Дионисом, или Бахусом (бог вина и веселья), вступившим с ней в брак.

**СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ**

Абака́ — многолетнее растение из семейства банановых. Волокна абаки — «манильская пенька» — служат сырьем для различных сортов местных тканей. С начала прошлого века «манильская пенька» — один из главных предметов филиппинского экспорта в Европу и США.

Айунгин (тагал.) — порода рыб.

Алимбамбанг (тагал.) — растение из семейства бобовых; его листья филиппинцы употребляют в пищу как острую приправу.

Альпай (тагал.) — лесной плод.

Альпака (исп.) — сорт шерсти; ткань из шерсти альпака.

«Ангельские головки» — вьющееся растение с красными цветами (род повилики).

Асуанг (тагал.) — колдунья, ведьма.

Атес (тагал.) — вид тропических фруктов.

Ачара (тагал.) — маринованные побеги молодого бамбука и зеленой папайи.

Багио (тагал.) — филиппинский тайфун.

Байлухан (тагал.) — народное празднество.

Баклад (тагал.) — невод, сделанный из бамбука.

Балити (тагал.) — разновидность филиппинских тропических деревьев.

Банак (тагал.) — порода рыб.

Баталан (тагал.) — передняя часть деревенского дома, где помещаются кухня и умывальник.

Бига (тагал.) — морское растение, напоминающее водяную лилию.

Бий (тагал.) — порода рыб.

Боло (тагал.) — филиппинский серповидный нож.

Буан-буан (тагал.) — порода рыб.

Буйо (тагал.) — жевательная смесь, приготовленная из листьев бетеля, земляных орехов и лимонной цедры.

Булик (тагал.) — петух с черно-белым оперением.

Виктория (исп.) — пролетка.

Гингон (тагал.) — грубая бумажная ткань синего цвета.

Гого (тагал.) — лесное выющееся растение, стебли которого размачивают и используют вместо мыла.

Гуайава (тагал.) — разновидность филиппинских тропических фруктов.

Далаг (тагал.) — крупная рыба, живущая в речном иле; во время сезона дождей филиппинцы находят далаг на рисовых полях, затопленных водой.

Далага (тагал.) — девушка; девушка из провинции; служанка.

Дикина (тагал.) — волокна одного из видов филиппинского папоротника, употребляющегося для плетения плет.

Иланг-иланг (малайск.) — буквально «цветок из цветов»; цветы с сильным запахом, из которых готовили духи.

Калан (тагал.) — небольшая глиняная переносная печка.

Калао (тагал.) — филиппинская лесная птица. По местным повериям, ее хриплый крик днем отмечает время, а ночью предвещает несчастье.

Каликут (тагал.) — бамбуковая коробка для бетеля.

Камия (тагал.) — растение из семейства лотосовых.

Карабао (тагал.) — филиппинский буйвол, отличается большой выносливостью; используется главным образом для сельскохозяйственных работ.

Когон (тагал.) — высокая сорная трава, которой филиппинцы покрывают крыши домов.

Кундимап (тагал.) — филиппинская народная песня.

Лансон (тагал.) — тропический плод кремового цвета с приятным вкусом.

Ласак (тагал.) — петух с рыже-белым оперением.

Л и а м п о — китайская азартная игра.

Л о и б а (*тагал.*) — разновидность филиппинских тропических фруктов.

М а н к у к у л я м (*тагал.*) — злой дух, вызывающий болезни и другие несчастья, или лицо, обладающее столь дьявольскими качествами.

М у т и я (*тагал.*) — амулет, талисман.

Н и п а (*малайск.*) — разновидность пальмы, растущей в заболоченных приморских районах. Листьями нипы филиппинцы покрывают крыши домов.

Н и т о (*тагал.*) — вьющийся папоротник, листья которого используются для плетения шляп, корзин, коробок для сигар и т. п.

П а а я п (*тагал.*) — вид овощей.

П а к о́ (*тагал.*) — съедобное растение из семейства папоротников.

П а л а с а н (*малайск.*) — разновидность тростника, используемого для изготовления тростей.

П а л у п а (*тагал.*) — угловая часть комнаты в крестьянском доме, где к потолку подвешивают гамак.

П а п а й а (*малайск.*) — плод дынного дерева.

П е с а (*тагал.*) — филиппинское национальное блюдо.

П е т а к а (*исп.*) — кисет, табакерка.

П и н ь я (*исп.*) — прозрачная белая ткань, вырабатываемая из листьев ананасов.

Р у э д а (*исп.*) — круглая площадка (арена) для петушиных боев.

С а в а л и (*тагал.*) — расщепленный бамбук, из которого филиппинцы делают стены своих домов.

С а г у а п (*тагал.*) — филиппинская лодка с веслами.

С а и г (*тагал.*) — часть комнаты в крестьянском доме, застланная циновками.

С а к а т е (*исп.*) — трава, зеленый корм для скота.

С а л а б а т (*тагал.*) — имбирная настойка.

С а л а к о т (*тагал.*) — широкополая шляпа, сплетенная из пальмовых листьев или из молодого бамбука.

С а н т о л ь (*тагал.*) — филиппинское сандаловое дерево.

С а р с у э л а (*исп.*) — драматическое представление с танцами и пением.

С а с а б у н г и н (тагал.) — петух.

С и л к о т (тагал.) — игра в ракушки.

С и п а м а й (тагал.) — прозрачная кружевная ткань, вырабатываемая из волокна абаки.

С и н и г а н г (тагал.) — рыбный суп с овощами.

С о л ь т а д а (исп.) — выпуск петухов на руэду.

С о л ь т а д о р (исп.) — человек, выпускающий петухов на руэду.

Т а л и б о н (тагал.) — филиппинский короткий меч.

Т а л и с а и н (тагал.) — пестрый петух.

Т а р а м б у л о (тагал.) — сорняковый низкорастущий кустарник, листья и плоды которого покрыты острыми короткими колючками.

Т и к а - т и к а (тагал.) — крупные красные цветы.

Т и к б а л а н г (тагал.) — по филиппинским народным повериям, злой дух, способный принимать различные образы. Чаще всего появляется в виде высокого черного человека с непропорционально длинными ногами.

Т и м б а и н (тагал.) — так пазываемое «лечение водой»; особая пытка, описанная в романе; употребляется и в значении любой пытки. Происходит от тагал. timba — деревянное ведро, бадья.

Т и м с и м (тагал.) — лампа с фитилем, опущенным в масло.

У э п е с (исп.) — смоляной факел.

Х а к у л а т о р и я — короткая молитва.

Х у с и (тагал.) — филиппинская ткань, вырабатываемая из шелка, смешанного с хлопком, волокнами абаки или листьями ананаса.

Ч а к о н (тагал.) — крупная ящерица, похожая на саламандру.

Ч о н к а (исп.); с у н к а (тагал.) — детская игра.

Ч и к о (исп.) — разновидность тропических фруктов.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Губер. Хосе Рисаль и его роман «Не прикасайся ко мне»	5
НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ. Роман	19
Комментарии	442
Словарь иностранных слов, встречаю- щихся в тексте	458

Хосе Рисаль

НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ

Редактор Т. Редько

Художественный редактор Ю. Боярский

Технический редактор М. Позднякова

Корректор А. Шлейфер

Сдано в набор 1/IX 1962 г.

Подписано к печати 14/I 1963 г.

Бумага 84 × 108¹/₃₂ — 14,5 печ. л. = 23,78

усл. печ. л. 24,58 уч.-изд. л.

Тираж 30 000. Заказ № 675 Цена 92 коп.

Гослитиздат

Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

Московская типография № 8

Управления

Полиграфической промышленности

Мосгорсовнархоза

Москва, 1-й Рижский пер., 2